ISSN 0130–6545

2. 1989

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цветные иллюстрации номера — работы американского фотохудожника Билла Колемана из серии «Жизнь амишей».

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

2 февраль 1989

Содержание

ВЛАДИМИР НАБОКОВ — Пнин *(Роман. Перевод с английского Геннадия Барабтарло при участии В. Е. Набоковой)* 3

ГРЭМ ГРИН — Монсеньор Кихот *(Роман. Окончание. Перевод с английского Т. Кудрявцевой)* 88

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Продолжение. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего)* 127

Е. Гениева — Комментарии 171

ГЕОРГ ГЕЙМ — Стихи *(Вступление Н. Павловой. Перевод с немецкого М. Гаспарова)* 178

Публицистика

ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ — ЛАРС ХЕССЛИНД — О любви и прочем *(Диалог в письмах)* 193

Критика

Из бесед в редакции

О союзе польских писателей, о свободе выбора, свободе печати и о многом другом рассказывают Войцех Жукровский и Зенон Скуза *(Текст беседы подготовили Н. Плиско и Т. Чуганова)* 212

ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ — Вперед — к традиции! *(Тончо Жечев — балканский мыслитель)* 219

К 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой

Е. ЭТКИНД — «...Как феникс из пепла» *(Поэзия Анны Ахматовой на Западе. Германия и Франция)* 226

Писатель и время

МАРИО РИГОНИ СТЕРН, НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН — Легенда о капеллане *(Отшельник из Азиаго. Вступление Николая Самвеляна)* 233

Резонанс

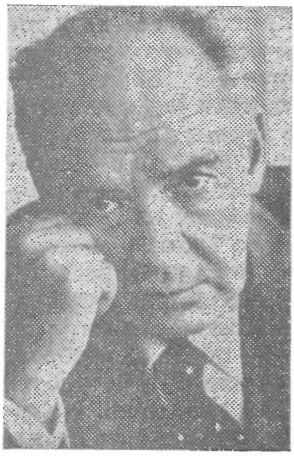
На анкету «ИЛ» отвечают писатели русского зарубежья

Андрей Синявский, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Наум Коржавин, Александр Зиновьев *(Вступление Чингиза Айтматова)* 240

Курьер «ИЛ» 251

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1989



ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Пнин

РОМАН

Перевод с английского ГЕННАДИЯ БАРАБТАРЛО при участии В. Е. НАБОКОВОЙ

Глава первая

1

Пожилой пассажир, сидевший у окна по северной стороне неумолимо мчавшегося железнодорожного вагона, рядом со свободным местом, напротив двух незанятых, был никто иной как профессор Тимофей Пнин. Совершенно лысый, загорелый и гладко выбритый, он начинался весьма солидно: большой коричневый купол, черепаховые очки (скрадывавшие младенческое безбровие), обезьянья верхняя губа, толстая шея и внушительный торс в тесноватом твидовом пиджаке; но как-то неожиданно заканчивался парой журавлиных ног (сейчас они во фланелевых штанах, одна на другой) и хрупкими на вид, почти женскими ступнями.

На нем были неподтянутые носки алой шерсти в сиреневых ромбах; его консервативные черные оксфордские башмаки обошлись ему чуть ли не дороже всей остальной экипировки (включая вызывающе цветистый галстук). До сороковых годов, в степенную европейскую эпоху своей жизни, он всегда носил длинные кальсоны, концы которых заправлял внутрь опрятных шелковых носков со стрелкой, спокойной расцветки, которые держались подвязками на его облаченных в полотно икрах. В те дни обнаружить полоску этих белых кальсон под слишком высоко задравшейся штаниной показалось бы Пнину столь же неприличным, как, скажем, появиться при дамах без воротничка и галстука, ибо даже когда увядшей мадам Ру, консьержке в скверных номерах в шестнадцатом округе Парижа, где Пнин после побега из ленинизированной России и завершения высшего образования в Праге провел пятнадцать лет,—случалось придти к нему за квартирной платой, а на нем не было его faux col, чопорный Пнин прикрывал целомудренной рукой запонку на горле. Все это преобразилось в опьяняющей атмосфере Нового Света. Ныне, в пятьдесят два года он был помешан на солнечных ваннах, носил спортивные рубашки и штаны и, закидывая ногу на ногу, старательно умышленно и дерзко выставлял напоказ чуть ли не половину обнаженной голени. Таким его мог бы увидеть попутчик; но если не считать солдата, севшего в одном конце, и двух женщин, занятых младенцем, в другом,— Пнин был один в вагоне.

© 1983 Vladimir Nabokov Estate. Текст воспроизводится по изданию «Ардис» с сохранением особенностей орфоэпии и пунктуации.

Откроем теперь секрет. Профессор Пнин по ошибке сел не в тот поезд. Он не знал этого — как, впрочем, не знал и кондуктор, который уже пробирался по составу к вагону Пнина. По правде говоря, в эту минуту Пнин был очень доволен собой. Приглашая его выступить в пятницу вечером с лекцией в Кремоне — около двухсот верст на запад от Уэйнделя, академического насеста Пнина с 1945 года,— вице-президентша Женского клуба Кремоны мисс Джудит Клайдт уведомила нашего приятеля, что самый удобный поезд уходит из Уэйнделя в 1.52 пополудни и прибывает в Кремону в 4.17; но Пнин — который как многие русские люди прямо-таки обожал всякого рода расписания, карты, каталоги, собирал их, без стеснения брал их, радуясь приобретению задарма, и исполнялся особенной гордостью, если ему удавалось самому разобраться в расписании поездов,— после некоторого изучения обнаружил неприметную на первый взгляд сноску против еще более удобного поезда (отб. из Уэйнделя в 2.19 дня, приб. в Кремону в 4.32); сноска эта означала, что по пятницам, и только по пятницам, поезд два девятнадцать останавливается в Кремоне по пути в отдаленный и куда более крупный город, тоже украшенный благозвучным итальянским названием. К несчастью для Пнина, его расписание было пятилетней давности и отчасти устарело.

Он преподавал русский язык в Уэйндельском университете, несколько провинциальном учреждении, которое было примечательно своим искусственным озером в центре живописно распланированного кампуса, обвитыми плющем галлереями, соединяющими разные здания, фресками, на которых можно было узнать профессоров колледжа, передающих светоч знания от Аристотеля, Шекспира и Пастера группе чудовищно сложенных деревенских парней и девок, и огромным, преуспевающим Германским отделением, которое д-р Гаген, его глава, самодовольно называл (отчеканивая каждый слог) «университетом в университете».

В осеннем семестре того года (1950) в списке записавшихся на курсы русского языка значились: одна студентка (плотненькая и серьезная Бетти Блисс) в переходной группе; один студент, Иван Дуб (пустой звук — он так и не воплотился), в старшей, и трое в процветавшей начальной: Джозефина Малкин, предки которой были родом из Минска; Чарльз Макбет, сверхъестественная память которого уже одолела десять языков и готова была поглотить еще с десяток, и томная Эйлина Лэйн, которой кто-то сказал, что, усвоив русский алфавит, можно, в принципе, читать «Анну Карамазову» в оригинале. Как преподаватель, Пнин не мог соперничать с теми поразительными русскими дамами, рассеянными по всей академической Америке, которые, не имея никакого специального образования, как-то умудряются, однако, при помощи интуиции, болтливости и какого-то материнского наскока внушить группе ясноглазых студентов магическое знание своего трудного и прекрасного языка в атмосфере песен о Волге-матушке, красной икры и чая; еще менее мог Пнин как преподаватель дерзать приблизиться к высоким залам новейшей ученой лингвистики, аскетическому братству фонем, этому храму, где вдумчивых молодых людей обучают не самому языку, а методике, по которой надо преподавать эту методику; этот метод, как водопад, плещущий с утеса на утес, перестает быть средством разумной навигации, но, может быть, в каком-то баснословном будущем пригодится для выработки эзотерических диалектов — Базового языка Басков и тому подобных,— на которых говорят только некоторые сложные машины. Без сомненья, подход Пнина к своей работе был дилетантским и наивным: он полагался на грамматические упражнения, изданные главой Славянского отделения гораздо более крупного, чем Уэйндель, университета — маститым шарлатаном, русский язык которого был уморителен, но который, однако, великодушно одалживал свое уважаемое имя произведениям безымянных тружеников. Пнин, несмотря на множество

недостатков, источал обезоруживающее, старомодное обаяние, которое д-р Гаген, его верный покровитель, отстаивал перед хмурыми попечителями как изящный заграничный продукт, за который стоило платить отечественной монетой. Хотя ученая степень по социологии и политической экономии, которую Пнин в торжественной обстановке получил в Пражском университете в 1925, что ли, году, к середине века лишилась применения, нельзя сказать, чтобы он вовсе не подходил для роли преподавателя русского языка. Его любили не за его специальные квалификации, а скорее за те незабываемые отступления, когда он снимал очки, чтобы улыбнуться прошлому, одновременно протирая стекла настоящего; ностальгические отступления на ломаном английском; забавные подробности автобиографии. Как Пнин приехал в Soedinyonneï Shcatï: «Допрос на борту,— перед тем как сойти на берег. Вери уэль! Вам нечего объявить?» — «Нечего». Вери уэль! Тогда — политические вопросы. Он спрашивает: «Вы не анархист?» — «Я отвечаю,— рассказчик делает паузу, чтобы предаться уютному немому веселью.— Во-первых: что мы понимаем под *анархизмом?* Анархизм практический, метафизический, теоретический, мистический, абстрактный, индивидуальный, социальный? Когда я был молод, — говорю я,—все это имело для меня значение». Вот и была у нас очень интересная дискуссия, вследствие которой я провел целых две недели на Эллис Айленде»,— брюшко начинает колыхаться; колышется; рассказчик трясется от смеха.

Но случались и куда более смешные положения. Благодушный Пнин, с жеманной таинственностью подготовляя детей к дивному удовольствию, которое он сам некогда испытал, и уже обнаруживая в неудержимой улыбке неполный, но внушительный ряд желтых зубов, закрывал, бывало, потрепанную русскую книгу на изящной закладке искусственной кожи, заботливо им туда вложенной; он раскрывал книгу, и тут очень часто его пластичные черты искажало выражение крайнего смущения; разинув рот, он лихорадочно перелистывал том направо и налево, и, бывало, проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу — или убеждался в том, что все-таки правильно заложил ее. Обыкновенно выбранное место бывало из старой и наивной комедии из купеческого быта, сооруженной Островским почти сто лет назад, или из столь же древнего, но даже еще более устаревшего отрывка из банального лесковского фарса, построенного на словесных искажениях. Он преподносил этот залежалый товар скорее в сочной манере классической Александринки (театр в Петербурге), нежели с четкой простотой Московского Художественного; но так как для того чтобы оценить хоть то немногое забавное, что эти пассажи еще сохраняли, надо было обладать не только основательным знанием разговорного языка, но и немалым запасом литературных сведений, так как его бедный маленький класс не обладал ни тем, ни другим, то чтец один наслаждался тонкими ассоциациями своего текста. Колыханье, уже отмеченное нами в другой связи, превращалось тут в настоящее землетрясенье. При полном освещении примеряя на своем лице все маски по очереди, обращаясь ко дням своей пылкой и восприимчивой юности (в блистающем мире, казавшемся особенно ярким после того, как один удар истории разом уничтожил его), Пнин пьянел от бродивших в нем вин, пока извлекал из текста один за другим образчики того, что его слушатели учтиво принимали за русский юмор. Скоро он изнемогал от смеха; по его загорелым щекам стекали грушевидные слезы. Не только его ужасающие зубы, но и поразительно широкие полосы розовой верхней десны неожиданно выскакивали, как черт из табакерки, и его рука взлетала ко рту, а массивные плечи сотрясались и перекатывались. И хотя речь, придушенная пляшущей ладонью, была теперь вдвойне непонятна классу,— полная его капитуляция перед собственным весельем действовала неотразимо. К тому моменту, когда он уже совершенно

изнемогал, его студенты помирали со смеху, причем Чарльз, хохоча, отрывисто лаял, как заводной, ослепительно прелестный поток смеха неожиданно преображал невзрачную Джозефину, тогда как очаровательная Эйлина расплывалась в желе непривлекательного гогота.

Что, впрочем, не меняет того факта, что Пнин ехал не в том поезде.

Как объяснить это печальное происшествие? Пнин, это надо подчеркнуть особо, был все что угодно, но только не тип добродушной немецкой пошлости прошлого столетья, der zerstreute Professor. Напротив, он был, может быть, слишком осмотрителен, слишком остерегался дьявольских ловушек, слишком болезненно опасался, как бы его странное окружение (непредсказуемая Америка) не втянуло его в какую-нибудь нелепую историю. Этот мир был рассеян, а Пнину приходилось наводить в нем порядок. Его жизнь была постоянной войной с неодушевленными предметами, которые разваливались или нападали на него, или отказывались служить, или назло ему терялись, как только попадали в сферу его бытия. У него были на редкость неловкие руки; но так как он мгновенно мог изготовить однозвучную свистульку из горохового стручка, пустить плоский камень так, чтобы он раз десять подскочил по глади пруда, изобразить, сложив пальцы, силуэт кролика на стене (притом с моргающим глазом), и проделать множество других домашних трюков, которые у русских всегда наготове, то он верил, что наделен значительными прикладными и техническими способностями. Всякими изобретениями и он увлекался с каким-то ослепленным, суеверным восторгом. Электрические приспособления приводили его в восхищенье. Пластики сводили его с ума. Он не мог надивиться на змеевидную застежку. Но благоговейно включенные им в сеть часы, случалось, запутывали его утра после ночной грозы, парализовавшей местную электростанцию. Оправа его очков, бывало, раскалывалась на переносице, и он оставался с двумя одинаковыми половинками, нерешительно пытаясь соединить их, надеясь, должно быть, на какое-нибудь чудо органического восстановления, которое придет к нему на помощь. Иногда в кошмарную минуту спешки и отчаяния застежку, от которой мужчина зависит более всего, заклинивало в его недоумевающей руке.

И он все еще не знал, что сел не в тот поезд.

Область особенно опасную для Пнина представлял английский язык. Не считая таких не особенно полезных случайных словечек, как the rest is silence *(остальное — молчанье)*, nevermore *(больше никогда)*, weekend *(конец недели)*, who's who *(кто — что)*, и несколько обиходных слов вроде *есть, улица, самопишущее перо, гангстер, чарльстон, марджиналь ютилити*, он вовсе не владел английским в то время, когда уезжал из Франции в Соединенные Штаты. Он упрямо засел за изучение языка Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и тридцати одного Президента. В 1941 году, в конце первого года занятий, он был достаточно искушен, чтобы свободно пользоваться выражениями вроде *вишфуль финкинг* (принимать желаемое за действительное) и *оки-доки*. К 1942-му он был в состоянии прерывать свое повествование фразой *«Ту мэйк э лонг стори шорт»* (короче говоря). К началу второго срока президента Трумана Пнин практически мог справиться с любой темой; но, с другой стороны, продвижение вперед, казалось, приостановилось, несмотря на все его усилия, и к 1950 году его английский язык все еще был полон изъянов. В ту осень он пополнил свои русские курсы еженедельными лекциями в так называемом симпозиуме («Бескрылая Европа: обзор современной континентальной культуры»), которым руководил д-р Гаген. Все лекции нашего друга, включая те случайные, с которыми он выступал в других городах, редактировал один из младших сотрудников Германского отделения. Процедура была несколько громоздкая. Профес-

сор Пнин старательно переводил свой русский словесный поток, пересыпанный идиоматическими выражениями, на корявый английский. Это исправлялось молодым Миллером. Потом секретарша д-ра Гагена, мисс Айзенбор, переписывала все это на машинке. Потом Пнин вычеркивал места, которые он не понимал. Потом он читал остальное своей еженедельной аудитории. Он был совершенно беспомощен без приготовленного текста; не мог он воспользоваться и старым приемом маскировать свой недостаток движением глаз вверх-вниз — выхватывая горсточку слов, забрасывая их в аудиторию и растягивая конец предложения, пока ныряешь за следующим. Беспокойный взгляд Пнина непременно сбился бы со следа. Поэтому он предпочитал читать свои лекции, не отрывая глаз от текста, медленным, монотонным баритоном, напоминавшим восхождение по одной из тех нескончаемых лестниц, которыми пользуются люди, побаивающиеся лифтов.

Кондуктору, седовласому, по-отечески добродушному человеку в стальных очках, довольно низко сидевших на его простом, функциональном носу, с кусочком запачканного пластыря на большом пальце, оставалось теперь пройти всего три вагона до того, как добраться до последнего, в котором сидел Пнин.

Тем временем Пнин предался удовлетворенью особой пнинской страсти. Он был в пнинском затруднении. Среди прочих вещей, необходимых для пнинского ночлега в чужом городе,— сапожных колодок, яблок, словарей и так далее,— в его чемодане лежал сравнительно новый черный костюм, который он собирался надеть вечером на лекцию («Коммунисты ли русские люди?») перед дамами Кремоны. Там же лежала лекция для симпозиума на ближайший понедельник («Дон Кихот и Фауст»), которую он рассчитывал проштудировать на следующий день на обратном пути в Уэйндель, и работа аспирантки Бетти Блисс («Достоевский и Гештальт-психология»), которую он должен был прочитать за д-ра Гагена, главного руководителя ее умственной деятельности. Затруднение же состояло в следующем: если он будет держать Кремонскую рукопись — пачку машинописного формата страниц, аккуратно сложенную пополам — при себе, в безопасном тепле своего тела, то теоретически было вероятно, что он забудет переложить ее из пиджака, который был на нем, в тот, который на нем будет. С другой стороны, если бы он *теперь* поместил лекцию в карман того костюма, который был в чемодане, он знал, что стал бы терзаться возможностью кражи багажа. С третьей стороны (такие душевные состояния все время обрастают дополнительными сторонами), он вез во внутреннем кармане своего теперешнего пиджака драгоценный бумажник с двумя десятидолларовыми ассигнациями, газетной вырезкой письма, написанного им с моей помощью в «Нью-Йорк Таймз» в 1945 году по поводу Ялтинской конференции, и своим удостоверением американской натурализации; и в принципе можно было, вытаскивая бумажник, ежели он понадобится, при этом фатально выронить и сложенную лекцию. В течение двадцати минут, проведенных им в поезде, наш друг уже дважды раскрывал чемодан, возясь со своими различными бумагами. Когда кондуктор дошел до его вагона, усердный Пнин с трудом разбирал произведение Бетти, которое начиналось так: «Рассматривая духовный климат, в котором все мы живем, мы не можем не заметить...»

Кондуктор вошел; не стал будить солдата; пообещал женщинам дать знать, когда им выходить; а потом покачал головой над билетом Пнина. Остановка в Кремоне была отменена два года назад.

— Важная лекция! — вскричал Пнин.— Что делать? Это катастрофа!

Седой кондуктор степенно, неторопливо опустился на противоположное сиденье и молча стал справляться в потрепанной книге, полной вставок на страницах с загнувшимися уголками. Через несколько

минут, а именно в 3.08, Пнину придется выдти в Уитчерче; тогда он сможет поспеть на четырехчасовой автобус, который около шести доставит его в Кремону.

— Я думал, что выигрываю двенадцать минут, а теперь я теряю целых два часа,— с горечью сказал Пнин. После чего, прочищая горло и не слушая утешений седовласого добряка («Да вы успеете»), он снял рабочие очки, поднял свой тяжелый, как камень, чемодан и направился в тамбур вагона, чтобы подождать там, пока спутанную, скользящую мимо зелень отменит и заменит собою нужная ему станция.

2

Уитчерч объявился по расписанию. За плотной геометрией разнообразных отчетливых теней лежало горячее, оцепенелое пространство залитого солнцем бетона. Местная погода была невероятно летней для октября. Не теряя времени, Пнин вошел в нечто вроде ожидальной залы с ненужной печкой посередине и огляделся. В голой нише можно было различить верхнюю половину запревшего молодого человека, заполнявшего бланки за широкой деревянной конторкой.

— Мне нужна справка,— сказал Пнин. — Где останавливается четырехчасовой автобус на Кремону?

— Напротив, — коротко ответил служащий, не подымая глаз.

— А где можно оставить багаж?

— Этот чемодан? Я присмотрю за ним.

И с национальной непринужденностью, которая всегда поражала Пнина, молодой человек втолкнул чемодан в угол своего закута.

— Квиттэнс?— спросил Пнин, англизируя русское «квитанция».

— Чего?

— Номер?— попробовал Пнин.

— Номера вам не нужно,— сказал молодой человек и опять начал писать.

Пнин покинул станцию, удостоверился насчет автобусной остановки, и зашел в кофейню. Он съел сандвич с ветчиной, спросил другой, съел и его. Ровно в без пяти четыре, уплатив за съеденное, но не за превосходную зубочистку, старательно выбранную им из опрятной чашечки в форме сосновой шишки, стоявшей рядом с кассой, Пнин пошел обратно на станцию за чемоданом.

Теперь там был другой человек. Прежнего вызвали домой, чтобы срочно отвезти жену в родильный приют. Он должен был вернуться через несколько минут.

— Но мне нужно получить мой чемодан!— воскликнул Пнин.

Заместитель сожалел, но ничем не мог помочь.

— Вот он! — вскричал Пнин, перегибаясь через конторку и указывая.

Это вышло неудачно. Он все еще указывал пальцем, когда сообразил, что требует чужой чемодан. Его указательный палец потерял уверенность. Эта минута сомнения оказалась роковой.

— Мой автобус в Кремону!— воскликнул Пнин.

— Есть еще один, в восемь,— сказал тот.

Что было делать нашему бедному другу? Ужасное положение! Он бросил взгляд в сторону улицы. Автобус только что подошел. Выступление означало лишние пятьдесят долларов. Его рука метнулась к правому боку. Она была тут, слава Богу! Вери уэль! Он не наденет черного костюма — вот и все. Он захватит чемодан на обратном пути. За свою жизнь он бросил, растерял, похерил множество более ценных вещей. Энергично, почти что беззаботно Пнин сел в автобус.

Не успел он проехать и нескольких городских кварталов на этом новом этапе своего путешествия, как в голове у него мелькнуло страшное подозрение. С той минуты, как он был разлучен с чемода-

ном, кончик его левого указательного пальца то и дело чередовался с ближайшим краем правого локтя на страже драгоценного содержимого внутреннего кармана пиджака. Вдруг он резко выхватил его. Это было сочинение Бетти.

Издавая то, что он считал международными выражениями тревоги и мольбы, Пнин ринулся со своего сиденья. Шатаясь, он добрался до выхода. Одной рукой водитель угрюмо выдоил пригоршню монет из своей машинки, возвратил ему стоимость билета и остановил автобус. Бедный Пнин оказался в центре незнакомого города.

Он был не так крепок, как это можно было предположить, судя по его мощной, выпуклой груди, и волна безнадежного утомления, которая внезапно захлестнула его неустойчивое тело, как бы отделяя его от действительности, была ощущением ему не вовсе незнакомым. Он оказался в сыром, зеленом, лиловатом парке формально-погребального вида, с преобладанием сумрачных рододендронов, глянцевитых лавров, опрысканных тенистых деревьев и скошенных газонов; и едва он повернул в аллею, обсаженную каштанами и дубами, которая — как ему отрывисто сообщил водитель автобуса — вела назад на железнодорожную станцию,— как это жуткое чувство, эти мурашки нереальности одолели его окончательно. Может быть, он что-то не то съел? Этот пикуль с ветчиной? Или то была какая-то таинственная болезнь, которой ни один из его докторов еще не обнаружил, спрашивал себя мой приятель. Я тоже хочу это понять.

Не знаю, замечено ли кем-нибудь прежде, что одна из главных особенностей жизни — обособленность. Без покрова плоти, окутывающего нас, мы умираем. Человек существует лишь постольку, поскольку он отделен от своего окружения. Череп — это шлем астронавта. Оставайся в нем, иначе погибнешь. Смерть есть разоблачение, смерть — это приобщение. Чудесно, может быть, смешаться с пейзажем, но это конец хрупкого «я». Чувство, которое испытывал Пнин, чем-то очень напоминало такое разоблаченье, такое приобщенье. Он ощущал себя пористым и уязвимым. Он обливался потом. Он был испуган. Каменная скамья среди лавров спасла его от падения на панель. Была ли эта схватка сердечным припадком? Сомневаюсь. В настоящую минуту я его врач, так что позволю себе повторить, что я сомневаюсь в этом. Мой пациент был одним из тех странных и несчастливых людей, которые следят за своим сердцем («полым, мускульным органом», по мерзкому определению «Нового Университетского Словаря Уэбстера», лежавшего в осиротевшем чемодане Пнина), с брезгливым страхом, с нервным отвращением, с болезненной ненавистью, как если бы оно было каким-то сильным, слизистым, неприкасаемым чудовищем, паразитом, которого, увы, приходится терпеть. Изредка, когда озадаченные его шатким и спотыкающимся пульсом, доктора исследовали его более тщательно, кардиограф чертил баснословные горные кряжи и указывал на дюжину роковых болезней, исключавших одна другую. Он боялся дотрагиваться до собственного запястья. Он никогда не пытался уснуть на левом боку, даже в те гнетущие часы ночи, когда бессонный страдалец мечтает о третьем боке, испробовав те два, что у него есть.

И вот теперь, в парке Уитчерча, Пнин испытывал то, что он уже испытал 10 августа 1942 года, и 15 февраля (день его рождения) 1937 года, и 18 мая 1929-го, и 4 июля 1920-го — именно, что отвратительный автомат, которому он дал приют, обнаруживал собственное сознание, и не только грубо зажил своей, отдельной от него жизнью, но причинял ему паническое страдание. Он прижал свою бедную лысую голову к каменной спинке скамьи и стал вспоминать все прошлые случаи такого же беспокойства и отчаянья. Не воспаление ли это легких на сей раз? Два дня тому назад он продрог до костей на одном из тех славных американских сквозняков, какими хозяин ветреным вечером угощает своих гостей после второй рюмки. Внезапно

Пнин (уж не умирает ли он?) заметил, что соскальзывает назад, в свое детство. Это ощущение обладало той драматической остротой ретроспективных подробностей, которая, говорят, бывает у утопающих,— особенно в старом Русском Флоте, — феномен удушья, который один маститый специалист по психоанализу, коего имя я запамятовал, объясняет как подсознательно возобновленный шок, испытанный при крещении, что вызывает взрыв промежуточных воспоминаний о событиях между первым погружением и последним. Все это произошло мгновенно, но нет возможности передать это короче, чем чередою слов.

Пнин происходил из почтенной, довольно состоятельной петербургской семьи. Его отец, д-р Павел Пнин, окулист с солидной репутацией, однажды имел честь лечить Льва Толстого от конъюнктивита. Мать Тимофея, хрупкая, нервная, маленькая, коротко остриженная, с осиной талией, была дочерью некогда знаменитого революционера Умова и рижской немки. В полуобморочном состоянии он увидел приближающиеся глаза матери. Было воскресенье в середине зимы. Ему было одиннадцать лет. Он готовил уроки на понедельник для классов в Первой гимназии, когда его тело прохватил странный озноб. Мать поставила ему градусник, посмотрела на свое дитя в каком-то остолбенении и немедленно послала за лучшим другом мужа, педиатром Белочкиным. Это был небольшого роста человек с густыми бровями, короткой бородкой и остриженой бобриком головой. Откинув полы сюртука, он сел на край Тимофеевой постели. Началась гонка между пузатыми золотыми часами доктора и пульсом Тимофея (который легко победил). Затем грудь Тимофея была обнажена, и Белочкин прижался к нему ледяной наготой уха и наждачной головой. Подобно плоской подошве какой-то одноножки, ухо передвигалось по всей спине и груди Тимофея, приклеиваясь к тому или другому месту на его коже и топая дальше. Как только доктор ушел, мать Тимофея и дюжая горничная с английскими булавками во рту упаковали несчастного маленького пациента в компресс, похожий на смирительную рубашку. Он состоял из слоя намоченного полотна, более толстого слоя гигроскопической ваты и еще одного — из тесной фланели с дьявольски липкой клеенкой—цвета мочи и лихорадки, — лежавшей между неприятно-неожиданным холодом полотна, касавшегося кожи, и мучительно скрипучей ватой, вокруг которой был намотан наружный слой фланели. Тимоша — бедная куколка в коконе — лежал под грудой добавочных одеял; они ничего не могли поделать с разрастающимся ознобом, который полз по ребрам с обеих сторон его окоченевшего хребта. Он не мог закрыть глаза, потому что саднило веки. Зрение было сплошным овалом страдания с косыми уколами света; привычные формы стали рассадниками дурных видений. Возле его постели стояла четырехстворчатая ширма полированного дерева с выжженными рисунками, изображавшими верховую тропу, словно войлоком устланную палой листвой, пруд с водяными лилиями, старика, сутуло сидящего на скамье, и белку, державшую в передних лапках красноватый предмет. Тимоша, методичный мальчик, часто пытался выяснить, что бы это могло быть (орех? сосновая шишка?), и теперь, когда ему нечего было больше делать, он положил себе разрешить эту унылую загадку, но жар, гудевший в голове, потоплял всякое усилие в панической боли. Еще более тягостным был его поединок с обоями. Он и прежде замечал, что комбинация, состоявшая в вертикальном направлении из трех разных гроздей лиловых цветов и семи разных дубовых листьев, повторялась несколько раз с успокоительной правильностью; но сейчас ему мешал тот неотвязный факт, что он не мог найти систему сцеплений и разъединений в горизонтальном направлении узора; что такое повторенье существовало, доказывалось тем, что он мог выхватить там и сям, по всей стене от постели до шкапа и от печки до двери, появление то того, то другого элемента

серии; но когда он пытался путешествовать вправо или влево от любой произвольно выбранной группы из трех соцветий и семи листьев, он тотчас терялся в бессмысленной путанице рододендрона и дуба. Было очевидно, что ежели злонамеренный затейник — разрушитель рассудка, сообщник лихорадки — спрятал ключ к узору с таким чудовищным тщанием, — то ключ этот должен быть так же драгоценен, как сама жизнь, а если он отыщется, то к Тимофею Пнину возвратится его повседневное здоровье, повседневный мир; и эта ясная — увы, слишком ясная — мысль заставляла его упорно продолжать борьбу.

Чувство, что он опаздывает на какое-то свидание, столь же ненавистное и неизбежное, как гимназия, обед или время идти спать, заставляло его неуклюже торопиться и еще больше затрудняло его исследование, постепенно переходившее в бред. Листва и цветы, нисколько не нарушая своих сложных сплетений, казалось, отделились цельной зыблящейся группой от бледно-голубого фона, который, в свою очередь, переставал быть плоской бумагой и выгибался вглубь, пока сердце зрителя едва не разрывалось в ответном расширенье. Он мог еще различить сквозь отдельные гирлянды некоторые наиболее живучие детали детской — например, лакированную ширму, блик стакана, латунные шары кровати, но они были еще меньшим препятствием для дубовых листьев и роскошных цветов, чем отраженье обиходного предмета в оконном стекле для созерцания наружного пейзажа сквозь то же стекло. И хотя жертва и свидетель этих призраков лежал закутанный в постели, он, в согласии с двойственной природой своего окружения, одновременно сидел на скамье в зеленолиловом парке. На один тающий миг он почувствовал, что держит, наконец, ключ, который искал; но издалека прилетевший шелестящий ветер, мягко нарастая по мере того как усиливал колыханье рододендронов — теперь уже облетевших, слепых,— расстроил рациональный узор, некогда окружавший Тимофея Пнина. Он был жив, и этого было достаточно. Спинка скамьи, к которой он привалился, была столь же реальна, как его одежда, бумажник или дата Великого Московского Пожара — 1812.

Серая белка, удобно сидевшая перед ним на задних лапках на земле, грызла косточку персика. Ветер передохнул и вот снова зашелестел листвой.

После припадка он был слегка испуган и неустойчив, но убеждал себя, что ежели б то был настоящий сердечный приступ, он, конечно, в большей степени чувствовал бы себя расстроенным и встревоженным, и это окольное рассуждение окончательно рассеяло его страх. Было двадцать минут пятого. Он высморкался и зашагал к станции.

Первый служащий вернулся.

— Вот ваш чемодан, — сказал он весело.—Жаль, что вы пропустили Кремонский автобус.

— По крайней мере,— и сколько величавой иронии наш незадачливый друг постарался вложить в это «по крайней мере»,— я надеюсь, ваша жена благополучна?

— Все в порядке. Придется подождать до завтра.

— Ну, что ж,— сказал Пнин,— укажите мне, где находится публичный телефон?

Служащий показал карандашом так далеко прямо и вбок, как только мог, не покидая своего закутка. Пнин с чемоданом в руке пошел было, но его позвали обратно. Карандаш теперь был направлен в сторону улицы.

— Вон видите, там два парня нагружают фургон? Они как раз сейчас едут в Кремону. Скажете, что вы от Боба Горна. Они вас возьмут.

3

Некоторые люди — в их числе я — терпеть не могут счастливых развязок. Мы чувствуем себя обманутыми. Зло в порядке вещей. Механизм рока не должен заедать. Лавина, останавливающаяся на своем пути в нескольких шагах над съежившимся селением, ведет себя не только противоестественно, но и неэтично. Если б я читал об этом кротком пожилом человеке, вместо того чтобы писать о нем, я бы предпочел, чтобы он по прибытии в Кремону нашел, что его лекция назначена не на эту пятницу, а на следующую. Однако в действительности он не только благополучно добрался, но еще и поспел к обеду: сначала фруктовый коктейль, потом мятное желе к безымянному жаркому, затем шоколадный сироп к сливочному мороженому. А вскоре после этого, наевшись сладкого, надев свой черный костюм и пожонглировав тремя рукописями, которые рассовал по карманам пиджака с тем, чтобы всегда иметь среди них нужную ему (таким образом предупреждая несчастный случай с математической безусловностью), он сидел на стуле возле кафедры, в то время как — на кафедре — Джудит Клайд, неопределенного возраста блондинка в аквамариновом искусственного шолка платье, с большими плоскими щеками, подкрашенными в прекрасный карамельно-розовый цвет, и с парой блестящих глаз, тонущих в голубом безумии позади пенснэ без оправы, представляла лектора.

— Сегодня, — сказала она, — перед нами выступит... это, кстати, наша третья пятница; в прошлый раз, как все вы помните, все мы получили большое удовольствие, слушая лекцию профессора Мура об агрикультуре в Китае. Сегодня здесь у нас, говорю это с гордостью, уроженец России и гражданин нашей страны, профессор — сейчас, боюсь, будет заминка — профессор Пан-нин. Надеюсь, я произнесла правильно. Конечно, его едва ли нужно представлять, и все мы счастливы видеть его. У нас впереди долгий вечер, долгий и многообещающий вечер, и я уверена, что всем вам хочется, чтобы хватило времени задать ему потом вопросы. Между прочим, мне сказали, что его отец был домашним доктором Достоевского и что сам он немало поездил по обе стороны Железного Занавеса. Поэтому я не стану отнимать у вас больше драгоценного времени, а только прибавлю несколько слов о нашей лекции в следующую пятницу в рамках этой программы. Я уверена, что все вы будете в восторге, узнав, что всем нам предстоит дивный сюрприз. Наш следующий лектор — мисс Линда Лэйсфильд, автор замечательных стихов и прозы. Все мы знаем, что она пишет стихи, прозу и рассказы. Мисс Лэйсфильд родилась в Нью-Йорке. Ее предки с обеих сторон сражались за обе стороны в Революционную войну. Еще студенткой она написала свое первое стихотворение. Многие ее стихотворения — по крайней мере, три — были опубликованы в сборнике «Отклики: Сто стихотворений американских женщин о любви». В 1922 году она получила премию от...

Но Пнин не слушал. Легкая зыбь, вызванная его недавним припадком, владела его зачарованным вниманием. Это длилось всего несколько сердечных ударов, с лишней систолой там и сям — последние, безвредные отзвуки, — и растворилось в прозаической действительности, когда почтенная председательница пригласила его на кафедру; но пока это длилось — каким ясным было видение! В середине переднего ряда он видел одну из своих прибалтийских теток, в жемчугах, кружевах и белокуром парике, надевавшимся ею на все спектакли знаменитого провинциального актера Ходотова, которому она поклонялась издали, покуда не помешалась. Рядом с нею, застенчиво улыбаясь, наклонив гладкую темноволосую голову, сияя Пнину нежным карим взором из-под бархатных бровей, сидела, обмахиваясь программкой, покойная его возлюбленная. Убитые, забытые, неотмщенные, неподкупные, бессмертные — множество старых его

друзей было рассеяно в этой туманной зале среди новых ему людей, вроде мисс Клайд, скромно возвратившейся на свое место в переднем ряду. Ваня Бедняшкин, расстрелянный красными в 1919 году в Одессе за то, что отец его был либерал, из глубины залы радостно подавал знаки своему бывшему однокашнику. А в неприметном месте д-р Павел Пнин и его взволнованная жена — оба слегка расплывающиеся, но в общем чудесно восстановленные из своего смутного распада, — смотрели на своего сына с той же всепожирающей страстью и гордостью, с какой они смотрели на него в тот вечер 1912 года, когда на школьном празднике, посвященном годовщине поражения Наполеона, он продекламировал (очкастый мальчик, совсем один на эстраде) стихотворение Пушкина.

Краткое видение пропало. Старая мисс Херринг, профессор истории в отставке, автор книги «Россия пробуждается» (1922), перегибалась через одного или двух промежуточных членов собрания, чтобы сказать комплимент мисс Клайд по поводу ее речи; меж тем как из-за спины этой дамы другая сияющая старуха просовывала в поле ее зрения пару увядших, беззвучно хлопающих рук.

Глава вторая

1

Знаменитые колокола Уэйндельского колледжа вызванивали свою утреннюю мелодию.

Лоренс Дж. Клементс, Уэйндельский профессор, единственным популярным курсом которого была «Философия жеста», и его жена Джоана (Пендельтон, выпуск 1930 года), недавно расстались с дочерью, лучшей студенткой отца: Изабелла, не закончив курса, вышла замуж за окончившего Уэйндель инженера, служившего в отдаленном западном штате.

Звон колоколов был как музыка при серебристом солнце. Обрамленный широким окном городок Уэйндель — белые дома, черный узор веток — был, как на детском рисунке, вдвинут в примитивную перспективу, лишенную пространственной глубины, посреди грифельно-серых холмов; все было красиво убрано инеем; блестящие части запаркованных машин блестели; старый скотч-терьер, принадлежавший мисс Дингволь, похожий на цилиндрического кабанчика, отправился на свою обычную прогулку по Воррен Стрит, вниз по Спелман Авеню и обратно; однако никакие добрососедские отношения, ни выхоженный ландшафт, ни переливы звона не могли скрасить времени года; через две недели, переварив паузу, академический год вступал в самую зимнюю фазу — весенний семестр, и Клементсы испытывали чувство уныния, тревоги и одиночества в своем милом, старом, насквозь продуваемом доме, который теперь, казалось, висел на них, как дряблая кожа и болтающаяся одежда на каком-нибудь дураке, который вдруг потерял треть своего веса. В конце концов Изабелла была так молода, и так рассеянна, и они в сущности не знали о ее новой родне ничего, если не считать свадебного набора марципанных физиономий в наемном зале, с воздушной невестой, такой беспомощной без своих очков.

Колокола под энергичным управлением д-ра Роберта Треблера, активного сотрудника музыкального отделения, все еще в полную силу звучали в райской вышине, а Лоренс, светловолосый, лысоватый, с нездоровой полнотой мужчина, за скудным завтраком из апельсинов и лимонов бранил главу Французского отделения, одного из приглашенных Джоаною к ним на вечер гостей в честь профессора Энтвисла из Гольдвинского университета. «Почему, собственно, —

кипел он, — тебе понадобилось звать этого скучнейшего Блоренджа, эту мумию, этот штукатурный столп просвещения?»

— Я л ю б л ю Анну Блорендж, — сказала Джоана, кивками подтверждая свою симпатию. «Вульгарная старая ехидна!» — воскликнул Лоренс. «Трогательная старая ехидна», — пробормотала Джоана, — и тут только д-р Треблер перестал звонить, и на смену ему зазвонил телефон в прихожей.

С профессиональной точки зрения, искусство рассказчика вставлять в рассказ телефонные разговоры все еще далеко отстает от умения передавать диалоги, ведущиеся из комнаты в комнату или из окна в окно через узкую голубую улочку в старинном городке, где так драгоценна вода и так несчастны ослики, где торгуют коврами, где минареты, иностранцы и дыни, и звонкое утреннее эхо. Когда Джоана своим бодрым долголягим шагом подошла к настойчивому аппарату, прежде чем он замолчал, и сказала «алло» (брови подняты, глаза бродят), глухая тишина приветствовала ее; слышен был только непринужденный звук ровного дыхания; потом голос дышавшего произнес с уютным иностранным акцентом: «Извините, одну минутку», — это было сказано как-то между прочим, и он продолжал дышать и как будто покрякивать и кряхтеть или даже слегка вздыхать под аккомпанимент шороха перелистываемых маленьких страниц.

— Алло! — повторила она.

— Вы, — осторожно предположил голос, — миссис Файр?

— Нет,— сказала Джоана и повесила трубку.— А кроме того, — продолжала она, проворно вернувшись на кухню и обращаясь к мужу, который пробовал бэкон, приготовленный ею для себя, — ты же не станешь отрицать, что Джэк Коккерель считает Блоренджа первоклассным администратором.

— Кто это был?

— Кто-то спрашивал миссис Фойер или Фэйер. Послушай, если ты намеренно пренебрегаешь всем, что Джордж... (Д-р О. Дж. Хельм, их домашний врач.)

— Джоана, — сказал Лоренс, который почувствовал себя гораздо лучше после этого перламутрового ломтика сала, — Джоана, дорогая, помнишь, ты сказала вчера Маргарите Тэер, что ищешь квартиранта?

— О, Боже, — сказала Джоана, и тут телефон услужливо зазвонил снова.

— Очевидно, — сказал как ни в чем не бывало тот же голос, возобновляя разговор, — я ошибочно воспользовался именем посредника. Я соединен с миссис Клемент?

— Да, это миссис Клементс, — сказала Джоана.

— Говорит профессор, — последовал пресмешной коротенький взрыв. — Я веду русские классы. Миссис Файр, которая в настоящее время служит в библиотеке по часам...

— Да, миссис Тэер, знаю. Что ж, хотите взглянуть на комнату?

Да, он хотел бы. Может ли он придти посмотреть ее приблизительно через полчаса? Да, она будет дома. Она безо всякой нежности положила трубку на рычаг.

— Кто на сей раз? — спросил ее муж, оборачиваясь (пухлая веснущатая рука на перилах) с лестницы по пути наверх, в безопасность своего кабинета.

— Пинг-понговый мячик, с трещиной. Русский.

— Так это профессор Пнин! — воскликнул Лоренс.— «Еще бы, как не знать,— бесценный перл...». Нет, я решительно отказываюсь жить под одной крышей с этим монстром.

Он свирепо протопал наверх. Она крикнула ему вдогонку:

— Лор, ты закончил вчера свою статью?

— Почти.— Он был уже за лестничным поворотом — она слыша-

ла, как скрипела и потом ударяла по перилам его ладонь.— Сегодня кончу. Сначала я должен приготовить этот проклятый Э. С.-экзамен.

Это означало Эволюция Смысла — самый важный его курс (на котором числилось двенадцать человек, даже отдаленно не напоминавших апостолов); он открывался и должен был закончиться фразой, которой предстояло без конца цитироваться в будущем: «Эволюция смысла в некотором смысле является эволюцией бессмыслицы».

2

Полчаса спустя Джоана бросила взгляд поверх полумертвых кактусов в окне застекленного крыльца и увидела мужчину в макинтоше, без шляпы, с головою, похожей на отполированный медный глобус, бодро звонившего у парадной двери великолепного кирпичного особняка ее соседки. Старый скотч-терьер стоял рядом с ним с таким же доверчивым выражением как он. Мисс Дингволь вышла со шваброю в руке, впустила медлительного, исполненного достоинства пса, и направила Пнина к дощатой резиденции Клементсов.

Тимофей Пнин уселся в гостиной, заложив ногу на ногу «по-американски» и пустился в ненужные подробности. Curriculum vitae, сжатое до размеров ореховой скорлупы (кокосовой). Родился в Петербурге в 1898 году. Родители умерли от тифа в 1917-м. Уехал в Киев в 1918-м. Пять месяцев был в Белой Армии, сначала «полевым телефонистом», потом в канцелярии военной разведки. В 1919-м бежал из захваченного красными Крыма в Константинополь. Закончил университетское образование...

— Слушайте, я ведь была там ребенком как раз в том же самом году,— обрадованно сказала Джоана.— Мой отец поехал в Турцию по поручению правительства и взял нас с собой. Мы могли встретиться! Я помню слово «вода». Там еще был сад с розами...

— Вода по-турецки «су»,— сказал Пнин, лингвист поневоле, и вернулся к своему увлекательному прошлому: — Закончил университетское образование в Праге. Был связан с различными научными учреждениями. Затем... Ну, кратко говоря: с 1925-го обитал в Париже, покинул Францию в начале Гитлеровской войны. Теперь находится здесь. Американский гражданин. Преподает русский язык и тому подобное в Вандальском университете. Рекомендации можно получить от Гагена, главы Германского отделения. Или от университетского Дома Холостых Преподавателей.

Ему там неудобно?

— Слишком много людей,— сказал Пнин.— Назойливых людей. Между тем как мне теперь совершенно необходимо полное уединение. — Он кашлянул в кулак с неожиданно гулким звуком (почему-то напомнившим Джоане профессионального донского казака, с которым ее однажды познакомили), и затем пустился напропалую: — Должен предупредить вас, мне нужно вырвать все зубы. Это отвратительная операция.

— Ну, пойдемте наверх,— бодро сказала Джоана.

Пнин заглянул в комнату Изабеллы с розовыми стенами и белыми воланами. Только что пошел снег, хотя небо было из чистой платины, и медленный искристый снегопад отражался в безмолвном зеркале. Обстоятельный Пнин осмотрел «Девушку с кошкой» Хейкера над кроватью и «Запоздавшего малыша» Ханта над книжной полкой. Потом он подержал ладонь на небольшом расстоянии от окна.

— Температура ровная?

Джоана бросилась к радиатору.

— Раскаленный,— сообщила она.

— Я спрашиваю — нет ли воздушных течений?

— О да, у вас будет масса воздуха. А здесь ванная — маленькая, но зато полностью ваша.

— Душа нет? — осведомился Пнин, посмотрев наверх.— Может быть, так даже лучше. Мой друг Шато, профессор Колумбийского университета, однажды сломал ногу в двух местах. Теперь я должен подумать. Какую плату вы собираетесь назначить? Я спрашиваю это, потому что не дам больше одного доллара в день — не считая, разумеется, пансиона.

— Хорошо,— сказала Джоана с своим приятным, быстрым смешком.

В тот же день Чарльз Макбет, один из студентов Пнина («По-моему, сумасшедший — судя по его сочинениям» — говаривал Пнин), с энтузиазмом перевез пнинскую поклажу в патологически лиловатой машине без левого крыла, и после раннего обеда в недавно открытом и не очень преуспевающем ресторанчике «Яйцо и Мы», куда Пнин ходил из чистой жалости к неудачникам, наш друг занялся приятным делом пнинизации своего нового жилища. Отрочество Изабеллы ушло вместе с нею, а если и не совсем, то остатки его искоренила мать, но каким-то образом следы ее детства все-таки сохранились, и прежде чем найти наиболее подходящие места для своей сложной солнечной лампы, огромной пишущей машинки с русским алфавитом, в разбитом гробу, подправленном клейкой лентой, пяти пар прекрасных, курьезно маленьких башмаков с вросшими в них сапожными колодками, кофейной мельницы-кипятильника — хитрой штуковины, которая несколько уступала той, что взорвалась в прошлом году, четы будильников, каждую ночь бегавших взапуски, и семидесяти четырех библиотечных книг, главным образом старых русских журналов, в прочных переплетах Б(иблиотеки) У(эйндельского) К(олледжа),— Пнин деликатно выселил на стул на лестничной площадке полдюжины осиротевших томов, как-то «Птицы у себя дома», «Счастливые дни в Голландии» и «Мой первый словарь (Свыше 600 иллюстраций животных, человеческого организма, ферм, пожаров, научно подобранных)», а также одинокую деревянную бусину с дыркой посередине.

Джоана, которая, быть может, злоупотребляла словом «трогательный», объявила, что она намерена пригласить этого трогательного ученого выпить с их гостями, на что ее муж возразил, что он тоже трогательный ученый и что он уйдет в кинематограф, если она исполнит свою угрозу. Однако, когда Джоана поднялась к Пнину со своим приглашением, он отклонил его, сказав напрямик, что он решил больше не употреблять спиртного. Три супружеские пары и Энтвисль собрались около девяти, и к десяти вечеринка была в полном разгаре,— как вдруг Джоана, беседуя с хорошенькой Гвен Коккерель, заметила Пнина в зеленом свитере, который стоял в дверях, ведущих к подножию лестницы, и держал высоко, так, чтобы она увидела, стакан. Она поспешила к нему — и с ней едва не столкнулся муж, рысью мчавшийся через комнату, чтобы остановить, задушить, уничтожить Джэка Коккереля, главу Английского отделения, который, стоя спиной к Пнину, забавлял миссис Гаген и миссис Блорендж своим знаменитым номером — он был один из лучших, если не лучший, имитатор Пнина на кампусе. Между тем его модель говорила Джоане: «В ванной нет чистого стакана, и имеются другие неудобства. Дует от пола и дует от стен». Но д-р Гаген, приятный, прямоугольный старик, тоже заметил Пнина и радостно приветствовал его, а в следующую минуту Пнин, получив взамен своего стакана стакан виски с содой и льдом, был представлен профессору Энтвислу.

— Здравствуйте-как-поживаете-хорошо-спасибо, — отбарабанил Энтвисль, превосходно подражая русской речи,— он и в самом деле напоминал добродушного царского полковника в штатском.— Однажды вечером в Париже,— продолжал он, поблескивая глазами,— в кабаре «Уголок» эта декларация убедила пирующую компанию русских в том, что я их соотечественник, изображающий, видите ли, американца.

— Через два-три года,— сказал Пнин, прозевав переднюю подножку, но вскакивая на заднюю,— меня тоже будут принимать за американца,— и все, кроме профессора Блоренджа, расхохотались.

— Мы достанем для вас электрический обогреватель, — конфиденциальным шепотом сказала Пнину Джоана, подавая ему оливки.

— Какой марки электрический обогреватель? — подозрительно спросил Пнин.

— Посмотрим. Других жалоб нет?

— Да — шум мешает,— сказал Пнин.— Я слышу каждый, просто каждый звук снизу, но, по-моему, теперь не место обсуждать это.

3

Гости начали расходиться. Пнин поплелся наверх с чистым стаканом в руке. Энтвисль и хозяин вышли на крыльцо последними. В черной ночи плыл мокрый снег.

— Какая жалость,— сказал профессор Энтвисль,— что мы не можем соблазнить вас навсегда переехать в Гольдвин. У нас Шварц и старик Крэйтс, оба горячие ваши поклонники. У нас есть настоящее озеро. У нас есть все что хотите. У нас даже есть свой профессор Пнин.

— Знаю, знаю,— сказал Клементс,— но эти предложения, которые я теперь то и дело получаю, приходят слишком поздно. Я намерен скоро уйти в отставку, а до тех пор предпочитаю оставаться в своей затхлой, но привычной дыре. Как вам понравился,— он понизил голос,— мсье Блорендж?

— О, он производит впечатление славного малого. Однако должен сказать, что кое в чем он напоминает мне того, вероятно, мифического главу Французского отделения, который полагал, что Шатобриан — это знаменитый повар.

— Осторожно,— сказал Клементс.— Первый раз этот анекдот был рассказан о Блоренджe, и так оно и было.

4

На другое утро Пнин героически отправился в город, прогуливая свою трость на европейский манер (вверх-вниз, вверх-вниз) и подолгу задерживая взор на разных предметах, стараясь философски вообразить, каково будет увидать их снова после пытки и вспоминать, какими они казались ему сквозь призму ее ожидания. Через два часа он тащился обратно, опираясь на свою трость и ни на что не глядя. Горячий прилив боли мало-помалу вытеснял ледяную одеревенелость от наркоза во рту — оттаивавшем, еще полумертвом и отвратительно истерзанном. После этого он несколько дней был в трауре по интимной части своего организма. Он с удивлением понял, что очень любил свои зубы. Его язык — толстый, гладкий тюлень,— бывало, так радостно шлепался и скользил по знакомым утесам, проверяя контуры подбитого, но все еще надежного царства, ныряя из пещеры в затон, карабкаясь на острый уступ, ютясь в ущелье, находя лакомый кусочек водоросли в той же старой расселине; теперь же не оставалось ни единой вехи — только большая темная рана, terra incognita десен, исследовать которую не позволяли страх и отвращение. И когда протезы были поставлены, получился как бы бедный ископаемый череп, которому вставили совершенно чужие оскаленные челюсти.

Согласно плану, лекций у него не было; не присутствовал он и на экзаменах, которые за него давал Миллер. Прошло десять дней — и вдруг он начал радоваться этой новой игрушке. Это было откровение, восход солнца, это был крепкий рот, полный дельной, алебастровой, гуманной Америки. Ночью он хранил свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, где жемчужно-розовое, оно улыбалось самому себе, как некий чудный представитель глубоководной флоры.

Большой труд о Старой России, дивная мечта, смесь фольклора, поэзии, социальной истории и petite histore, которую он любовно вынашивал вот уже десять приблизительно лет, наконец, показалась достижимой теперь, когда головные боли исчезли и появился этот новый амфитеатр из полупрозрачного пластика, как бы подразумевающий рампу и спектакль. С началом весеннего семестра его класс не мог не заметить магической перемены, когда он сидел, кокетливо постукивая резинкой карандаша по этим ровным, слишком ровным, резцам и клыкам, в то время как студент переводил из «Русского языка для начинающих» старого, но крепкого профессора Оливера Брэдстрита Манна (на самом деле от начала до конца написанного двумя тщедушными тружениками, Джоном и Ольгой Кроткими, ныне покойными) предложение вроде «Мальчик играет со своей няней и своим дядей». А однажды вечером он подкараулил Лоренса Клементса, который пытался было проскользнуть наверх в свой кабинет, и с бессвязными восторженными восклицаниями принялся демонстрировать красоту предмета, легкость, с которой его можно было вынимать и снова вставлять, и стал убеждать пораженного, но дружелюбного Лоренса завтра же первым делом пойти и удалить все зубы.

— Вы станете, как я, совершенно обновленным человеком,— кричал Пнин.

К чести Лоренса и Джоаны надо сказать, что они довольно скоро оценили Пнина по его уникальному пнинскому достоинству, несмотря на то, что он был скорее род домового, чем квартирант. Он что-то непоправимо испортил в своем новом обогревателе и мрачно сказал, что это ничего, все равно теперь уже скоро весна. У него была раздражающая манера утром стоять на лестнице и усердно чистить там свою одежду — щетка тренькала о пуговицы — по крайней мере минут по пять каждый Божий день. У него был страстный роман со стиральной машиной Джоаны. Несмотря на запрещение подходить к ней, он то и дело попадался с поличным. Забывая всякое приличие и осторожность, он, бывало, скармливал ей все, что подворачивалось под руку: свой носовой платок, кухонные полотенца, груду трусиков и рубашек, контрабандой принесенных вниз из своей комнаты,— и все ради удовольствия понаблюдать сквозь ее иллюминатор за тем, что походило на безконечное кувыркание дельфинов, больных вертежом. Как-то раз в воскресенье, убедившись, что он один, он не мог удержаться, чтоб не дать, из чисто научного любопытства, мощной машине поиграть парой парусиновых туфель на резиновой подошве, измазанных глиной и хлорофилом; туфли затопотали с ужасным нестройным грохотом, как армия, переходящая через мост, и вернулись без подошв, а Джоана появилась в дверях своего будуарчика позади буфетной и печально сказала: «Опять, Тимофей?». Но она прощала ему и любила сидеть с ним за кухонным столом, шелкая орехи или попивая чай. Дездемоне, старой чернокожей поденщице, которая приходила по пятницам и с которой одно время ежедневно беседовал Бог («Дездемона,— говорил мне Господь,— этот твой Джордж нехороший человек»), случилось мельком увидеть Пнина, нежившегося в нездешних сиреневых лучах своей солнечной лампы, когда на нем не было ничего, кроме трусиков, темных очков и ослепительного православного креста на широкой груди,— и с тех пор она уверяла, что он святой. Однажды Лоренс, войдя в свой кабинет, потайную и заветную нору, хитроумно выкроенную из чердака, с негодованием обнаружил там мягкий свет и жирный затылок Пнина, который, расставив щуплые ноги, преспокойно листал страницы в углу: «Извините, я здесь только «пасусь»,— кротко заметил незваный гость (английский которого обогащался с поразительной быстротой), бросив взгляд через приподнятое плечо; но почему-то в тот же день случайная ссылка на редкого автора, мелькнувший намек, молча узнанный на полпути к некой идее, отважный парус, обозначившийся на горизонте, незаметно привел их

обоих к нежной духовной гармонии, так она, оба они чувствовали себя в своей тарелке только в теплом мире подлинной науки. Среди людей встречаются дифференциалы и интегралы, и Клементс с Пниным принадлежали ко второй разновидности. С того времени они часто вместе рассуждали, когда встречались и останавливались на порогах, на лестничных площадках, на двух разных уровнях ступеней (меняясь уровнями и снова оборачиваясь друг к другу), или когда в противоположных направлениях шагали по комнате, которая в тот момент была для них всего лишь espace meuble, по определению Пнина. Вскоре выяснилось, что Тимофей был настоящей энциклопедией русских пожиманий плечами и покачиваний головой, что он классифицировал их и мог кое-чем пополнить Лоренсов каталог философской интерпретации жестов, зарисованных и незарисованных, национальных и областных. Очень бывало приятно наблюдать, как эти двое обсуждают какую-нибудь легенду или религию: Тимофей — расцветая амфорическим жестом, а Лоренс рубя рукой воздух. Лоренс даже снял на пленку то, что Тимофей считал основой русских «кистевых жестов»: Пнин, в теннисной рубашке, с улыбкой Джоконды на губах, демонстрирует движения, лежащие в основе таких русских глаголов (употребляемых применительно к рукам), как *махнуть, всплеснуть, развести:* свободный, одной рукой сверху вниз, отмах усталой уступки; драматический, обеими руками, всплеск изумленного отчаяния; и «разъединительное» движение — руки расходятся в стороны, означая беспомощную покорность. А в заключение, очень медленно, Пнин показал, как в международном жесте «грозящего пальца» всего полоборота пальца, субтильные, как фехтовальный выверт кисти, превратили русский торжественный символ — указывание вверх («Судия Небесный видит тебя!») — в немецкое наглядное изображение палки — «ужо я тебе!». «Однако, — добавил объективный Пнин,—русская метафизическая полиция тоже очень хорошо может ломать физические кости».

Извинившись за свой «небрежный туалет», Пнин показал пленку группе студентов, и Бетти Блисс, аспирантка, работавшая в Отделении Сравнительной Литературы, где Пнин ассистировал д-ру Гагену, объявила, что Тимофей Павлович просто вылитый Будда из восточной фильмы, которую она смотрела в Азиатском отделении. Эта Бетти Блисс, полная, по-матерински добрая девушка лет двадцати девяти, сидела мягкой занозой в стареющей плоти Пнина. Десятью годами раньше у нее был любовник — красивый негодяй, который бросил ее ради какой-то шлюшки, а потом у нее был затяжной, отчаянно сложный, скорее в духе Чехова, нежели Достоевского, роман с калекой, который теперь был женат на своей сиделке, низкопробной крале. Бедный Пнин колебался. В принципе он не исключал возможности брака. На одном семинаре, после того как все ушли, он, в своем новом зубном великолепии, зашел так далеко, что удержал ее руку на своей ладони и похлопывал ее, пока они сидели вдвоем и обсуждали тургеневское стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы». Она едва могла дочитать до конца, грудь ее разрывалась от вздохов, пойманная рука трепетала. «Тургенев,— сказал Пнин, возвращая ее руку на стол,— должен был валять дурака в шарадах и tableaux vivants для некрасивой, но обожаемой им певицы Полины Виардо, а г-жа Пушкина как-то сказала: «Ты надоедаешь мне своими стихами, Пушкин», а жена гиганта, гиганта Толстого — подумать только! — на старости лет предпочла ему глупого музыканта с красным носом!»

Пнин ничего не имел против мисс Блисс. Стараясь мысленно представить себе безмятежную старость, он довольно ясно видел ее приносящей ему плэд или наполняющей его самопищущее перо. Она, несомненно, нравилась ему — но его сердце принадлежало другой.

Кошку, как сказал бы Пнин, в мешке не утаишь. Чтобы объяснить малодушное волнение моего бедного друга однажды вечером в сере-

дине семестра — когда он получил некую телеграмму и потом расхаживал по комнате по меньшей мере минут сорок,— следует заметить, что Пнин не всегда был холост. Клементсы играли в китайские шашки в отсветах комфортабельного камина, когда Пнин с грохотом спустился, поскользнулся и чуть не упал к их ногам подобно просителю в каком-нибудь древнем городе, полном несправедливости, но восстановил равновесие — и все-таки потом наскочил на кочергу и щипцы.

— Я пришел, — сказал он, задыхаясь, — известить вас, вернее, спросить, могу ли я принять гостью в субботу — днем, разумеется. Это моя бывшая жена, ныне д-р Лиза Винд — может быть, вы слыхали о ней в психиатрических кругах.

5

Глаза иных любимых женщин, благодаря случайному сочетанию блеска и разреза, действуют на вас не сразу, не в минуту застенчивого созерцания, а как задержанная и нарастающая вспышка света, когда бессердечная особа отсутствует, а волшебная мука пребывает, и объективы и прожекторы наставлены на вас в темноте. Какими бы ни были глаза Лизы Пниной, ныне Винд, они, казалось, выдавали свою суть — как бриллианты чистой воды — только если вызвать их в воображении, — и тогда пустой, слепой, влажный аквамариновый жар трепетал и внедрялся вам под веки солнечной и морской пылью. На самом деле глаза ее были светлой, прозрачной голубизны, оттененной черными ресницами, с ярко-розовыми уголками, слегка вытянутые к вискам, где от каждого веером разбегались мелкие кошачьи морщинки. У нее были темно-каштановые волосы, вздымавшиеся волной над глянцевитым лбом и розовым и снежным лицом, и она употребляла бледный губной карандаш, и кроме некоторой толстоватости лодыжек и запястий, было бы трудно найти какой-нибудь изъян в ее цветущей, оживленной, элементарной, не особенно холеной красоте.

Пнин в то время молодой, подающий надежды ученый, и она, тогда больше, чем теперь, напоминавшая ясноглазую русалку, а в сущности такая же, встретились в Париже в 1925 году или около того. У него была реденькая темно-русая бородка (теперь, если бы он не брился, проросла бы только седая щетина — бедный Пнин, бедный дикобраз альбинос!), и эта раздвоенная монашеская растительность, увенчанная толстым блестящим носом и невинными глазами, прекрасно резюмировала внешний облик старомодной интеллигентской России. Скромная должность в Аксаковском институте на улице Вер-Вер, наряду с еще одной, в русском книжном магазине Савла Багрова, на улице Гресс, доставляла ему средства к существованию. Лиза Боголепова, студентка-медичка, которой только что исполнилось двадцать лет, совершенно очаровательная в своем черном шелковом джампере и спортивной юбке, уже работала в Медонской санатории, руководимой примечательной и внушительной пожилой дамой, д-ром Розеттой Стоун, одним из самых зловредных психиатров того времени; а сверх того Лиза писала стихи — большей частью запинающимся анапестом; собственно, впервые Пнин увидал ее на одном из тех литературных вечеров, на которых молодые поэты-эмигранты, покинувшие Россию в период своего бледного, неизбалованного созревания, нараспев читали ностальгические элегии, посвященные стране, которая была для них не больше чем печальная стилизованная игрушка, найденная на чердаке безделушка, хрустальный шар, который встряхиваешь, чтобы устроить внутри светозарную метель над миньятюрной елкой и избушкой из папье-маше. Пнин написал ей потрясающее любовное письмо — хранящееся теперь в частной коллекции, — и она прочла его, со слезами жалости к себе, пока поправлялась после глупого романа с литератором, который теперь... Ну, да все равно. Пятеро психоаналитиков, ее

близких друзей, в один голос сказали: «Пнин — и тотчас же ребенок».

Брак мало в чем изменил их образ жизни — только она переехала в мрачноватую квартиру Пнина. Он продолжал свои занятия по славистике, она — свою психодраматическую деятельность и свою лирическую яйцекладку, повсюду кладя яички, как пасхальный кролик, и в этих зеленых и лиловых стихах — о младенце, которого она хочет родить, и о любовниках, которых она хочет иметь, и о Петербурге (с легкой руки Анны Ахматовой) — каждая интонация, каждый образ, каждое сравнение уже были использованы другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир и прямой покровитель искусств, выбрал среди русских парижан влиятельного литературного критика, Жоржика Уранского, и за обед с шампанским в «Уголке» добился того, что милейший Жоржик посвятил свой очередной beuilleton в одной из русских газет высокой оценке Лизиной музы, на каштановые кудри которой он преспокойно возложил венец Анны Ахматовой, после чего Лиза разразилась счастливыми слезами, — ну, прямо как маленькая Мисс Мичиган или Королева Роз в Орегоне. Пнин, не будучи посвященным в это дело, носил сложенную вырезку этих бесстыдных излияний с собою, в своем честном бумажнике, и забавлял своих друзей, наивно читая из нее вслух до тех пор, пока она совершенно не истрепалась. Не был он посвящен и в некоторые более серьезные обстоятельства, и как раз наклеивал остатки статьи в альбом, когда декабрьским днем 1938 года Лиза телефонировала из Медона, чтобы сообщить, что уезжает в Монпелье с человеком, который понимает ее «органическое эго», неким д-ром Эрихом Виндом, и никогда больше с Тимофеем не увидится. Какая-то незнакомая рыжая француженка зашла за Лизиными вещами, сказала: «Ну, что, крыса погребная, нет больше бедной девочки — чтобы taper dessus», — и месяца через два от д-ра Винда приплелось немецкое письмо, полное сочувствия и извинений и заверяющее lieber Herr Pnin в том, что он, д-р Винд, жаждет жениться на «женщине, которая пришла из Вашей жизни в мою». Конечно, Пнин дал бы ей развод с той же готовностью, с какой отдал бы свою жизнь с подрезанными мокрыми стеблями и листом папоротника, да еще завернутые так же изящно, как в пахнущей землей цветочной лавке в Светлое Воскресенье, когда дождь превращает его в серо-зеленое зеркало; но выяснилось, что у д-ра Винда в Южной Америке имеется жена с затейливым умом и поддельным паспортом, которая не хотела, чтобы ее беспокоили до тех пор, пока не оформятся некоторые собственные ее планы. Между тем Новый Свет начал манить и Пнина; из Нью-Йорка большой его друг, профессор Константин Шато, предлагал ему всяческую помощь в переселении. Пнин уведомил д-ра Винда о своих планах и послал Лизе последний номер эмигрантского журнала, где она упоминалась на странице 202-й. Он уже прошел половину пути по тоскливому аду, изобретенному европейскими бюрократами (к вящему удовольствию Советов) для обладателей злосчастных нансенских паспортов, выдаваемых русским эмигрантам (что-то вроде отпускного билета освобожденному из тюрьмы под честное слово), когда в сырой апрельский день 1940 года у его двери раздался резкий звонок, и в квартиру ввалилась Лиза, отдуваясь и как комод неся перед собою семимесячную беременность, сорвала шляпку, скинула туфли, и объявила, что все это было ошибкой, и что отныне она снова верная и законная жена Пнина, готовая следовать за ним куда угодно, хотя бы и за океан, если понадобится. Эти дни были, вероятно, самыми счастливыми в жизни Пнина — это было непрерывное рдение увесистого мучительного блаженства — и созревание виз, и приготовления, и медицинский осмотр у глухонемого доктора, прикладывавшего фальшивый стетоскоп к съежившемуся сердцу Пнина сквозь его одежду, и добрая русская дама (моя родственница), которая так помогла в американском консульстве, и путешествие в Бордо, и прелестный чистый

пароход — на всем был драгоценный, сказочный налет. Он не только готов был усыновить ребенка, когда он появится, но страстно желал этого, и она с довольным, несколько коровьим выражением выслушивала педагогические планы, которые он строил, а он и в самом деле, казалось, слышит первый крик новорожденного и его первое слово в недалеком будущем. Она и всегда любила засахаренный миндаль, но теперь она поглощала его в баснословных количествах (два фунта между Парижем и Бордо), и аскетический Пнин смотрел с восхищением и страхом на ее прожорливость, качая головой и пожимая плечами, что-то от гладкой шелковистости этих dragées запало в его сознание, навсегда соединившись с воспоминанием о ее натянутой коже, цвете ее лица, ее безупречных зубах.

Немного разочаровало то, что, едва поднявшись на борт и бросив взгляд на вздымавшееся море, она сказала: «Ну, это извините», и тотчас удалилась в чрево корабля, где и провела большую часть пути, лежа на спине в каюте, которую делила с болтливыми женами трех неразговорчивых поляков—борца, садовника и парикмахера, — доставшихся в соседи Пнину. Оставшись сидеть на третий вечер путешествия в кают-компании после того, как Лиза давно уже ушла спать, он охотно согласился сыграть партию в шахматы с бывшим издателем одной франкфуртской газеты, меланхолическим старцем с мешками под глазами, в свитере с воротником «хомут» и гольфных штанах. Ни тот, ни другой не были хорошими игроками; оба имели склонность к эффектным, но совершенно необоснованным жертвам фигур; каждый очень уж хотел выиграть; и дело еще оживлялось пнинским фантастическим немецким языком («Wenn Sie so, dann ich so, und Pferd fliegt».). Тут подошел другой пассажир, сказал entschuldigen Sie, нельзя ли ему посмотреть на их игру? и сел возле. У него были рыжеватые, коротко подстриженные волосы и длинные блеклые ресницы, напоминающие хвостовые нити лепизмы; на нем был поношенный двубортный пиджак, и вскоре он уже тихонько щелкал языком и качал головой всякий раз, когда старец после долгого и важного раздумья подавался вперед, чтобы сделать нелепый ход. В конце концов этот полезный зритель, явный знаток, не удержался и, толкнув назад пешку, которой только что пошел его соотечественник, указал дрожащим указательным перстом на ладью, которую старый франкфуртец моментально внедрил подмышку защиты Пнина. Наш друг, разумеется, проиграл и собрался было покинуть залу, как вдруг знаток догнал его и сказал entschuldigen Sie, нельзя ли ему минутку поговорить с Херр Пнин? («Как видите, мне известно ваше имя»,— заметил он мимоходом, подняв свой вездесущий указательный палец)— и предложил зайти в бар выпить пива. Пнин согласился, и когда перед ними поставили кружки, вежливый незнакомец продолжал: «В жизни, как и в шахматах, всегда следует анализировать свои побуждения и намерения. В день, когда мы поднялись на борт, я был словно резвое дитя. Однако уже на следующее утро я начал опасаться, что проницательный супруг — это не комплимент, а ретроспективное предположение — рано или поздно просмотрит список пассажиров. Сегодня совесть судила меня и признала виновным. Я больше не могу терпеть обмана. Ваше здоровье. Это, конечно, не то, что наш немецкий нектар, но все же лучше, чем кока-кола. Меня зовут Эрих Винд; увы, это имя вам небезызвестно».

Пнин, молча, с искаженным лицом, все еще держа ладонь на мокрой стойке, начал неуклюже сползать с неудобного грибовидного сиденья, но Винд положил пять длинных чутких пальцев на его рукав.

— Lasse mich, lasse mich,— взвыл Пнин, пытаясь стряхнуть бескостную заискивающую руку.

— Пожалуйста! — сказал д-р Винд.— Будьте же справедливы. Последнее слово всегда за осужденным — это его право. Это признают

даже нацисты. И прежде всего — я хочу, чтобы вы позволили мне оплатить по крайней мере половину ее билета.

—Ach nein, nein, nein,— сказал Пнин.— Прекратим этот кошмарный разговор (diese koschmarische Sprache).

— Как вам угодно,— сказал д-р Винд и принялся внушать связанному Пнину следующие пункты. Что это была всецело Лизина идея — «упрощая, знаете ли, дело ради нашего ребенка» («нашего» звучало тройственно); что Лиза очень больная женщина и нуждается в особом уходе (беременность — просто сублимация позыва к смерти); что он (д-р Винд) женится на ней в Америке — «куда я также направляюсь», добавил д-р Винд для ясности; и что он (д-р Винд) просил бы позволить ему заплатить по крайней мере за пиво. После чего до конца путешествия, которое из серебристо-зеленого превратилось в однообразно-серое, Пнин откровенно ушел в свои английские учебники, и хотя был с Лизой неизменно кроток, старался видеться с ней настолько редко, насколько это было возможно, не возбуждая ее подозрений. Время от времени д-р Винд появлялся откуда ни возьмись и издали знаками приветствовал и подбадривал его. И когда, наконец, величавая статуя выросла из утренней дымки, где, готовясь вспыхнуть на солнце, стояли бледные зачарованные здания, похожие на те таинственные, разной высоты прямоугольники, которые видишь на диаграммах сравнительно-наглядных процентных соотношений (природные богатства, частота миражей в различных пустынях), д-р Винд решительным шагом подошел к Пниным и назвал себя —«поскольку мы все трое должны с чистым сердцем ступить на землю свободы». И после нелепо-комической задержки на Эллис Айленд Тимофей и Лиза расстались.

Были кой-какие осложнения — но в конце концов Винд женился на ней. В продолжение первых пяти лет жизни в Америке Пнин несколько раз видал ее мельком в Нью-Йорке; он и Винды были натурализованы в один и тот же день; затем, после его отъезда в Уэйндель в 1945 году, лет шесть прошло без встреч и без переписки. Однако время от времени до него доходили слухи о ней. Не так давно (в декабре 1951) его друг Шато прислал ему номер журнала по психиатрии со статьей, написанной д-ром Альбиной Дункельберг, д-ром Эрихом Виндом и д-ром Лизой Винд по поводу «Групповой психотерапии в применении к консультациям по проблемам брака». Пнину всегда бывало неловко за Лизины «психоослиные» интересы, и даже теперь, когда ему должно было быть все равно, его передернуло от отвращения и жалости. Они с Эрихом работали под началом великого Бернарда Мэйвуда, добродушного гиганта—которого прекрасно приспособлявшийся Эрих именовал «Боссом»— в Исследовательском отделе при «Центре Планирования Семьи». Одобренный своим и жены покровителем Эрих разработал остроумную (может быть, не ему принадлежавшую) идею загонять наиболее податливых и глупых клиентов Центра в психотерапевтическую ловушку — кружок «устранения напряженности», что-то вроде группового шитья стеганых одеял, где молодые замужние женщины, группами по восемь человек, раскрепощались в уютной комнате в обстановке непринужденной, живой, с обращением по имени, беседы в присутствии докторов за столом перед группой и скромно записывавшего секретаря посреди травматических эпизодов детства, всплывавших там и сям подобно трупам. На этих собраниях дам заставляли с полнейшей откровенностью обсуждать между собой свои брачные проблемы, что, разумеется, приводило к сопоставлению наблюдений над мужьями, которых потом тоже интервьюировали в особой «группе мужей», тоже весьма непринужденной, где они щедро угощали друг друга сигаретами и анатомическими диаграммами. Пнин пропустил доклады и отдельные случаи,— и здесь не к чему вдаваться в эти уморительные подробности. Достаточно сказать, что уже на

третьем собрании женской группы, после того как та или другая дама побывала дома, она возвращалась прозревшая, и потом расписывала новое ощущение своим все еще заблокированным, но восторженным подругам, звонкая нота сектантского бдения приятно окрашивала дискуссию. («Ну, вот, милые, когда Джордж прошлой ночью...») И это еще не все. Д-р Эрих Винд намеревался разработать метод, который позволил бы соединить всех этих мужей и жен в общую группу. Кстати, мороз подирал по коже, когда они с Лизой облизывались, произнося слово «группа». В длинном письме к приунывшему Пнину профессор Шато утверждал, что д-р Винд даже сиамских близнецов называет «группой». И верно: прогрессивный идеалист Винд мечтал о счастливом мире, состоящем из сиамских сотен, анатомически соединенных коммун, целых наций, созданных вокруг коммунальной печени. «Вся эта психиатрия — просто микромирок коммунизма»,— ворчал Пнин, отвечая Шато. «Отчего не оставить людям их личные горести? Как будто горе не единственное, что действительно принадлежит человеку на этом свете!»

6

— Вот что,— сказала Джоана мужу в субботу утром,— я решила сказать Тимофею, что сегодня от двух до пяти дом предоставляется им. Мы должны дать этим трогательным существам все возможности. У меня есть дела в городе, а ты будешь отвезен в библиотеку.

— Дело в том,— отвечал Лоренс,— что как раз сегодня у меня нет ни малейшего желания быть отвезенным или вообще перемещенным куда бы то ни было. Кроме того, в высшей степени невероятно, чтобы им для свидания понадобилось восемь комнат.

Пнин надел свой новый коричневый костюм (за который было заплачено кремонской лекцией) и, наспех позавтракав в «Яйцо и Мы», пошел через парк с островками снега к Уэйндельской автобусной станции, куда он пришел чуть ли не на час раньше, чем было нужно. Он не стал думать, почему, собственно, Лизе понадобилось непременно повидать его, возвращаясь из пансиона Св. Варфоломея, под Бостоном, куда этой осенью должен был поступить ее сын; он знал только, что волна счастья пенилась в нем и росла за невидимой преградой, которая вот-вот должна была прорваться. Он встретил пять автобусов, и в каждом из них ясно видел Лизу, махавшую ему в окно в веренице выходивших пассажиров, но автобусы один за другим пустели, а ее не оказывалось. Вдруг он услышал ее звучный голос («Тимофей, здравствуй!») позади себя и, резко обернувшись, увидал, что она вышла как раз из того единственного автобуса дальнего следования, в котором он уже решил, что ее нет. Какую перемену мог заметить в ней наш приятель? Господи Боже мой, да какая там могла быть перемена! Это была она. Ей всегда было жарко, и все в ней кипело, даром что прохладно и теперь вот ее котиковая шубка была настежь распахнута, открывая сборчатую блузку, когда она охватила голову Пнина и он почувствовал помплимусовый аромат ее шеи, и все бормотал «ну-ну, вот и хорошо, ну вот» — жалкие словесные подпорки сердца — а она крикнула: «Ах, да у него чудные новые зубы!» Он помог ей сесть в таксомотор, ее яркий прозрачный шарф зацепился за что-то, Пнин поскользнулся на мостовой, и шофер сказал «Осторожно» и взял у него ее саквояж, и все это было уже когда-то, в этой именно последовательности.

Эта школа, говорила она ему пока они проезжали по Парковой, в английской традиции. Нет, она ничего не будет есть, она съела большой завтрак в Албани. Эта школа «очень фэнси»,— сказала она по-английски,— мальчики играют в зале во что-то вроде тенниса, руками, и в одном классе с ним будет — она с фальшивой небрежностью произнесла известную американскую фамилью, которая Пнину ничего не

говорила, потому что она не принадлежала ни поэту, ни президенту. «Между прочим,— прервал ее Пнин, подавшись вперед и указывая,— отсюда можно видеть уголок кампуса». Все это благодаря («вижу, вижу, кампус как кампус»), все это, включая стипендию, благодаря влиянию д-ра Мэйвуда («знаешь, Тимофей, ты бы как-нибудь черкнул ему несколько слов, просто из любезности»). Директор (священник) показал ей трофеи, которые Бернард выиграл мальчиком. Эрих, конечно, хотел, чтобы Виктор поступил в казенную школу, но его переспорили. Жена преподобного Хоппера — племянница английского графа.

— Вот мы и приехали. Вот и мои палаты,— пошутил Пнин, который никогда не мог поспеть за ее быстрой речью.

Они вошли — и он внезапно почувствовал, что этот день, который он предвкушал с таким лютым нетерпением, проходит слишком уж скоро — уходит, уходит, вот-вот совсем пройдет через несколько минут. Быть может, думал он, если бы она сразу сказала, что ей от него нужно, день бы замедлился и стал бы в самом деле радостным.

— Какой жуткий дом, — сказала она, садясь на стул рядом с телефоном и снимая ботики — такие знакомые движения. — Ты только посмотри на эту акварель с минаретами. Должно быть, это ужасные люди.

— Нет, — сказал Пнин, — они мои друзья.

— Мой милый Тимофей, — говорила она, пока он эскортировал ее наверх, — в свое время у тебя бывали довольно ужасные друзья.

— А вот моя комната, — сказал Пнин.

— Я, пожалуй, прилягу на твою девственную постель, Тимофей. Через минутку я прочитаю тебе стихи. Опять просачивается эта адская головная боль. Я так великолепно чувствовала себя весь день.

— У меня есть аспирин.

— М-м, — сказала она, и на фоне ее родной речи это новоприобретенное отрицание звучало непривычно.

Когда она стала снимать туфли, он отвернулся, и звук, с которым они упали на пол, напомнил ему очень далекие дни.

Она откинулась — черная юбка, белая блузка, каштановые волосы, — одной розовой рукой прикрыв глаза.

— Как вы вообще? — спросил Пнин (только бы она сказала, что ей нужно, поскорей!), опускаясь в белую качалку возле радиатора.

— У нас очень интересная работа, — сказала она, все еще заслоняя глаза, — но я должна тебе сказать, я больше не люблю Эриха. Наши отношения развалились. Кстати, Эрих недолюбливает сына. Он говорит, что он его земной отец, а ты, Тимофей, водяной.

Пнин начал смеяться: он покатывался со смеху; под ним громко скрипела несколько инфантильная качалка. Его глаза были как звезды и совершенно мокрые.

С минуту она с любопытством смотрела на него из-под пухлой руки, потом продолжала:

— У Эриха твердый эмоциональный блок в отношении Виктора. Не знаю, сколько раз мальчик должен был в своих снах убивать его. И потом, как я давно заметила, у Эриха вербализация только запутывает проблемы, вместо того, чтобы их разрешать. Он очень тяжелый человек. Какое у тебя жалованье, Тимофей?

Он сказал.

— Ну,— сказала она,— это не густо. Но, я думаю, ты даже можешь кое-что откладывать — этого больше чем достаточно для твоих потребностей, твоих микроскопических потребностей, Тимофей.

Ее живот, туго схваченный черной юбкой, два-три раза подпрыгнул, с немой, уютной, добродушно-припоминающейся иронией — и Пнин высморкался, одновременно качая головою и сладострастно и весело наслаждаясь.

— Послушай мое последнее стихотворение, — сказала она, вытянув руки по швам и лежа совершенно прямо на спине, и принялась мерно выпевать протяжным, грудным голосом:

Я надела темное платье,
И монашенки я скромней;
Из слоновой кости распятье
Над холодной постелью моей.

Но огни небывалых оргий
Прожигают мое забытье,
И шепчу я имя Георгий —
Золотое имя твое!

— Это очень интересный человек, — продолжала она без всякого перерыва. — В сущности, он англичанин. На войне он управлял бомбардировщиком, а теперь он в фирме биржевых маклеров, которые его не любят и не понимают. Он происходит из старинной семьи. Отец его был мечтатель, имел плавучее казино, ну и так далее, но его разорили во Флориде какие-то евреи-гангстеры и он добровольно сел в тюрьму за другого: это семья героев.

Она помолчала. Тишина в маленькой комнатке скорее подчеркивалась, чем нарушалась бульканьем и треньканьем в беленых органных трубах.

— Я сделала Эриху полный доклад, — со вздохом продолжала Лиза, — и теперь он все твердит, что вылечит меня, если я буду ему помогать. К сожалению, я уже помогаю George'у.

Она произнесла George по-русски — оба g твердые, оба e долгие.

— Ну, что ж, c'est la vie, как остроумно выражается Эрих. Как ты можешь спать под этой паутинной ниткой с потолка? — Она посмотрела на часы. — Боже мой, я же должна успеть на автобус в половине пятого. Тебе придется через минуту вызвать таксомотор. Мне надо сказать тебе одну очень важную вещь.

Вот оно, наконец,— так поздно.

Она хотела, чтобы Тимофей каждый месяц откладывал немного денег для мальчика — потому что она ведь не может теперь просить Бернарда Мэйвуда — и она может умереть — а Эриху безразлично, что бы ни случилось — и кто-то же должен время от времени посылать мальчику небольшую сумму, как бы от матери — ну, знаешь, на карманные расходы — вокруг него ведь будут все богатые мальчики. Она пришлет Тимофею адрес и еще кой-какие подробности. Да, она никогда не сомневалась, что Тимофей — душка. («Ну, какой же ты душка»). А теперь — где тут уборная? И, пожалуйста, позвони насчет таксомотора.

— Кстати, — сказала она, пока он подавал ей шубу и, по обыкновению хмурясь, разыскивал дезертировавшие проймы рукавов, а она тыкалась руками и шарила,— знаешь, Тимофей, этот твой коричневый костюм никуда не годится: джентльмен не носит коричневого.

Он проводил ее и пошел обратно через парк. Не отпускать бы ее, удержать бы — какую ни на есть — жестокую, вульгарную, с ослепительными синими глазами, с ее жалкими стихами, толстыми ногами, с ее нечистой, сухой, низкой, инфантильной душой. Ему вдруг пришло в голову: если люди соединяются на небесах (я в это не верю, но предположим), то как смогу я помешать ей наползать на меня, через меня, этой сморщенной, беспомощной, убогой ее душе? Но здесь земля, и я, как это ни странно, живу, и что-то есть во мне и в жизни, что —

Казалось, что совершенно неожиданно (ибо отчаянье редко приводит к великим открытиям) он стоит на пороге простого разрешения вселенской загадки, но его перебили настойчивой просьбой. Из-под

дерева белка увидела Пнина на тропке. Одним гибким и цепким движением умный зверек взобрался на край фонтанчика для питья, и когда Пнин подошел, принялся, раздувая щеки, тыкать своей овальной мордочкой в его сторону с довольно грубым цыканьем. Пнин понял и, немного пошарив, нашел то, что требовалось нажать. Презрительно посматривая на него, томимая жаждой грызунья тотчас начала пить из плотного, искрящегося столбика воды и пила довольно долго. У нее, должно быть, жар, подумал Пнин, тихо и вольно плача, продолжая вежливо нажимать на рычажок и в то же время стараясь не встречаться глазами с уставившимся на него неприятным взглядом. Утолив жажду, белка, не выказав ни малейшей признательности, скрылась.

Водяной отец пошел своей дорогой, дошел до конца тропинки, потом повернул в боковую улицу, где был маленький бар в виде бревенчатой избушки с гранатовыми стеклами в створчатых окнах.

7

Когда в четверть шестого Джоана с полным мешком провизии, двумя иллюстрированными журналами и тремя пакетами вернулась домой, она нашла в почтовом ящике на веранде авиа-письмо экспресс от дочери. Прошло более трех недель с тех пор, как Изабелла кратко известила родителей, что после медового месяца в Аризоне она благополучно добралась до города мужа. Манипулируя свертками, Джоана разорвала конверт. Это было восторженно-счастливое письмо, и она одним духом проглотила его, — от облегчения у нее перед глазами все как-то поплыло в радужном сиянии. Снаружи входной двери она нащупала, а потом с минутным удивлением увидела ключи Пнина, свисавшие подобно грозди его драгоценных внутренностей из замка вместе с кожаным футлярчиком; она воспользовалась ими, чтобы открыть дверь, и как только вошла, услышала доносившийся из кухонного чулана громкий анархический перестук: шкафы один за другим отворялись и захлопывались.

Она положила мешок и пакеты на буфет на кухне и спросила в направлении чулана: «Что вы там ищете, Тимофей?»

Он вышел оттуда с багровым лицом и диким взором; она была потрясена, увидев его лицо со следами неотертых слез.

— Я ищу, Джоан, виски и минеральную воду, — сказал он трагически.

— Кажется, минеральной воды нет, — ответила она со своей ясной англо-саксонской невозмутимостью. — Зато виски в столовой, в шкапчике, сколько угодно. Но, по-моему, нам лучше выпить горячего чайку.

Он сделал русский жест «я сдаюсь».

— Нет, мне, в сущности, ничего не надо, — сказал он и сел за кухонный стол с ужасным вздохом.

Она присела рядом и раскрыла один из купленных журналов.

— Посмотрите картинки, Тимофей.

— Не надо, Джоана. Вы ведь знаете — я не понимаю, что тут объявление, а что нет.

— Вы просто отдыхайте, Тимофей, а я буду объяснять. О, посмотрите,— это мне нравится. Очень остроумно. Тут у нас комбинация двух идей — Необитаемый Остров и Воображаемая Девушка. Тимофей, ну, посмотрите, пожалуйста,— он нехотя надел очки для чтения,— это вот необитаемый остров с одной-единственной пальмой, а это остатки разбитого плота, тут — моряк, потерпевший крушение, а это вот — кошка с корабля, которую он спас, ну а здесь, на камне...

— Невозможно,— сказал Пнин.— Такой маленький остров, да еще с пальмой, не может существовать в таком большом море.

— Ну, а здесь он существует.

— Невозможная изоляция,— сказал Пнин.

— Да, но — право, Тимофей, это недобросовестно. Вы ведь отлично знаете, что согласны с Лором в том, что мышление основано на компромиссе с логикой.

— С оговорками,— сказал Пнин.— Прежде всего, логика сама —

— Ну, хорошо, хорошо,— мы забыли о нашей картинке. Взгляните же на нее. Вот, значит, моряк и вот кошечка, и тут же довольно кислая русалка, а теперь посмотрите на эти облака над матросом и над кошкой.

— Взрыв атомной бомбы,— грустно сказал Пнин.

— Нет, совсем не то. Гораздо забавнее. Видите ли, эти круглые облачки как бы проэкции их мыслей. И вот мы, наконец, подбираемся к смешному. Матрос мечтает о русалке с ногами, а кошка воображает цельную рыбу.

— Лермонтов,— сказал Пнин, подымая два пальца,— выразил все о русалках в двух только стихотворениях. Я не в силах понимать американский юмор даже когда я счастлив, а должен сказать — Он снял очки дрожащими руками, локтем отпихнул журнал в сторону и, уронив голову на руку, разразился заглушенными рыданиями.

Она слышала, как входная дверь отпахнулась и затворилась, и мгновение спустя Лоренс, крадучись с шутливой таинственностью, заглянул на кухню. Правой рукой Джоана махнула ему, чтобы не входил, левой указывая на конверт с радужной каемкой, лежавший поверх пакетов. Особенная домашняя улыбка, которой она блеснула, была как бы конспектом письма Изабеллы; он схватил его и снова на цыпочках, но уже не дурачась, вышел.

Бессмысленно могучие плечи Пнина все еще сотрясались. Она закрыла журнал и с минуту рассматривала обложку: игрушечно-яркие крошки-школьники; Изабелла и дочь Гагенов; тенистые деревья, пока еще не у дел; белый шпиль; уэйндельские колокола.

— Она не хочет возвращаться? — тихо спросила Джоана.

Пнин — голова на сгибе локтя — начал стучать по столу неплотно сжатым кулаком.

— У меня ничего нет,— стонал Пнин в промежутках между громкими влажными всхлипываниями.—У меня ничего, никого нет!

Глава третья

1

За восемь лет преподавания в Уэйндельском университете Пнин по разным причинам (главным образом, звукового характера) менял жилье чуть ли не каждый семестр. Накопленная в его памяти, вся эта череда комнат казалась теперь выставкой сгруппированных кресел, кроватей, ламп, каминов, которые, игнорируя все различия пространства и времени, перемешались теперь в мягком освещении мебельного магазина, за которым идет снег, сумерки сгущаются и, в сущности, никто никого не любит. Комнаты уэйндельского периода выглядели особенно нарядно в сравнении с той, что была у него в Нью-Йорке между Центральным парком и Риверсайдом, в квартале, памятном из-за бумажного мусора вдоль края панели, с блестевшей собачьей кучей, на которой кто-то уже поскользнулся, и где какой-то мальчишка без устали бил мячом о ступени высокого бурого крыльца; но даже эта комната казалась Пнину (в голове которого все еще отдавался стук мяча) прямо щегольской, когда он сравнивал ее со старым, теперь уже полузанесенным пылью, пристанищем его долгой среднеевропейской, нансенско-паспортной эпохи.

Однако с годами Пнин сделался привередлив. Он уже не довольствовался красивой обстановкой. Уэйндель был тихий городишко,

а Уэйндельвилль, лежавший среди холмов, и подавно; но не было такого места, которое показалось бы Пнину достаточно тихим. В самом начале его здешней жизни у него была однокомнатная квартира в тщательно обставленном Университетском Доме Холостых Преподавателей, очень милом заведении, несмотря на некоторые неудобства общинного быта («Пнин, сыграемте в пинг-понг?»—«Я уже не играю в детские игры»); но потом появились какие-то рабочие и принялись сначала буравить дыры на улице — улице Черепной Коробки в Пнинграде — а потом заделывать их, и опять сверлить, и это продолжалось — приступами черных зигзагов, сменявшихся оглушенными паузами — по целым неделям, и, казалось, что им уже никогда не отыскать того бесценного инструмента, который они по ошибке закопали тут. Была еще комната (если выбирать там и сям только главных обидчиков) в абсолютно непроницаемом на первый взгляд «Герцогском павильоне» в Уэйндельвиле: восхитительный kabinet, над которым, однако, каждый вечер начинался (перемежаясь грохотом каскадов в уборной и буханьем дверей) угрюмый топот двух чудовищных статуй на первобытных каменных ногах — образ, с трудом вязавшийся с субтильным на самом деле сложением его верхних соседей, каковыми оказались Стары, из Отделения Изящных Искусств («Меня зовут Христофор, а это Луиза»), ангельски кроткая чета, живо интересовавшаяся Достоевским и Шостаковичем. Была и еще более уютная спальня-кабинет (в других меблированных комнатах), где никто не вламывается к тебе ради дарового урока русского языка; но как только грозная Уэйндельская зима стала проникать в этот уют своими острыми сквознячками (дуло не только от окна, но даже из шкапа и из штепселей), комната обнаружила род какого-то помешательства или мистической мании — именно, началось неискоренимое бормотание более или менее классической музыки, странным образом исходившей из покрашенного серебряной краской радиатора Пнина. Он пробовал приглушить ее одеялом, как певчую птицу в клетке, но пение упрямо продолжалось до тех пор, пока престарелую мать госпожи Тэер не перевезли в больницу, где она и скончалась, после чего радиатор внезапно заговорил на канадском диалекте французского языка.

Испробовал он и обиталища другого типа: снимал комнаты в частных домах, которые хотя и во многом отличались друг от друга (не все, например, были дощаты: попадались и оштукатуренные, или хотя бы отчасти оштукатуренные), имели одну общую черту: на этажерках в гостиной или на лестничных площадках неизменно присутствовали Хендрик Виллем ван Лун и д-р Кронин; их могла разлучать стайка иллюстрированных журналов, или какой-нибудь глянцевитый и добротный исторический роман, или даже имперсонирующая кого-нибудь г-жа Гарнетт (в таких домах уж непременно висит где-нибудь плакат Тулуз-Лотрека), но эта пара непременно присутствовала, обмениваясь взглядами дружеского узнавания, как двое старых приятелей в людной компании.

2

На время он вернулся в Университетский дом, но тогда туда вернулись и бурильщики мостовой, да к тому же там объявились и другие раздражающие минусы. Теперь Пнин снимал спальню (розовые стены, белые воланы) во втором этаже клементсовского дома, и это был первый дом, который ему действительно нравился, и первая комната, которую он занимал больше года. К этому времени он вытравил все следы прежней ее обитательницы, или так ему казалось, ибо он не замечал и никогда, должно быть, не заметил бы смешной рожицы, нацарапанной на стенке прямо за изголовьем кровати, и полустершихся карандашных отметок роста на дверном косяке, начиная с четырех футов в 1940 году.

Вот уже больше недели весь дом был в распоряжении Пнина: Джоана Клементс отправилась самолетом в западный штат навестить замужнюю дочь, а спустя несколько дней, в самом начале своего весеннего курса философии, на Запад улетел и профессор Клементс, которого вызвали телеграммой.

Наш приятель не спеша съел брекфаст на основе молока, которое продолжали поставлять, и в половине десятого собрался по обыкновению пройтись пешком в университет.

Мне становится тепло на душе, когда я вспоминаю его российско-интеллигентский способ надевать пальто: его склоненная голова обнаруживала тогда свою идеальную лысину, а большой, как у Герцогини из Страны Чудес, подбородок крепко прижимался к перекрестку концов зеленого кашнэ, удерживая его на груди, между тем как он, сильно дергая широкими плечами, норовил попасть в оба рукава сразу; еще рывок, и пальто надето.

Он подхватил портфель, проверил его содержимое и вышел вон.

Он отошел от крыльца на расстояние, с которого мальчишки-разносчики швыряют на него газеты, как вдруг вспомнил, что университетская библиотека просила его срочно вернуть книгу, понадобившуюся другому читателю. Одно мгновение он боролся с собой: эта книга была еще нужна ему; но добрый Пнин слишком сильно сочувствовал страстному воплю другого (неведомого) ученого, чтобы не вернуться за толстым и увесистым фолиантом. То был том 18-й — посвященный в основном Толстому — «Советского Золотого Фонда Литературы, Москва-Ленинград, 1940».

3

Органы, участвующие в производстве звуков английской речи, суть: гортань, небо, губы, язык (полишинель этой группы) и, наконец,— и не в последнюю очередь — нижняя челюсть, на преувеличенное и несколько жевательное движение которой по преимуществу полагался Пнин, переводя в классе пассажи из русской грамматики или какое-нибудь стихотворение Пушкина. Если его русский язык был музыкою, то его английский был ужасен. Ему с огромным трудом («дзификультси», на пнинском английском) давалась депалатализация и он так и не научился избавляться от излишней влаги русских «т» и «д» (перед гласными), которые он так забавно смягчал. «Hat» (шляпа) у него звучало как взрыв: «Я никогда не ношу шляпы, даже зимой»,— и отличалось от обычного американского произношения «hot» (жарко) (свойственно, например, уэйндельским жителям) только своей краткостью, и оттого очень походило на немецкий глагол «hat» (имеет). Все долгие «о» у него неизбежно превращались в краткие: его «no» (нет) было положительно итальянским, что еще усугублялось его манерой утраивать простое отрицание: «Вас подвезти, г-н Пнин? — Но-но-но, мне отсюда всего два шага». Он не владел (не подозревая, впрочем, об этом) долгим «у»: то, что ему удавалось произнести, когда надо было сказать «noon» (полдень), было рыхлым гласным немецкого «nun» (теперь) («По вторникам у меня нет классов днем») /«ин дзе афтернун»/. Сегодня вторник»)

Вторник-то вторник, но какое сегодня число, спросим мы. День рождения Пнина, например, приходился на 3 февраля по Юлианскому календарю, по которому он родился в Петербурге в 1898 году. Он теперь никогда не праздновал его,— отчасти потому, что после того, как он покинул Россию, этот день как-то незаметно проскальзывал в Грегорианской маске (с опозданием на тринадцать — нет на двенадцать дней), отчасти же потому, что в продолжение академического года его жизнь главным образом следовала ритму «повтосрече — пясувас».

Вот он вывел дату на черной, затуманенной мелом, доске (блэкборд), которую остроумно именовал «серой» (грэборд). Он еще ощу-

щал в локтевом сгибе тяжесть Зол. Фонд Лит. Написанная на доске дата не имела никакого отношения к тому дню, который теперь был в Уэйнделе: «26 декабря 1829».

Он старательно ввинтил толстую белую точку и прибавил пониже: «3.03 пополудни. Санкт-Петербург».

Это все послушно переписали Франк Бакман, Роза Бальзамо, Питер Волков, Ирвинг Д. Герц, красавица и умница Мэрилин Гон, Франк Кэрроль, Джон Мид и Аллан Брэдбери Уолш.

Пнин снова уселся за стол, зыблясь безмолвным весельем: у него для них был приготовлен рассказ. Эта строка в абсурдной русской грамматике, «Брожу ли я вдоль улиц шумных», была на самом деле началом одного знаменитого стихотворения. Хотя в этом начальном русском классе Пнину полагалось придерживаться грамматических упражнений («Мама, телефон! Брожу ли я вдоль улиц шумных. От Владивостока до Вашингтона 5000 миль»), он пользовался всяким удобным случаем, чтобы увести своих студентов на литературную или историческую экскурсию.

На протяжении восьми четырехстопных четверостиший Пушкин описывает свою всегдашнюю несчастную привычку — где бы он ни был, чем бы ни был занят — предаваться размышлениям о смерти и тщательно исследовать каждый прожитый день, пытаясь угадать в его тайном значении некую «грядущую годовщину»: день и месяц, которые где-нибудь, когда-нибудь появятся на его надгробном камне.

"'And where will fate send me' — будущее несовершенное — 'death'" — вдохновенно декламировал Пнин, запрокинув голову и переводя с отважной дословностью — 'in fight, in travel, or in waves? Or will the neighboring dale' — то же, что по-русски „долина", или, как мы сказали бы теперь —'valley' — 'accept my refrigerated ashes', *poussière* 'cold dust', может быть, так точнее...—" 'And though it is indifferent to the insensible body...' "

Пнин дошел до конца, а потом, театральным жестом указывая на доску кусочком мела, который он все еще держал в руке, обратил внимание слушателей на то, как тщательно отметил Пушкин день и даже минуту записи этого стихотворения.

— Но,— воскликнул Пнин с торжеством,— он умер в совсем, совсем другой день! Он умер,— спинка стула, на которую Пнин сильно опирался, издала зловещий треск, и класс разрядил вполне понятное напряжение громким молодым смехом.

(Когда-то, где-то — Петербург? Прага? — один музыкальный клоун вытянул рояльный вертящийся стул из-под другого, но тот как ни в чем не бывало продолжал шпарить свою рапсодию в сидячем, хоть и без сиденья, положении. Где же? В цирке Буша в Берлине!)

4

В перерыве между отпущенной начальной группой и уже набиравшейся старшей Пнин оставался в классной комнате. Кабинет, где сейчас на картотеке лежал Зол. Фонд Лит., полузавернутый в пнинский зеленый шарф, помещался на другом этаже, в конце гулкого коридора, по соседству с профессорской уборной. До 1950 года (а теперь у нас 1953-й — как летит время!) у него был в Германском отделении общий кабинет с Миллером, одним из младших преподавателей, а потом ему отдали в безраздельное пользование кабинет Р, прежде служивший чуланом, но теперь заново отделанный. В продолжение весны он любовно пнинизировал его. Получил он его с двумя убогими стульями, пробковой доской для объявлений, забытой уборщиком жестянкой мастики для пола и непритязательным письменным столом неопределенного дерева. Он ухитрился выпросить у администрации небольшую стальную картотеку с восхитительным запором. Молодой Мюллер под руководством Пнина обнял и притащил пнинскую часть разборного

книжного шкапа. У старой г-жи Мак-Кристаль, в белом деревянном доме которой Пнин однажды не очень удачно прожил зиму (1949—1950), он приобрел за три доллара выцветший, некогда турецкий, коврик. С помощью того же уборщика он привинтил сбоку стола чинилку для карандашей — доставляющий высокое удовлетворение глубокомысленный прибор, который во время работы издает свое «тикондерога-тикондерога», поедая мягкую, с желтой каемкой, древесину, и вдруг срывается в какую-то беззвучно вращающуюся неземную пустоту, что и всех нас неизбежно ожидает. Были у него и другие, еще более дерзкие планы, например, завести кресло и торшер. Возвратившись в свой кабинет после летнего преподавания в Вашингтоне, Пнин обнаружил там жирного пса, спавшего на его коврике, а свою мебель — сдвинутой в темный угол комнаты, чтобы очистить место для великолепного письменного стола из нержавеющей стали и подстать ему вертящегося стула, на котором сидел, что-то строча и улыбаясь самому себе, недавно импортированный австрийский ученый, д-р Бодо фон Фальтернфельс; и с той поры, поскольку это касалось Пнина, кабинет Р. утратил свою привлекательность.

5

В полдень Пнин по обыкновению вымыл руки и голову.

Из кабинета Р он забрал пальто, кашнэ, книгу и портфель. Д-р Фальтернфельс писал и улыбался; его сандвич был наполовину развернут; собака его околела. Пнин спустился мрачной лестницей и прошел через Музей Ваяния. Здание Гуманитарных наук, где, впрочем, ютились также Орнитология и Антропология, соединялось с другим кирпичным зданием, Фриз-Холлом, где помещался профессорский клуб, посредством довольно затейливой решетчатой галлереи: она сперва поднималась отлого, потом круто поворачивала и брела вниз, навстречу будничному запаху картофельного хвороста и скучного рационально сбалансированного стола. Летом ее шпалеры оживлялись трепещущими цветами; но сейчас ее наготу насквозь продувал ледяной ветер, и кто-то надел найденную красную рукавицу на трубку мертвого фонтана, от которого ответвление галлереи вело к дому президента.

Президент Пур, высокий, степенный, пожилой человек в темных очках, начал терять зрение года два тому назад и теперь почти совсем ослеп. Однако он с постоянством солнца ежедневно появлялся в Фриз-Холле, ведомый своей племянницей и секретаршей. Он входил с величавостью античной статуи, шествуя в своей собственной тьме к незримому завтраку, и хотя все давно привыкли к его трагическому появлению, а все-таки пока его подводили к его резному стулу и он ощупывал край стола, неизменно набегала тень тишины; и странно было видеть прямо позади него, на стене, его стилизованное изображение в сиреневом двубортном костюме и терракотовых башмаках, глядящее сияющими фуксиновыми глазами на свитки, вручаемые ему Рихардом Вагнером, Достоевским и Конфуцием,— эту группу лет десять назад Олег Комаров из Отделения Изящных Искусств вписал в знаменитую фреску Ланга 1938 года, которая вела кругом всей столовой процессию исторических лиц и Уэйндельских профессоров.

Пнин, желая кое о чем спросить своего соотечественника, сел с ним рядом. Этот Комаров, сын казака, был коротенький, коротко остриженный человек с ноздрями, как у черепа. Они с Серафимой, его крупной, радушной москвичкой-женой, носившей на длинной серебряной цепочке тибетский амулет, который свисал до ее большого, мягкого живота, время от времени устраивали «русские» вечера, с «русскими» закусками и гитарой и более или менее фальшивыми народными песнями — и там застенчивых аспирантов обучали обряду вкушения водки и прочим затхлым русским обычаям; и, встречаясь после таких пирушек с неприветливым Пниным, Серафима и Олег (она —

возводя глаза к небесам, он — прикрыв свои рукою), бывало, бормотали, благоговейно изумляясь собственной щедрости: «Господи, сколько мы им даем!» — разумея под «ними» темных американцев. Только другому русскому была понятна эта смесь черносотенства с советофильством, свойственная псевдокрасочным Комаровым, для которых идеальная Россия состояла бы из Красной Армии, помазанника-государя, колхозов, антропософии, Русской Церкви и гидро-электростанций. Пнин и Олег Комаров обыкновенно находились в состоянии приглушенной вражды, но встречи были неизбежны, и те из их американских коллег, которые считали Комаровых «чудными людьми» и передразнивали чудаковатого Пнина, были уверены, что живописец и Пнин большие друзья.

Не прибегая к очень специальному исследованию было бы трудно сказать, кто из них, Пнин или Комаров, хуже говорил по-английски; пожалуй, Пнин; но по причине своего возраста, общего образования и чуть более давнего американского гражданства он находил возможным поправлять частые английские интерполяции Комарова, и Комарова это бесило даже больше, чем «антикварный либерализм» Пнина.

— Послушайте, Комаров,— (несколько бесцеремонное обращение) сказал Пнин.— Я не могу понять, кому еще здесь могла понадобиться эта книга; уж наверное не моим студентам, а если вам, то не понимаю, к чему она вам.

— Ни к чему,— ответил Комаров, мельком взглянув на книгу.— Нот интерестид (Не интересуюсь),— добавил он по-английски.

Пнин раза два беззвучно пошевелил губами и нижней челюстью, хотел что-то сказать, не сказал и снова принялся за салат.

6

Был вторник, и, значит, он мог пойти в свое излюбленное прибежище сразу после завтрака и оставаться там до обеда. Библиотека Уэйндельского колледжа не соединялась никакими галлереями с другими зданиями, но она была сокровенно и прочно соединена с сердцем Пнина. Он шел мимо огромной бронзовой статуи первого президента университета Альфеуса Фриза—в спортивной кепке и бриджах, держащего за рога бронзовый велосипед, на который он был обречен вечно собираться сесть, судя по его левой ноге, навеки приклеившейся к левой педали. Снег лежал на сиденье, снег лежал в нелепом лукошке, которое какие-то недавно проходившие проказники повесили на руль. «Хулиганы», негодовал Пнин, качая головой — и слегка поскользнулся на плитняке дорожки, извилисто сбегавшей по муравчатому скату среди безлистых ильмов. Помимо толстого тома под правой рукой он нес в левой свой старый, среднеевропейского типа, черный портфель, и мерно покачивал его на кожаной скобке, шагая к своим книгам, к своей рабочей келье среди стеллажей, к своему раю русской литературной стихии.

Вытянувшаяся эллипсом голубиная стая в круговом полете — то серая (паренье), то белая (взмах крыльев), и вот опять серая — колесила по прозрачному бледному небу над Университетской библиотекой. Вдали печально, как в степи, свистнул поезд. Щуплая белка сиганула через залитый солнцем снежный островок, на котором тень от ствола, оливково-зеленая на дерне, делалась дальше серо-голубой, а само дерево, коротко поскрипывая, голо поднималось к небу, где в третий, и последний, раз пронеслись голуби. Белка, теперь невидимая в развилине, затараторила, распекая злоумышленников, которые могли бы согнать ее с дерева. Пнин снова поскользнулся на грязном черном льду брусчатой тропинки, резко выбросил одну руку, выправился и, одиноко улыбнувшись, нагнулся, чтобы подобрать Зол. Фонд Лит., при падении раскрывшийся на снимке русского луга, по которому по направлению к фотографическому аппарату брел Лёв Толстой, а за ним

долгогривые лошади, тоже повернувшие к фотографу свои наивные головы.

В бою ли, в странствии, в волнах? На кампусе в Уэйнделе? Тихо почмокивая искусственной челюстью, к которой пристала клейкая полоска творога, Пнин поднялся по скользким ступеням библиотеки.

Подобно многим пожилым профессорам Пнин давно перестал замечать существование студентов на кампусе, в коридорах, в библиотеке — одним словом, повсюду, кроме их функционального присутствия в классных комнатах. Сначала его чрезвычайно удручал вид иных из них, положивших свои бедные молодые головы на руку и крепко спавших посреди развалин науки; но теперь он уже никого не замечал в читальной зале, если не считать видневшихся там и сям изящных девичьих затылков.

За абонементным столом сидела миссис Тэер. Ее мать приходилась двоюродной сестрой матери миссис Клементс.

— Как поживаете, профессор Пнин?

— Я поживаю очень хорошо, миссис Файер.

— Что, Лоренас и Джоана не вернулись еще?

— Нет. Я принес эту книгу обратно, потому что я получил эту открытку —

— Неужели бедняжка Изабелла в самом деле хочет разводиться?

— Я не слыхал. Разрешите мне спросить, миссис Файер —

— Наверное, придется нам найти для вас другую комнату, если они привезут ее с собой.

— Разрешите у вас кое-что спросить, миссис Файер. Вот открытка, которую я получил вчера — не могли бы вы сообщить мне, кто этот другой читатель?

— Сейчас проверим.

Она проверила. Другим читателем оказался Тимофей Пнин; том 18-й был затребован им в прошлую пятницу. Правда было и то, что этот восемнадцатый том уже числился за этим же Пниным, который держал его с Рождества и теперь стоял, положив на него руки, напоминая фамильный портрет какого-то судьи.

— Этого не может быть! — воскликнул Пнин.— В пятницу я заказал том девятнадцатый тысяча девятьсот сорок седьмого года, а не восемнадцатый тысяча девятьсот сорокового.

— Но посмотрите — вы написали «том 18». Во всяком случае, девятнадцатый еще не зарегистрирован. Этот вы оставляете у себя?

— Восемнадцатый, девятнадцатый,— бормотал Пнин,— разница небольшая. Я правильно указал год, вот что важно! Да, мне еще нужен восемнадцатый, и пришлите мне более толковую открытку, когда девятнадцатый будет готов.

Слегка поварчивая, он отнес громоздкую сконфуженную книгу в свою любимую нишу, и там оставил ее, завернув в кашнэ.

Эти женщины не умеют читать. Год был указан совершенно ясно.

Как обычно, он отправился в комнату периодики и пробежал там раздел новостей в последнем (за субботу, 12 февраля,— а сегодня вторник, О, Невнимательный Читатель!) номере русской ежедневной газеты, издававшейся с 1918 года эмигрантской группой в Чикаго. По обыкновению, он внимательно прочитал объявления. Д-р Попов, сфотографированный в своем новеньком белом халате, сулил пожилым людям прилив новых сил и веселья. Музыкальная фирма печатала перечень предлагаемых покупателю русских граммофонных пластинок вроде вальса «Разбитая жизнь» и «Песенки фронтового шофера». Несколько гоголевский хозяин похоронного бюро расхваливал свои люксовые катафалки, которые могли быть использованы и для пикников. Другой гоголевский персонаж из Майами предлагал «двух-комнатную квартиру для непьющих; вокруг фруктовые деревья и цветы», а в Хаммонде с задумчивой грустью отдавалась внаем комната в «небольшом тихом семействе», и вдруг без всякой особенной причины,

с горячей и абсурдной ясностью, читавший увидел своих родителей — д-ра Павла Пнина и Валерию Пнину, его с медицинским журналом, ее с политическим, сидевших в креслах один против другого в небольшой, весело освещенной гостиной на Галерной, в Петербурге, сорок лет назад.

Просмотрел он и свежее продолжение чрезвычайно длинной и скучной полемики трех эмигрантских течений. Ее затеяла Группа А, обвинившая Группу В в инертности, иллюстрируя это пословицей «И рад бы на елку забраться, да только боюсь ободраться». В ответ появилось едкое письмо к издателю от «Старого оптимиста», озаглавленное «Елки и инертность» и начинавшееся так: «Есть старая американская поговорка: «Живущему в стеклянном доме не следует пытаться убить двух птиц одним камнем». В последнем номере был фельетон в две тысячи слов — вклад представителя Группы С — под названием «О Елках, Стеклянных Домах и Оптимизме», и Пнин прочел его с живым интересом и участием.

Затем он вернулся в свою каморку к своим изысканиям.

Он замышлял написать Petite Histoire русской культуры, где собрание русских курьезов, обычаев, литературных анекдотов и так далее, было бы представлено таким образом, чтобы в нем отразилась в миниатюре la Grande Histoire. Великая Взаимосвязь Событий. Он был еще в блаженной стадии сбора материалов, и много хороших молодых людей почитало за удовольствие и честь наблюдать за тем, как Пнин извлекает ящик с каталогом из обширной утробы картотеки и несет его, как большой орех, в уединенный уголок и там добывает себе из него скромную духовную пищу,— то шевеля губами в беззвучных замечаниях — критических, довольных, недоумевающих,— то подымая свои зачаточные брови и забывая их высоко на просторном челе, где они оставались еще долго после того, как всякого неудовольствия или сомнения простывал и след. Ему повезло, что он оказался в Уэйнделе. Как-то в девяностых годах гостеприимную Россию посетил выдающийся библиофил и славист Джон Тэрстон Тодд (его бородатый бюст красовался над питьевым фонтанчиком), а после его смерти книги, которые он там собрал, были преспокойно свалены в отдаленное хранилище. Надев резиновые перчатки, чтобы избежать уколов «американского» электричества, обитавшего в металлических полках, Пнин, бывало, навещал эти книги и упивался их видом: малоизвестные журналы бурных шестидесятых годов в мрамористых обложках; столетней давности исторические монографии, дремотные страницы которых покрыты были рыжими пятнами плесени; русские классики с ужасными и трогательными камеями на переплетах, с тиснеными на них профилями поэтов, напоминавшими прослезившемуся Тимофею его отрочество, когда он, бывало, машинально водил пальцем по несколько потертому пушкинскому бакенбарду или запачканному носу Жуковского.

Сегодня Пнин, с отнюдь не горестным вздохом, приступил к выписыванию из объемистого труда Костромского о русских легендах (Москва, 1855) — редкой книги, которую не позволялось уносить из библиотеки,— места с описанием древних языческих игрищ, которые тогда еще были распространены в лесистых верховьях Волги наряду с христианским ритуалом. Всю праздничную майскую неделю — так называемую Зеленую неделю, постепенно превратившуюся в Неделю Пятидесятницы,— деревенские девушки свивали венки из лютиков и любки; потом они развешивали свои гирлянды на прибрежных ивах, распевая отрывки старинных любовных песен; а в Троицын день венки стряхивались в реку и плыли, развиваясь словно змеи, и девушки плавали среди них и пели.

Тут у Пнина мелькнула странная словесная ассоциация; он не успел схватить ее за русалочий хвост, но сделал пометку на справочной карточке и снова погрузился в Костромского.

Когда Пнин снова поднял глаза, оказалось, что пора идти обедать.

Сняв очки, он потер костяшками державшей их руки свои обнаженные утомленные глаза и все еще в задумчивости уставился кротким взором в высокое окно, за которым сквозь его рассеивающиеся размышленья постепенно проступал фиалково-синий воздух сумерек, в серебряных узорах от флуоресцирующего света с потолка, и между черных паукообразных веток — отраженный ряд ярких книжных корешков.

Прежде чем покинуть библиотеку, он решил проверить, как правильно произносится причастие от английского глагола «интересоваться», и обнаружил, что Уэбстер — по крайней мере то его потрепанное издание 1930 года, которое лежало на столике в читальне,— не делает, в отличие от него самого, ударения на третьем слоге (интерéстид). Он поискал в конце список опечаток, такового не нашел и, уже захлопнув слоноподобный лексикон, с досадой спохватился, что замуровал где-то внутри карточку с заметками, которую все время держал в руках. Ищи теперь между 2500 тоненьких страниц, из которых иные разорваны! На его возглас к нему подошел учтивый мистер Кейс, долговязый, розовощекий библиотекарь с прилизанными белыми волосами и галстуком бабочкой; он поднял колосса за обе корки, перевернул его и слегка встряхнул, и оттуда выпали: карманная гребенка, рождественская открытка, заметки Пнина и прозрачный призрак папиросной бумаги, совершенно безучастно слетевший к ногам Пнина и возвращенный мистером Кейсом на свое место на Больших Печатях Соединенных Штатов и Их Территорий.

Пнин сунул карточку в карман и тут же без всякого повода вспомнил то, чего не мог вспомнить давеча: «...плыла и пела, пела и плыла...» Ну, конечно же! Смерть Офелии! «Гамлет»! В русском переводе старого доброго Андрея Кронеберга 1844 года — отрада юных дней Пнина, и отца Пнина, и деда! Помнится, там тоже, как и у Костромского, ива, и тоже венки. Но где бы это как следует проверить? Увы, «Гамлет» Вильяма Шекспира не был приобретен мистером Тоддом, в библиотеке Уэйндельского колледжа не имелся, и если вам зачем-нибудь нужно было справиться в английской версии, то вы никогда не находили той или другой прекрасной, благородной, звучной строчки, которую всю жизнь помните по Кронебергу в отличном Венгеровском издании. Печально!

На печальном кампусе совсем стемнело. Над дальними, еще более печальными холмами, под облачной грядой медленно гасло глубокое черепаховое небо. Надрывающие сердце огни Уэйндельвиля, пульсируя в складке этих сумеречных холмов, приобретали свой всегдашний волшебный облик, хотя на самом деле, и Пнин хорошо это знал, там, когда туда пойдешь, не было ничего, кроме ряда кирпичных домов, бензинной станции, скетинг-ринк и супермаркета. По дороге к маленькому кабачку в Библиотечном переулке, где его ждала большая порция виргинской ветчины и бутылка хорошего пива, Пнин вдруг почувствовал страшную усталость. И не только потому, что том Зол. Фонд. после своего никому не нужного визита в библиотеку стал еще тяжелее; но что-то такое, что Пнин в продолжение всего дня слышал в полуха, но не хотел вслушаться, теперь томило и угнетало его, как может мучить воспоминание о совершенной оплошности, о грубости, которую мы себе позволили, или об угрозе, которой мы предпочли пренебречь.

7

За неторопливой второй бутылкой Пнин обсуждал с собою свой следующий ход, или, вернее, посредничал в переговорах между Пниным-Утомленным, который последнее время дурно спал, и Пниным-Ненасытным, желавшим, как всегда, почитать еще дома до двухчасового товарного, стонавшего по пути через долину. В конце концов решено было, что он ляжет спать сразу после окончания программы, показы-

ваемой неутомимыми Христофором и Луизой Стар каждый второй вторник в Новом Холле,— довольно высокого уровня музыка и довольно необычные кино-картины, которые президент Пур, отвечая в прошлом году на чью-то нелепую критику, назвал «быть может, самой вдохновляющей и самой вдохновенной затеей в нашей университетской жизни».

З. Ф. Л. теперь спал у Пнина на коленях. Слева от него сидели два студента-индуса. Справа — немного взбалмошная дочь профессора Гагена, специализировавшаяся в области драматургии. Комаров, слава Богу, сидел слишком далеко позади, чтобы сюда долетали его малоинтересные замечания.

Первая часть программы — три старинных коротких фильма — нагнала на нашего приятеля скуку: эта трость, этот котелок, белое лицо, эти черные брови дугой и подрагивающие ноздри его совершенно не трогали. Плясал ли несравненный комик под ярким солнцем с нимфами в веночках по соседству с поджидающим кактусом или был первобытным человеком (гибкая трость превращается в этом случае в гибкую дубинку), или невозмутимо выдерживал свирепый взгляд дюжего Мак Свэна в перевернутом вверх дном ночном кабарэ,— старомодный, безъюморный Пнин оставался равнодушен. «Шут,— фыркал он про себя.— Глупышкин и Макс Линдер и те были смешней».

Вторая часть программы состояла из внушительной советской хроники, снятой в конце сороковых годов. В ней не должно было быть ни капли пропаганды, одно чистое искусство, увеселенье, эйфория гордого труда. Миловидные, нехоленые девушки маршируют на вековечном Весеннем Празднестве, неся полотнища с обрывками из старинных русских песен, вроде «Руки прочь от Кореи», «Bas les mains devant la Corée», «La paz vencer a la guerra», «Der Friede besiegt den Krieg». Санитарный аэроплан пролетает над заснеженным хребтом в Таджикистане. Киргизские актеры посещают обсаженную пальмами санаторию для углекопов и дают там импровизированное представление. С горного пастбища где-то в Осетии пастух рапортует по переносному радио о рождении ягненка местному Министерству сельского хозяйства. Сверкает огнями московское метро с его колоннами и скульптурами и шестью как бы пассажирами, сидящими на трех мраморных скамьях. Семья фабричного рабочего проводит спокойно вечер дома, под большим шелковым абажуром, все разодетые, в гостиной, загроможденной декоративными растениями. Восемь тысяч поклонников футбола смотрят на матч Торпедо и Динамо. Восемь тысяч граждан на Московском заводе электро-моторов единодушно избирают Сталина кандидатом от Сталинского избирательного округа Москвы. Последняя легковая модель ЗИМа выезжает с семьей фабричного рабочего и еще несколькими пассажирами на загородную прогулку с обедом на вольном воздухе. А засим — не нужно, не нужно, ах, как это глупо, говорил себе Пнин, чувствуя, что слезные железы — безотчетно, смешно, унизительно — источают свою горячую ребяческую, неудержимую влагу.

В мареве солнечного света — света, проходящего дымчатыми стрелами меж белых березовых стволов, орошающего нависшую листву, дрожащего глазками на коре, стекающего в высокую траву, играющего и крутящегося среди призраков черемух в чуть смазанном цвету — глухой русский лес обступил путника. Через него шла старая лесная дорога с двумя мягкими колеями и сплошной процессией грибов и ромашек. Путник продолжал следовать мысленно по этой дороге на докучном обратном пути в свое анахроническое жилье; он снова был тот юноша, который бродил по этим лесам с толстой книгой подмышкой; дорога вдруг вышла к романтическому, раздольному, возлюбленному великолепию большого поля, нескошенного временем (лошади скачут прочь, вскидывая серебристыми гривами среди высоких цветов), когда дремота одолела Пнина, теперь уже удобно устро-

ившегося в постели, в соседстве четы будильников (один поставлен на 7.30, другой на 8), клохчущих и щелкающих на ночном столике.

Комаров в небесно-голубой рубашке склонился над гитарой, которую настраивал. Праздновалось чье-то рождение, и невозмутимый Сталин с глухим стуком бросил свой бюллетень на выборах правительственных гробоносцев. В бою ли, в стран... в волнах, в Уэйнделе. «Уандерфуль!» (Прекрасно!) — сказал д-р Бодо фон Фальтернфельс, подняв голову от своих бумаг.

Пнин уже погрузился было в свое бархатное забытье, когда на дворе приключилась какая-то ужасная катастрофа: охая и хватаясь за голову, статуя преувеличенно суетилась около сломанного бронзового колеса — и тут Пнин проснулся, и караван огней и теневых бугров прошел по оконной шторе. Грохнула автомобильная дверца, машина отъехала, ключом отперли хрупкий, прозрачный дом, заговорили три звучных голоса; дом и щель под дверью Пнина, дрогнув, осветились. Озноб, зараза. Испуганный, беспомощный, беззубый, в одной ночной рубашке, Пнин слушал, как вверх по лестнице колченого, но бодро, топает чемодан и пара юных ног взбегает по хорошо знакомым им ступенькам, и уже можно было разобрать шум нетерпеливого дыхания... Машинальная ассоциация со счастливым возвращением домой из унылых летних лагерей привела бы к тому, что Изабелла и в самом деле пинком отпахнула бы дверь Пнина, не останови ее вовремя предупреждающий оклик матери.

Глава четвертая

1

Король (его отец), в снежно-белой спортивной рубашке с открытым воротом и совершенно черном спортивном пиджаке сидел за большим столом, полированная поверхность которого отражала верхнюю половину его тела — вниз головой,— превращая его в фигурную карту. Стены просторной, обшитой деревом комнаты были увешаны фамильными портретами. В остальном же она мало чем отличалась от кабинета директора школы Св. Варфоломея на Атлантическом побережье, приблизительно в трех тысячах миль к западу от воображаемого Дворца. Сильный весенний ливень хлестал в большие стекла балконных дверей, за которыми дрожало и струилась молодая глазастая листва. Казалось, что ничто, кроме этой пелены дождя, не отделяет и не защищает Дворца от мятежа, вот уже несколько дней сотрясавшего город... На самом же деле отец Виктора был доктор-эмигрант, с причудами, которого мальчик никогда особенно не любил и теперь уже почти два года не видал.

Король, его более правдоподобный отец, решил не отрекаться. Газеты не выходили. Ориент-Экспресс, со всеми своими транзитными пассажирами, застрял на пригородной станции, где на перроне стояли, отражаясь в лужах, живописные крестьяне, глазеющие на занавешенные окна таинственных длинных вагонов. И Дворец, и его террасами спускающиеся сады, и город у подножья дворцового холма, и главная городская площадь, где, несмотря на дурную погоду, уже начались казни и народные гулянья,— все это находилось в самом сердце некоего креста, перекладины которого оканчивались в Триесте, Граце, Будапеште и Загребе — согласно Справочному Атласу Мира Рэнд Мак-Нэлли. А в центре этого сердца сидел Король, бледный и невозмутимый, и в общем чрезвычайно похожий на своего сына, каким этот школьник представлял себя в сорок лет. Бледный и невозмутимый, с чашкой кофе в руке, Король сидел спиной к изумрудно-серому окну и слушал маскированного вестника, дородного старого вельможу в

мокром плаще, несмотря на мятеж и дождь пробравшегося из осажденного Государственного совета в окруженный Дворец.

— Отречься! Чуть ли не четверть алфавита! — холодно сострил Король с легким акцентом.— Ни за что. Предпочитаю неизвестную величину экспатриации.

Говоря это, Король — вдовец — взглянул на настольную фотографию покойной красавицы, на ее большие синие глаза и карминовый рот (это была цветная фотография, королю не подобавшая, да уж все равно). Неожиданно рано зацветшая сирень исступленно колотилась в забрызганные стекла, как ряженые, которых не пустили в дом. Старик-вестник отвесил поклон и попятился через пустыню кабинета, размышляя про себя, не разумнее ли ему махнуть рукой на историю и укатить в Вену, где у него было кое-какое имущество... Конечно, на самом деле мать Виктора была жива; она бросила его будничного отца, д-ра Эриха Винда (проживавшего в настоящее время в Южной Америке) и собиралась выйти замуж в Буффало за некоего Чёрча.

Каждую ночь Виктор предавался этим безобидным мечтам, пытаясь заманить сон в свой холодный уголок неугомонного, шумного дортуара. Обыкновенно он не доходил до самого решительного эпизода побега, когда Король один-одинешенек,— Solus rex, как составители шахматных задач называют одинокого короля на доске — мерил шагами пляж Богемского взморья у Стрелки Бурь, где Персиваль Блэк, беспечный американский искатель приключений, обещал встретить его на мощном катере. Именно отсрочивание этого захватывающего и утешительного эпизода, затягивание его прелести, приливавшей на гребне повторяющегося вымысла, и приводили в действие его усыпляющий механизм:

Итальянская фильма, снятая в Берлине для американского потребителя, в которой какого-то юнца с одичалым взглядом, в измятых трусах, преследует по трущобам и развалинам и в одном или двух борделях некий международный агент; инсценировка «Алого Берденца», недавно показанная в соседней женской школе Св. Марфы; анонимный рассказ в духе Кафки в некогда авангардном журнальчике, прочитанный вслух в классе мистером Пеннантом, скучного вида англичанином с замечательным прошлым; и не в последнюю очередь, давно отстоявшийся осадок разных домашних упоминаний о бегстве русских интеллигентов от ленинского режима тридцать пять лет назад,— вот очевидные источники фантазий Виктора; когда-то они, должно быть, сильно волновали его, но теперь стали откровенно утилитарными, как простое и приятное снотворное.

2

Теперь ему было четырнадцать лет, но выглядел он на два-три года старше,— не потому, что был долговяз, шести футов ростом, а из-за своей непринужденной манеры держаться, из-за выражения дружелюбного равнодушия в простых, но правильных чертах лица и полного отсутствия угловатости или напряженности, нисколько не исключавшего скромности и сдержанности, но придававших какую-то солнечность его застенчивости и учтивую независимость его спокойным повадкам. Коричневое родимое пятно размером с грош под левым глазом подчеркивало бледность его щек. Не думаю, чтобы он кого-нибудь любил.

В его отношении к матери горячая детская привязанность давно сменилась нежной снисходительностью, и он только позволял себе мысленно вздыхать, с улыбкою подчиняясь судьбе, когда она на своем беглом и развязном нью-йоркском наречии с резкими металлическими носовыми нотками и съезжанием в неразборчивые русизмы, потчевала в его присутствии незнакомых людей историями, которые он

слышал сотни раз и которые были либо бессовестно приукрашены, либо выдуманы. Хуже бывало, когда Эрих Винд, совершенно безъюморный педант, убежденный в безупречности своего английского языка (приобретенного в немецкой гимназии), в обществе таких же незнакомцев отпускал какую-нибудь затасканную остроту, говоря вместо «океан» — «пруд», да еще с доверительно-лукавым видом человека, одаряющего слушателей редкой и изысканной идиомой. Оба они в качестве психотерапевтов делали все, что было в их силах, чтобы олицетворить собою Лая и Иокасту, но мальчик оказался весьма посредственным маленьким Эдипом. Чтобы не усложнять модного треугольника фрейдовского романа (отец, мать, дитя), первого Лизиного мужа никогда не упоминали. Только приблизительно ко времени поступления Виктора в школу Св. Варфоломея, когда брак Виндов начал разваливаться, Лиза сообщила ему, что до отъезда из Европы она была женой профессора Пнина. Она сказала, что ее бывший муж тоже переселился в Америку, что он даже скоро повидается с Виктором; так как все, что бы Лиза ни говорила (широко раскрывая свои лучистые, синие, с черными ресницами, глаза) неизменно приобретало налет некоторой таинственности и романтичности, величественный образ Тимофея Пнина, ученого и джентльмена, преподающего фактически мертвый язык в знаменитом Уэйндельском университете, в трехстах примерно милях на северо-запад от Св. Варфоломея, приобрел в гостеприимном воображении Виктора странную прелесть, какое-то семейное сходство с теми болгарскими королями или средиземноморскими принцами, которые бывали всемирно известными знатоками бабочек или морских раковин. Поэтому он обрадовался, когда профессор Пнин вступил с ним в солидную и церемонную переписку; за первым письмом, написанным на чудесном французском языке, но довольно дурно напечатанным, последовала открытка с изображением Серой Белки. Открытка эта была из педагогической иллюстрированной серии «Наши млекопитающие и птицы»; Пнин купил всю серию нарочно для этой переписки. Виктору приятно было узнать, что слово «squirrel» (белка) происходит от греческого, означающего «тень хвоста». Пнин приглашал Виктора к себе в гости на ближайшие каникулы и сообщал, что встретит его на Уэйндельской автобусной станции. «Для того, чтобы меня можно было узнать,— писал он (по-английски),— я появлюсь в темных очках и буду держать черный портфель с серебряной монограммой».

3

И Эрих, и Лиза Винд были болезненно озабочены проблемой наследственности, и вместо того, чтобы радоваться художественному дарованию Виктора, мрачно доискивались его истоков. Искусства и науки были довольно ярко представлены в их родословной. Не восходит ли увлечение Виктора красками к Гансу Андерсену (не состоявшему в родстве с датчанином, читаемым на сон грядущий), который был витражных дел мастер в Любеке, пока не рехнулся, вообразив, что стал собором, вскоре после того, как его любимая дочь вышла за седого гамбургского ювелира, автора монографии о сапфирах, деда Эриха по материнской линии? Или, может быть, почти патологическая точность карандаша и пера Виктора была побочным следствием ученой деятельности Боголеповых? Ибо прадед матери Виктора, седьмой сын сельского попа, был никто другой как тот самый Феофилакт Боголепов, своеобразный гений, с которым мог соперничать только величайший русский математик Николай Лобачевский. Трудно сказать.

Гений — это оригинальность. В два года Виктор не чертил спиралевидных каракулей, чтобы изобразить пуговицу, или иллюминаторы, как это делают миллионы других детей, а что же ты так не рисуешь?

Он любовно выводил свои абсолютно правильные, замкнутые окружности. Если трехлетнего ребенка попросить срисовать квадрат, то он сделает один сносный угол, а прочие передаст волнообразной или круглой линией; а Виктор в три года не только скопировал с презрительной точностью далеко не идеальный квадрат, предложенный испытателем (д-ром Лизой Винд), но и прибавил от себя еще один рядом, поменьше. Он не прошел через ту начальную стадию графической деятельности, когда дети рисуют «kopffussler'ов» (головастиков) или яйцевидных человечков с ножками-кочережками и руками, заканчивающимися грабельными зубьями; он вообще не рисовал человеческих фигур, и когда Папа (д-р Эрих Винд) заставил его нарисовать Маму (д-ра Лизу Винд), он изобразил нечто восхитительно волнистое, что, по его словам, было ее тенью на новом леднике. К четырем годам он придумал собственную систему подтушевки. В пять он начал изображать предметы в перспективе — правильно укороченную боковую стену здания; уменьшенное расстоянием дерево; один предмет, наполовину заслоненный другим. А в шесть лет Виктор уже различал то, что и взрослые не все научаются видеть — цвет тени, разницу в оттенке между тенью апельсина и сливы или аллигаторовой груши.

Для Виндов Виктор был трудным ребенком, поскольку он отказывался быть таковым. С точки зрения Виндов всякий младенец мужского пола одержим страстным желанием оскопить отца и ностальгическим стремлением вернуться в утробу матери. Виктор же не обнаруживал никаких изъянов в поведении, не копал в носу, не сосал большого пальца и даже не грыз ногтей. Д-р Винд, желая избежать того, что он, радиофил, называл «статическими помехами в личных отношениях», попросил чету посторонних людей, молодого д-ра Стерна и его улыбчивую жену («Меня зовут Луис, а это Христина») психометрировать в Институте своего неприступного ребенка. Но результаты получались или чудовищные, или вовсе никакие: семилетний пациент выдержал так называемое испытание Годунова «Нарисуем животное» на потрясающий интеллектуальный балл, соответствующий семнадцати годам, но когда ему предложили тест Фэрвью для взрослых, он тотчас скатился на умственный уровень двухлетнего. Сколько труда, мастерства и находчивости было потрачено на изобретение всех этих восхитительных методов! Какая досада, что некоторые пациенты не желают сотрудничать! Вот, например, испытание на «Абсолютно свободную ассоциацию» (Кент — Розанофф), когда маленьких Джо или Джейн просят ответить на какое-нибудь Наводящее Слово, как-то: стол, утка, музыка, больной, большой, низкий, глубокий, длинный, счастье, плод, мать, гриб. Вот очаровательная игра «Любознательность и Отношение» (Бьевр) — дождливых вечеров отрада — тут маленьких Сэма или Руби просят сделать пометочку около тех слов, которых они побаиваются, как например: смерть, паденье, сон, циклоны, похороны, отец, ночь, операция, спальня, уборная, конвергировать, и так далее; имеется абстрактный текст Августы Ангст, где малыша (das Kleine) заставляют выразить ряд понятий (стон, удовольствие, темнота), не отрывая карандаша. Ну и, конечно, «Игра в куклы», где Патрику или Патриции вручаются две одинаковые резиновые куклы и симпатичный кусочек глины, который Пат должен (-на) прилепить к одной из них, прежде чем начать играть ими, и что за прелесть этот кукольный дом, сколько в нем комнат, сколько затейливых миниатюрных вещиц, включая ночной горшочек величиною с желудевую чашечку, аптечный шкапчик, кочергу, двуспальную постель и даже пару крошечных резиновых перчаток на кухне, и можно быть гадким сколько захочешь и делать все что угодно с куклой-Папой, если тебе кажется, что она бьет куклу-Маму, когда они тушат свет в спальне. Но нехороший Виктор не желал играть с Лу и Тиной, игнорировал кукол, вычеркивал все слова подряд (что

было нарушением правил), и делал рисунки, начисто лишенные всякого нечеловеческого смысла.

Виктора нельзя было заставить увидеть хоть что-нибудь маломальски любопытное для врачей в очень, *очень* красивых кляксах Роршаха, в коих дети находят, или должны находить, всякую всячину: побег, поморье, полуостров, червей идиотизма, невротические стволы, эротические галоши, зонтики и гири для гимнастики. С другой стороны, ни один из небрежных набросков Виктора не являл собою так называемого «мандала» — термин, предположительно означающий (на санскрите) волшебное кольцо и применяемый д-ром Юнгом и прочими для обозначения всяких каракулей с более или менее четырехстворчатой структурой, вроде разрезанного пополам манго, или креста, или колеса, на котором всякое эго разламывается как Морфо, или вернее, как молекула углерода с ее четверной валентностью — основной химический компонент мозга,— механически увеличенная и запечатленная на бумаге.

В своем отчете Стерны написали, что «к сожалению, психическая ценность Ментальных Образов и Словесных Ассоциаций Виктора совершенно затемнена художественными наклонностями мальчика». И с тех пор маленькому пациенту Виндов, трудно засыпавшему и лишенному аппетита, было позволено читать в постели заполночь и уклоняться от утренней овсянки.

4

Составляя планы образования сына, Лиза разрывалась между двумя либидолами: доставить ему все новейшие преимущества Современной Детской Психотерапии, и в то же время подыскать внутри американской религиозной структуры ближайшее подобие мелодичных и благотворных красот Православной Церкви, этой благостной общины, так мало требующей от совести по сравнению с теми утешениями, которые она сулит.

Сначала маленький Виктор посещал прогрессивный киндергартен в Нью Джерзи, а потом по совету каких-то русских знакомых был определен в тамошнюю школу. Школой этой руководил англиканский священник, оказавшийся умным и талантливым педагогом, снисходительный к одаренным детям невзирая на их причуды или шалости; Виктор был, бесспорно, не совсем заурядным мальчиком, но в то же время очень спокойным. В двенадцать лет он поступил в школу Св. Варфоломея.

Снаружи Сент-Барт представлял собой массив красного, фальшиво-импозантного кирпича, возведенный в 1869 году на окраине Крантона, Массачусеттс. Главное здание образовывало три стороны большого прямоугольника, четвертой же стороной была застекленная галлерея. Домик привратника с коньковой крышей по одной стене был покрыт глянцевитым американским плющом и несколько неуклюже увенчивался кельтским каменным крестом. По плющу от ветра проходила рябь, как по шкуре лошади. Цвету красного кирпича любят приписывать способность со временем приобретать благородный оттенок: сент-бартовский сделался просто грязным. Под крестом и непосредственно над кажущейся гулкой, но в действительности безотзывной, входной аркой было вырезано нечто вроде кинжала, с намерением изобразить мясничий нож, который так укоризненно держит (в Венском требнике) Св. Варфоломей, один из апостолов — именно тот, с которого заживо содрали кожу, а потом выставили на съедение мухам летом 65-го, что ли, года после Р. Х. в Альбанополе (ныне Дербент, в юго-восточной России). Его гроб, брошенный разгневанным царем в Каспийское море, благополучно доплыл до острова Липари, у берегов Сицилии — должно быть, сказка, так как Каспий с самого Плейстоцена был неизменно внутренним морем. Под этим геральди-

ческим оружием — несколько напоминавшим морковку концом вверх — отполированным церковным шрифтом было начертано: Sursum. Две кроткого нрава английские овчарки, очень друг к другу привязанные и принадлежавшие одному из наставников, обыкновенно дремали на траве перед воротами, в своей собственной Аркадии.

В первое свое посещение школы Лиза от всего приходила в восторг, начиная с площадок для игры в fives и часовни и кончая гипсовыми слепками в коридорах и фотографиями соборов в классных комнатах. Для трех младших классов были отведены дортуары с окном в каждом отделеньице; в конце была комната воспитателя. Посетители не могли не полюбоваться прекрасным гимнастическим залом. Сильное впечатление производили также дубовые скамьи и подбалочная кровля часовни — романского стиля строения, пожертвованного полвека назад Юлиусом Шонбергом, шерстяным фабрикантом, братом знаменитого египтолога Сэмюэля Шонберга, погибшего в мессинском землетрясении. Всего было двадцать пять преподавателей и директор, преподобный Арчибальд Хоппер, в теплую погоду носивший элегантное серое облачение и исполнявший свои обязанности в блаженном неведении интриги, которая вот-вот должна была его сместить.

5

Хотя у Виктора было необычайно развитое зрение, ничем не примечательный образ Сент-Барта запечатлелся в его сознании скорее своими запахами и звуками. В дортуарах стоял затхлый скучный дух старого полированного дерева, а в кабинках ночью слышны были громкие брюшные залпы и особенный скрип постельных пружин, нарочно усиленный из ухарства — и звонок в коридоре, в гулкой пустоте мигрени, раздававшийся в 6.45 утра. От курильницы, свисавшей на цепях и на тенях цепей с ребристого потолка часовни, веяло идолопоклонством и ладаном, а бархатный голос преподобного Хоппера гладко сочетал вульгарность с утонченностью; был Гимн 166-й, «Светоч души моей», который новички должны были выучивать наизусть; а в раздевальной с незапамятных времен несло потом от корзины на колесах, где хранились общие гимнастические суспензории — омерзительно серый клубок, из которого приходилось выпутывать для себя один, надевавшийся перед началом спортивных классов — и до чего резки и печальны были грозди возгласов, доносившихся с каждой из четырех игральных площадок!

При умственном коэффициенте около ста восьмидесяти и среднем балле в девяносто, Виктор без труда числился первым в классе из тридцати шести человек, и даже был одним из трех лучших учеников в школе. К большинству преподавателей он не испытывал особенного уважения, но зато преклонялся перед Лейком, необычайно толстым человеком с мохнатыми бровями и волосатыми руками, и с выражением сумрачного смущения в присутствии атлетических, румяных мальчиков (Виктор не был ни тем, ни другим). Лейк восседал подобно Будде в замечательно опрятной студии, напоминавшей скорее приемную в картинной галлерее, чем мастерскую. Ничто не украшало ее бледно-серых стен, кроме двух одинаково обрамленных картин: копии фотографического шедевра Гертруды Кэзебир «Мать и дитя» (1897), с задумчивым ангелоподобным младенцем, глядящим вверх и прочь (на что?), и репродукции головы Христа, в тех же тонах, из Рембрандтовых «Паломников в Эммаусе», с тем же, хотя и чуть менее небесным выражением глаз и рта.

Он родился в Огайо, учился в Париже и Риме, преподавал в Эквадоре и Японии. Он был признанный знаток живописи, и многие недоумевали, чего ради Лейк последние десять зим пропадает в Сент-Барте. Хотя он обладал суровым нравом гения, ему не хватало оригинальности, и он это знал; собственные его работы всегда казались

прекрасными и остроумными подражаниями, хотя никто никогда не мог определенно сказать, чью именно манеру он имитирует. Его доскональное знание безчисленных технических приемов, его безразличие к «школам» и «течениям», ненависть к шарлатанам, убежденность в том, что нет никакой разницы между мещански-благовоспитанной акварелью вчерашнего дня и, скажем, нынешним условным нео-пластицизмом или банальной беспредметностью, и что ничто кроме индивидуального дарования не имеет значения — все эти взгляды делали его необычным учителем. В Сент-Барте были не слишком довольны ни методикой Лейка, ни ее результатами, но держали его оттого, что полагалось иметь среди педагогов хотя бы одного знаменитого чудака. Среди множества увлекательных вещей Лейк учил, что порядок солнечного спектра представляет собою не замкнутый круг, а спираль оттенков от кадмиево-красного и оранжевых, и дальше стронциево-желтого и бледно-райски-зеленого до кобальтово-синего и лилового, после чего вся череда не возвращается опять постепенно в красные тона, но открывает новую спираль, начинающуюся с фиолетово-серого и идущую от одного пепельного оттенка к другому, уже за пределом человеческого восприятия. Он говорил, что не существует никакой Школы «Аш-кан», ни Школы «Каш-Каш», ни Школы «Кан-кан». Что произведение искусства, созданное из куска бечевки, почтовых марок, левой газеты и голубиного помета — просто набор невыносимо скучных пошлостей. Что нет ничего более банального и мещанского, чем паранойя. Что Дали, в сущности, близнец Нормана Роквелла, умыкнутый в младенчестве цыганами. Что Ван Гог художник второго разряда, а Пикассо — высшего, несмотря на его коммерческие поползновения; и что если Дега мог обессмертить une caleche, то почему бы Виктору Винду не сделать того же самого с автомобилем?

Можно, например, сделать автомобиль проницаемым для окружающего ландшафта. Полированный черный седан — хороший сюжет, особенно ежели он запаркован на пересечении обсаженной деревьями улицы с одним из тех тяжеловатых осенних небосклонов, на которых распухшие серые облака и амебообразные пятна синевы выглядят вещественней молчаливых ильмов и уклончивой мостовой. Теперь разложи корпус машины на отдельные плоские и изогнутые части; потом собери их по законам отражений. Для каждой части они будут другими: на крыше появятся опрокинутые деревья с размазанными ветвями, врастающими как корни в водянистую фотографию неба, с проплывающим мимо китообразным зданием — добавочная архитектурная идея; один бок кожуха покроет полоса густого небесного кобальта; тончайший узор черных веток отразится на внешней поверхности заднего окна; и замечательно пустынный пейзаж — раздавшийся горизонт (с далеким домом тут, одиноким деревом там) протянется по бамперу. Этот подражательно-интегрирующий процесс Лейк называл необходимой «натурализацией» рукотворных предметов. Виктор отыскивал на улицах Крантона подходящий экземпляр машины и некоторое время бродил вокруг нее. Неожиданно к нему присоединялось солнце, полускрытое, но ослепительное. Для той кражи, которую замышлял Виктор, нельзя было найти лучшего сообщника. В хромовой отделке кузова, в стекле фары, обрамленной солнцем, он видел перспективу улицы и себя, и это напоминало микроскопический вариант комнаты (с крошечными людьми, видимыми со спины) в том совершенно особенном и волшебном выпуклом зеркальце, которое полтысячелетия назад любили вписывать в свои подробнейшие интерьеры,— позади какого-нибудь насупленного купца или местной мадонны,— Ван Эйк, Петрус Христус и Мемлинг.

В последнем номере школьного журнала Виктор поместил стихотворение о живописцах, над nom de guerre Mvанэ и под эпиграфом «Дурных красных следует вовсе избегать; даже тщательно изготов-

ленные, они все равно дурны» (взятым из одной старинной книги о живописном мастерстве, но смахивавшим на политический афоризм). Стихотворение начиналось так:

Леонардо! От свинцовой
Краски в смеси с мареной
Моны Лизы рот пунцовый
Побледнел, как у святой.

В мечтах он смягчал свои краски, как это делали Старые Мастера, медом, смоковным соком, маковым маслом и слизью розовых улиток. Он любил акварель и масло, но остерегался слишком хрупкой пастели и слишком грубой темперы. Он изучал свой матерьял с охотой и терпением ненасытного ребенка — как те ученики живописцев (а это уже мечта Лейка!), остриженные, как пажи, мальчики с блестящими глазами, годами растиравшие краски в мастерской какого-нибудь великого итальянского скиаграфа, в царстве янтаря и райской глазури. В восемь лет он как-то сказал матери, что ему хочется написать воздух. В девять ему уже было знакомо чувственное упоение от постепенной гаммы акварельных оттенков. Что ему было до того, что нежный кьяроскуро, дитя приглушенных красок и прозрачных полутонов, давно скончался за тюремной решеткой абстрактного искусства, в ночлежке омерзительного примитивизма? Он помещал по очереди разные предметы — яблоко, карандаш, шахматную пешку, гребенку — позади стакана воды и сквозь него прилежно разглядывал каждый: красное яблоко превращалось в четкую красную полосу, ограниченную ровным горизонтом — полустаканом Красного Моря, Arabia Felix. Короткий карандаш, если его держать косо, извивался как стилизованная змея, но если его держать вертикально, он чудовищно толстел — делался чуть ли не пирамидою. Черная пешка, если ее двигать туда-сюда, разделялась на чету черных муравьев. Гребенка, поставленная торчком, наполняла стакан прелестно полосатым, как зебра, коктэйлем.

6

Накануне того дня, когда Виктор собирался приехать, Пнин зашел в спортивный магазин на Главной улице Уэйнделя и спросил футбольный мяч. Хотя просьба была не по сезону, мяч ему подали.

— Нет-нет,— сказал Пнин.— Мне не нужно ни яйца, ни торпеды. Я хочу простой футбол. Круглый!

И кистями и ладонями он изобразил портативный мир. Это был тот же жест, которым он пользовался в классе, когда говорил о «гармонической цельности» Пушкина.

Приказчик поднял палец и молча достал европейский футбол.

— Да, это я куплю,— сказал Пнин с полным достоинства удовлетворением.

Со своей упакованной в коричневую бумагу и заклеенной полосками клейкой ленты покупкой он зашел в книжный магазин и попросил «Мартина Идена».

— Иден, Иден, Иден,— забормотала высокая темноволосая женщина за прилавком, потирая лоб.— Постойте, вы имеете в виду книгу об английском министре, не правда ли?

— Я имею в виду,— сказал Пнин,— знаменитое сочиненье знаменитого американского писателя Джэка Лондона.

— Лондон, Лондон, Лондон,— сказала она, хватаясь за виски.

На помощь, с трубкою в руке, пришел ее муж, некий г-н Твид, писавший стихи на злобу дня. Порывшись, он извлек из пыльных глубин своего не слишком процветающего магазина старое издание «Сына волка».

— Боюсь,— сказал он,— это все, что у нас есть этого автора.

— Странно! — сказал Пнин.— Превратности славы! В России, помнится, все — маленькие дети, взрослые, доктора, адвокаты — все читали и перечитывали его. Это не лучшая его книга, но — окей, окей — я возьму ее.

Вернувшись домой, в тот дом, где он в этом году квартировал, профессор Пнин выложил мяч и книгу на письменный стол в комнате для гостей наверху. Склонив голову набок, он осмотрел свои подарки. Мяч выглядел неважно в своей бесформенной упаковке: он развернул его. Теперь была на виду его красивая кожа. Комната была чисто убранная и уютная. Школьнику должна понравиться эта картинка (профессорский цилиндр, сшибленный снежком). Поденщица только что сделала постель; старый Биль Шеппард, хозяин дома, поднялся с нижнего этажа и с важностью ввинтил новую лампочку в настольную лампу. Теплый сырой ветер поддувал в раскрытое окно, и снизу доносился шум разыгравшегося ручья. Собирался дождь. Пнин закрыл окно.

В своей комнате, на том же этаже, он нашел записку. Лаконичную телеграмму Виктора передали по телефону: в ней сообщалось, что он опоздает ровно на двадцать четыре часа.

7

Виктора и еще пятерых мальчиков задержали в школе на один драгоценный день пасхальных каникул за курение сигар на чердаке. Виктор, склонный к тошноте и страдавший множеством обонятельных фобий (все это тщательно скрывалось от Виндов), и не курил, в сущности, а только раз или два пыхнул. Но он несколько раз послушно ходил на запретный чердак с двумя лучшими своими товарищами, предприимчивыми проказниками Тони Брейдом и Лансом Боком. Чтобы проникнуть туда, надо было пройти через комнату, где хранились чемоданы, а потом подняться по железной лесенке, выходившей на мостки под самой крышей. Тут восхитительный, до странного хрупкий каркас здания становился видимым и осязаемым, со всеми своими балками и досками, лабиринтом переборок, разрезанными тенями, непрочной дранкой, сквозь которую нога проваливалась под хруст штукатурки, сыпавшейся из невидимых потолков внизу. Лабиринт заканчивался маленькой площадкой, спрятанной в выеме под самым острием кровельного конька, среди пестро разбросанных там и сям старых комиксов и свежего сигарного пепла. Пепел обнаружили; мальчики сознались. Тони Брейду, внуку славного сент-барского директора, было позволено уехать по семейным обстоятельствам; его хотел повидать перед отбытием в Европу нежно привязанный к нему двоюродный брат. Тони благоразумно попросил, чтобы его задержали вместе с остальными.

Как я уже сказал, директором во времена Виктора был преподобный мистер Хоппер — безвредное ничтожество с темными волосами и свежим цветом лица, высоко ценимый бостонскими матронами. Когда Виктор с товарищами по преступлению обедал со всей хоппероровской семьей, то с той, то с другой стороны делались разного рода кристально-прозрачные намеки; особенно старалась г-жа Хоппер, сладкоголосая англичанка, тетка которой была замужем за графом: г-н Хоппер мог бы сменить гнев на милость и не отправлять шестерых мальчиков рано в постель, а взять их в этот последний вечер в городской кинематограф. И после обеда, ласково подмигнув, она велела им идти за Хоппером, который быстро направился к сеням.

Старомодные попечители школы могли оправдывать те два или три случая порки, которой Хоппер подверг особо провинившихся в течение его краткого и ничем не примечательного пребывания в должности; но чего ни один мальчик не мог стерпеть, это гнусной ухмылочки, искривившей красные губы директора, когда он задер-

жался по дороге в сени, чтобы подобрать аккуратно сложенный пакет — рясу и стихарь; автомобиль семейного типа стоял у дверей, и «на закуску к наказанию», по выражению мальчиков, этот фальшивый священнослужитель угостил их специальной службой в Радберне, в двенадцати милях от Крантона, в холодной кирпичной церкви с немногочисленными прихожанами.

8

Теоретически проще всего добраться до Уэйнделя из Крантона на таксомоторе до Фреймингама, оттуда до Албани курьерским, а потом проехать небольшой остаток пути местным поездом в северо-западном направлении; в действительности же этот простейший способ был самым неудобным. То ли между этими двумя железными дорогами существовала старая, закоренелая распря, то ли они сговорились действовать сообща в пользу других средств передвижения, но только как бы вы ни тасовали расписания, вам ни за что было не избежать по меньшей мере трехчасового ожидания поезда в Албани.

Можно было, правда, уехать из Албани одиннадцатичасовым автобусом, прибывавшим в Уэйндель в три часа дня, но для этого надо было сесть на поезд, уходивший из Фреймингама в 6.31 утра; Виктор знал, что не встанет вовремя; поэтому он предпочел более поздний и куда более медленный поезд, позволявший успеть в Албани на последний автобус в Уэйндель, который доставил его туда в половине девятого вечера.

Всю дорогу шел дождь. Дождь шел и когда он приехал на Уэйндельский автобусный вокзал. Из-за своей природной мечтательности и легкой рассеянности Виктор всегда оказывался в хвосте любой очереди. Он давно привык к этому своему изъяну, как привыкаешь к близорукости или хромоте. Немного сутулясь из-за своего высокого роста, он терпеливо тянулся за пассажирами, которые гуськом пробирались по автобусу и сходили на блестящий асфальт: две грузные старые дамы в полупрозрачных дождевиках, похожие на картофелины в целлофане; мальчик лет семи или восьми, стриженный ежиком, с нежным затылком; многоугольный застенчивый пожилой калека, который отказался от всякой помощи и выбрался наружу по частям; три уэндельские студентки в коротких штанах, с розовыми коленками; изнеможенная мать мальчика; еще несколько пассажиров; а потом — Виктор, с саквояжем в руке и двумя иллюстрированными журналами подмышкой.

Под аркой при входе в вокзал стоял совершенно лысый господин со смугловатым лицом, в темных очках и с черным портфелем, приветливо-вопросительно склонившись над тонкошеим мальчиком, который, однако, все качал головой и указывал на мать, ожидавшую появления своих чемоданов из чрева автобуса. Сдержанно и весело Виктор прервал этот quidpro quo. Смуглоголовый господин снял очки и, разогнувшись, стал поднимать глаза выше-выше-выше на высокого-высокого-высокого Виктора, на его синие глаза и рыжевато-каштановые волосы. Хорошо развитые мышцы скул Пнина подтянулись и округлили его загорелые щеки; в улыбке участвовали лоб, нос и даже его большие уши. В общем, это была чрезвычайно удачная встреча.

Пнин предложил оставить саквояж на вокзале и пройтись один квартал пешком — если только Виктор не боится дождя (лило как из ведра, и асфальт, как горное озерцо, блестел в темноте под большими шумными деревьями). Пнин полагал, что столь поздняя трапеза в трактире должна доставить мальчику удовольствие.

— Доехали хорошо? Без неприятных происшествий?

— Да, сэр.

— Вы очень голодны?

— Нет, сэр. Неособенно.

— Меня зовут Тимофей,— сказал Пнин, когда они удобно устроились у окна в старом убогом трактире.— Второй слог произносится, как «мафф» (промах), ударенье на последнем слоге, «ей», как в «прей» (добыча), но чуть более растянуто. «Тимофей Павлович Пнин» — что значит «Тимоти, сын Поля». В отчестве ударенье на первом слоге, а остальные проглатываются — Тимофей Палч. Я долго обсуждал это сам с собой — вытрем-ка эти ножи и вилки — и пришел к заключению, что вам следует называть меня просто мистер Тим или даже еще короче — Тим, как зовут меня иные из моих чрезвычайно симпатичных коллег. Это — что вы будете есть? Телячью отбивную? Окей, я тоже буду есть телячью отбивную — это, конечно, уступка Америке, моей новой родине, чудесной Америке, которая иногда изумляет меня, но всегда вызывает уважение. Сначала меня очень смущала —

Сначала Пнина очень смущала та легкость, с какой в Америке переходят на обращение по имени: после первого же приема, в начале которого на каплю виски полагается целый айсберг, а под конец в море виски добавляется немного воды из-под крана, вы должны называть чужого вам человека с седыми висками «Джимом», между тем как вы становитесь для него навеки «Тимом». Ежели вы забудете об этом и на другое утро назовете Профессором Эвереттом (его настоящим, по-вашему, именем), то это будет (для него) ужасным оскорблением. Перебирая своих русских друзей в Европе и Соединенных Штатах, Тимофей Пнин мог легко насчитать по крайней мере шесть десятков милых ему людей, которых он знал близко с 1920-х, скажем, годов и которых он никогда не называл иначе как Вадим Вадимыч, Иван Христофорович или Самуил Израилевич, и которые при всякой встрече величали его по имени и отчеству с тою же горячей симпатией при крепком, сердечном рукопожатии: «А, Тимофей Палч! Ну как? А вы, батенька, здорово постарели!».

Пнин говорил. Его речь не удивляла Виктора, часто слыхавшего, как русские говорят по-английски, и его нисколько не смущало, что Пнин произносит «family» так, что первый слог звучал, как «женщина» по-французски.

— Я говорю по-французски гораздо свободней, чем по-английски,— сказал Пнин.— А вы — Vous comprenez le francais? Bien? Assez bien? un peu?

— Trés un peu,— сказал Виктор.

— Прискорбно, но ничего не поделаешь. Теперь я буду говорить с вами о спорте. Первое в русской литературе описанье бокса мы находим в поэме Михаила Лермонтова (родился в 1814-м, убит в 1841-м — легко запомнить). С другой стороны, первое описанье тенниса находится в «Анне Карениной», романе Толстого, и относится к 1875 году. Как-то в молодости, в русском поместье на широте Лабрадора, мне дали ракетку, чтобы играть с семьей ориенталиста Готовцева, может быть, вы слыхали о нем. Помню, был чудесный летний день, и мы играли, играли, играли, пока не потеряли все двенадцать мячей. Вы тоже будете вспоминать прошлое с интересом, когда постареете.

— Другая игра,— продолжал Пнин, щедро накладывая сахар в свой кофе,— была, конечно, крокет. Я был чемпион крокета. Однако любимой национальной забавой были так называемые gorodki, что значит «маленькие города». Вспоминаю площадку в саду и удивительное ощущение молодости: я был силен, носил вышитую русскую рубашку, теперь никто не играет в такие здоровые игры.

Он доел котлету и вернулся к предмету разговора:

— Чертили,— говорил Пнин,— большой квадрат на земле, ставили в нем, как колонны, этакие, знаете ли, цилиндрические деревяшки, и потом издалека бросали в них толстую палку, очень сильно, как

бумеранг, широко-широко размахнувшись — извините, хорошо, что это сахар, а не соль.

— Я все еще слышу,— говорил Пнин, поднимая с полу сахарную кропилку и слегка покачивая головой, изумляясь, до чего живуча память,— я все еще слышу этот бряк, этот треск, когда попадешь в деревянные бруски и они подпрыгивают на воздух. Вы не будете доедать мяса? Вам не понравилось?

— Страшно вкусно,— сказал Виктор,— но я не очень голоден.

— Ах, вам надо есть больше, гораздо больше, если вы хотите стать футболистом.

— Боюсь, что я не очень люблю футбол. Я, собственно, терпеть его не могу. Да и в другие игры я играю неважно.

— Вы не любите футбола? — сказал Пнин, и на его большое выразительное лицо наползла тень смятения.

Он выпятил губы. Раскрыл их — но ничего не сказал. Молча доел он свое ванильное сливочное мороженое, не содержавшее ванили и приготовленное без сливок.

— Теперь мы возьмем ваш багаж и таксомотор,— сказал Пнин.

Как только они подъехали к Шеппардову дому, Пнин провел Виктора в гостиную и наскоро представил его своему хозяину, старому Билю Шеппарду, служившему прежде надзирателем университетских земель (он был совершенно глух и носил в ухе белую пуговку), и его брату, Бобу Шеппарду, недавно перебравшемуся из Буффало к Билю, после того, как умерла жена последнего. Ненадолго оставив с ними Виктора, Пнин торопливо протопал наверх. Дом представлял собою легко проницаемую для звуков постройку, так что в нижних комнатах вещи отозвались разнообразными вибрациями на энергические шаги на верхней площадке и на внезапный скрежет поднятой оконной рамы в комнате для гостей.

— Ну-с, на этой картине,— говорил тугоухий мистер Шеппард, указывая поучающим пальцем на большую тусклую акварель на стене,— изображена мыза, где мы с братом, бывало, проводили лето полвека тому назад. Ее написала школьная подруга моей матери, Грация Уэльс; ее сын, Чарли Уэльс, хозяин гостиницы в Уэйндельвиле — д-р Нин, наверное, знаком с ним — очень, оч-чень хороший человек. Жена-покойница тоже была художницей. Я потом покажу вам ее работы. Ну, а это вот дерево позади гумна — его едва видать —

С лестницы донесся ужасный грохот и бряк: Пнин, спускаясь, оступился.

— Весной 1905 года,— сказал мистер Шеппард, грозя картине пальцем,— под этим самым тополем —

Он заметил, что его брат и Виктор бросились вон из комнаты к подножию лестницы. Бедняга Пнин с последних ступенек съехал на спине. С минуту он так полежал, поводя туда-сюда глазами. Ему помогли встать на ноги. Кости были целы.

Пнин улыбнулся и сказал:

— Это как в прекрасной повести Толстого — вам надо как-нибудь прочитать ее, Виктор,— об Иване Ильиче Головине, который упал и вследствие этого получил почку рака. Теперь Виктор пойдет со мною наверх.

Виктор с саквояжем пошел за ним. На площадке висела репродукция «La Berceus» Ван-Гога, и Виктор мимоходом насмешливо кивнул ей. Комната для гостей была наполнена шумом дождя, падавшего на душистые ветки в обрамленной черноте раскрытого окна. На письменном столе лежала завернутая в бумагу книга и десятидолларовая ассигнация. Виктор просиял и поклонился своему мрачноватому, но доброму хозяину.

— Разверните,— сказал Пнин.

Виктор послушался с учтивой поспешностью. Потом он присел на край постели и с нарочитым нетерпением раскрыл книгу, причем

его русые волосы блестящими прядями спадали ему на правый висок, полосатый галстук свесился спереди, болтаясь, из-под серого пиджака, а его крупные, в серых фланелевых штанах, колени разъехались. Ему хотелось похвалить ее — во-первых, потому что это был подарок, а во-вторых, потому что он думал, что это перевод с родного языка Пнина. Он вспомнил, что в Психотерапевтическом институте был какой-то д-р Яков Лондон из России. На беду Виктор попал как раз на то место, где упоминается Заринска, дочь вождя Юконских индейцев, и простосердечно принял ее за русскую девушку. «Она не сводила огромных черных глаз со своих соплеменников, и в ее взгляде были испуг и вызов. Напряжение было так велико, что она забыла дышать...»

— Я думаю, мне это понравится,— сказал вежливый Виктор.— Прошлым летом я читал «Преступление и — ».

Молодой зевок растянул его героически улыбающийся рот. С сочувствием, с одобрением, с ноющим сердцем Пнин видел Лизу, зевающую после одного из тех долгих счастливых вечеров у Арбениных или у Полянских в Париже — пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет назад.

— На сегодня довольно чтения,— сказал Пнин.— Я знаю, это очень увлекательная книга, но вы будете читать и читать ее завтра. Желаю вам покойной ночи. Ванная через площадку.

Он пожал Виктору руку и удалился в свою комнату.

9

Дождь все шел. Все огни в доме Шеппарда погасли. Ручей в овраге за садом — в обычное время трепетная струйка — этой ночью превратился в шумный поток, который кувырком низвергался, с рабской готовностью покоряясь силе притяжения, уносил по буковым и еловым проходам прошлогодние листья, безлистые ветки и новешенький, никому не нужный футбольный мяч, незадолго перед тем скатившийся в воду с отлогой лужайки, после того как Пнин отделался от него путем дефенестрации. Он наконец заснул, несмотря на ломоту в спине, и в продолжение одного из тех снов, которые все еще преследуют русских беглецов даже спустя треть столетия после побега от большевиков, Пнин увидел себя в причудливом плаще убегающим по огромным лужам чернил под луной, перечеркнутой тучей, из какого-то фантастического дворца и потом шагающим взад и вперед по пустынной отмели со своим покойным другом Ильей Исидоровичем Полянским, ожидая прибытия из-за безнадежного моря некоего таинственного избавителя в тарахтящей лодке. Братья Шеппарды не спали в своих смежных постелях, на своих «Бесподобно-Удобных» матрасах; младший в темноте прислушивался к дождю и размышлял о том, не лучше ли им продать этот дом с его шумной крышей и мокрым садом; старший лежал и думал о тишине, о зеленом сыром погосте, о старой мызе, о тополе, в который много лет назад ударила молния, убив Джона Хэда, какого-то смутного, отдаленного родственника. Виктор в кои-то веки заснул тотчас после того, как сунул голову под подушку — недавно заведенный способ, о котором д-р Эрих Винд (сидящий на скамье у фонтана в городе Кито, в Эквадоре) никогда не узнает. Около половины второго Шеппарды захрапели, причем тот, что был глух, в конце каждого выдоха еще слегка рокотал, и вообще звучал куда громче своего скромно и уныло посапывавшего брата. На песчаном пляже, по которому Пнин все еще шагал (его встревоженный друг ушел домой за картой), перед ним появилась вереница приближавшихся к нему следов, и он, задохнувшись, проснулся. Болела спина. Был уже пятый час. Дождь перестал.

Пнин вздохнул по-русски — ох-ох-ох — и попытался найти более

удобное положение. Старый Биль Шеппард прошаркал в нижнюю уборную, обрушил дом, и поплелся обратно.

Вскоре все опять уснули. Жаль, что никто не видал пустынной улицы, где рассветный ветерок морщил большую, светящуюся лужу, превращая отражавшиеся в ней телефонные провода в неразборчивые строки черных зигзагов.

Глава пятая

1

С верхней площадки старой, редко посещаемой дозорной башни — «каланчи», как говорилось раньше,— стоявшей на восьмисотфутовом лесистом холме, именуемом Горой Эттрик, в одном из красивейших штатов Новой Англии, предприимчивый летний турист (Миранда или Мэри, Том или Джим, чьи полустершиеся имена были написаны карандашом на перилах) мог увидеть широкое море зелени, состоящее преимущественно из кленов, буков, душистого тополя и сосен. Милях в пяти на запад стройная белая колокольня отмечала место, где ютился городок Онкведо, в былые времена славившийся своими источниками. В трех милях на север, на речном берегу, на прогалине у подножья травянистого пригорка, можно было разглядеть островерхие кровли затейливого строения (известного как Куково, Кукова Усадьба, Куков Замок или Сосновое, по первоначальному его названию). Штатное шоссе проходило через Онкведо и тянулось дальше на восток по южной стороне Эттрика. Множество грунтовых дорог и тропок пересекало во всех направлениях лесистую треугольную равнину, ограниченную несколько извилистой гипотенузой мощеного проселка, вившегося в северо-восточном направлении от Онкведо к Сосновому, долгим катетом упомянутого шоссе и коротким реки, через которую переброшен был стальной мост возле Эттрика и деревянный — около Куковой Усадьбы.

Пасмурным теплым летним днем 1954 года Мэри или Альмира, а пожалуй, и Вольфганг фон Гете, чье имя было вырезано на парапете каким-то старомодным остряком, могли бы заметить автомобиль, свернувший с шоссе перед самым мостом и теперь сновавший и тыкавшийся туда-сюда в лабиринте сомнительных дорог. Он подвигался вперед неуверенно и с опаской, и всякий раз, когда решал переменить направление, сбавлял скорость и поднимал позади себя клуб пыли, как скребущий землю пес. Пожалуй, менее снисходительный человек, чем наш воображаемый наблюдатель, мог бы подумать, что за рулем этого бледно-голубого яйцевидного двухдверного седана, неопределенного возраста и довольно обшарпанной наружности, сидит какой-то болван. На самом же деле водителем его был профессор Уэндельского университета Тимофей Пнин.

Пнин начал брать уроки в Уэндельской школе автомобильной езды в начале года, но «настоящее понимание», по его выражению, пришло к нему только спустя месяца два, когда он слег из-за болей в спине, и занимался исключительно и с огромным удовольствием изучением сорокастраничного «Учебника автомобилизма», изданного губернатором штата в сотрудничестве с еще одним экспертом, и статьи «Автомобиль» в «Американской Энциклопедии» с изображениями Коробок Скоростей, Карбюраторов, Тормозов и Участника Глидденского Пробега (около 1905 года), завязшего в грязи деревенской дороги, посреди удручающего пейзажа. Тогда-то — и только тогда — он, наконец, преодолел двойственность своих первоначальных догадок, лежа на больничной койке и шевеля пальцами ног и передвигая воображаемый рычаг скорости. В продолжение же настоящих уроков с су-

ровым инструктором, который теснил его, давал ненужные указания, выкликая технические термины, пытался вырвать у него руль на поворотах и постоянно раздражал спокойного, понятливого ученика грубой критикой, Пнин был совершенно неспособен слить воедино ощущение той автомашины, которой он правил в уме, с той, которую он вел по дороге. Теперь, наконец, они совпали. Если на первом экзамене он провалился, то главным образом оттого, что затеял с экзаменатором несвоевременную дискуссию, пытаясь доказать, что для разумного человека не может быть ничего унизительнее необходимости поощрять в себе низменный условный рефлекс, заставляющий автоматически останавливаться перед красным светофором, когда кругом нет ни души — ни прохожей, ни проезжей. В другой раз он был осмотрительней и выдержал. Одна неотразимая студентка старшего курса, числившаяся в его классе Русского языка, Мэрилин Гон, продала ему за сто долларов свой бедненький старый автомобиль: она выходила замуж за обладателя куда более шикарной машины. Путешествие из Уэнделя в Онкведо, с ночевкой в частном доме, принимавшем туристов, было медленным и трудным, но обошлось без приключений. Перед самым Онкведо он заехал на бензинный пункт и вышел подышать деревенским воздухом. Над клеверным полем нависало непроницаемое белое небо, а с кучи дров возле лачуги слышался крик петуха, срывающийся и ухарский — голосистый хлыщ. Какая-то случайная интонация этой чуть хриплой птицы в сочетании с теплым ветром, льнувшим к Пнину и требовавшим его внимания, признания, чего угодно — кратко напомнили ему тусклый, забытый день, когда он, студент-первокурсник Петроградского университета, приехал на маленькую станцию балтийского летнего курорта, и звуки, и запахи, и грусть —

— А душновато,— сказал служитель с волосатыми руками, принимаясь вытирать переднее стекло.

Пнин достал из бумажника письмо, развернул приложенный к нему крошечный, мимеографированный набросок и спросил далеко ли до церкви, у которой ему полагалось свернуть налево, чтобы добраться до Куковой Усадьбы. Просто поразительно, до чего этот человек был похож на коллегу Пнина по Уэндельскому университету, д-ра Гагена — случайное сходство, бессмысленное, как плохой каламбур.

— Гм, туда лучше ехать по-другому,— сказал фальшивый Гаген.— Грузовики разбили эту дорогу, и к тому же она очень петлит. Вы поезжайте прямо. Проедете через город. Через пять миль после Онкведо, сразу после поворота на Эттрик, по левой руке, и как раз не доезжая моста, возьмите первый поворот налево. Это хорошая утрамбованная дорога.

Он проворно обошел машину и начал обрабатывать своей тряпкой другую половину стекла.

— Сворачивайте на север и держите все время на север на всех перекрестках — в этих лесах попадаются просеки, а вы все держитесь севера и доберетесь до Кука ровно за двенадцать минут. Промахнуться нельзя.

Пнин уже почти час плутал по лесным дорогам и пришел к заключению, что выражение «держаться севера» и даже самое слово «север» ровно ничего для него не значили. К тому же ему было непонятно, что заставило его, человека рассудительного, послушаться какого-то случайного болтуна, вместо того чтобы неукоснительно следовать педантически-точным указаниям, которые послал ему его друг, Александр Петрович Кукольников (в этих местах известный как Аль Кук), приглашая его провести лето в своем большом и гостеприимном деревенском доме Наш незадачливый автоводитель теперь так основательно заблудился, что уже не мог вернуться на шоссе, а так как он не имел достаточного опыта в маневрированьи по узким

изрытым колеями дорогам, по обе стороны которых зияли канавы и даже овраги, то его неуверенные повороты наугад складывались в тот причудливый узор, за которым наблюдатель на дозорной башне мог бы следить сочувственным оком; но на этом заброшенном и равнодушном возвышении не было ни души, если не считать муравья, у которого были свои заботы: кое-как добравшись до верхней площадки и балюстрады (его *автострады*) после часов глупого упорства, он теперь был точно так же встревожен и озадачен, как тот несуразный игрушечный автомобиль, двигавшийся внизу. Ветер унялся. Под бледным небом море древесных верхушек казалось необитаемым. Но вдруг треснул ружейный выстрел и в небо подскочила ветка. Густые верхние сучья в этой части в остальном неподвижного леса пришли в движение в удаляющейся последовательности встрясок или скачков, передававшихся от дерева к дереву в колебательном ритме, после чего все снова стихло. Прошла еще минута, и вдруг все случилось одновременно: муравей нашел отвесное бревно, которое вело на крышу башни и пустился по нему с новым одушевлением; выглянуло солнце; а Пнин, совсем уже было отчаявшийся, оказался на мощеной дороге с поржавевшей, но все еще поблескивавшей указательной доской, направлявшей путников в Сосновое.

2

Аль Кук был сын Петра Кукольникова, зажиточного московского купца из староверов, выбившегося из низов, мецената и филантропа, того известного Кукольникова, который при последнем царе дважды сидел в довольно удобной крепости за финансовую помощь социал-революционным группам (по большей части террористам), а при Ленине был казнен как «империалистический шпион» после почти целой недели средневековых пыток в советском застенке. Его семья около 1905 года добралась до Америки через Харбин, и молодой Кук благодаря своему спокойному упорству, практической смекалке и некоторому техническому образованию добился высокого и прочного положения в крупном химическом предприятии. Добрый, чрезвычайно замкнутый, коренастый человек, с большим неподвижным лицом, перехваченным посредине аккуратненьким пенсне, он выглядел тем, что был — администратором, масоном, гольфным игроком, преуспевающим и осторожным человеком. Он говорил на замечательно правильном, нейтральном английском языке, с легчайшей тенью славянского акцента, и был очаровательно радушный хозяин, молчаливой разновидности, с огоньком в глазах и со стаканом виски с сельтерской водой в каждой руке; и только когда его полночным гостем бывал какой-нибудь старинный и любимый русский друг, Александр Петрович вдруг начинал говорить о Боге, о Лермонтове, о Свободе, и обнаруживал тут наследственную склонность к безоглядному идеализму, который бы очень смутил подслушивающего марксиста.

Жена его была Сюзанна Маршалл, привлекательная говорливая блондинка, дочь Чарльза Г. Маршалла, изобретателя, и так как Александра и Сюзанну нельзя было представить себе иначе как во главе большой здоровой семьи, то я, как и другие друзья дома, был поражен, узнав, что вследствие перенесенной операции Сюзанна останется на всю жизнь бездетной. Они были еще молоды, любили друг друга с какой-то старосветской простотой и чистотой, от которой становилось отрадно на душе, и вместо того, чтобы населить свое имение детьми и внуками, они летом каждого четного года собирали у себя престарелых русских (как бы отцов и дядьев Кука), в нечетные же у них гостили «американцы»; деловые знакомые Александра или родственники и друзья Сюзанны.

Пнин ехал в Сосновое в первый раз, я же бывал там и раньше. Усадьба кишела русскими эмигрантами — либералами и интеллиген-

тами, покинувшими Россию около 1920 года. Их можно было найти на каждом пятачке крапчатой тени — сидящих на деревенских лавках и обсуждающих эмигрантских писателей — Бунина, Алданова, Сирина; лежащих в гамаках, накрывши лицо воскресным номером эмигрантской газеты (традиционная защита от мух); попивающих чай с вареньем на веранде; гуляющих в лесу и гадающих, съедобны ли местные сыроежки.

Самуил Львович Шполянский, дородный, величественно невозмутимый старик, и маленький, легко возбуждающийся заика, граф Федор Никитич Порошин, бывшие оба около 1920 года членами одного из тех героических краевых правительств, которые формировались в российской провинции демократическими партиями для сопротивления диктатуре большевиков, расхаживали, бывало, по сосновой аллее, обсуждая тактику, которую следует избрать на предстоящем совместном заседании Комитета Свободной России (учрежденного ими в Нью-Йорке), с другой, более молодой, антикоммунистической организацией. Из полузаросшей белой акацией беседки доносились обрывки жаркого спора между профессором Болотовым, преподававшим Историю Философии, и профессором Шато, преподававшим Философию Истории: «Реальность есть протяженность во времени»,— гудел один голос (Болотова). «Совсем нет!» — кричал другой. «Мыльный пузырь точно так же реален, как ископаемый зуб!»

Пнин и Шато, оба родившиеся в конце девяностых годов девятнадцатого столетия, были по сравнению с остальными юноши. Большинству остальных мужчин было за шестьдесят и больше. С другой стороны, некоторым из дам, например, графине Порошиной или Болотовой, было лишь под пятьдесят, и благодаря здоровой атмосфере Нового Света они не только сохранились, но даже похорошели. Некоторые родители привезли с собой своих отпрысков — здоровых, высоких, равнодушных, трудных американских детей студенческого возраста, без всякого чувства природы, не знающих по-русски и совершенно безразличных к тонкостям происхождения и прошлого своих родителей. Казалось, они живут в Сосновом в совсем иной физической и духовной плоскости, чем родители: время от времени они переходили из своего мира в наш сквозь мерцание каких-то промежуточных измерений; отрывисто отвечали на добродушную русскую шутку или заботливый совет, и потом снова испарялись; держались всегда безучастно (вызывая у родителей чувство, что они произвели на свет каких-то эльфов), и предпочитали любой товар из Онкведской лавки, любую снедь в жестянках, великолепным русским блюдам, подававшимся у Кукольниковых за шумными, долгими обедами на закрытой сетками веранде. Порошин с горечью говорил о своих детях (Игоре и Ольге, студентах второго курса): «Мои близнецы несносны. Когда я вижу их дома, за брекфастом или обедом, и пытаюсь рассказать им что-нибудь исключительно интересное и захватывающее — например, о местном выборном самоуправлении на Крайнем Севере России в семнадцатом веке или, скажем, что-нибудь из истории первых русских медицинских школ — кстати, об этом предмете имеется превосходная монография Чистовича 1883 года — они просто уходят и запускают в своих комнатах радио». Оба они были в Сосновом в то лето, когда Пнин был туда приглашен. Но они были незримы: им было бы чудовищно скучно в этом захолустье, если бы Олин поклонник, студент, фамильи которого никто как будто не знал, не приехал из Бостона на конец недели в грандиозном автомобиле, и если бы Игорь не нашел себе подходящей подруги в Нине, дочке Болотовых, красивой неряхе с египетскими глазами и загорелыми конечностями, которая училась в балетной школе в Нью-Йорке.

За домом смотрела Прасковья, крепкая простая женщина шестидесяти лет, но расторопнее иной сорокалетней. Весело было наблюдать за ней, когда она, подбоченясь, стояла на заднем крыльце и ог-

лядывала кур в мешковатых домодельных шортах и барской кофте, отделанной стразами. Она нянчила Александра и его брата в Харбине, когда они были детьми, а теперь ей помогал управляться с хозяйством муж, хмурый и флегматичный старый казак, главными страстями которого были любительское увлечение переплетным делом, которому он выучился сам и предавался с почти патологическим упорством, переплетая любой подвернувшийся ему старый каталог или журнальчик, приготовление наливок и истребление мелких лесных животных.

Из приглашенных в тот год Пнин хорошо знал профессора Шато, друга его молодости, с которым он вместе учился в Пражском университете в начале двадцатых годов, и еще он был близко знаком с Болотовыми, которых видел последний раз в 1949 году, когда он произнес приветственную речь на официальном обеде в Барбизон-Плаза, устроенном по случаю их приезда из Франции Объединением русских ученых-эмигрантов. Меня лично никогда особенно не занимал ни сам Болотов, ни его философские сочинения, странно совмещающие малопонятное с пошлым; если он и соорудил гору, то гору плоскостей; мне, впрочем, всегда нравилась Варвара, жизнерадостная, ладная жена потрепанного философа. До первого своего посещения Соснового в 1951 году она никогда не видала ново-английской деревни. Тамошние березы и черника внушили ей обманчивое впечатление, будто Онкведское озеро лежит не на широте, скажем, Охридского озера на Балканах, как на самом деле, а на широте Онежского в северной России, где она проводила летние месяцы до пятнадцати лет, до того, как бежала от большевиков в Западную Европу с теткой Лидией Виноградовой, известной феминисткой и общественной деятельницей. Поэтому колибри, на-лету пытающие венчики цветов, казались Варваре каким-то сверхъестественным или экзотическим видением. Громадные дикобразы, приходившие погрызть вкусные, пахучие старые бревна дома, или изящные, жутковатые маленькие скунсы, пившие на заднем дворе молоко, приготовленное для кошки, были для нее легендарнее средневековых изображений неизвестных животных. Она дивилась и восхищалась при виде множества растений и тварей, которых она не умела назвать, принимая желтую американскую славку за случайно залетевшую канарейку, и однажды, по случаю дня рождения Сюзанны, принесла с гордостью и задыхаясь от восторга, охапку красивого ядовитого сумаха для украшения обеденного стола, крепко прижимая его к своей розовой веснущатой груди.

3

Болотовы и Шполянская, сухощавая маленькая женщина в штанах, первыми увидели Пнина, осторожно сворачивавшего в песчаную аллею, окаймленную дикой лупиной; сидя совершенно прямо, напряженно ухватившись за руль, словно фермер, более привычный к трактору, чем к автомобилю, он со скоростью десяти миль в час, на первой передаче въезжал в старую, растрепанную, на удивление настоящую сосновую рощу, отделявшую проезжую дорогу от Замка Кука.

Варвара с живостью поднялась со скамейки в беседке, где они с Розой Шполянской только что застали Болотова за чтением потрепанной книжки и курением запрещенной папироски. Она радостно захлопала в ладоши при виде Пнина, меж тем как ее муж обнаружил максимум сердечности, на которую был способен, медленно помахав книгой с всунутым в нее вместо закладки большим пальцем. Пнин остановил мотор и теперь сидел, лучезарно улыбаясь своим друзьям. Ворот его зеленой спортивной рубашки был расстегнут; непромокаемая куртка с приспущенной застежкой-змейкой казалась тесной для его внушительного торса; его побронзовелая лысая голова с намор-

щенным лбом и рельефной червеобразной веной на виске низко наклонилась, пока он боролся с дверной ручкой; наконец, он вынырнул из машины.

— Автомобиль, костюм — ну, прямо, американец, прямо Айзенхауэр! — сказала Варвара и представила Пнина Розе Абрамовне Шполянской.

— У нас с вами были общие друзья сорок лет назад,— заметила она, с любопытством разглядывая Пнина.

— Ах, не будем упоминать таких астрономических цифр,— сказал Болотов, подходя и заменяя травинкою палец, служивший ему закладкой.-- А знаете,— продолжал он, пожимая Пнину руку,— я в седьмой раз перечитываю «Анну Каренину» и получаю такое же наслаждение, как не сорок, а шестьдесят лет назад, когда я был семилетним мальчиком. И каждый раз открываешь что-нибудь новое — например, теперь я замечаю, что Лёв Николаевич не знает, в какой день начинается его роман. Как-будто бы в пятницу, потому что в этот день к Облонским приходит часовщик заводить в доме часы, но это также и четверг, как упоминается в разговоре Лёвина с матерью Китти на катке.

— Да не все ли равно,— воскликнула Варвара.— Кому, в самом деле, нужно знать точный день?

— Я могу вам назвать совершенно точный день,— сказал Пнин, мигая от переменчивого солнца и вдыхая памятный острый дух северных сосен.— Действие романа открывается в начале 1872 года, именно в пятницу, двадцать третьего февраля по новому стилю. В своей утренней газете Облонский читает о том, что Бейст, по слухам, проследовал в Висбаден. Это, конечно, граф Фридрих Фердинанд фон Бейст, которого как раз назначили австрийским посланником при английском дворе. После представления верительных грамот Бейст уехал на континент на несколько затянувшиеся рождественские каникулы— провел там два месяца со своей семьей, и теперь возвращался в Лондон, где, согласно его мемуарам в двух томах, шли приготовления к благодарственному молебну двадцать седьмого февраля в соборе Св. Павла по случаю выздоровления принца Валлийского от тифа. Однако и жарко же у вас! Я думаю, теперь мне надо явиться пред пресветлые очи Александра Петровича, а потом пойти окупнуться в речке, которую он так живо описал в своем письме.

— Александра Петровича не будет до понедельника, он уехал по делам или поразвлечься,— сказала Варвара Болотова,— но я думаю, вы найдете Сусанну Карловну — она берет солнечные ванны на своей любимой лужайке за домом. Окликните ее, прежде чем подойти слишком близко.

4

Замок Кука — трехэтажное строение из кирпича и бревен — был построен около 1860 года и частично перестроен полвека спустя, когда отец Сюзанны купил его у семьи Дадли-Грин, чтобы превратить в первоклассную гостиницу для наиболее состоятельных посетителей целебных источников Онкведо. Это было замысловатое и неказистое здание смешанных стилей: готика щетинилась сквозь зачатки французского и флорентийского; первоначальный проект, быть может, принадлежал той разновидности, которую Сэмюель Слоун, тогдашний архитектор называл «Неправильная Северная Вилла», «отвечающая высшим запросам светской жизни», и именуемая «северной» из-за «устремленных вверх крыши и башен». Пикантность этих остроконечных башенок и веселый, даже несколько бесшабашный их вид, придававшийся строению тем, что оно состояло как бы из нескольких маленьких Северных Вилл, приподнятых на воздух и кое-как сколоченных в одно целое, так что отовсюду торчали части несоединенных крыш, недовоплощенных коньков, карнизов, рустованных углов

и прочих выступов — очень недолго, увы, привлекали туристов. К 1920 году Онкведские воды как-то загадочно утратили свое магическое свойство, и после смерти отца Сюзанна тщетно пыталась продать Сосновое, поскольку у них был другой, более удобный дом в привилегированном квартале большого промышленного города, где служил ее муж. Однако теперь, когда они привыкли пользоваться Замком для приема своих многочисленных друзей, Сюзанна была рада, что милое кроткое чудище не нашло покупателя.

Внутри все было столь же разнообразно, как и снаружи. Сразу за большими сенями, где громадных размеров камин напоминал о гостиничных временах, шли четыре просторные комнаты. Перила лестницы (по крайней мере, одна из ее колонок) существовали с 1720 года, так как были перенесены сюда при постройке дома из гораздо более старого здания, даже местонахождения которого теперь никто в точности не знал. Весьма древним был также буфет в столовой, с чудесными изображениями дичи и рыб, инкрустированными на его филенках. В полудюжине комнат на каждом из верхних этажей и в обоих флигелях позади дома можно было обнаружить среди разрозненных предметов обстановки какое-нибудь очаровательное бюро атласного дерева или романтичный палисандровый диван, но вместе с тем и всевозможные громоздкие и убогие вещи, сломанные стулья, пыльные столы с мраморным верхом, угрюмые этажерки с потемневшими зеркальцами в глубине, печальными, как глаза старых обезьян. Симпатичная комната, отведенная Пнину, была на верхнем этаже и выходила на юго-восток: там были остатки золотистых обоев на стенах, походная койка, незатейливый умывальник и всякого рода полки, бра и лепные завитушки. Пнин подергал и опустил окно, улыбнулся улыбающемуся лесу, вспомнил опять далекий первый день в деревне и вскоре сошел вниз в своем новом темно-синем купальном халате и в обыкновенных резиновых галошах на босу ногу — разумная предосторожность, ежели собираешься идти по сырой и, возможно, кишащей змеями траве. На садовой террасе он нашел Шато.

Константин Иваныч Шато, тонкий и обаятельный ученый с чисто русской родословной, несмотря на фамилью (происходящую, как мне говорили, от фамильи одного обрусевшего француза, который усыновил осиротевшего Ивана), преподавал в большом нью-йоркском университете и не видался с своим другом Пниным вот уже пять лет. Они обнялись с радостным, теплым урчанием. Признаюсь, одно время я сам был под обаянием ангельски кроткого Константина Иваныча, а именно в ту пору, когда мы, бывало, зимой 1935-го или 1936 года ежедневно встречались для утренней прогулки под лаврами и каркасными деревцами в Грассе, на юге Франции, где он тогда делил виллу с несколькими другими выходцами из России. Его мягкий голос, аристократическая петербургская картавость, кроткие, грустные оленьи глаза, русая эспаньолка, которую он беспрестанно теребил, разбирая ее своими длинными, изящными пальцами,— все в Шато (пользуясь литературным оборотом, столь же старомодным, как и он сам) вызывало в его друзьях редкостное чувство благополучия. Они поговорили немного, обмениваясь впечатлениями. Как нередко бывает между эмигрантами с твердыми убеждениями, всякий раз, когда они встречались после разлуки, они не просто наверстывали прошедшее с последней встречи время, но старались высказать — посредством нескольких кратких, как пароль, слов, намеков, интонаций, непередаваемых на чужом языке,— свое отношение к последним событиям русской истории, к тридцати пяти годам безнадежной несправедливости, последовавших за столетием пробивавшей себе дорогу справедливости и блиставших вдали надежд. Затем они перешли на обычную профессиональную тему европейских преподавателей за границей, вздыхая и качая головами по поводу «типичных американских студентов», не знающих географии, нечувствительных

к шуму и смотрящих на образование только как на средство получения в будущем выгодной службы. Потом они расспросили друг друга, как подвигается работа, причем каждый говорил о своих изысканиях крайне скромно и сдержанно. Наконец, когда они шли, задевая мимоходом стебли золотарника, луговой тропинкой к лесу, где протекала каменистая речка, они заговорили о своем здоровье: Шато, казавшийся таким беспечным, с одной рукой в кармане белых фланелевых штанов и в фланелевом жилете под щегольски распахнутым люстриновым пиджаком, весело рассказал, что в недалеком будущем ему предстоит хирургическое исследование брюшной полости, а Пнин со смехом сказал, что всякий раз, что он подвергается рентгеноскопии, доктора тщетно пытаются разгадать то, что они называют «тенью за сердцем».

— Хорошее заглавие для плохого романа,— заметил Шато.

Когда они проходили мимо муравчатого холма, сразу за которым начинался лес, к ним с отлогого склона спустился большими шагами розоволицый, почтенного вида господин в легком полосатом костюме, с копной седых волос и толстым лиловым носом, похожим на громадную малинину, с искаженным отвращением лицом.

— Я принужден вернуться за шляпой,— драматически воскликнул он, приблизившись.

— Вы знакомы? — пробормотал Шато, жестами представляя их друг другу.— Тимофей Павлыч Пнин, Иван Ильич Граминеев.

— Мое почтение,— сказали оба, поклонившись друг другу над крепким рукопожатьем.

— Я полагал,— продолжал Граминеев, любивший в разговоре обстоятельность,— что день будет таким же пасмурным, как начался. По глупости я вышел с непокрытой головой. А теперь солнце жарит мои мозги. Я должен прервать работу.

Он указал на вершину холма. Там стоял, изящно выделяясь на фоне синего неба, его мольберт. С этого гребня он писал открывавшийся по ту сторону вид на долину с романтической старой ригой, корявой яблоней и коровами.

— Могу предложить вам свою панаму,— сказал добрый Шато, но Пнин уже достал из кармана халата большой красный носовой платок и ловко завязал узлами его концы.

— Чудесно... премного благодарен,— сказал Граминеев, прилаживая этот головной убор.

— Минуту,— сказал Пнин.— Надо подоткнуть узлы.

Покончив с этим, Граминеев пошел наизволок к своему мольберту. Это был известный живописец откровенно академической школы, чьи задушевные полотна — «Волга-матушка», «Трое верных друзей» (мальчик, лошадь и собака), «Апрельская прогалина» и т. п. — все еще красовались в музее в Москве.

— Мне кто-то говорил,— сказал Шато, меж тем как они с Пниным продолжали идти к реке,— что у Лизиного сына необычайные способности к живописи. Это правда?

— Да,— отвечал Пнин.— Тем более обидно, что его мать, которая, кажется, собралась в третий раз замуж, внезапно увезла Виктора до конца лета в Калифорнию, между тем как если бы он поехал со мной сюда, как предполагалось, у него была бы великолепная возможность позаняться с Граминеевым.

— Вы преувеличиваете великолепие,— мягко возразил Шато.

Они вышли к кипучей, сверкающей речке. Впадина в скале между миниатюрными верхним и нижним водопадами образовала естественный купальный бассейн под ольхами и соснами. Шато, который не купался, удобно устроился на валуне. В продолжение всего академического года Пнин регулярно подставлял свое тело под лучи солнечной лампы; поэтому, раздевшись до купальных трусиков, он за-

рдел густым отливом красного дерева, испещренным солнцем и тенью прибрежной рощицы. Он снял крест и галоши.

— Посмотрите, как красиво,— сказал наблюдательный Шато.

Десятка два маленьких бабочек, все одного вида, сидели на мокром песке, подняв и сложив крылья, бледные с испода, с темными точками и крошечными, с оранжевой каемкой, павлиньими лунками по кромке заднего крыла; одна из скинутых Пниным галош спугнула нескольких из них и, обнаружив небесную голубизну лицевой поверхности крыльев, они запорхали вокруг, как голубые снежинки, а потом опять опустились.

— Жаль нет здесь Владимира Владимировича,— заметил Шато.— Он бы нам рассказал об этих восхитительных насекомых.

— Мне всегда казалось, что его энтомология — просто поза.

— Ах, нет,— сказал Шато.— Вы когда-нибудь потеряете его,— добавил он, указывая на православный крест на золотой цепочке, который Пнин, сняв с шеи, повесил на ветку. Его блеск озадачил реявшую стрекозу.

— Пожалуй, я был бы не прочь потерять его,— сказал Пнин.— Как вам хорошо известно, я ношу его исключительно из сантиментальности. И сантиментальность эта становится обременительной. В конце концов, в этом старании удержать у грудной клетки частицу своего детства слишком уж много физического.

— Не вы первый сводите религиозное чувство к осязанию,— сказал Шато, соблюдавший православные обряды и не одобрявший агностицизма своего друга.

Слепень, слепой дуралей, приложился к лысой голове Пнина и был тотчас оглушительно прихлопнут его мясистой ладонью.

С валуна поменьше того, на котором примостился Шато, Пнин осторожно ступил в коричневую и синюю воду. Он заметил у себя на руке часы — снял их и положил в одну из галош. Медленно поводя загорелыми плечами, Пнин брел вперед, и по его широкой спине сбегали, трепетали петлистые лиственные тени. Он остановился и, разбивая блеск и тень вокруг себя, смочил наклоненную голову, потер мокрыми руками затылок, сполоснул по очереди подмышки и, сложив ладони, скользнул в воду, рассекая ее своим величественным брассом, отчего по обе стороны от него побежала зыбь. Пнин торжественно плыл кругом этого естественного водоема. Он плыл с ритмическим фырканьем — булькая и отдуваясь. Ритмически он раздвигал ноги и выбрасывал их в коленях, и одновременно сгибал и распрямлял руки, наподобие гигантской лягушки. Поплавав таким образом минуты две, он вылез из воды и присел на камень обсушиться. Потом он надел крест, часы, галоши и халат.

5

Обедали на крытой веранде. Сидя рядом с Болотовыми и принимаясь размешивать сметану в красной ботвинье, в которой тренькали розовые кубики льда, Пнин автоматически возобновил давешний разговор.

— Заметьте,— сказал он,— что существует значительная разница между духовным временем Лёвина и физическим Вронского. В середине книги Лёвин и Китти отстают от Вронского и Анны на целый год. К тому времени, когда в воскресенье вечером, в мае 1876 года, Анна бросается под товарный поезд, она просуществовала больше четырех лет от начала романа, но в жизни Лёвиных за то же время, с 1872 по 1876 год, прошло едва три года. Это лучший из известных мне примеров относительности в литературе.

После обеда затеяли играть в крокет. Здесь предпочитали освященную традицией, но фактически неправильную расстановку ворот, при которой двое из десяти ворот скрещиваются в центре площадки, образуя так называемую Клетку, или Мышеловку. Тотчас стало ясно

что Пнин, игравший в паре с г-жой Болотовой против Шполянского и графини Порошиной, играет гораздо лучше остальных. Как только вбили в землю колы, и игра началась, он совершенно преобразился. Обыкновенно медлительный, тяжеловатый и несколько неповоротливый, он превратился в необычайно подвижного, резвого, безмолвного, лукавого горбуна. Казалось, что все время была его очередь играть. Держа молоток очень низко и элегантно раскачивая его между расставленными журавлиными ногами (он произвел небольшую сенсацию, надев нарочно для игры бермудские трусы), Пнин намечал каждый свой удар ловким прицельным помахиванием молотка, затем точно ударял по шару, и тотчас, все еще сгорбленный, пока шар еще катился, проворно переходил к тому месту, где по его расчету он должен был остановиться. Он прогонял его через воротца с геометрическим смаком, вызывая восхищенные возгласы зрителей. Даже Игорь Порошин, проходивший мимо, как тень, с двумя жестянками пива, которые он нес на некое свое особое пиршество, остановился на секунду и одобрительно покачал головой, прежде чем скрыться в кустах. К рукоплесканиям, однако, примешивались жалобы и протесты, когда Пнин с свирепым безразличием крокировал, или вернее, запускал, как ракету, шар противника. Приставляя вплотную к нему свой шар и крепко придавливая его своей удивительно маленькой ступней, он с треском лупил по своему шару, далеко отбивая этим ударом чужой. Сюзанна, когда к ней аппеллировали, сказала, что это совершенно против правил, но Шполянская утверждала, что это вполне допустимо, и сказала, что когда она была девочкой, ее английская гувернантка называла этот удар «Гонг-Конг».

После того как Пнин стукнул об кол и все было закончено, и Варвара пошла помогать Сюзанне готовить вечерний чай, Пнин тихо удалился на скамейку под соснами. Какое-то крайне неприятное и пугающее ощущение в области сердца, несколько раз испытанное им в продолжение взрослой жизни, снова нашло на него. Это было не боль и не сердцебиение, но, скорее, ужасное чувство утопания и растворения в том, что окружало его физически,— в закате, в красных древесных стволах, в песке, в недвижном воздухе. Тем временем Роза Шполянская, заметив, что Пнин сидит один и пользуясь этим, подошла к нему («сидите, сидите!») и села рядом на скамью.

— В тысяча девятьсот шестнадцатом или семнадцатом году,— сказала она,— вам, может быть, случалось слышать мою девичью фамилью — Геллер — от ваших близких друзей.

— Нет, не помню,— сказал Пнин.

— Ну, неважно. Мы, кажется, никогда не встречались. Но вы хорошо знали моего двоюродного брата и сестру, Гришу и Миру Белочкиных. Они постоянно говорили о вас. Он теперь, кажется, живет в Швеции — и вы, конечно, слышали об ужасной смерти его несчастной сестры...

— Да-да, я знаю,— сказал Пнин.

— Ее муж,— сказала Шполянская,— был очаровательный человек. Самуил Львович и я очень близко знали его и его первую жену, Светлану Черток, пианистку. Он был интернирован нацистами отдельно от Миры и умер в том же концентрационном лагере, что мой старший брат Миша. Вы ведь не знали Мишу? Когда-то он тоже был влюблен в Миру.

— Тшай готофф,— крикнула Сюзанна с веранды на своем забавном функциональном русском языке.— Тимофей! Розочка! Тшай!

Пнин сказал Шполянской, что тоже придет через минуту, и когда она ушла, остался сидеть в ранних сумерках аллеи, сложив руки на крокетном молотке, который он все еще держал.

Две керосиновые лампы уютно освещали террасу деревенского дома. Доктора Павла Антоновича Пнина, отца Тимофея, окулиста, и доктора Якова Григорьевича Белочкина, отца Миры, педиатра, нельзя

было оторвать от шахматной партии в углу веранды, так что г-жа Белочкина велела служанке подать им туда — на специальном японском столике рядом с тем, за которым они играли — стаканы с их чаем в серебряных подстаканниках, простоквашу с черным хлебом, землянику и культивированный ее вид, клубнику, и лучистые золотистые варенья; и разное там печенье, вафли, сушки, сухари — вместо того, чтобы звать двух увлеченных игрою докторов за главный стол в другом конце веранды, где сидели остальные члены семьи и гости, одни ясно различимые, другие — переходящие в светящийся туман.

Слепая рука д-ра Белочкина взяла сушку; зрячая рука д-ра Пнина взяла ладью. Д-р Белочкин, жуя, уставился на брешь в своих рядах; д-р Пнин обмакнул абстрактный сухарик в проем своего стакана.

Деревенский дом, который в то лето снимали Белочкины, был на том же прибалтийском курорте, рядом с которым вдова генерала N. сдавала Пниным дачку на окраине своего обширного поместья, болотистого и запущенного, с темным лесом, теснившим заброшенную усадьбу. Тимофей Пнин опять был неуклюжий, застенчивый, упрямый восемнадцатилетний юноша, ожидающий Миру в темноте — и невзирая на то, что логика мысли вставила в керосиновые лампы электрические лампочки и перетасовала людей, превратив их в пожилых эмигрантов, и прочно, безнадежно, навеки обнесла проволочной сеткой освещенную веранду, мой бедный Пнин с ясностью галлюцинации увидел Миру, выскальзывающую оттуда в сад и идущую к нему между высоких душистых табаков, тусклая белизна которых сливалась в темноте с ее белым платьем. Это чувство как-то соответствовало чувству растворения и расширения в его груди. Он тихо отложил молоток и, чтобы рассеять тоску, пошел прочь от дома через безмолвную сосновую рощу. Из запаркованного возле будки с садовыми инструментами автомобиля, в котором находились по крайней мере двое из детей других гостей, доносилось монотонное журчанье радио-музыки.

— Вечно этот джаз, эта молодежь не может без джаза,— проворчал Пнин про себя и свернул на тропинку, которая вела к лесу и реке. Он вспоминал увлечения своей и Мириной юности, любительские спектакли, цыганские романсы, ее страсть фотографировать. Где-то они теперь, эти ее художественные снимки собак, облаков, апрельской прогалины с тенями берез на сахарно-мокром снегу, солдат, позирующих на крыше товарного вагона, закатного края неба, руки, держащей книгу? Ему вспомнилось их последнее свидание на невской набережной в Петрограде, и слезы, и звезды, и теплый, ярко-розовый шолк подкладки ее каракулевой муфты. Гражданская война (1918—1922) разлучила их; история расстроила их помолвку. Тимофей пробрался на юг, где он ненадолго вступил в ряды Деникинской армии, а семья Миры бежала от большевиков в Швецию, а потом осела в Германии, где она со временем вышла замуж за меховщика родом из России. Как-то в начале тридцатых годов Пнин, в ту пору уже женатый, приехал с женою в Берлин, где ей хотелось побывать на съезде психотерапевтов, и однажды вечером, в русском ресторане на Курфюрстендамме, он снова увидел Миру. Они обменялись несколькими словами, она улыбнулась ему, как бывало, из-под темных бровей, застенчиво и лукаво, и контур ее выпуклых скул, и ее удлиненные глаза, и хрупкое изящество ее рук и щиколок были все те же, были бессмертны, а потом она вернулась к мужу, который ушел к вешалкам за пальто, и это было все — но укол нежности не проходил, как дрожащий очерк стихов, которые знаешь, что знаешь, но не можешь вспомнить.

То, о чем упомянула болтливая Шполянская, вызвало в его воображении образ Миры с небывалой силой. Это разбередило его. Вынести это хотя бы на мгновение можно было только в отрешенности неизлечимой болезни или в состоянии душевного равновесия перед близкой смертью. Чтобы рационально существовать, Пнин приучил себя за последние десять лет никогда не вспоминать Миру Белочкину,— не

потому, что память о юношеском романе, банальном и кратком, угрожала его душевному покою (увы, воспоминание о браке с Лизой обладало достаточной властью, чтобы вытеснить любое прежнее увлечение), а потому, что, положа руку на сердце, никакой совести, а значит, и никакому самосознанию нельзя было существовать в мире, где возможны были такие вещи, как Мирина смерть. Надо было забыть — потому что нельзя было жить с мыслью, что эту вот милую, хрупкую, нежную молодую женщину, вот с этими глазами, с этой улыбкой, с этими садами и снегами на заднем плане, привезли в скотском вагоне в истребительный лагерь и убили, впрыснув фенола в сердце, в то самое кроткое сердце, биенье которого ты слышал под своими губами в сумерках прошлого. И оттого, что не было точно известно, какой именно смертью умерла Мира, она продолжала умирать в его воображении множеством смертей, и множество раз воскресала — чтобы снова и снова умереть, уводимая вышколенной медицинской сестрой на прививку грязью, бациллами столбняка, битым стеклом, отравленная под фальшивым душем с синильной кислотой, сожженная заживо в яме на пропитанной бензином куче буковых дров. По словам следователя, с которым Пнину случилось как-то говорить в Вашингтоне, твердо установлено было только то, что ее, как слишком слабую, чтобы работать (хотя все еще улыбающуюся, все еще находящую силы помогать другим еврейским женщинам) отобрали для уничтожения и сожгли в крематории через несколько дней по прибытии в Бухенвальд, в чудесной лесистой местности с громким именем Большой Эттерсберг. Это в часе ходьбы от Веймара, где гуляли Виланд, Гердер, Гете, Шиллер, несравненный Коцебу и другие. «Aber warum, но почему,— сокрушался бывало д-р Гаген, этот кротчайший из смертных,— почему надо было устроить этот ужасный лагерь так близко!» — ибо он и впрямь был близко — всего в пяти милях от сердца культуры Германии — «этой нации университетов», как элегантно выразился, анализируя положение в Европе во время недавней актовой речи президент Уэйндельского университета, известный своими mots justes, речи, в которой он отпустил комплимент и по адресу другого застенка «России — страны Толстого, Станиславского, Раскольникова и других великих и прекрасных людей».

Пнин медленно брел под торжественными соснами. Небо меркло. Он не верил в самодержавного Бога. Он смутно верил в демократию духов. Быть может, души умерших образуют комитеты, которые на своем непрерывном заседании решают участь живых.

Комары становились все назойливее. Пора идти пить чай. Пора играть в шахматы с Шато. Эта странная схватка прошла, снова можно было дышать. На далеком гребне холма, на том самом месте, где несколько часов назад стоял граминеевский мольберт, темнели в профиль два силуэта на фоне раскаленного, как угли, неба. Они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. С дороги нельзя было разобрать, была ли это дочка Порошиных со своим кавалером, или это Нина Болотова с молодым Порошиным, или просто эмблематическая пара, легкой рукой художника помещенная на последней странице гаснувшего дня Пнина.

Глава шестая

1

Начался осенний семестр 1954 года. На мраморной шее невзрачной Венеры в сенях здания Гуманитарных Наук снова появился малиновый отпечаток губной помады, имитация поцелуя. В «Уэйндельских Ведомствах» снова дебатировалась «Проблема Паркования» автомобилей. Усердные первокурсники снова вписывали на полях библиотечных книг полезные пояснения вроде «Описание природы» или

«Ирония»; а один особенно искушенный школяр уже успел подчеркнуть лиловыми чернилами в прелестном издании стихов Малларме трудное слово «oiseaux» и нацарапал сверху «птицы». Осенние вихри снова залепили палой листвой одну сторону решотчатой галлереи, которая вела из Гуманитарных Наук во Фриз-Холл. Снова в безоблачные дни над асфальтом и газоном парили огромные янтарно-коричневые бабочки-данаиды, медленно уплывая на юг, не совсем подобрав черные лапки, довольно низко свисавшие из-под черного в белую крапинку тельца.

А в университете все шло, скрипя, своим чередом. Неутомимые аспиранты со своими беременными женами по-прежнему строчили диссертации о Достоевском и Симонне де Бовуар. Литературные отделения все еще пребывали под бременем уверенности, что Стендаль, Галсворти, Драйзер и Манн великие писатели. Все так же были в моде синтетические слова типа «конфликт» и «модель». Как всегда, бесплодные инструкторы успешно занимались «производительным трудом», рецензируя книги более плодовитых коллег, и как всегда, те из профессоров, кому повезло, пожинали или собирались пожинать плоды различных субсидий, присужденных им в начале года. Так, например, забавное маленькое пособие доставило разносторонне одаренной чете Старов (Христофору Стару с младенческим лицом и его молоденькой жене Луизе) из Отделения Изящных Искусств уникальную возможность записать послевоенные народные песни в Восточной Германии, куда эти поразительные молодые люди каким-то образом получили разрешение проникнуть. Дуглас В. Томас (для друзей — Том), профессор антропологии, получил десять тысяч долларов от Мандовильского фонда для исследования гастрономических обычаев кубинских рыбаков и пальмолазов. Другое благотворительное учреждение поддержало д-ра Бодо фон Фальтернфельса, чтобы он мог завершить «библиографию, обнимающую опубликованные и рукописные работы последних лет, посвященные критической оценке влияния последователей Ницше на современную мысль». И наконец, особенно щедрая стипендия позволила прославленному Уэйндельскому психиатру, д-ру Рудольфу Аура, испытать на десяти тысячах учащихся начальной школы так называемый «Пальцемакательный Тест», в котором ребенку предлагают окунуть указательный палец в чашки с цветной жидкостью, после чего отношение длины пальца к его намоченной части измеряется и вычерчивается на разных увлекательных диаграммах.

Начался осенний семестр, и д-р Гаген оказался в трудном положении. Летом один старый приятель неофициально запросил его, не хотел ли бы он принять исключительно доходную профессуру в Сиборде, гораздо более значительном университете, чем Уэйндель. Эта часть проблемы разрешалась сравнительно просто. С другой стороны, его расхолаживало то, что созданное им с такой любовью отделение, с которым куда более богатое средствами Французское отделение Блоренджа не могло соперничать в культурном значении, попадает в когти коварного Фальтернфельса, которого он, Гаген, вытащил из Австрии, и который теперь подкапывался под него — например, с помощью закулисных маневров прибрал к рукам Europa Nova, влиятельное квартальное издание, основанное Гагеном в 1945 году. Предполагаемый уход Гагена — о котором он пока еще ничего не говорил своим коллегам — должен был иметь и еще более печальное последствие: внештатный профессор Пнин неминумо оставался за бортом. В Уэйнделе никогда не было постоянного Русского отделения, и академическое существование моего бедного друга всегда зависело от эклектического Германского отделения, которое использовало его в своем как бы подотделе Сравнительной литературы, в одном из своих разветвлений. И уж, конечно, Бодо просто назло обрубит эту ветвь, и Пнин, у которого не было постоянного контракта с Уэйнделем, вынужден будет

уйти — если только его не приютят при какой-нибудь другой литературно-лингвистической кафедре. Отделениями, где такая возможность как-будто имелась, были только Английское и Французское. Но Джек Коккерель, глава Английского, относился с неодобрением ко всему, что делал Гаген, Пнина всерьез не принимал, и сверх того, неофициально, но не без надежды, торговался о приобретении услуг одного известного англо-русского писателя, способного, если нужно, читать все те курсы, которые необходимы были Пнину, чтобы остаться. И Гаген обратился к Блоренджу как к последней инстанции.

2

У Леонарда Блоренджа, возглавлявшего кафедру Французской литературы и языка, были две интересные особенности: он не любил литературы и не знал по-французски. Это не мешало ему покрывать огромные расстояния, чтобы присутствовать на съездах современного языковедения, на которых он щеголял своим невежеством так, словно это была какая-то царственная причуда, и парировал любую попытку завлечь его в сети «парле-ву» мощными выпадами здорового масонского юмора. Высокочтимый добыватель денег, он незадолго перед тем уговорил одного престарелого богача, которого безуспешно обхаживали три больших университета, ассигновать фантастическую сумму на целую оргию изысканий, проводимых аспирантами под руководством канадца д-ра Славского, для сооружения на холме в окрестностях Уэйнделя «Французской деревни», двух улиц и площади — точной копии древнего городка Ванделя в Дордони. Несмотря на всегдашнее присутствие грандиозного начала в административных озарениях Блоренджа, сам он был человек аскетических вкусов. Случайно он учился в одной школе с Сэмом Пуром, президентом Уэйндельского университета, и в продолжение многих лет, даже после того как тот потерял зрение, они регулярно ездили вместе удить рыбу на унылое, взъерошенное ветром озеро в конце немощеной дороги, окаймленной иван-чаем, в семидесяти милях к северу от Уэйнделя, в какой-то тоскливой местности — карликовые дубы и сосновые питомники — которые в мире природы соответствуют городским трущобам. Его жена, милая женщина из простых, за глаза называла его в своем клубе «профессор Блоренджа». Он читал курс под названием «Великие французы», который он дал своей секретарше списать из комплекта «Гастингского Исторического и Философского Журнала» за 1882—1894 годы, найденного им на чердаке и не представленного в университетской библиотеке.

3

Пнин только что снял маленький дом, и пригласил Гагенов, Клементсов, Тэеров и Бетси Блисс на новоселье. Утром этого дня добрейший д-р Гаген сделал отчаянный визит в контору Блоренджа и открыл ему, и только ему одному, всю ситуацию. Когда он сказал Блоренджу, что Фальтернфельс — убежденный анти-Пнинист, Блорендж сухо заметил, что он разделяет это убеждение, более того — познакомившись с Пниным в обществе, он «положительно почувствовал» (прямо удивительно, до чего эти практические люди склонны чувствовать, а не думать), что Пнина нельзя даже близко подпускать к Американскому университету. Стойкий Гаген сказал, что в течение нескольких лет Пнин великолепно справлялся с Романтическим Движением, и уж наверное мог бы совладать с Шатобрианом и Виктором Гюго под эгидой Французского отделения.

— Этой братьей занимается д-р Славский,— сказал Блорендж.— Вообще я иногда думаю, что мы чересчур напираем на литературу. Посудите сами — на этой неделе мисс Мопсуестия начинает Экзистенциалистов, этот ваш Бодо взял Ромэна Роллана, я читаю о генера-

ле Буланже и де Беранже. Нет, с нас решительно довольно всей этой музыки.

Гаген, ставя на свою последнюю карту, сказал, что Пнин мог бы преподавать французский язык: как у многих русских, у нашего друга в детстве была француженка гувернантка, и после революции он прожил более пятнадцати лет в Париже.

— Вы хотите сказать,— строго спросил Блорендж,— что он может говорить по-французски?

Гаген, отлично знавший особые требования Блоренджа, заколебался.

— Говорите прямо, Герман,— да или нет?

— Я уверен, что он сможет приноровиться.

— Так что же — он говорит или не говорит?

— Ну, говорит.

— В таком случае,— сказал Блорендж,— мы не можем использовать его на начальном курсе французского. Это было бы несправедливо по отношению к нашему Смиту, который в этом году ведет элементарный курс, и от которого, естественно, требуется быть только на один урок впереди класса по учебнику. Правда, нашему Хашимото нужен помощник для его переполненной переходной группы. Может быть, этот ваш приятель не только говорит, но и читает по-французски?

— Повторяю, он может приноровиться,— увильнул Гаген.

— Знаю я, что значит приноровиться,— сказал Блорендж нахмурясь.— В 1950 году, когда Хаш был в отъезде, я нанял одного швейцарского лыжного инструктора, так он контрабандой протащил мимеокопии какой-то старой французской антологии. Нам пришлось потом потратить чуть ли не целый год, чтобы вернуть класс к первоначальному уровню. Словом, если этот, как его, не умеет читать по-французски —

— Боюсь, что умеет,— со вздохом сказал Гаген.

— Тогда он вообще нам не годится. Как вы знаете, мы верим только в граммофонные записи разговоров и прочие механические пособия. Никаких книг не допускается.

— Остается еще курс Совершенствования Языка,— пробормотал Гаген.

— Его ведем мы с Каролиной Славской,— ответил Блорендж.

4

Для Пнина, который пребывал в полном неведении относительно этих забот своего покровителя, новый осенний семестр начался особенно удачно: никогда еще у него не было так мало студентов, то есть так много времени для собственных изысканий. Изыскания эти давно уже вступили в ту волшебную пору, когда поиски перерастают конечную цель, и образуется новый организм, паразит, так сказать, на созревающем плоде. Пнин отвращал духовный взор от конца своего труда, который виделся ему так отчетливо, что можно было различить шутиху астериска и вспышку «sic!». Этого берега надо было избегать, как всего, что убивает наслаждение бесконечного приближения. Справочные карточки постепенно заполняли коробку из-под башмаков своей плотной массой. Сопоставление двух легенд; драгоценная подробность обычая или одежды; ссылка, проверенная и оказавшаяся фальшивой по невежеству, небрежности или недобросовестности автора; мурашки в хребте от счастливой догадки; и все бесчисленные радости безкорыстной эрудиции — все это развратило Пнина, превратило его в счастливого, одурманенного сносками маниака, готового потревожить книжных клещей в каком-нибудь скучном, в фут толщиною, фолианте только затем, чтобы найти в нем ссылку на другой, еще скучнее. А в другом, более человеческом плане, имелся кирпичный до-

мик, который он нанял на Тоддовой улице, на углу Утесного проспекта.

Прежде там жила семья покойного Мартина Шеппарда, дяди прежнего хозяина Пнина на Ключевой, многие годы управлявшего именем Тоддов, которое теперь приобрела Уэйндельская городская управа, чтобы превратить его просторный дом в модерную санаторию. Плющ и хвоя скрывали запертые его ворота, верхушка которых была видна Пнину по другую сторону Утесного проспекта из северного окна его нового жилища. Проспект этот был перекладиной буквы «Т», в левой части которой он обитал. Напротив фасада его дома, сейчас же за Тоддовой улицей (вертикаль этого «Т»), старые ильмы отгораживали песчаную обочину ее заплатанного асфальта от кукурузного поля на востоке, а вдоль западной ее стороны, за забором, полчище молодых елок, совершенно одинаковых выскочек, шагало в направлении кампуса чуть не до самой соседней резиденции, большого сигарного ящика-дома тренера университетской футбольной команды,— стоявшего в полумиле к югу от дома Пнина.

Чувство, что он живет один в отдельном доме, было для Пнина чем-то до странного упоительным и удивительно отвечало наболевшей старой потребности его сокровенного существа, забитого и оглушенного тридцатью годами бесприютности. Одним из самых восхитительных достоинств этого места была тишина — ангельская, деревенская и совершенно непроницаемая, составлявшая блаженную противоположность бессменной какофонии, осаждавшей его с шести сторон в наемных комнатах его прежних пристанищ. А до чего этот крохотный домик был поместителен! Пнин с благодарным удивлением думал, что если бы не было русской революции, ни эмиграции, ни экспатриации во Франции, ни натурализации в Америке, то все — и то в лучшем случае, в лучшем случае, Тимофей! — было бы точно так же: профессура в Харькове или Казани, загородный дом вроде этого, внутри старые книги, снаружи поздние цветы. То был, говоря точнее, двухэтажный дом вишнево-красного кирпича, с белыми ставнями и гонтовой крышей. Зеленый участок, на котором он стоял, с палисадником аршин в пятьдесят, оканчивался сзади отвесной стеной мшистого утеса с коричневым кустарником на вершине. Едва заметная колея вдоль южной стороны дома вела к выкрашенному мелом гаражику для жалкой машины, которой Пнин обладал. Странная, корзинообразная сетка, несколько напоминавшая сублимированный кошель биллиардной лузы — впрочем без дна — свисала зачем-то над гаражными воротами, на белую поверхность которых она отбрасывала тень — такую же четкую, как и ее плетеный узор, но только крупнее и синее. На пустырь между гаражом и утесом захаживали фазаны. Сирень — эта краса русских садов, весеннюю роскошь которой, сплошь из меда и гуда, так предвкушал мой бедный Пнин — теснилась сухими рядами вдоль одной из стен дома. И одно высокое лиственное дерево, которого Пнин, привычный к березам-липам-ивам-осинам-тополям-дубам, не мог определить, роняло свои крупные, сердечком, ржавого цвета листья и тени бабьего лета на деревянные ступени открытого крыльца.

Подозрительного вида нефтяная печь в подвале что было сил подавала сквозь отдушины в полах свое слабое теплое дыхание. Кухня была здоровая и веселая на вид, и Пнин долго разбирался во всякой утвари, котелках и горшках, тостерах и сковородах, которые достались ему впридачу к дому. Гостиная была меблирована скудно и серо, но в ней имелась довольно привлекательная ниша с окном, где обитал огромный старый глобус, на котором Россия была бледно-голубая, с выцветшим или стертым пятном по всей Польше. В очень маленькой столовой, где Пнин задумал устроить для своих гостей ужин à la fourchette, пара хрустальных подсвечников с подвесками запускала по утрам радужные блики, которые обаятельно загорались на стенке буфета и напоминали моему сантиментальному другу цветные стекла на

террасах русских усадеб, окрашивавшие солнце в оранжевые, зеленые и лиловые тона. Всякий раз когда он проходил мимо посудного шкапа, тот принимался дребезжать, и это тоже было знакомо по смутным задним комнатам прошлого. Второй этаж состоял из двух спален, служивших некогда обителью множеству маленьких детей и случайных взрослых. Полы были в длинных царапинах от оловянных игрушек. Со стены комнаты, которую Пнин сделал своей спальней, он открепил картоновый красный вымпел с загадочным словом «Кардиналы», намалеванным на нем белой краской; но крошечной качалке розового цвет — для трехлетнего Пнина — было позволено остаться в своем углу. Отслужившая свое швейная машина занимала проход в ванную, где по обыкновению короткая ванна, созданная для карликов племенем великанов, наполнялась также медленно, как бассейны и резервуары в русских задачниках.

Теперь он был готов устроить прием. В гостиной был диван, на котором могли поместиться три человека, имелись два вольтеровских кресла, одно туго набитое глубокое кресло, кресло с камышовым сиденьем, пуф и две скамеечки для ног. Просматривая список приглашенных, он вдруг испытал странное чувство неудовлетворенья. Основа была, но не было букета. Да, он был несказанно рад Клементсам (настоящие люди — не то что большинство университетских чучел), с которыми он имел столько оживленных бесед в те дни, когда был у них жильцом; да, он был весьма признателен Герману Гагену за множество добрых услуг вроде того повышения оклада, которое Гаген недавно устроил; да, г-жа Гаген была, на Уэйндельском жаргоне, «чудный человек»; да, г-жа Тэер всегда приходила к нему на помощь в библиотеке, а ее муж обладал отрадной способностью доказывать, насколько человек может быть молчалив, если он решительно уклоняется от обсуждения погоды. Но в этом сочетании людей не было ничего необычайного, оригинального, и старый Пнин вспоминал дни рождения своего детства — пол-дюжины приглашенных детей, почему-то всегда одних и тех же, и тесные башмаки, и боль в висках, и ту тяжкую, безрадостную, давящую скуку, которая овладевала им, когда все игры уже переиграны, и хулиган-двоюродный брат начинал выделывать пошлые и глупые штуки с чудесными новыми игрушками; ему вспомнился тоже звон одиночества в ушах, когда во время затянувшейся, однообразной игры в прятки, он, просидев битый час в неудобном укрытии, выбрался из темного и затхлого шкапа в комнате служанки и обнаружил, что все его товарищи давно разошлись по домам.

При посещении знаменитого гастрономического магазина между Уэйндельвилем и Изолой он наткнулся на Бетти Блисс, пригласил ее, и она сказала, что все еще помнит тургеневское стихотворение в прозе о розах, с припевом «Как хороши, как свежи», и, разумеется, с радостью придет. Он пригласил знаменитого математика профессора Идельсона с женой-скульпторшей, и они сказали, что с удовольствием придут, но потом телефонировали, чтобы сказать, что им ужасно жаль, но они совсем упустили из виду, что уже приглашены в другое место на этот вечер. Он позвал молодого Миллера, теперь уже адъюнкта, с Шарлоттой, его хорошенькой, веснущатой женой, но оказалось, что она вот-вот должна родить. Он позвал старика Кэрроля, старшего швейцара Фриз-Холла, с сыном Франком, единственным одаренным студентом моего друга, написавшим блестящее докторское сочинение о взаимоотношениях русского, английского и немецкого ямба; но Франк был в армии, а старик Кэрроль откровенно сказал, что «нам с хозяйкой не след якшаться с профессорами». Он позвонил по телефону в резиденцию президента Пура, с которым он однажды беседовал (об усовершенствовании учебной программы) во время церемонии на открытом воздухе, покуда не пошел дождь, и пригласил его, но племянница президента Пура ответила, что ее дядя теперь «никого не по-

сещает, кроме нескольких близких друзей». Он уже хотел было отказаться от намерения оживить свой список, когда ему пришла в голову совершенно новая и просто замечательная идея.

5

И Пнин, и я давно примирились с тем неприятным, но редко обсуждаемым фактом, что в среде университетских преподавателей всегда можно найти не только человека, необычайно похожего на вашего дантиста или на местного почтмейстера, но и двойников в одном и том же профессиональном кругу. Мне известен даже случай тройни в одном сравнительно небольшом колледже, причем, по словам его наблюдательного президента Франка Рида, коренным этой тройки был, как это ни странно, я сам; и я вспоминаю, как покойная Ольга Кроткая однажды рассказала мне, что среди полусотни профессоров Школы Ускоренного Изучения Языков, где во время войны этой бедной даме об одном легком пришлось преподавать летейский и гречневый языки, было целых шестеро Пниных, помимо подлинного и, на мой взгляд, уникального экземпляра. Поэтому не приходится удивляться, что даже Пнин, в повседневной жизни человек не особенно наблюдательный, не мог не заметить (на девятом году своего пребывания в Уэйнделе), что долговязый пожилой господин в очках, с профессорской, стального цвета прядью, спадавшей на правую сторону его небольшого, но морщинистого лба, с глубокими бороздами, сбегавшими от его острого носа к углам длинной верхней губы — человек, известный Пнину как профессор Томас Д. Войницкий, занимающий кафедру орнитологии, с которым он как-то в одной компании беседовал о веселых иволгах, меланхолических кукушках и других русских лесных птицах,— не всегда был профессор Войницкий. Временами он, так сказать, перевоплощался в кого-то другого, кого Пнин не знал по имени, но окрестил, с характерной для иностранца склонностью к каламбурам, Двойницкий. Мой друг и соотечественник скоро смекнул, что никогда он не может сказать наверное, действительно ли этот похожий на филина, быстро шагающий господин, с которым он каждый день сталкивался в разных точках своих хождений между кабинетом и классной комнатой, между классной комнатой и лестницей, между питьевым фонтанчиком и уборной — был его случайный знакомый, орнитолог, с которым он полагал своим долгом здороваться, проходя мимо, или то был похожий на Войницкого незнакомец, отвечавший на эти унылые приветствия с точно тою же машинальной любезностью, с какой бы это делал и любой случайный знакомый. Самая встреча обыкновенно бывала очень краткой, потому что и Пнин, и Войницкий (или Двойницкий) шагали быстро; и порою Пнин, чтобы избежать этого обмена учтивым лаем, делал вид, что читает на ходу письмо или изловчался улизнуть от быстро приближавшегося коллеги и мучителя, сворачивая на лестницу и затем продолжая свой путь по корридору нижнего этажа; но едва успел он обрадоваться остроумию своей уловки, как, воспользовавшись ею однажды, он чуть не столкнулся с Двойницким (или Войницким), тяжело топавшим по корридору нижнего этажа. Когда начался новый осенний семестр (для Пнина десятый), неловкость положения еще усугубилась тем, что изменились классные часы Пнина, упразднив тем самым некоторые маршруты, на которые он рассчитывал в своих усилиях избегать Войницкого или того, кто прикидывался Войницким. Казалось, он должен будет навсегда примириться с этим положением. Припоминая некоторые другие раздвоения, случавшиеся в прошлом — приводившие в замешательство сходства, которые, однако, он один замечал,— озабоченный Пнин не сомневался в том, что было бы бесполезно просить посторонних помочь ему разобраться в этих Т. Д. Войницких.

В день назначенного раута, когда он кончал свой поздний завтрак

в Фриз-Холле, Войницкий, или его двойник (ни тот, ни другой никогда прежде не появлялись там) вдруг подсел к нему и сказал:

— Давно хотел спросить вас кой о чем — вы ведь преподаете русский, не правда ли? Летом я прочитал в одном журнале статью о птицах —

(«Войницкий! Это Войницкий!»— сказал Пнин про себя и тотчас решился действовать).

— Так вот, автор этой статьи — забыл его фамилью, кажется русская — говорит между прочим, что в Скофской губернии — я правильно произношу? — местные пироги выпекаются в виде птицы. В основе тут лежит, конечно, фаллический символ, но мне интересно, знаете ли вы об этом обычае?

И тут у Пнина мелькнула блестящая мысль.

— Сударь, я к вашим услугам,— сказал он с ноткой восторга, задрожавшей в его горле,— ибо он теперь знал, как наверняка установить личность хотя бы первоначального Войницкого — любителя птиц.
— Да, сударь. Мне известно все об этих жавронках, об этих alouettes, этих — надо посмотреть в словаре английское название. И вот я пользуюсь случаем сердечно просить вас посетить меня сегодня вечером. Половина девятого, после полудня. Небольшая soirée по случаю новоселья, не более того. Приведите также супругу — или, может быть, вы Кандидат Сердцеведения?

(О, каламбурщик Пнин!)

Его собеседник сказал, что не женат. Он с удовольствием придет. Какой адрес?

— Дом девятьсот девяносто девять, Тодд Родд, очень просто! В самом-самом конце Тодд Родд, там, где она соединяется с Утесной авеню: Маленький кирпичный дом и большой черный утес.

6

Вечером этого дня Пнин едва мог дождаться начала кулинарных операций. Он приступил к ним вскоре после пяти, и прервал их только для того, чтобы облачиться для приема гостей в сибаритскую домашнюю куртку синего шолка, с кистями и атласными отворотами, выигранную на эмигрантском благотворительном базаре в Париже двадцать лет тому назад — как время летит! С этой курткой он носил пару старых штанов от смокинга, тоже европейского происхождения. Разглядывая себя в треснувшем зеркале шкапчика для лекарств, он надел свои массивные черепаховые очки для чтения, из-под седловины которых гладко выпячивался его русский нос картошкой. Он обнажил свои синтетические зубы. Исследовал щеки и подбородок, чтобы удостовериться, что утреннее бритье еще держалось. Оно держалось. Большим и указательным пальцами он ухватил в ноздре длинный волосок, повторным сильным рывком выдернул его и смачно чихнул, завершив залп здоровым «А!».

В половине восьмого явилась Бетти, чтобы помочь с последними приготовлениями. Бетти теперь преподавала английский язык и историю в Изольской гимназии. Она не изменилась с той поры, когда была полненькой аспиранткой. Ее близорукие серые глаза с розовой каемкой смотрели на вас с той же чистосердечной симпатией. Она носила все те же густые волосы, уложенные, как у Гретхен, тугим кольцом вокруг головы. Тот же самый рубец виднелся на ее нежном горле. Но на ее пухлой руке появилось обручальное колечко с миниатюрным бриллиантом, и она с жеманной гордостью продемонстрировала его Пнину, и тот смутно почувствовал укол грусти. Ему подумалось, что было время, когда он мог бы поухаживать за ней — и даже начал было, но душой она была горничная, и это в ней тоже не изменилось. Она по-прежнему пересказывала какую-нибудь затяжную историю способом «она говорит — я говорю — она говорит». Ничто в мире

не могло разуверить ее в мудрости и остроумии ее любимого женского журнала. У нее по-прежнему была занятная манера — общая еще двум-трем молодым мещаночкам в ограниченном кругу знакомых Пнину женщин — легонько, выдержав паузу, похлопывать вас по рукаву, скорее признавая, чем отклоняя ваше замечание, напоминающее ей о какой-нибудь ее мелкой провинности: вы говорите «Бетти, вы забыли вернуть мне книгу» или «Мне кажется, Бетти, вы говорили, что никогда не выйдете замуж», и прежде чем ответить, она пускает в ход этот якобы учтивый прием, отдергивая короткие пальцы в то самое мгновение, когда они прикасаются к вашей кисти.

— Он биохимик, он теперь в Питтсбурге,— сказала Бетти, помогая Пнину разложить намазанные маслом ломти французской булки кругом горшочка свежей, глянцевито-серой икры и вымыть три крупные виноградные грозди. Имелась также большая тарелка холодного мяса, настоящий немецкий пумперникель и блюдо совершенно особенного винегрета, в котором креветки соседствовали с пикулями и горошком, и крошечные сосиски в томатном соусе, и горячие пирожки с грибами, с мясом, с капустой, и четыре сорта орехов, и всякие интересные восточные сласти. Напитки были представлены бутылкой виски (Беттин вклад), рябиновкой, гренадиновым ликером и, конечно, пнинским пуншем, пьянящей смесью охлажденного Шато Икем, помплимусового сока и мараскина, которую хозяин уже начал торжественно приготовлять в большой чаше сверкающего аквамаринового стекла с декоративным орнаментом из переплетающихся жилок и листьев кувшинок.

— Господи! Какая прелесть! — воскликнула Бетти.

Пнин оглядел чашу с приятным удивлением, как-будто видел ее в первый раз. Это, сказал он, подарок Виктора. Вот как, а как он поживает, как ему нравится Сент-Барт? Так себе. Начало лета он провел с матерью в Калифорнии, потом два месяца работал в Йосемитской гостинице. Где? В отеле в горах Калифорнии. Ну и вот, он вернулся в школу и вдруг прислал мне ее.

По какому-то трогательному совпадению чаша прибыла в тот самый день, когда Пнин, пересчитав стулья, начал готовиться к приему. Она пришла в коробке внутри другой коробки, которая лежала в третьей, и была упакована в массе обильной мягкой стружки и бумаги, разлетевшейся по кухне как буря карнавального серпантина. Появившаяся, наконец, чаша была одним из тех подарков, которые с самого начала вызывают в душе одаренного цветной образ, геральдическое пятно, обозначающее милую сущность дарителя с такой символической силой, что матерьяльные признаки вещи как бы растворяются в этом чистом внутреннем сиянии, но внезапно и навеки обретают сверкающее бытие, когда их похвалит посторонний человек, которому неведома истинная прелесть подарка.

7

Домик огласился музыкальным звоном, и вошли Клементсы с бутылкой французского шампанского и охапкой георгин.

Коротко остриженная, с темно-синими глазами и длинными ресницами, Джоана была в своем старом черном шолковом платье, которое выглядело наряднее всего, что могли придумать другие профессорские жены, и как всегда было одно удовольствие смотреть, как почтенный, лысый Тим Пнин слегка наклоняется, чтобы коснуться губами легкой руки, которую Джоана, единственная из всех Уэйндельских дам, умела подать как раз на уровень удобный для поцелуя русского джентльмена. Лоренс, еще больше располневший, в элегантном сером фланелевом костюме, тяжко погрузился в мягкое кресло и сейчас же схватил первую попавшуюся книгу, которая оказалась англо-русским и русско-английским карманным словарем. Держа на

отлете очки, он посмотрел в сторону, пытаясь вспомнить что-то, что он всегда хотел проверить, но теперь не мог припомнить, и эта поза еще усилила его поразительное сходство, несколько en jeune, с Ван-Эйковым Каноником ван дер Пэлем, с его массивной челюстью и с пушком нимба вокруг головы, застывшим перед удивленной Богородицей, к которой какой-то статист, наряженный Св. Георгием, пытается привлечь внимание почтенного Каноника. Все тут было: и узловатый висок, и печальный, задумчивый взор, и складки, и борозды лица, и тонкие губы, и даже бородавка на левой щеке.

Едва Клементсы уселись, как Бетти впустила человека, интересовавшегося птицеобразными пирогами. Пнин хотел было сказать «Профессор Войницкий», но на его беду Джоана прервала его возгласом: «Ах, да мы знаем Томаса! Кто же не знает Тома?» Тим Пнин вернулся на кухню, а Бетти предложила гостям болгарские папиросы.

— Мне казалось, Томас,— заметил Клементс, закладывая одну жирную ногу на другую,— что вы теперь в Гаване интервьюируете лазающих на пальмы рыбаков.

— Я и поеду, только во второй половине года,— сказал профессор Томас.— Собственно, большая часть полевых исследований уже выполнена другими.

— А все-таки признайтесь, приятно было получить эту субсидию?

— На нашем отделении,— невозмутимо ответил Томас,— нам приходится предпринимать много трудных путешествий. Меня может даже занести к Наветренным островам. Если,— добавил он с глухим смешком,— сенатор МакКарти не прикончит заграничные путешествия.

— Он получил пособие в десять тысяч долларов,— сказала Джоана Бетти, лицо которой сделало реверанс, когда она скорчила ту особенную гримасу (медленный полукивок и натянутые подбородок и нижняя губа), которая на мимическом языке женщин, подобных Бетти, автоматически означает, что она почтительно, поздравительно, с примесью благоговения принимает к сведению такие грандиозные события, как обед с начальником, появление в справочнике «Кто-что» или знакомство с герцогиней.

Тэеры, прибывшие в новом автомобиле семейного типа, преподнесли хозяину изящную коробку мятных леденцов в шоколаде. Д-р Гаген, добравшийся пешком, триумфально подымал вверх бутылку водки.

— Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер,— сказал добродушный Гаген.

— Доктор Гаген,— сказал Томас, пожимая ему руку,— надеюсь, Сенатор не видел, как вы расхаживете с этим по городу.

Бравый Доктор заметно постарел за последний год, но был как всегда крепок и прямоуголен, со своими сильно подбитыми плечами, квадратным подбородком, квадратными ноздрями, львиной переносицей и прямоугольной копной поседевших волос, несколько напоминавший подстриженную купу дерева. На нем был черный костюм, белая нейлоновая рубашка и черный галстук в красных молниях. Г-жа Гаген в последнюю минуту, увы, не смогла прийти из-за ужасной мигрени.

Пнин принес коктейли, «или лучше сказать — фламинго-тейли, специально для орнитологов»,— лукаво сострил он.

— Благодарю вас,— пропела г-жа Тэер, принимая свой стакан и поднимая выщипанные в нитку брови, с той радушной жеманно-вопросительной интонацией, которая должна была означать смесь удивления, признательности за незаслуженное внимание, и удовольствия. Привлекательная, чопорная, розовощекая дама лет сорока с жемчужными искусственными зубами и волнистыми позлащенными волосами, она была кузиной-провинциалкой элегантной, непринужденно державшейся Джоаны Клементс, которая изъездила весь мир, бывала да-

же в Турции и Египте, и была замужем за наиболее оригинальным и наименее любимым ученым Уэйндельского университета. Тут следует помянуть добрым словом и мужа Маргариты Тэер, Роя, унылого и неразговорчивого сотрудника Английского отделения, которое за вычетом его кипучего главы Коккереля было прибежищем ипохондриков. Внешность у Роя была вполне заурядная. Если нарисовать пару старых желтых башмаков, две бежевые заплаты на локтях, черную трубку и два набрякших глаза под тяжелыми бровями, то прочее легко будет заполнить. Где-то посередке маячила какая-то редкая болезнь печени, а где-то на заднем плане была Поэзия Восемнадцатого Века, отъезжее поле Роя, сильно общипанный выгон с еле слышным ручьем и с островком деревьев с вырезанными на стволах инициалами; это поле по обе стороны отгорожено было колючей проволокой от владений профессора Стоу (предыдущее столетие), где ягнята были побелей, дерн помягче, ручей говорливей, и от Раннего Девятнадцатого Века д-ра Шапиро, с его дымкой в лощинах, морскими туманами и заморским виноградом. Рой Тэер, избегавший говорить о своем предмете, и вообще избегавший разговоров о чем бы то ни было, потратил десять лет однообразной жизни на ученый труд о забытой группе никому не интересных рифмоплетов и вел подробный зашифрованный дневник в стихах, который, как он надеялся, когда-нибудь смогут разобрать потомки, и по трезвом размышлении, задним числом объявят его величайшим литературным достижением нашего времени,— и почем знать, может быть, вы и правы, Рой Тэер.

Когда все принялись уютно потягивать и похваливать коктейли, профессор Пнин присел на охнувший пуф подле своего нового друга и сказал:

— Я желал бы доложить вам, сударь, об этих скайлярках (по-русски — жаворонках), о которых вы изволили спрашивать меня. Возьмите вот это с собой домой. Я тут настукал на пишущей машинке сжатое резюме с библиографией. Я думаю, мы теперь перейдем в другую комнату, где нас, кажется, ожидает ужин à la fourchette.

8

Вскоре гости с полными тарелками снова переместились в гостиную. Явился пунш.

— Боже, Тимофей, да где вы достали эту просто божественную чашу! — воскликнула Джоана.

— Мне подарил ее Виктор.

— Но где он д о с т а л ее?

— В антикварном магазине в Крантоне, я думаю.

— Да ведь она, должно быть, стоила целое состояние.

— Один доллар? Десять долларов? Меньше, быть может?

— Десять долларов — вздор какой! Две сотни; я бы сказала. Да вы только взгляните на нее! Взгляните на этот вьющийся узор. Знаете что, вам надо показать ее Коккерелям. Они знают толк в старинном стекле. У них есть Дунморский кувшин, который выглядит бедным родственником этой чаши.

Маргарита Тэер в свою очередь полюбовалась чашей и сказала, что в детстве ей казалось, что стеклянные башмачки Золушки именно этого зеленовато-синего оттенка, на что профессор Пнин заметил, что, primo, он хотел бы, чтобы каждый сказал, так же ли хорошо содержимое, как и контейнер, и, что, secundo, башмачки Сандрильоны сделаны не из стекла, а из меха русской белки — по-французски vair. Это, сказал он, типичный пример выживания более жизнеспособного из слов, ибо verre лучше запоминается, чем vair, которое, по его мнению, происходит не от varius, разнообразный, а от **веверицы,** славянского слова, означающего красивый, бледный, как у белки зимой, мех с голубоватым, или лучше сказать, сизым, колумбиновым оттенком —

от латинского columba, голубь, как кое-кому здесь должно быть хорошо известно — так что видите, госпожа Файр, вы были, в общем, правы.

— Содержимое превосходно,— сказал Лоренс Клементс.

— Этот напиток просто упоителен,— сказала Маргарита Тэер.

(«Я всегда думал, что «колумбина» — это какой-то цветок»,— сказал Томас Бетти, и та не задумываясь согласилась.)

Затем был пересмотрен возраст нескольких детей присутствовавших. Виктору скоро будет пятнадцать. Эйлин, внучке старшей сестры г-жи Тэер, было пять. Изабелле было двадцать три, и ей страшно нравилась ее секретарская должность в Нью-Йорке. Дочери д-ра Гагена было двадцать четыре года, и она должна была вот-вот вернуться из Европы, где великолепно провела лето, разъезжая по Баварии и Швейцарии с очень милой старой дамой, Дорианной Карен, знаменитой фильмовой звездой двадцатых годов.

Зазвонил телефон. Кому-то нужно было поговорить с г-жой Шеппард. С совершенно необычной для него в таких случаях обстоятельностью непредсказуемый Пнин не только отбарабанил ее новый адрес и номер телефона, но и присовокупил те же сведения о ее старшем сыне.

9

К десяти часам, благодаря пнинскому пуншу и виски Бетти, иные из гостей заговорили громче, чем это им казалось. Карминовый румянец залил одну сторону шеи г-жи Тэер под синей звездочкой ее левой серьги, и, сидя очень прямо, она угостила своего хозяина повествованием о распре между двумя ее коллегами по библиотеке. То была банальная служебная история, но трансформация ее голоса при переходе от мисс Пищалкиной к мистеру Басову, а также сознание того, что вечер удался, заставляли Пнина склонять голову и восторженно хохотать в ладошку. Рой Тэер слабо подмигивал самому себе, глядя в пунш вдоль своего серого пористого носа, и вежливо внимал Джоане Клементс, которая, когда бывала немного навеселе, как сегодня, имела прелестную привычку быстро-быстро моргать или даже вовсе прикрывать свои отороченные черными ресницами синие глаза и прерывать течение фразы (чтобы отделить придаточную или заново разогнаться) глубокими добавочными придыханиями: «Но не кажется ли вам — хо — что он — хо — практически во всех своих романах — хо — старается — хо — показать причудливое повторение некоторых положений?». Бетти сохраняла присутствие своего небольшого духа и умело следила за распределением закусок. В нише Клементс мрачно вращал неторопливый глобус, между тем как Гаген, тщательно избегая некоторых традиционных интонаций, к которым он прибег бы в более интимной компании, рассказывал ему и ухмыляющемуся Томасу свежий анекдот про г-жу Идельсон, поведанный г-жой Блорендж г-же Гаген. Пнин подошел к ним с тарелкой нуги.

— Это не вполне годится для ваших целомудренных ушей, Тимофей,— сказал Гаген Пнину, который всегда говорил, что не в состоянии понять пуанты «скабрезных анекдотов»,— тем не менее —

Клементс отошел и присоединился к дамам. Гаген начал заново рассказывать свою историю, а Томас — заново ухмыляться. Пнин с отвращением махнул рукой на рассказчика русским жестом «ах, бросьте, право», и сказал:

— Я слышал точно такой же анекдот тридцать пять лет назад в Одессе, и даже тогда не мог понять, что тут смешного.

10

В еще более поздней стадии вечера опять произошли некоторые перемещения. На тахте в углу скучавший Клементс листал альбом «Фламандских шедевров», подаренный Виктору его матерью и остав-

ленный им у Пнина. Джоана сидела на низкой скамеечке у колена своего мужа с тарелкой винограда в подоле широкой юбки, прикидывая, когда можно будет уйти, не огорчив этим Тимофея. Остальные слушали Гагена, обсуждавшего современное образование.

— Вы будете смеяться,— сказал он, бросая острый взгляд на Клементса,— который покачал головой, отводя это обвинение, и затем передал альбом Джоане, показывая там что-то, что вызвало у него внезапный приступ веселья.

— Вы будете смеяться, но я утверждаю, что единственный способ выбраться из тупика — одну каплю, Тимофей, достаточно — это запереть студента в звуконепроницаемой келье и упразднить лекционный зал.

— Да, это то самое,— тихонько сказала Джоана мужу, возвращая ему альбом.

— Я рад, что вы согласны со мной, Джоана,— продолжал Гаген.— Тем не менее, меня называют enfant terrible за то, что я проповедую этот взгляд, и, может быть, вы не так легко согласитесь со мной, когда дослушаете до конца. В распоряжении изолированного студента будут граммофонные пластинки по любым предметам —

— Да, но индивидуальность лектора,— сказала Маргарита Тэер,— она ведь тоже что-то значит.

— Ничего! — крикнул Гаген,— Вот в чем трагедия! Кому, например, нужен **он**,— он указал на сияющего Пнина,— кому нужна его индивидуальность? Никому! Они без колебаний откажутся от великолепной индивидуальности Тимофея. Миру нужна машина, а не Тимофей.

— Можно было бы показывать Тимофея по телевизору,— сказал Клементс.

— О, это было бы чудесно! — сказала Джоана, озаряя улыбкой своего хозяина, а Бетти энергично закивала.

Пнин низко поклонился им, разводя руками со значением «обезоружен».

— А что думаете *вы* о моем бунтарском проекте? — спросил Гаген у Томаса.

— Я могу вам сказать, что думает Том,— сказал Клементс, разглядывая все ту же репродукцию в раскрытой у него на коленях книге.— Том думает, что лучший метод преподавания чего бы то ни было — это устраивать в классе обсуждения, то есть позволять двум десяткам юных оболтусов и паре нахальных неврастеников обсуждать в продолжение пятидесяти минут что-то, о чем ни они, ни преподаватель ничего не знают. Я вот уже три месяца,— продолжал он без всякого логического перехода,— ищу эту картину, и вот нашел. Издатель моей новой книги о Философии Жеста просил у меня мой портрет, а мы с Джоаной знали, что у какого-то старого мастера мы видели чрезвычайно на меня похожий, но не могли припомнить даже его эпоху. И вот он здесь, прошу. Единственно, что тут нужно подретушировать, это добавить спортивную рубашку и убрать руку этого воина.

— Я решительно протестую,— начал Томас.

Клементс передал раскрытую книгу Маргарите Тэер, и та прыснула.

— Я протестую, Лоренс,— сказал Том.— Непринужденная дискуссия в атмосфере широких обобщений — это более трезвый подход к проблеме образования, чем старомодная формальная лекция.

— Конечно, конечно,— сказал Клементс.

Джоана с трудом поднялась и прикрыла свой стакан узкой ладонью, когда Пнин предложил снова его наполнить. Г-жа Тэер посмотрела на свои часики и потом на мужа. Мягкий зевок растянул рот Лоренса. Бетти спросила Томаса, не знает ли он человека по фамилии Фогельман, специалиста по летучим мышам, который живет в Санта-Кларе, на Кубе. Гаген попросил стакан воды или пива. «Кого

он мне напоминает? — вдруг подумал Пнин.— Эриха Винда? Почему? Внешне они совершенно не похожи».

11

Место действия финальной сцены — прихожая. Гаген не мог отыскать трость, с которой он пришел (она завалилась за сундук в чулане).

— А я, кажется, оставила свою сумочку там, где сидела,— сказала г-жа Тэер, легонько подталкивая своего задумчивого мужа в направлении гостиной.

Пнин и Клементс, разговорившиеся в последнюю минуту, стояли по обе стороны двери в гостиную, как две раскормленные кариатиды, и втянули животы, пропуская молчаливого Тэера. В середине комнаты стояли профессор Томас и мисс Блисс — он, заложив руки за спину и то и дело подымаясь на носки, она — с подносом в руках — и говорили о Кубе, где, как ей казалось, довольно долго жил двоюродный брат ее жениха. Тэер неуверенно переходил от кресла к креслу и обнаружил у себя в руках белую сумку, абсолютно не зная, где он ее подобрал, потому что голова его была занята еще смутным очертанием строк, которые ему предстояло записать позднее этой ночью:

Сидели, пили; всяк в себе таил прошедшее, и каждому судьбою на свой особый час будильник был поставлен. Кисть взметнулась; муж с женою переглянулись...

Тем временем Пнин спросил Джоану Клементс и Маргариту Тэер, не хотят ли они взглянуть, как он устроил верхние комнаты. Эта мысль привела их в восторг. Он повел их. Его, так называемый, kabinet выглядел очень уютно теперь, когда его исцарапанный пол был аккуратно покрыт более или менее пакистанским ковром, который он когда-то приобрел для своего служебного кабинета, а недавно молча и решительно выдернул из-под ног огорошенного Фальтернфельса. Клетчатый плэд, под которым Пнин пересек океан, покинув Европу в 1940 году, и кое-какие местного происхождения подушки задрапировали неустранимую кровать. Розовые полки, на которых он нашел несколько поколений детских книг — от «Тома Чистильщика Сапог, или Дороги к Успеху» Горация Алджера (1889), через «Рольфа в Лесах» Эрнеста Томсона Ситона (1911), до «Комптоновской Иллюстрированной Энциклопедии» издания 1928 года, в десяти томах, с расплывчатыми маленькими фотографиями,— теперь были нагружены тремя-стами шестьюдесятью пятью томами из библиотеки Уэйндельского колледжа.

— Как подумаешь, что я их все проштемпелевала,— вздохнула госпожа Тэер, закатывая глаза с притворным ужасом.

— Некоторые зарегистрировала госпожа Миллер,— сказал Пнин, убежденный сторонник исторической правды.

В спальне посетительниц более всего поразила большая складная ширма, защищавшая двуспальную кровать с четырьмя колонками по углам от пронырливых сквозняков, а также вид из ряда маленьких окошек: темная стена скалы, круто поднимавшаяся футах в пятидесяти, с полоской бледного звездного неба над черной растительностью на ее вершине. На задней лужайке Лоренс прошагал в тень, пересекая отражение окна.

— Наконец-то вы в самом деле удобно устроились,— сказала Джоана.

— И знаете, что я вам сейчас скажу,— отвечал Пнин конфиденциальным тоном с ноткой торжества, зазвеневшей в его голосе.— Завтра утром, под покровом тайны, я увижусь с господином, который хочет помочь мне купить этот дом!

Они снова сошли вниз. Рой вручил жене сумку Бетти. Герман нашел свою палку. Маргаритину сумку разыскивали. Снова появился Лоренс.

— До свиданья, до свиданья профессор Войницкий! — пропел Пнин, и его щеки были румяными и круглыми под фонарем крыльца.

(Бетти и Маргарита Тэер еще любовались в прихожей тростью польщенного д-ра Гагена, недавно присланной ему из Германии,— узловатой дубиной с набалдашником в виде ослиной головы. Голова эта могла шевелить одним ухом. Трость раньше принадлежала баварскому деду д-ра Гагена, сельскому священнику. Механизм другого уха сломался в 1914 году, согласно оставленной пастором записке. Гаген брал ее, по его словам, для защиты от немецкой овчарки в Муравчатом переулке. Собаки в Америке не привыкли к пешеходам. Он же всегда предпочитает пешие прогулки автомобилю. Ухо починить нельзя. По крайней мере, в Уэйнделе.)

— Хотел бы я знать, почему он меня так назвал,— сказал Д. В. Томас, профессор антропологии, Лоренсу и Джоане Клементс, пока они шли сквозь синюю тьму к четырем машинам, запаркованным под ильмами на другой стороне дороги.

— Наш друг,— отвечал Клементс,— пользуется собственной номенклатурой. Его словесные причуды придают жизни новый трепет. Ошибки его произношения мифотворны. Его обмолвки достойны оракула. Мою жену он называет Джон.

— Все же это как-то странно,— сказал Томас.

— Вероятно он принял вас за кого-то другого,— сказал Клементс.— И, как знать, может быть, вы и в самом деле кто-то другой.

Прежде чем они пересекли улицу, их догнал д-р Гаген. Профессор Томас, все еще недоумевая, простился.

— Ну вот,— сказал Гаген.

Стояла ясная осенняя ночь, снизу бархатная, наверху стальная.

Джоана спросила:

— Вы в самом деле не хотите, чтобы мы вас подвезли?

— Тут десять минут ходьбы. А в такую великолепную ночь пройтись пешком просто необходимо.

Втроем они постояли с минуту, глядя на звезды.

— И все это миры,— сказал Гаген.

— Или,— сказал Клементс, зевая,— страшный ералаш. Я подозреваю, что на самом деле это флуоресцирующий труп, а мы сидим внутри него.

С освещенного крыльца донесся сочный смех Пнина, кончившего подробно рассказывать Тэерам и Бетти Блисс о том, как он сам однажды возвратил чужой ридикюль.

— Идем, мой флуоресцирующий труп, пора ехать,— сказала Джоана.— Очень рады были повидать вас, Герман. Передайте привет Ирмгарде. Какая чудесная вечеринка! Никогда я не видела Тимофея таким счастливым.

— Да, благодарю,— рассеянно откликнулся Гаген.

— Надо было видеть его лицо,— сказала Джоана,— когда он сказал нам, что завтра собирается говорить с агентом о покупке этого волшебного дома.

— Вот как? Вы уверены — он так и сказал? — резко спросил Гаген.

— Именно,— сказала Джоана.— И уж, конечно, никто так не нуждается в собственном доме, как Тимофей.

— Ну, покойной ночи,— сказал Гаген.— Рад, что вы пришли. Покойной ночи.

Он подождал, пока они дойдут до машины, поколебался и зашагал назад к освещенному крыльцу, где стоя, как на сцене, Пнин во второй или третий раз принимался пожимать руки Тэерам и Бетти.

(«Никогда бы,— сказала Джоана, пятя машину и вращая руль,— никогда бы я не разрешила своей дочери поехать за границу с этой старой лесбиянкой».— «Тише,— сказал Лоренс,— может быть, он и пьян, но он еще достаточно близко, чтобы тебя услышать».)

— Я вам не прощу,— говорила Бетти своему хозяину, который был чуть-чуть навеселе,— что вы не дали мне вымыть посуду.

— Я помогу ему,— сказал Гаген, всходя по ступеням крыльца и стукая по ним палкой.— Вы, детки, ступайте теперь.

Еще один, последний круг рукопожатий, и Тэеры с Бетти ушли.

12

— Прежде всего,— сказал Гаген, когда они с Пниным вернулись в гостиную,— я бы, пожалуй, выпил с вами еще стаканчик вина.

— Чудно, чудно!— вскричал Пнин.— Мы допьем мой крюшон.

Они удобно уселись, и д-р Гаген сказал:

— Вы великолепный хозяин, Тимофей. Это приятнейшая минута. Мой дедушка говаривал, что стакан хорошего вина всегда следует растягивать и смаковать, как если бы он был последним перед казнью. Хотел бы я знать, что вы положили в этот пунш. Я хотел бы также знать, правда ли, как утверждает наша милейшая Джоана, что вы собираетесь приобрести этот дом?

— Не собираюсь, а просто высматриваю по-тихоньку возможность,— ответил Пнин с журчащим смешком.

— Не уверен, что это было бы разумно,— продолжал Гаген, обхватив ладонями стакан.

— Конечно, я надеюсь, что получу наконец штатное место,— сказал Пнин не без лукавинки.— Я теперь ассистент профессора уже девять лет. Годы бегут. Скоро я буду заслуженный ассистент в отставке. Гаген, почему вы молчите?

— Вы ставите меня в крайне затруднительное положение, Тимофей. Я надеялся, что вы этого вопроса не поднимете.

— Я не поднимаю вопроса. Я просто говорю, что я рассчитываю, что — о, не в будущем году, но например, к сотой годовщине Освобождения Рабов — Уэйндель сделает меня адъюнктом.

— Да, но, видите ли, мой дорогой друг, я должен открыть вам печальный секрет. Это покамест неофициально, и вы должны обещать мне никому не говорить об этом.

— Клянусь,— сказал Пнин, подымая руку.

— Вы не можете не знать,— продолжил Гаген,— с какой любовью и заботой я создавал наше великолепное Отделение. Я также уже не молод. Вы говорите, Тимофей, что вы здесь уже девять лет. А я отдавал этому университету все, что было в моих силах, в продолжение *двадцати девяти лет!* Все, что было в моих скромных силах. Как написал мне на днях мой друг д-р Крафт — вы, Герман Гаген, один сделали в Америке для Германии больше, чем все наши миссии в Германии сделали для Америки. А что получается теперь? Я пригрел на своей груди этого Фальтернфельса, эту змею, а теперь он пролез на главные роли. Я не буду пересказывать вам все подробности этой интриги!

— Да,— сказал Пнин со вздохом,— интрига ужасная вещь, ужасная. Но, с другой стороны, честный труд всегда докажет свою ценность. В будущем году мы с вами будем читать превосходные новые курсы, которые я давно задумал. О Тирании. О Сапоге. О Николае Первом. Обо всех предшественниках современных злодейств. Гаген, когда мы говорим о несправедливости, мы забываем об избиении армян, о пытках, изобретенных в Тибете, о колонистах в Африке... История человека — это история боли!

Гаген нагнулся к своему другу и похлопал его по костлявому колену.

— Вы великолепный романтик, Тимофей, и в более счастливых обстоятельствах... Однако могу сообщить вам, что в весеннем семестре мы, *действительно,* устроим нечто необычное. Мы намерены поставить Драматическую Программу,— сцены из произведений от Коцебу

до Гауптмана. Я рассматриваю это как своего рода апофеоз... Но не будем забегать вперед. Я также романтик, Тимофей, и потому не могу работать с такими людьми, как Бодо, как этого хотят от меня наши попечители. Крафт в Сиборде уходит в отставку, и мне предложено со следующей осени занять его место.

— Поздравляю вас,— тепло сказал Пнин.

— Благодарю, друг мой. Конечно, это очень хорошая и высокая должность. Я смогу применить бесценный опыт, который я приобрел здесь, на более обширном поле научной и административной деятельности. Так как я, конечно, знал, что Бодо не оставит вас при Германском Отделении, то я в первую очередь предложил им взять и вас, но они сказали, что у них в Сиборде и без того уже довольно славистов. Тогда я поговорил с Блоренджем, но здешнее Французское Отделение тоже переполнено. Это скверно, ибо Уэйндель чувствует, что было бы слишком тяжелым финансовым бременем платить вам за два или три курса русского языка, которые перестали привлекать студентов. Политическое положение в Америке, как всем нам известно, не поощряет интереса ко всему русскому. С другой же стороны, вам приятно будет узнать, что Английское Отделение приглашает одного из самых блестящих ваших соотечественников, действительно, увлекательного лектора — я слышал его как-то раз, кажется, он ваш старый друг.

Пнин прочистил горло и спросил:

— Это означает, что меня выгоняют?

— Не надо принимать этого слишком близко к сердцу, Тимофей. Я уверен, что ваш старый друг —

— Кто этот старый друг? — спросил Пнин, сощурившись.

Гаген назвал фамилью увлекательного лектора.

Подавшись вперед, опершись локтями о колени, сжимая и разжимая руки, Пнин сказал:

— Да, я знаю его тридцать лет или больше. Мы друзья, но одно я знаю наверное. Я никогда не буду работать под его началом.

— Ну, утро вечера мудренее. Может быть, какой-нибудь выход и отыщется. Во всяком случае, у нас еще будет много возможностей все это обсудить. Мы с вами будем продолжать работать, как будто ничего не случилось, nicht wahr? Мы должны мужаться, Тимофей!

— Значит, меня выгнали,— сказал Пнин, сцепляя пальцы и покачивая головой.

— Да, мы в одинаковом положении, в одинаковом положении,— сказал жовиальный Гаген, поднимаясь. Становилось уже очень поздно.— Я теперь иду,— сказал Гаген, который хотя и не был таким приверженцем настоящего времени, как Пнин, но все же оказывал ему предпочтение.— Это был великолепный вечер, и я никогда не позволил бы себе отравить вам радость, если бы наш общий друг не уведомила меня о ваших оптимистических планах. Покойной ночи. Да, кстати... Вы, разумеется, полностью получите свое жалование за Осенний семестр, а там посмотрим, сколько можно будет раздобыть для вас в Весеннем, особенно если вы согласитесь снять с моих бедных старых плеч часть глупой канцелярской рутины, а также если вы примете деятельное участие в Драматической Программе в Новом Холле. Я даже думаю, что вы должны играть в ней под руководством моей дочери; это отвлечет вас от печальных мыслей. Теперь сразу ложитесь и усыпите себя хорошей детективной историей.

На крыльце он потряс неотзывчивую руку Пнина с энергией, которой хватило бы на двоих. Затем он помахал тростью и весело сошел по деревянным ступеням.

Позади гулко хлопнула решетчатая самозахлопывающаяся дверь.

— Der Arme Kerl! — бормотал про себя добросердечный Гаген по дороге домой.— По крайней мере, я подсластил пилюлю.

13

Пнин отнес в кухонную раковину грязную посуду и серебро с буфета и со стола в столовой. Он убрал всю оставшуюся снедь в освещенный ярким арктическим сиянием ледник. Ветчина и язык, как и маленькие сосиски, были съедены дочиста, но винегрет успеха не имел, а икры и пирожков с мясом осталось и на завтрак, и на обед. «Бум-бум-бум»,— сказал посудный шкап, когда он проходил мимо. Он оглядел гостиную и начал приводить ее в порядок. В прекрасной чаше блестела последняя капля пнинского пунша. Джоана сплющила в своем блюдце запачканный помадой окурок. Бетти не оставила следов и успела отнести все стаканы на кухню. Г-жа Тэер забыла на тарелке, рядом с кусочком нуги, книжечку красивых разноцветных спичек. Г-н прихотливейшим образом скрутил полдюжины бумажных салфеток; Гаген потушил намокшую и растрепанную сигару о нетронутую кисточку винограда.

На кухне Пнин приготовился мыть посуду. Он снял свою шолковую куртку, галстук и зубы. Чтобы не замочить рубашки и смокинговых штанов он надел крапчатый субреточный передник. Он соскреб с тарелок разные лакомые объедки в коричневый бумажный мешок, чтобы со временем отдать их паршивой белой собачонке с розовыми пятнами на спине, которая иногда навещала его под вечер — человеческое несчастье вовсе не должно лишать собаку радости.

Он приготовил в раковине мыльную ванну для посуды, стекла и столового серебра, и с бесконечной осторожностью опустил в теплую пену аквамариновую чашу. Когда она полностью погрузилась, ее звучный английский хрусталь издал приглушенный мелодичный звук. Он прополоскал под краном янтарные бокалы и серебро и утопил их в этой же пене. Потом он выудил ножи, вилки и ложки, сполоснул их и начал вытирать. Он работал очень медленно, с каким-то отрешенным видом, который в человеке менее методическом можно было бы принять за дымку рассеяния, он собрал вытертые ложки в букет, положил их в кувшин, который он вымыл, но не вытер, а потом стал доставать их оттуда по одной и заново перетирать. Он пошарил под пеной, вокруг бокалов и под мелодичной чашей,— не осталось ли еще серебра — и вытащил оттуда щипцы для орехов. Щепетильный Пнин вымыл и их и уже начал вытирать их, когда эта голенастая штуковина каким-то образом выскользнула из полотенца и упала, как человек с крыши. Он почти поймал ее на полпути — даже коснулся ее кончиками пальцев; но это только ускорило ее паденье в хранившую бесценное сокровище пену раковины, откуда тотчас раздался непереносимый хряск.

Пнин швырнул полотенце в угол и, отвернувшись, постоял с минуту, уставившись в черноту за порогом распахнутой двери. Бесшумное маленькое зеленое насекомое с кружевными крылышками кружилось в слепящем свете сильной голой лампочки над глянцевитой лысой головой Пнина. Он казался очень старым со своим беззубым полуоткрытым ртом и пеленой слез, туманивших его пустой, немигающий взгляд. Потом со стоном мучительного предчувствия он вернулся к раковине и, собравшись с духом, глубоко окунул руку в пену. Укололся об осколок. Осторожно извлек разбитый бокал. Чудесная чаша была невредима. Он взял свежее полотенце и снова принялся за работу.

Когда все было вымыто и вытерто, и чаша стояла, равнодушная и невозмутимая, на самой надежной полке посудного шкапа, и маленький ярко освещенный дом был наглухо замкнут в большой черной ночи, Пнин сел за кухонный стол и, достав из его ящика лист желтой дешевой бумаги, отцепил автоматическое перо и начал сочинять черновик письма:

«Дорогой Гаген,— писал он своим ясным, твердым почерком,— позвольте мне подвесить (зачеркнуто) подвести итог нашему сегодняшнему разговору. Он, я должен признаться, несколько поразил меня. Если я имел честь правильно вас понять, вы сказали————»

Глава седьмая

1

Мое первое воспоминание о Тимофее Пнине связано с угольной соринкой, попавшей мне в левый глаз весенним воскресеньем 1911 года.

Было одно из тех порывистых, ветреных, ярких петербургских утр, когда Нева унесла уже к заливу последнюю прозрачную ладожскую льдину, и ее кубовые волны вздымаются и лижут гранит набережных, а буксиры и тяжелые баржи, зашвартованные вдоль берегов, ритмично скрипят и трутся друг о друга, и красное дерево и медь стоящих на якоре паровых яхт сияют в лучах своенравного солнца. Я обкатывал чудесный новый английский велосипед, подаренный мне на мой двенадцатый день рождения, и когда я катил обратно к нашему розовокаменному дому на Морской по гладкой, как паркет, деревянной мостовой, я был не столько озабочен тем, что дерзко ослушался своего гувернера, сколько этим зернышком жгучей боли на дальнем севере моего глазного яблока. Домашние средства вроде прикладыванья пропитанной холодным чаем ваты и способа «три к носу» только ухудшили положение, и когда я проснулся на другое утро, крупинка, угнездившаяся у меня под верхним веком, ощущалась уже плотным многогранником, все глубже внедрявшимся каждый раз что я водянисто моргал. Под вечер меня повели к лучшему окулисту д-ру Павлу Пнину.

То время, что мы с гувернером провели в освещенной пыльными лучами плюшевой приемной д-ра Пнина, где синее пятно окна в миниатюре отражалось в стеклянном колпаке позолоченных бронзовых часов на камине, и две мухи все описывали неторопливые прямоугольники вокруг безжизненной люстры, запомнилось благодаря одному глупому инциденту из тех, что навсегда остаются в восприимчивом детском сознании. Дама в шляпе с перьями и ее муж в темных очках сидели в супружеском молчании на тахте; потом вошел кавалерийский офицер и сел с газетой у окна; потом муж удалился в кабинет д-ра Пнина, а потом я подметил странное выражение на лице моего гувернера.

Здоровым глазом я проследил за его взглядом. Офицер наклонился к даме. Он быстро по-французски корил ее за что-то, что она сделала или не сделала днем раньше. Она дала ему поцеловать свою руку, обтянутую перчаткой. Он приник к круглой выемке в перчатке и тотчас ушел, разом исцелившись от своего неведомого недуга.

Мягкостью черт, крупным сложением, худобою ног, обезьяньей формой ушей и верхней губы д-р Павел Пнин очень напоминал Тимофея, каким тот стал спустя три-четыре десятилетия. У отца, однако, опушка соломенного цвета волос оживляла восковую плешь; он носил пенсне в черной оправе на черном шнурке, как покойный д-р Чехов; он говорил, слегка запинаясь, и совсем не так, как впоследствии говорил его сын. И какое это было райское облегчение, когда этот милый доктор крошечным инструментом, напоминавшим барабанную палочку эльфа, извлек из моего глаза терзавший его черный атом! Интересно, где теперь этот уголек? Скучная, безумная мысль, но ведь где-нибудь он да есть.

Может быть, я оттого безотчетно удержал в памяти довольно правдоподобный образ пнинской квартиры, что, посещая своих школьных товарищей, я перевидал множество разных квартир буржуазного типа. Так что могу доложить, что по всей вероятности она состояла из двух рядов комнат, разделенных длинным корридором; по одной стороне была приемная, кабинет доктора, а дальше, должно быть, столовая и гостиная; а по другой стороне две или три спальни, классная,

ванная, людская и кухня. Я уже собрался уходить с флаконом глазной примочки, а мой гувернер, воспользовавшись случаем, спрашивал д-ра Пнина, не может ли переутомление глаз быть причиной расстройства пищеварения, когда входная дверь отворилась и захлопнулась. Д-р Пнин проворно вышел в корридор, что-то спросил, получил тихий ответ и возвратился со своим сыном Тимофеем, тринадцатилетним гимназистом в гимназической форме: черная блуза, черные штаны, блестящий черный кушак (я учился в более либеральной школе, где мы носили что хотели).

Неужто я в самом деле помню ежик его волос, его одутловатое бледное лицо, его красные уши? Да, и притом отчетливо. Я даже помню, как он незаметно высвободил плечо из-под гордой отцовской руки, меж тем как гордый отцовский голос говорил: «Этот мальчик только что получил пять с плюсом на экзамене по алгебре». Из глубины корридора доносился стойкий чад пирога с капустой, а сквозь отпахнутую дверь классной мне видны были карта России, висевшая на стене, полка с книгами, чучело белки и игрушечный моноплан с холщевыми крыльями и резиновым мотором. У меня имелся точно такой же, но вдвое больше, купленный в Биаррице. Если долго накручивать пропеллер, резина начинала наматываться по-другому и укладывалась в интересные толстые завои, предвещавшие конец завода.

2

Пятью годами позже, проведя начало лета в нашем имении под Петербургом, моя мать, младший брат и я гостили у скучной старой тетки в ее на удивление запущенной усадьбе неподалеку от знаменитого курорта на Балтийском побережье. Как-то под вечер, когда я с сосредоточенным восторгом расправлял наизнанку исключительно редкую аберрацию Большой Перламутровки, у которой серебристые полоски, украшавшие испод ее задних крыльев, слились в ровное поле металлического блеска, вошел лакей с докладом, что старая барыня хочет меня видеть. Когда я вошел в залу, она разговаривала с двумя сконфуженными молодыми людьми в университетских мундирах. Один, со светлым пушком, был Тимофей Пнин, другой, с рыжеватым пухом, был Григорий Белочкин. Они пришли просить у моей тетки позволения воспользоваться пустой ригой на границе ее владений для устройства там спектакля. То был русский перевод «Liebelei», трехактной пьесы Артура Шницлера. Спектакль помогал ставить на скорую руку Анчаров, провинциальный полупрофессиональный актер, репутация которого зиждилась, главным образом, на пожелтевших газетных вырезках. Не хочу ли я участвовать? Но в шестнадцать лет я был столь же высокомерен, сколь застенчив, и отказался играть безыменного Господина из Первого Акта. Беседа окончилась обоюдным смущением, еще усилившимся оттого, что не то Пнин, не то Белочкин опрокинул стакан грушевого кваса,— и я вернулся к моей бабочке. Недели через две меня каким-то образом уговорили пойти на представление. Рига была полна дачников и инвалидов из ближнего лазарета. Я пришел с братом, а рядом со мною сидел управляющий тетушкиным имением Роберт Карлович Горн, добродушный толстяк-рижанин с налитыми кровью, голубыми, как фарфор, глазами, все время с увлечением аплодировавший невпопад. Помню запах декоративных еловых веток и глаза крестьянских детей, блестевшие сквозь щели в стенах. Передние стулья стояли так близко к рампе, что когда обманутый муж извлек пачку любовных писем, написанных к его жене Фрицем Лобгеймером, драгуном и университетским студентом, и швырнул их Фрицу в лицо, было ясно видно, что это старые открытки с косо отрезанными марками. Я совершенно убежден, что маленькую роль этого разгневанного Господина играл Тимофей Пнин (впрочем, не исключено, что в следующих актах он появлялся и в других ролях); но желтое

кожаное пальто, пушистые усы и темный парик с прямым пробором так основательно преобразили его, что, так как самое его существование тогда чрезвычайно мало интересовало меня, мне нечем подкрепить эту мою уверенность. Фриц, молодой любовник, обреченный погибнуть на поединке, не только имел таинственную закулисную связь с Дамой в Черном Бархате, женой Господина, но также играл сердцем Христины, наивной венской девушки. Фрица играл коренастый сорокалетний Анчаров, на котором был кротового цвета грим; он бил себя в грудь, как будто выбивал ковер, и неожиданной отсебятиной — так как не удосужился выучить роль — почти-что парализовал приятеля Фрица — Теодора Кайзера (Григория Белочкина). Одна состоятельная старая дева, которую Анчаров в действительной жизни обхаживал, взяла совсем не подходившую ей роль Христины Вейринг, дочери скрипача. Роль модисточки, возлюбленной Теодора Мизи Шлагер, прелестно сыграла красивая, с тонкой шеей и бархатными глазами девушка, сестра Белочкина, которую в тот вечер наградили самыми громкими рукоплесканиями.

3

Маловероятно, чтобы в продолжение революционных лет и последовавшей гражданской войны я имел случай вспомнить о д-ре Пнине и его сыне. Если я восстановил с некоторыми подробностями предыдущие мои впечатления, то только затем, чтобы закрепить то, что мелькнуло у меня в голове, когда однажды апрельским вечером в начале двадцатых годов в Парижском кафе я пожимал руку русобородого, с детским выражением в глазах Тимофея Пнина, молодого эрудированного автора нескольких замечательных статей по русской культуре. У эмигрантских писателей и художников было заведено собираться в «Трех фонтанах» после публичных концертов или лекций, столь популярных в среде русских апатридов; и вот при одной такой оказии я, еще охрипший от чтения, пытался не только напомнить Пнину наши прошлые встречи, но также позабавить его и окружавших нас людей необычайной ясностью и силой моей памяти. Однако он все отрицал. Он сказал, что смутно припоминает мою тетку, но меня никогда не встречал. Он сказал, что всегда получал низкие баллы по алгебре и что, во всяком случае, отец никогда не демонстрировал его перед своими пациентами; он сказал, что в «Забаве» («Liebelei») он играл только роль отца Христины. Он повторил, что мы никогда прежде друг друга не видали. Наша короткая перепалка была не более чем добродушный обмен шутливыми репликами, и все смеялись; заметив, как неохотно он говорит о своем прошлом, я перешел на другую, менее личную тему.

Скоро я обратил внимание на то, что поразительной наружности молодая девица в черном шолковом свитере, с золотой лентой вокруг каштановых волос, сделалась главной моей слушательницей. Она стояла передо мной, ее правый локоть покоился на левой ладони, в правой руке она держала папиросу, как цыганка между большим и указательным пальцами, и папиросный дым струился вверх; ее яркие синие глаза были из-за дыма прикрыты. Это была Лиза Боголепова, студентка медичка, которая к тому же писала стихи. Она спросила, нельзя ли ей прислать на мой суд несколько стихотворений. Немного позднее, все на том же сборище, я заметил, что она сидит рядом с отвратительно волосатым молодым композитором Иваном Нагим; они пили на брудершафт, для чего полагается переплести руки сотрапезников, а на расстоянии нескольких стульев от них д-р Баракан, талантливый невропатолог и последний Лизин любовник, следил за ней с тихим отчаянием в темных миндалевидных глазах.

Спустя несколько дней она прислала мне свои стихи; характерный образец ее продукции представляет собой тот род стихотворений, которым увлекались, подражая Ахматовой, эмигрантские рифмоплет-

ки: жеманная лирическая пьеска, передвигавшяся на цыпочках более или менее четырехстопного анапеста, чтоб потом довольно тяжело усесться с томным вздохом:

Самоцветов кроме очей
Нет у меня никаких,
Но есть роза еще нежней
Розовых губ моих.
И юноша тихий сказал:
«Ваше сердце всего нежней...»
И я опустила глаза...

Такие неполные рифмы, как «сказал — глаза», считались весьма элегантными. Заметьте также эротический подтекст и намеки à la cour d'amour.

Я написал Лизе, что стихи ее плохи и что ей следует перестать писать. Потом как-то раз я увидал ее в другом кафе; она сидела за длинным столом, цветущая и пламенеющая, в обществе дюжины русских поэтов. Она с насмешливым и загадочным упорством не сводила с меня своего сапфирного взгляда. Мы разговорились. Я предложил ей показать мне эти стихи еще раз, в каком-нибудь более спокойном месте. Она согласилась. Я сказал ей, что они показались мне еще хуже, чем при первом чтении. Она жила в самом дешевом номере захудалого отельчика, без ванны, рядом с четой щебечущих молодых англичан.

Бедная Лиза! Конечно, и у нее бывали свои поэтические минуты, когда она, случалось, как завороженная останавливалась майской ночью на грязной улочке, любуясь — нет, поклоняясь пестрым обрывкам старой афиши на мокрой черной стене в свете уличного фонаря и прозрачной зелени липовых листьев, никших к фонарю, но она была из тех женщин, в которых здоровая красота совмещается с истерической неряшливостью, лирические взрывы с очень практичным и очень трафаретным умом, отвратительный характер с сантиментальностью и томная покорность с сильнейшей способностью заставлять людей бессмысленно хлопотать. В результате переживаний и в ходе событий, изложение коих было бы лишено всякого интереса для читателя, Лиза проглотила пригоршню снотворных пилюль. Погружаясь в беспамятство, она опрокинула откупоренный пузырек темно-красных чернил, которыми она записывала свои стихи, и эту яркую струйку, выбегавшую из-под двери, Крис и Лу заметили как раз вовремя, чтобы успеть ее спасти.

Я не видел ее недели две после этой неприятности, когда накануне моего отъезда в Швейцарию и Германию она подстерегла меня в скверике в конце моей улицы — стройная незнакомка в прелестном новом платье, сизом, как Париж, и в совершенно восхитительной новой шляпе с синим птичьим крылом — и вручила мне сложенный листок. «Я хочу, чтобы вы дали мне последний совет,— сказала Лиза голосом, который французы называют «белым».— Мне здесь делают предложение. Я буду ждать до полуночи. Если вы ничего не ответите, я приму его». Она кликнула таксомотор и укатила.

Письмо на случай сохранилось в моих бумагах. Вот оно:

«Боюсь, я заслужу немилость своим признаньем — Вам должно быть больно, дорогая Lise» — (автор письма, несмотря на то, что пишет по-русски, всюду пользуется этой французской формой ее имени, чтобы, как я полагаю, избежать как слишком фамильярного «Лиза», так и чересчур оффициального «Елизавета Иннокентьевна»).— «Человеку чуткому всегда больно видеть другого в неловком положении. А я именно в неловком положении.

«Вы, Lise, окружены поэтами, учеными, художниками, франтами. Знаменитый художник, писавший Ваш портрет в прошлом году, те-

перь, говорят, спился в дебрях Массачусеттса. Ходят и всякие другие слухи. И вот я осмеливаюсь писать Вам.

Я некрасив, я неинтересен. Я не талантлив. Я даже не богат. Но, Lise, я предлагаю Вам все, что у меня есть, до последнего кровяного шарика, до последней слезы, все решительно. И, поверьте, это больше того, что может предложить Вам любой гений, потому что гению нужно так много сохранять в запасе, что он не может предложить вам всего себя, как я. Быть может, я не добьюсь счастья, но я знаю, что сделаю все, чтобы Вы были счастливы. Я хочу, чтобы Вы писали стихи. Я хочу, чтобы Вы продолжали Ваши психотерапевтические исследования — в которых я мало понимаю, а то, что мне в них доступно, представляется мне сомнительным. Между прочим, посылаю Вам отдельным письмом брошюру, напечатанную в Праге моим другом профессором Шато, в которой он блестяще опровергает теорию Вашего д-ра Гальпа о том, что рождение представляет собой акт самоубийства со стороны младенца. Я позволил себе исправить явную опечатку на стр. 48-ой этой превосходной статьи Шато. Жду Вашего» (вероятно, «решения»: нижний край листа с подписью Лиза отрезала).

4

Когда лет через шесть я снова посетил Париж, я узнал, что Тимофей Пнин женился на Лизе Боголеповой вскоре после моего отъезда. Она прислала мне напечатанный сборник своих стихов «Сухие губы» с надписью темно-красными чернилами: «Незнакомцу от Незнакомки». Я встретил ее с Пниным на вечернем чае на квартире известного эмигранта, эсера, на одном из тех домашних сборищ, на которых старомодные террористы, героические монахини, одаренные гедонисты, либералы, дерзающие молодые поэты, пожилые писатели и художники, издатели и журналисты, свободомыслящие философы и ученые составляли некий рыцарский орден, деятельное и влиятельное ядро общества изгнанников, за три десятилетия своего существования оставшееся фактически неизвестным американской интеллигенции, которую хитрая коммунистическая пропаганда научила видеть в русской эмиграции мутную и совершенно фиктивную толпу так называемых троцкистов (что значит это слово — неизвестно), разорившихся реакционеров, переметнувшихся или переодетых чекистов, титулованных дам, профессиональных священников, содержателей ресторанов, белогвардейских союзов, не имевшую никакого культурного значения.

Воспользовавшись тем, что Пнин в другом конце стола увлекся политическим спором с Керенским, Лиза сообщила мне — со свойственной ей примитивной прямотой,— что она «все рассказала Тимофею»; что он «святой» и что он «простил» меня. К счастью, потом она не часто сопровождала его на другие сборища, где я имел удовольствие сидеть с ним рядом или напротив, в обществе близких друзей, на нашей маленькой одинокой планете над черным, играющим алмазами городом, под лампой, заливавшей электрическим светом чей-нибудь сократовский череп, меж тем как лимонный ломтик вращался в стакане помешиваемого чая. Как-то вечером, когда д-р Баракан, Пнин и я сидели у Болотовых, я заговорил с невропатологом о его двоюродной сестре, Людмиле, ныне лэди Д., которую я знал по Ялте, Афинам и Лондону, как вдруг Пнин крикнул д-ру Баракану через стол: «Не верьте ни единому его слову, Георгий Арамович. Он все сочиняет. Он однажды выдумал, будто в России мы учились в одной школе и списывали друг у друга на экзаменах. Он ужасный выдумщик». Мы с Бараканом были до того ошарашены этой выходкой, что только молча переглянулись.

5

Когда перебираешь в памяти старые знакомства, позднейшие впечатления часто оказываются более смутными, чем ранние. Вспоминаю

разговор с Лизой и ее новым мужем д-ром Эрихом Виндом, в антракте русского спектакля в Нью-Йорке как-то в начале сороковых годов. Он сказал, что «Герр Профессор Пнин» вызывает у него «самое нежное чувство», и поведал мне некоторые причудливые подробности их совместного путешествия из Европы в начале Второй Мировой Войны. В те годы я несколько раз сталкивался с Пниным в Нью-Йорке по разным общественным и академическим оказиям; но единственное мое яркое воспоминание связано с нашей совместной поездкой в автобусе западного маршрута одним очень праздничным и очень сырым вечером 1952 года. Мы приехали из своих университетов, чтобы участвовать в литературно-художественном вечере перед большой эмигрантской аудиторией в центре города по случаю сотой годовщины смерти одного великого писателя. Пнин с середины сороковых годов преподавал в Уэйнделе, и никогда прежде я не видал его таким здоровым, таким благополучным, таким уверенным в себе. Оказалось, что мы с ним, как он сострил, восьмидесятники, то есть что нас обоих поселили на эту ночь в районе восьмидесятых улиц западной части; и пока мы повисали на соседних ремнях в этом переполненном и одержимом конвульсиями автобусе, мой добрый друг ухитрялся энергично нырять головой и выворачивать шею, безпрестанно проверяя и перепроверяя номера поперечных улиц, и одновременно превосходно рассказывать все, что он не успел сказать на юбилее о Разростающихся Сравнениях у Гомера и Гоголя.

6

Когда я решил принять место профессора в Уэйнделе, я выговорил себе право пригласить кого захочу для преподавания в особом Русском отделении, которое я намеревался там открыть. Получив на это согласие, я написал Тимофею Пнину, предлагая ему в самых теплых выражениям, на которые я способен, ассистировть мне в какой ему будет угодно форме и степени. Его ответ удивил и покоробил меня. Он коротко отвечал, что бросает преподавание и что не станет даже дожидаться окончания весеннего семестра. После чего он переменил тему. Виктор (о котором я его учтиво спрашивал) живет с матерью в Риме; она развелась со своим третьим мужем и вышла за итальянского торговца картинами. В заключение Пнин писал, что к его большому сожалению он должен уехать из Уэйнделя за два или три дня до публичной лекции, которую я собирался прочесть там во вторник пятнадцатого февраля. Он не уточнил, куда.

Автобус дальнего следования, доставивший меня в Уэйндель в понедельник четырнадцатого, прибыл в город, когда уже стемнело. Меня встретили Коккерели, угостившие меня поздним ужином у себя дома, где, как оказалось, мне предстояло ночевать, вместо того чтобы, как я рассчитывал, провести эту ночь в гостинице. Гвен Коккерель оказалась весьма миловидной женщиной лет под сорок, с профилем котенка и с грациозными членами. Ее муж, с которым я познакомился както раз в Нью-Гэйвене и который запомнился мне вялым, круглолицым, бледно-волосым англичанином, приобрел неоспоримое сходство с тем, кого он вот уже почти десять лет изображал. Я был утомлен и не испытывал особого желания развлекаться за ужином номерами программы варьете, но должен признаться, Джэк Коккерель имитировал Пнина блестяще. Он битых два часа показывал мне, как Пнин преподает, как Пнин ест, как Пнин строит глазки студентке, как Пнин эпически повествует о том, как он опрометчиво запустил электрический вентилятор на стеклянной полке прямо над ванной, куда тот под действием вибрации едва не свалился; как Пнин пытается убедить профессора Войницкого, едва знакомого с ним орнитолога, что они старые приятели, Тим и Том — из чего Войницкий заключил, что его кто-то разыгрывает, прикидываясь профессором Пниным. Все это, разумеется, держалось на пнинской жестикуляции и диком пнинском английском языке,

но Коккерель ухитрялся подделывать такие вещи, как тонкий оттенок разницы между молчанием Пнина и молчанием Тэера, когда они сидят неподвижно, размышляя рядом на креслах в Профессорском Клубе. Мы видели Пнина в Библиотеке среди стеллажей и Пнина на Университетском Озере. Мы слышали, как Пнин бранит разнообразные комнаты, которые он одну за другой снимал. Мы слышали отчет Пнина о том, как он учился управлять автомобилем и что он предпринял, когда у него впервые лопнула шина на обратном пути с «куриной фермы» какого-то «Тайного Советника Царя», где, по мнению Коккереля, Пнин проводил лето. Наконец, мы добрались до того, как Пнин однажды объявил, что его «загнали», между тем как, по словам подражателя, бедняга хотел сказать «выгнали» (сомневаюсь, чтобы мой друг мог сделать такую ошибку). Кроме того Коккерель с блеском рассказал о странной вражде между Пниным и его соотечественником Комаровым — посредственным стенописцем, дополнявшим время от времени портретами профессоров фрески на стенах обеденной залы университета, написанные великим Лангом. Несмотря на то, что Комаров и Пнин принадлежали к разным политическим направлениям, этот художник-патриот усмотрел в увольнении Пнина анти-русский жест и начал смывать надутого Наполеона, стоявшего между молодым, упитанным (ныне сухопарым) Блоренджем и молодым, усатым (ныне бритым) Гагеном, чтобы вписать туда Пнина; и тут вышла сцена за завтраком между Пниным и президентом Пуром — захлебывающийся от ярости, потерявший уже всякую власть над своим английским языком Пнин, указывая трясущимся пальцем на зачаточные контуры едва наметившегося призрака мужика на стене, кричал, что подаст на университет в суд, ежели его лицо появится над этой рубахой; и тогда невозмутимо слушавший его Пур, заключенный во мраке своей полной слепоты, подождав, когда Пнин иссякнет, спросил, обращаясь ко всем присутствовавшим: «Что, этот иностранный господин служит у нас в университете?» О, да, это была уморительная имитация, и хотя Гвен Коккерель, должно быть, много раз уже слышала всю программу, она смеялась так громко, что их старый пес Собакевич, коричневый кокер-спаниель с заплаканной мордой, завозился и начал обнюхивать меня. Повторяю, спектакль был превосходный, но он слишком затянулся. К полуночи настроение начало падать: я чувствовал, что улыбка, которую я все время держал наготове, начала проявлять симптомы губной спазмы. Наконец, все это до того мне надоело, что я стал подозревать, что вся эта пниниада в виде какого-то поэтического возмездия сделалась для Коккереля своего рода роковой манией, выставляющей свою жертву на осмеяние взамен той, над кем первоначально измывались.

Мы выпили много виски, и в какой-то момент после полуночи Коккерелю пришла в голову одна из тех внезапных идей, которые в известной стадии опьянения кажутся такими блестящими и веселыми. Он сказал, что уверен, что хитрющий Пнин никуда вчера не уехал, а просто затаился. Почему бы не телефонировать ему и не убедиться самим? Он позвонил, и хотя никто не отозвался на серию настойчивых гудков, симулирующих далекий звук настоящего звонка в воображаемой прихожей, надо было полагать, что если бы Пнин в самом деле покинул дом, этот совершенно исправный телефон был бы вероятно разъединен. У меня было идиотское желание непременно сказать что-нибудь приятное моему милому Тимофей Палычу, поэтому немного погодя я в свою очередь попробовал дозвониться к нему. Вдруг что-то звякнуло, открылась звуковая даль, донеслось в ответ тяжелое дыханье, и потом плохо подделанный голос произнес: «He is not at home. He has gon, he has quite gone (Его нет дома. он уехал, он совсем уехал)»,— после чего говоривший повесил трубку; но никто другой, кроме моего старого друга, ни даже лучший его имитатор, не мог так явно срифмовать «at» с немецким «hat» и «gone» с первой по-

ловиной «Goneril». Потом Коккерель предложил прокатиться к 999-му дому на Тоддовой улице и спеть серенаду его окопавшемуся там обитателю, но тут уже вмешалась Коккерелева жена, и мы все отправились спать после вечера, который оставил у меня в душе ощущение, соответствующее дурному вкусу во рту.

7

Я провел дурную ночь в прелестной, хорошо проветренной, красиво обставленной комнате, где ни окно, ни дверь не запирались как следует, и где ночная лампа стояла на однотомном полном издании Шерлока Хольмса, преследовавшем меня многие годы; она была такая слабая и тусклая, что гранки, которые я захватил с собой для правки, не могли скрасить бессоницы. Грохот грузовиков через каждые две минуты сотрясал дом; я то и дело начинал было дремать и, задохнувшись, садился в постели, и сквозь пародию оконной шторы какой-то луч с улицы падал на зеркало и ослеплял меня, так что мне казалось, что меня расстреливают у стенки.

Я так устроен, что мне совершенно необходимо проглотить сок трех апельсинов, чтобы быть готовым встретить невзгоды дня. Поэтому в половине восьмого я наскоро взял душ, и через пять минут вышел из дому в обществе длинноухого и унылого Собакевича.

Воздух был прян, небо начищено до блеска. Пустынное шоссе к югу взбиралось, между снежными пятнами, на сизый холм. Высокий обнаженный тополь, коричневый, как метла, возвышался справа от меня, и его длинная утренняя тень, протянувшись через улицу, доходила там до кремового цвета дома с зубчатым верхом, который, по словам Коккереля, мой предшественник принимал за Турецкое консульство на том основании, что он видел, как туда входило множество людей в фесках. Я свернул налево, на север, прошел под-гору два-три квартала к ресторану, который я приметил накануне; но он еще не открылся, и я повернул обратно. Не успел я сделать и двух шагов, как вверх по улице прогромыхал большой грузовик с пивом, а сразу же за ним проследовал маленький бледно-голубой седан с выглядывавшей из него белой собачьей головой, после чего проехал еще один большой грузовик — точная копия первого. Утлый седан был набит узлами и чемоданами; за рулем сидел Пнин. Я издал приветственный рев, но он не видал меня, и мне оставалось надеяться, что мне удастся подняться на гору достаточно быстро, чтобы догнать его, пока красный свет в одном квартале отсюда преградит ему путь.

Я нагнал задний грузовик и еще раз увидел мельком напряженный профиль моего старого друга, в шапке с наушниками и в зимнем брезентовом пальто; но в следующее мгновение зажегся зеленый свет, белая собачонка, высунувшись, тявкнула на Собакевича, и все устремилось вперед — грузовик номер один, Пнин, грузовик номер два. С того места, где я стоял, я видел, как они удалялись в обрамлении дороги, между мавританским домом и итальянским тополем. Потом маленький седан храбро обогнал передний грузовик и, вырвавшись, наконец, на волю, пустился вверх по сверкающей улице, которая, сколько можно было разглядеть, суживалась в золотую нитку в мягком тумане, где череда холмов скрашивала даль, и где просто невозможно предсказать, какое чудо может случиться.

Коккерель, в коричневом халате и сандалиях, впустил кокера и повел меня на кухню к наводящему тоску английскому завтраку из почек и рыбы.

— А теперь,— сказал он,— я хочу рассказать вам историю о том, как Пнин поднялся на сцену, чтобы выступить в Кремонском Женском Клубе, и обнаружил, что взял с собой не ту лекцию.

■

ГРЭМ ГРИН

Монсеньор Кихот

РОМАН

Перевод с английского Т. КУДРЯВЦЕВОЙ

Часть вторая

I

Монсеньор Кихот встречается с епископом

1

Когда отец Кихот открыл глаза, он, к своему изумлению, обнаружил, что пейзаж с обеих сторон быстро движется, в то время как он спокойно лежит почти в том же положении, в каком заснул. Мимо промелькнули деревья, затем — дом. Он решил, что выпитое вино подействовало на его зрение, сокрушенно вздохнул, подумав, что неразумно себя ведет, решил быть посдержаннее в будущем и, снова закрыв глаза, тотчас заснул.

Вторично он проснулся от какой-то непонятной тряски, которая вдруг прекратилась, тело его провисло, и он почувствовал под собой вроде бы холодную простыню вместо шершавой травы, на которой раньше лежал. Все это было очень странно. Он закинул за голову руку, чтобы поправить подушку. И услышал женский голос, произнесший с возмущением:

— Пресвятая дева, и что это вы сотворили с бедным отцом Кихотом?

Другой голос произнес:

— Не волнуйся, женщина. Он скоро проснется. Пойди приготовь ему большую чашку крепкого кофе.

— Он пьет всегда чай.

— Тогда — чаю, да покрепче. А я побуду здесь, пока он не проснется, так что...

Но тут отец Кихот снова погрузился в сладостный покой сна. И приснилось ему, что он надул три воздушных шарика и выпустил в воздух — два были большие, а один маленький. Это его смущало. Ему захотелось поймать маленький и надуть его до такого же размера, как остальные. Тут он снова проснулся, поморгал раз-другой и совершенно отчетливо понял, что находится дома, в Эль-Тобосо, и лежит на своей старой кровати. Чьи-то пальцы щупали ему пульс.

— Доктор Гальван! — воскликнул он.— Это вы! Что вы делаете в Эль-Тобосо?

— Только не волнуйтесь,— успокаивающе произнес доктор.— Скоро вы будете в полном порядке.

Окончание. Начало см. в № 1.

— А где Санчо?

— Санчо?

— Ну да, мэр.

— Мы оставили этого пьяницу там, где он валялся,— пусть проспится.

— А «Росинант»?

— Ваша машина? Он наверняка пригонит ее сюда. Если, конечно, не удерет за границу.

— А я как здесь очутился?

— Я счел за лучшее сделать вам маленький укол. Чтобы вы успокоились.

— Разве я был не спокоен?

— Вы спали, но я подумал, что в данных обстоятельствах, увидев нас, вы можете... разволноваться.

— А кто был другой?

— Что значит — другой?

— Вы же сказали: «нас».

— О, ваш добрый друг отец Эррера был, конечно, со мной.

— И вы привезли меня сюда против моей воли?

— Но это ведь ваш дом, мой старый друг,— Эль-Тобосо. Где же вам будет лучше, когда надо немного отдохнуть?

— Не нуждаюсь я ни в каком отдыхе. И вы даже раздели меня!

— Мы сняли с вас верхнее платье — только и всего.

— А брюки!

— Вы не должны волноваться. Это вредно для вас. Поверьте, вам необходимо какое-то время побыть в покое. Сам епископ просил отца Эрреру найти вас и привезти домой, прежде чем дело слишком далеко зайдет. Отец Эррера позвонил мне в Сьюдад-Реаль. Тереса назвала ему меня, а поскольку у меня двоюродный брат служит в министерстве внутренних дел, жандармы оказали нам помощь и проявили понимание. Какое счастье, что вы позвонили Тересе из Леона.

В комнату вошла Тереса с чашкой чаю в руках.

— Отец, отец! — воскликнула она.— Какое это благословение божие, что вы живы и здоровы...

— Еще не совсем здоров,— поправил ее доктор Гальван,— но несколько недель покоя...

— Ну, конечно — несколько недель покоя! Я сейчас же встану.— Отец Кихот попытался было подняться и снова рухнул на постель.

— Немного кружится голова, да? Не волнуйтесь. Это просто от уколов. Мне пришлось в дороге сделать вам еще два.

На солнце сверкнул белый воротничок, и в дверях показался отец Эррера.

— Как он? — спросил отец Эррера.

— Потихоньку приходит в себя, потихоньку.

— Вы оба виноваты,— заявил отец Кихот.— Похищение, лечение без согласия пациента...

— У меня есть недвусмысленное указание епископа вернуть вас домой,— пояснил отец Эррера.

— Que le den por el saco, al obispo,— изрек отец Кихот, и вслед за его словами в комнате воцарилась мертвая тишина. Даже сам отец Кихот поразился себе. И где он только мог научиться такому выражению, как оно могло так быстро и неожиданно слететь с его языка? Из каких глубин памяти оно возникло? Тут тишину внезапно нарушило хихиканье. Отец Кихот впервые слышал, чтобы Тереса смеялась. Он сказал:

— Я должен встать. Немедленно. Где мои брюки?

— Они у меня,— сказал отец Эррера.— То, что вы сейчас произнесли... я в жизни не смогу заставить себя повторить это... такие слова в устах священника, монсеньора...

У отца Кихота возникло дикое желание употребить ту же не подлежащую повторению фразу по поводу своего сана, но он сдержался.

— Немедленно принесите мне мои брюки,— сказал он,— я хочу встать.

— Эта непристойность показывает, что вы не в своем уме.

— Я же сказал вам: принесите мне мои брюки.

— Терпение, терпение,— произнес доктор Гальван.— Через несколько дней вы встанете. А сейчас вам необходим отдых. И прежде всего — никаких волнений.

— Брюки!

— Они будут у меня, пока вам не станет лучше,— заявил отец Эррера.

— Тереса! — воззвал отец Кихот к своему единственному другу.

— Он их запер в шкафу. Да простит меня господь, отче. Я ведь не знала, что он задумал.

— Вы что же, думаете, я буду тут лежать — в постели?

— Немного медитации вам не помешает,— сказал отец Эррера.— Вы вели себя крайне своеобразно.

— Не понимаю!

— Жандармы из Авилы сообщили, что вы поменялись с вашим спутником одеждой и дали им ложный адрес.

— Ничего они не поняли.

— В Леоне арестовали человека, который ограбил банк, он заявил, что вы дали ему ботинки и прятали его у себя в машине.

— Никакого банка он не грабил. Это был всего лишь магазин самообслуживания.

— Нам с его преосвященством пришлось немало похлопотать, чтобы убедить жандармов ничего не предпринимать против вас. Пришлось даже звонить его преосвященству епископу Авильскому и просить вмешаться. Очень помог также двоюродный брат доктора Гальвана. Ну и, конечно, сам доктор Гальван. Нам, по крайней мере, удалось убедить их, что вы страдаете нервным расстройством.

— Какая ерунда!

— Это самое милосердное объяснение вашего поведения. Словом, мы едва избежали большого скандала в Церкви.— И он уточнил: — Во всяком случае, пока.

— А теперь поспите немного,— сказал доктор Гальван отцу Кихоту.— В полдень — немного супа,— дал он указание Тересе,— а вечером, пожалуй, омлет. Никакого вина. Вечером я заеду и посмотрю, как наш пациент, но не буди его, если он заснет.

— И запомни,— сказал ей отец Эррера,— чтоб завтра утром, пока я буду служить мессу, ты прибрала гостиную. Я ведь не знаю, в котором часу приедет епископ.

— Епископ?! — воскликнула Тереса, и отец Кихот, словно эхо, повторил ее вопрос.

Отец Эррера даже не потрудился ответить. Он вышел из комнаты, закрыв за собою дверь,— не хлопнул ею, а щелкнул, такое описание будет, пожалуй, точнее. Отец Кихот, не поднимаясь с подушки, повернул голову к доктору Гальвану.

— Доктор,— сказал он,— вы ведь давний мой друг. Помните, как у меня было воспаление легких?

— Конечно, помню. Постойте-ка. Это было, должно быть, лет тридцать тому назад.

— Да. Я тогда очень боялся умереть. Столько было у меня всего на совести. Вы, наверное, забыли, что вы тогда говорили мне.

— Очевидно, говорил, что надо пить как можно больше воды.

— Нет, вы сказали другое.— Он поискал в памяти, но точные слова не приходили.— Вы сказали примерно так: подумайте, сколько миллионов людей умирает за одну минуту — гангстеры, и воры, и мо-

шенники, и школьные учителя, и хорошие отцы, и матери, банковские служащие и врачи, аптекари и мясники,— неужели вы в самом деле верите, что у Него есть время позаботиться о каждом или осудить?

— Я действительно так сказал?

— Более или менее так. Вы тогда не знали, как вы меня этим утешили. Сейчас вы слышали, что сказал отец Эррера: не господь, а епископ явится ко мне. Хотел бы я услышать от вас такое, что утешило бы меня перед его прибытием.

— Это куда труднее,— заметил доктор Гальван, но вы, пожалуй, сами уже все сказали: «Пошел он к такой-то матери, этот епископ».

2

Отец Кихот строго следовал совету доктора Гальвана. Он спал, пока спалось; в полдень съел супа, а вечером — пол-омлета. При этом он подумал, насколько вкуснее был сыр, когда он ел его на открытом воздухе, запивая бутылкой ламанчского.

Утром он автоматически проснулся в четверть шестого (ведь более тридцати лет он в шесть часов служил мессу в почти пустой церкви). А сейчас он лежал в постели и прислушивался к звуку закрывающейся двери, что будет означать, что отец Эррера отбыл, но дверь щелкнула лишь около семи. Отец Эррера явно изменил время мессы. Отец Кихот понимал, что боль, которую он при этом почувствовал, неоправданна. Ведь, произведя это изменение, отец Эррера вполне мог увеличить свою паству человека на два-три.

Отец Кихот выждал минут пять (отец Эррера вполне мог что-нибудь забыть — к примеру, носовой платок) и затем на цыпочках прокрался в гостиную. На кресле, под подушкой, лежала тщательно сложенная простыня. Отец Эррера явно обладал добродетелью аккуратности, если аккуратность считать добродетелью. Отец Кихот окинул взглядом свои книжные полки. Увы! Он оставил свое любимое чтение в чреве «Росинанта». Святой Франциск Сальский, его обычный утешитель, путешествовал сейчас где-то по дорогам Испании. Он взял с полки «Исповедь» святого Августина, а также «Письма о духовной жизни» иезуита восемнадцатого века отца Коссада, в которых он, будучи еще семинаристом, порою находил утешение, и вернулся в постель. Тереса, услышав, что он ходит, принесла ему чашку чаю с булочкой и маслом. Она была в прескверном настроении.

— Да за кого он меня принимает? — спросила она.— Извольте, видите ли, прибраться, пока он служит мессу. Да разве я не прибиралась у вас больше двадцати лет? Не нуждаюсь я, чтобы он или епископ указывали мне, в чем мой долг.

— Ты действительно думаешь, что епископ приедет?

— Да этих двоих водой не разольешь. Висят на телефоне и утром, и днем, и вечером — только этим и занимались, как вы уехали. И все — ваше преосвященство, да ваше преосвященство, да ваше преосвященство. Можно подумать, он с самим господом богом разговаривает.

— К моему предку, когда каноник привез его домой,— сказал отец Кихот,— епископ по крайней мере не являлся. И я предпочитаю доктора Гальвана этому дураку-цирюльнику, который рассказывал моему предку все эти сказки про сумасшедших. Ну как могли рассказы про сумасшедших вылечить его, если бы он в самом деле был сумасшедший, чему я ни секунды не верю. Впрочем, ладно, Тереса, надо видеть во всем что-нибудь светлое. Не думаю, чтобы они попытались сжечь мои книги.

— Может, жечь-то они и не станут, да только отец Эррера сказал мне, чтоб я держала ваш кабинет под замком. Он сказал, что не хочет, чтоб вы утомляли себя чтением разных книжек. Само собой, до приезда епископа.

— Но ты же не заперла дверь, Тереса. Видишь — у меня уже есть две книжки.

— Это я-то стану запирать от вас вашу собственную комнату, когда мне больно видеть, как этот молоденький священник расселся тут, точно у себя дома? Но когда приедет епископ, все равно лучше спрячьте-ка книжки под простыню. Эти двое одним миром мазаны.

Отец Кихот услышал, как отец Эррера вернулся после мессы; он услышал стук посуды — Тереса, готовя ему завтрак, грохотала ею на кухне в два раза громче, чем когда готовила ему. Он обратился к отцу Коссаду, которого было куда приятнее читать в постели, чем отца Йоне. Отец Кихот представил себе, что отец Коссад присел у его кровати, чтобы выслушать исповедь. Сколько дней прошло с тех пор, как он лежит — четыре или пять?

«Отец, со времени моей последней исповеди десять дней тому назад...» Его снова смутило воспоминание о том, как на него напал смех, когда он смотрел фильм в Вальядолиде, и не было ни тени желания, которое доказало бы, что он такой же, как все люди, и породило бы у него чувство стыда. Возможно, именно в кино он и подцепил это вульгарное выражение, которое употребил применительно к епископу? Но ведь в фильме не было епископа. А непристойное выражение вызвало смех у Тересы, доктор же Гальван даже повторил его. И отец Кихот мысленно сказал отцу Коссаду: «Если Тереса согрешила рассмеявшись, а доктор Гальван согрешил, давая мне такой свет,— грех этот на мне, только на мне». Совершил он грех и похуже. Под влиянием вина он принизил Святого Духа, сравнив его с полубутылкой ламанчского. Да, список проступков, с которым он предстанет перед епископом, безусловно, немалый, и это вызовет порицание, но боялся отец Кихот не епископа. Он боялся себя. У него было такое чувство, точно его задел крылом самый страшный из всех грехов — отчаяние.

Он наугад раскрыл «Письма о духовной жизни» отца Коссада. Первый отрывок, который он прочел, не имел к нему, насколько он мог понять, никакого отношения. «По моему убеждению, слишком частое общение с Вашими многочисленными родственниками и прочими мирянами, служит препятствием на пути Вашего продвижения». Отец Коссад, правда, писал свои письма монахине, но все же... Священник и монахиня — это ведь почти одно и то же.

— Я никогда не хотел продвижения,— выкрикнул отец Кихот в пустоту,— никогда не хотел быть монсеньором, и у меня нет родственников, кроме троюродного брата в Мексике.

Уже без особой надежды он во второй раз раскрыл книгу, но теперь был вознагражден, хотя абзац, на котором задержался его взгляд, и начинался весьма обескураживающе: «Исповедовался ли я хоть раз в жизни по-настоящему? Простил ли меня Господь? В каком я нахожусь положении — хорошем или плохом?» Отец Кихот уже собирался закрыть книгу, но все-таки прочел дальше: «Я сразу отвечу: Господь пожелал сокрыть все это от меня, чтобы я слепо отдался на Его милость. Я не желаю знать того, что Он не желает мне показывать, и я готов брести во тьме, если Он вознамерится меня в нее погрузить. Его дело — знать, насколько я продвинулся, мое же — думать только о Нем. Обо всем остальном Он сам позаботится — я предоставляю это ему».

— Я предоставляю это ему,— громко повторил отец Кихот; в этот момент дверь в его комнату открылась, и голос отца Эрреры возвестил:

— Его преосвященство здесь.

Странным образом отцу Кихоту на миг показалось, что отец Эррера вдруг состарился — воротничок у него был все такой же ослепительно белый, но и волосы стали белыми, и, конечно же, у отца Эрреры не было епископского перстня на пальце или большого на-

персного креста на груди. Но со временем у него будет и то и другое, безусловно, будет, подумал отец Кихот.

— Извините, ваше преосвященство. Если вы любезно согласитесь подождать меня, я через несколько минут присоединюсь к вам в кабинете.

— Оставайтесь там, где вы есть, монсеньор,— сказал епископ. (Титул «монсеньор» он произнес явно кислым голосом.) Достав из своего широкого рукава белый шелковый платок, он смахнул им пыль со стула у кровати, затем тщательно оглядел платок, проверяя, насколько он испачкался, опустился на стул и положил руку на простыню. Однако отец Кихот, понимая, что в лежачем положении невозможно опуститься на колени, решил, что в таком случае можно и не целовать епископу перстень, и епископ, помедлив немного, убрал руку. Затем он поджал губы и, с минуту подумав, выдохнул одно-единственное: — Мда!

Отец Эррера, точно телохранитель, стоял в дверях. Епископ сказал ему:

— Можете оставить меня с монсеньором...— Слово это, казалось, обожгло ему язык, так как он скривился.— Мы побеседуем наедине.

И отец Эррера исчез.

Епископ стиснул крест, висевший на его пурпурном pechera, словно таким путем надеялся обрести мудрость более высокую, чем свойственно человеку. Отцу Кихоту показалось, что гроза прошла, когда он произнес:

— Я вижу, вы чувствуете себя лучше.

— Я чувствую себя вполне хорошо,— ответил отец Кихот.— Отпуск пошел мне на пользу.

— Не думаю, если судить по донесениям, которые я получил.

— Донесениям — о чем?

— Церковь всегда старается держаться над политикой.

— Всегда?

— Вы прекрасно знаете мое отношение к вашему злополучному соучастию в деятельности организации «In Vinculis».

— Это был спонтанный акт милосердия, ваше преосвященство. Признаюсь, я, право, не думал... Впрочем, творя милосердие, человек и не должен думать. Милосердие, как и любовь, должно быть слепо.

— Вас произвели в сан монсеньора по причинам, не поддающимся моему пониманию. А монсеньор всегда должен думать. Он должен оберегать достоинство Церкви.

— Я же не просил, чтобы меня делали монсеньором. Мне вовсе не нравится быть монсеньором. Поддерживать достоинство приходского священника Эль-Тобосо уже достаточно тяжкое для меня бремя.

— Я не обращаю внимания на все доходящие до меня слухи, монсеньор. То обстоятельство, что кто-то является членом «Опус деи», еще не означает, что на его свидетельство можно положиться. Я поверю вам, если вы дадите мне слово, что не заходили в Мадриде в определенный магазин и не спрашивали там кардинальскую шляпу.

— Это не я про нее спросил. Это была шутка со стороны моего друга — вполне невинная...

— Невинная? Насколько я понимаю, этот ваш друг — бывший мэр Эль-Тобосо. Коммунист. Вы выбираете себе очень неподходящих друзей и спутников, монсеньор.

— Мне нет нужды напоминать вашему преосвященству, что господь наш...

— О, да-да. Я знаю, что вы сейчас скажете. Это место насчет мытарей и грешников всегда цитируется в оправдание многих дерзостных поступков. Апостол Матфей, избранник господень, был сборщиком налогов — мытарем, из презренного сословия. Это, конечно, так, но между сборщиком налогов и коммунистом — огромная разница.

— Я полагаю, в некоторых восточных странах это вполне совместимо.

— Напомню вам, монсеньор, что господь наш был сыном божьим. Ему все было дозволено, но для бедного священника вроде вас или меня не осмотрительнее ли идти по стопам апостола Павла? Вы же, знаете, что он говорит в своем Послании Титу: «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков... Каковым должно заграждать уста...»[1]

Епископ сделал паузу, чтобы дать отцу Кихоту возможность откликнуться на его слова, но никакого отклика не последовало. Возможно, он принял это за добрый знак, так как, продолжая беседу, отказался от «монсеньора», а употреблял более дружеское и товарищеское «отче».

— Ваш друг, отче,— сказал он,— видимо, очень много выпил и был пьян, когда вас обоих нашли. Он даже не проснулся, когда к нему обратились. Отец Эррера заметил также, что в вашей машине было много вина. Я понимаю, что в вашем нервном состоянии вино оказалось для вас великим соблазном. Я лично употребляю вино только во время мессы. Пить же я предпочитаю воду. Когда я беру в руки стакан, я представляю себе, что пью чистую воду Иордана.

— Наверное. не такую уж и чистую,— заметил отец Кихот.

— Что вы хотите этим сказать, отче?

— Ну, видите ли, ваше преосвященство, я не могу не думать о том, что сириец Нееман семь раз погружался в Иордан и оставил там всю свою проказу.

— Это древняя еврейская легенда о том, что было давным-давно.

— Да, я знаю, ваше преосвященство, и все же ведь это вполне может быть и правдивая история, а проказа — болезнь таинственная. Мы же не знаем, сколько евреев-прокаженных могли последовать примеру Неемана! Я, конечно, согласен с вами, что апостол Павел — надежный наставник, и вы, конечно, помните, что он писал Титу и другое... нет, я ошибся, это он писал Тимофею: «Впредь пей не *одну* воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего...[1]

В спальне воцарилась тишина. Отец Кихот подумал, что, наверное, епископ пытается найти еще одну цитату из апостола Павла, но он ошибался. Пауза означала перемену темы, а не смену настроения.

— Чего я никак не могу понять, монсеньор, это что, по словам жандармов, вы обменялись одеждой с этим... с этим бывшим мэром, коммунистом.

— Мы не менялись одеждой, ваше преосвященство, я только дал ему свой воротничок.

Епископ закрыл глаза. Потерял терпение? Или же молится, чтобы собеседник понял его.

— Но зачем же надо было меняться даже воротничком?

— Мэр считал, что в таком воротничке мне должно быть очень жарко, и я дал ему попробовать. Я не хотел, чтобы он думал, будто я в чем-то доблестнее его... Военным или даже жандармам, наверное, куда труднее в жару ходить в своей форме, чем мне — в воротничке. Нам все-таки повезло, ваше преосвященство.

— До слуха священника в Вальядолиде дошел рассказ о епископе — или монсеньоре,— которого видели выходящим из кинотеатра, где показывали скандальный фильм,— ну, вы знаете, того рода, какие у нас стали показывать после смерти генералиссимуса.

— Возможно, бедный монсеньор не знал, на какой фильм он шел. Название ведь иной раз может быть обманчивым.

— Самое возмутительное в этой истории то, что епископ или монсеньор — вы же знаете, люди могут перепутать из-за pechera, кото-

---

[1] Библия. Послание к Титу, 1, 10 — 11.

[2] Библия. Первое послание к Тимофею, 5, 23.

рый мы с вами оба носим,— выходя из этого постыдного кинотеатра, смеялся.

— Ну, не смеялся, ваше преосвященство. Скорее, улыбался.

— Я не могу понять, как вы могли пойти на такой фильм.

— Меня ввело в заблуждение совсем невинное название.

— Какое же?

— «Молитва девы».

Епископ издал глубокий вздох.

— Иной раз хочется,— сказал он,— чтобы слово «дева» применялось лишь к богородице... ну, и еще, быть может, к членам религиозных орденов. Я вижу, вы вели очень уединенную жизнь в Эль-Тобосо и понятия не имеете, что в наших больших городах слово «дева» или «девственница» употребляется в своем сугубо преходящем смысле — часто для разжигания похоти.

— Признаюсь, ваше преосвященство, мне это в голову не пришло.

— Конечно, все это мелочи в глазах жандармов, сколь бы скандально это ни выглядело в глазах Церкви. Но мне и моему Авильскому коллеге пришлось потратить немало усилий, чтобы убедить их закрыть глаза на то, что представляет собой уже серьезный криминал. Нам пришлось обращаться к высокому чину в министерстве внутренних дел — по счастью, он оказался членом «Опус деи»...

— И, насколько я понимаю, двоюродным братом доктора Гальвана?

— Это едва ли имеет прямое отношение к делу. Он сразу понял, какой несказанный вред нанесет Церкви появление на скамье подсудимых монсеньора по обвинению в том, что он помог убийце бежать...

— Не убийце, ваше преосвященство. Он же промахнулся.

— Ну, значит, бандиту, ограбившему банк.

— Да нет же, нет. Это был магазин самообслуживания.

— Я бы просил вас не прерывать меня мелкими уточнениями. Жандармы в Леоне обнаружили на том человеке ваши ботинки — внутри была четко написана ваша фамилия.

— Это дурацкая привычка Тересы. Она, бедняга, конечно, делает это из самых добрых побуждений — просто боится, что сапожник после ремонта может вернуть не ту пару.

— Не знаю, монсеньор, намеренно вы это делаете или нет, но вы все время стремитесь внести в наш вполне серьезный разговор какие-то тривиальные и не относящиеся к делу подробности.

— Извините... это не намеренно... просто я подумал, что вам может показаться странным, почему у меня ботинки с меткой.

— Странным мне кажется то, что вы помогали преступнику бежать от закона.

— У него ведь был пистолет... но он, конечно, не применил бы его. Он бы ничего не выиграл, если бы нас пристрелил.

— Жандармы под конец приняли такое объяснение, хотя этот человек выкинул пистолет и отрицал, что он когда-либо у него был. Так или иначе, жандармы, видимо, установили, что, во-первых, вы спрятали его в своем багажнике и солгали им. Это-то вы делали не под угрозой пистолета.

— Я им не солгал, ваше преосвященство. Пожалуй... словом, ответил немного уклончиво. Жандармы ведь впрямую не спросили, находится ли он у меня в багажнике. Конечно, я могу в свое оправдание заявить, что был под «большим моральным давлением». Отец Герберт Йоне отмечает, что преступник, привлеченный к суду,— а если стать на точку зрения закона, то я преступник,— может заявить: «невиновен», пользуясь общепринятой формулой, а на самом деле это означает: «Я невиновен перед законом, пока моя вина не доказана». Отец Йоне даже считает, что преступник может квалифицировать обвинение как клевету и представить доказательства своей предполагае-

мой невиновности, но тут отец Герберт Йоне, по-моему, заходит слишком далеко.

— Да кто такой этот отец Герберт Йоне?

— Выдающийся немецкий теолог-моралист.

— Слава богу, что не испанец.

— Отец Эррера с великим уважением относится к нему.

— Так или иначе, я приехал сюда не для того, чтобы рассуждать о теологии морали

— Я всегда считал это крайне запутанным предметом, ваше преосвященство. К примеру, я не могу не удивляться по поводу концепции закона природы...

— И не для того я приехал, чтобы рассуждать о законе природы. У вас поразительный дар, монсеньор, отвлекаться от предмета.

— Какого предмета, ваше преосвященство?

— Тех скандалов, которые вы вызвали своим поведением.

— Но если меня обвиняют во лжи... разве это не из сферы теологии морали?

— Я очень, очень стараюсь поверить...— И епископ снова издал долгий вздох, что побудило отца Кихота с жалостью, но не без удовлетворения подумать, уж не страдает ли епископ астмой.— Повторяю: очень стараюсь поверить, что вы тяжело больны и не понимаете, в каком опасном находитесь положении.

— Ну, мне кажется, это можно сказать про всех нас.

— Про всех нас?

— Я имею в виду — когда мы начинаем задумываться.

Епископ издал какой-то странный звук — отцу Кихоту это напомнило Тересиных куриц, когда они несутся.

— Ах,— произнес епископ,— к этому-то я и подхожу. Опасные мысли. Ваш спутник-коммунист, безусловно, навел вас на такие размышления...

— Ни на что он меня не наводил, ваше преосвященство. Просто дал мне повод задуматься. Видите ли, в Эль-Тобосо... я с большой теплотой отношусь к хозяину гаража (он так хорошо смотрит за «Росинантом»), а вот мясник — тот в общем-то человек премерзкий... я вовсе не хочу сказать, что люди мерзкие — совсем уж никудышные, и, конечно, есть монашки, которые готовят превосходные пироги, но в этот свой отпуск я почувствовал такую свободу...

— И похоже, это была весьма опасная свобода.

— Но ведь Он же даровал нам свободу, верно? Потому Его и распяли.

— Свободу...— повторил епископ. Слово прозвучало как взрыв.— Свободу нарушать закон? Вам, монсеньору? Свободу ходить на порнографические фильмы? Помогать убийцам?

— Нет-нет, я же сказал вам — он промахнулся.

— И взять себе в попутчики коммуниста! Рассуждать с ним о политике...

— Да нет же, нет. Мы дискутировали на более серьезные темы, чем политика. Хотя, должен признаться, я до тех пор понятия не имел, что Маркс столь благородно защищал Церковь.

— Маркс?

— В высшей степени непонятный человек, ваше преосвященство. Уверяю вас.

— Какие же книги вы читали во время этой... необычайной... экспедиции?

— Я всегда беру с собой святого Франциска Сальского. На сей раз, чтобы доставить удовольствие отцу Эррере, я взял с собой и отца Герберта Йоне. А мой друг дал мне почитать «Манифест Коммунистической партии»... нет, нет, ваше преосвященство, это совсем не то, что вы думаете. Конечно, я не могу согласиться со всеми мыслями, кото-

рые там изложены, но Маркс крайне трогательно воздает должное религии — он говорит о «священном трепете религиозного экстаза»[1].

— Не могу я больше сидеть тут и слушать бред больного человека,— произнес епископ и поднялся.

— Я слишком надолго задержал вас, ваше преосвященство. То, что вы приехали ко мне в Эль-Тобосо, было великим актом милосердия с вашей стороны. Доктор Гальван заверит вас, что я вполне здоров.

— Телом — возможно. Я думаю, вам нужен врач совсем другого рода. Я, конечно, проконсультируюсь с доктором Гальваном, прежде чем писать архиепископу. И буду молиться за вас.

— Я очень благодарен вам за ваши молитвы,— сказал отец Кихот.

Он заметил, что епископ перед уходом не протянул ему для поцелуя руки с перстнем. Отец Кихот покорил себя за то, что слишком вольно с ним разговаривал. «Огорчил я бедного человека,— подумал он.— С епископами, как и с людьми очень бедными и необразованными, следует быть особенно осторожным».

Из коридора за дверью донеслось перешептыванье. Затем в замке повернулся ключ. «Значит, я пленник,— подумал отец Кихот,— совсем как Сервантес».

II

Второе путешествие монсеньора Кихота

1

Отца Кихота разбудил звук клаксона — ту-ту-ту. Даже во сне он узнал голос «Росинанта», который ни с чем не спутаешь,— жалобный звук, не имеющий ничего общего с нетерпеливым, гневным, раздраженным зовом большой машины,— звук, просто возвещающий: «Я тут, если я вам нужен». Отец Кихот тотчас подошел к окну и выглянул на улицу, но «Росинант», должно быть, стоял где-то вне поля его зрения, ибо он увидел лишь ярко-синюю машину, а не ржаво-рыжую. Он подошел к двери, забыв, что она заперта, и потряс ручку.

Голос Тересы откликнулся:

— Тихо, отец. Дайте ему еще минутку.

— Кому дать еще минутку?

— Отец Эррера пошел ведь принимать исповедь, но если в церкви никого нет, он в исповедальне долго сидеть не станет, так что я велела парню из гаража, чтоб он быстрее шел в церковь, пока отец Эррера еще там, да чтоб придумал подлиннее исповедь — надо ведь его задержать.

Отец Кихот ничего не понял. Он не один десяток лет прожил в Эль-Тобосо, но такого с ним еще не бывало. Отчего все так изменилось?

— Ты не можешь открыть дверь, Тереса? «Росинант» вернулся.

— Да, я знаю. В жизни б я его не узнала, бедняжку, еще бы: он теперь ведь ярко-синий и даже с новым номером.

— Пожалуйста, Тереса, отопри дверь. Я должен посмотреть, что произошло с «Росинантом».

— Не могу, отец, потому как нет у меня ключа, но не волнуйтесь — он сдюжит, только потерпите еще минутку.

— Кто сдюжит?

— Мэр, конечно.

— Мэр? А где он?

---

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии.

— У вас в кабинете. Где же еще? Отец Эррера-то ведь запер ваш шкаф — вот мэр теперь его и открывает моей шпилькой да еще с помощью бутылки оливкового масла.

— А оливковое масло тут при чем?

— Не знаю, отец, но я верю мэру.

— А что там в шкафу?

— Ваши брюки, отец, и вся верхняя одежда.

— Если он может открыть шкаф, почему же он не может открыть эту дверь?

— Именно это я ему и сказала, а он говорит про какие-то там приоритеты.

Отец Кихот решил терпеливо ждать, но терпение его подвергалось серьезному испытанию под влиянием комментариев Тересы.

— Ох, я думала, он уже открыл шкаф, но замок оказался больно крепкий, так что мэр взял теперь лезвие отца Эрреры. Ох и достанется же нам, потому как отец Эррера все их на счету держит... Ну вот теперь он сломал лезвие. Господи ты боже мой! Ковыряется маникюрными ножницами отца Эрреры... Стойте, стойте... потерпите немножко... слава тебе господи, открыл. Надеюсь только, дверь он откроет быстрее, не то отец Эррера того и гляди вернется — у парня-то из гаража не хватит ведь смекалки так долго его там держать.

— Как вы, отче, в порядке? — послышался из-за двери голос мэра.

— В полном порядке, но что вы сотворили с «Росинантом»?

— Я остановился у моего приятеля в Вальядолиде и подновил «Росинанта», чтоб жандармы не узнали его — во всяком случае с первого взгляда. Сейчас я займусь вашей дверью.

— Не старайтесь. Я могу и в окно вылезти.

Хорошо, подумал отец Кихот, что никто не видит, как местный священник вылезает в пижаме из своего окна и стучит в собственную дверь. Тереса из скромности ретировалась на кухню, и отец Кихот поспешно оделся у себя в кабинете.

— Дверцу шкафа вы, конечно, испортили,— сказал он.

— Ее оказалось труднее открыть, чем я думал. Что вы ищете?

— Воротничок.

— Вот — держите. А ваш слюнявчик у меня в машине.

— Он уже стоил мне немалых неприятностей. Я не надену его больше, Санчо.

— Но мы его возьмем с собой. Он может нам пригодиться. Никогда ничего заранее нельзя сказать.

— Что-то я носков нигде не вижу.

— Ваши пурпурные носки у меня. И ваши новые ботинки тоже.

— Я искал старые. Извините. С ними я, конечно, навсегда уже распростился.

— Они теперь у жандармов.

— Да. Я забыл. Епископ ведь сказал мне. Я полагаю, нам пора. Надеюсь, беднягу епископа не хватит удар.

Тут взгляд его упал на конверт. Отец Кихот должен был бы еще раньше его заметить — конверт стоял на двух старых, еще из семинарии, учебниках отца Кихота, прислоненный к третьему. Автор письма явно хотел, чтобы оно сразу бросилось в глаза. Отец Кихот взглянул на конверт и сунул письмо в карман.

— Что это? — спросил мэр.

— По-моему, письмо от епископа. Я слишком хорошо знаю его почерк.

— Вы не намерены его читать?

— Скверные вести могут и подождать, пока мы не разопьем бутылочку ламанчского.

Он прошел на кухню попрощаться с Тересой:

— Право, не знаю, как ты все объяснишь отцу Эррере.

— Это не мне, а ему придется объяснять. С какой это стати он запер вас в вашей собственной комнате в вашем собственном доме, да еще отобрал у вас вашу собственную одежду?

Отец Кихот поцеловал Тересу в лоб, на что за все годы совместного существования ни разу не отважился.

— Да благословит тебя господь, Тереса,— сказал он.— Ты была очень добра ко мне. И терпелива. Долго меня терпела.

— Хоть скажите, куда вы едете-то, отче?

— Лучше тебе этого не знать, потому что все будут тебя об этом спрашивать. Но я могу тебе сказать, что по воле божией уезжаю надолго отдохнуть в тихом месте.

— С этим коммунистом?

— Не говори как епископ, Тереса, мэр был мне добрым другом.

— Вот уж не представляю, чтобы такой человек мог долго отдыхать в тихом месте.

— Никогда нельзя знать заранее, Тереса. И более странные вещи уже случались с нами в пути.

Он повернулся было, направляясь к выходу, но ее голос вернул его:

— Отче, такое у меня чувство, точно мы с вами прощаемся навсегда.

— Нет-нет, Тереса, для христианина прощание навсегда не существует.

Он поднял было руку, чтобы по привычке осенить ее крестным знамением, но так и не довел жеста до конца.

«Я верю в то, что я ей сказал,— сказал он себе, выходя на улицу к мэру,— я, конечно, в это верю, но почему же, когда речь идет о верований, я всегда чувствую, как появляется тень, тень неверия, омрачающая мое верование?»

2

— Куда мы поедем? — спросил мэр.

— А нам непременно нужно составить план, Санчо? В прошлый раз мы побыли немного в одном месте, немного в другом — как придется. Вы, конечно, со мной не согласитесь, но в известном смысле мы тогда полагались на волю божию.

— Значит, ваш господь оказался не очень надежным проводником: ведь вас привезли назад в Эль-Тобосо как пленника.

— Да. Но кто знает? Пути господни неисповедимы — быть может, он хотел, чтобы я встретился с епископом.

— Ради епископа или ради вас?

— Откуда же мне знать? По крайней мере, я кое-чему научился у епископа, хотя сомневаюсь, чтобы он научился чему-либо у меня. Но разве можно быть в чем-то уверенным?

— Так куда же ваш бог предлагает нам сейчас ехать?

— Почему бы нам не держаться того же пути?

— Та же мысль может явиться и жандармам. Когда епископ оповестит их, что мы снова на воле.

— Ну, не в точности того же пути. Я не хочу возвращаться в Мадрид... или в Вальядолид. Эти города не оставили у меня приятных воспоминаний, если не считать дома историографа.

— Историографа?

— Великого Сервантеса.

— Надо решать быстрее, отче. На юге слишком жарко. Значит, едем на север — куда: к баскам или к галисийцам?

— Я согласен.

— Согласны с чем? Вы же не ответили на мой вопрос.

— Предоставим детали господу богу.

— А кто поведет машину? Вы уверены, что господь выдержал экзамен и получил водительские права?

— Конечно, я поведу. «Росинант» не поймет, если я буду сидеть в машине как пассажир.

— По крайней мере, поедемте на разумной скорости. Мой друг в Вальядолиде сказал, что из этой машины вполне можно выжимать восемьдесят, а то и сто километров.

— Как он может судить о «Росинанте» после одного короткого осмотра!

— Я сейчас не стану с вами препираться. Пора в путь.

Но они не смогли так вот сразу покинуть Эль-Тобосо. Не успел отец Кихот включить малую скорость, как раздалось:

— Отче, отче!

Сзади по дороге к ним бежал паренек.

— Не обращайте внимания,— сказал мэр.— Нам нужно убираться отсюда.

— Я должен остановиться. Это же тот мальчик, который работает на бензонасосе в гараже.

Паренек, еле переводя дух, подбежал к ним.

— Ну, что случилось? — спросил отец Кихот.

— Отче,— произнес он,— отче...

— Я же сказал — что случилось?

— Он отказался отпустить мне грехи, отче. Я что, пойду теперь в ад?

— Очень сомневаюсь. А что ты натворил? Убил отца Эрреру? Но даже и в таком случае вовсе не обязательно, чтобы ты попал в ад. Если у тебя была для этого достаточно весомая причина.

— Как же я мог его убить — ведь это он отказал мне отпустить грехи?

— Достаточно логично. А почему он тебе отказал?

— Он сказал, что я издеваюсь над исповедью.

— О, господи, я же совсем забыл. Это Тереса послала тебя... Нехорошо она поступила. Правда, намерения у нее были самые благие, и я уверен, вы оба получите отпущение грехов. Но она сказала мне, что у тебя маловато смекалки. Так почему же все-таки отец Эррера отказал тебе в отпушении грехов? Что ты такого насочинял?

— Я только сказал ему, что переспал с целой кучей девчонок.

— Ну, в Эль-Тобосо их не так уж и много, если не считать монахинь. Ты же не говорил ему, что спал с монашкой, или сказал?

— Я в жизни б не сказал такого, отче. Я же секретарь Общества детей пресвятой девы Марии.

— А отец Эррера к концу жизни наверняка станет членом «Опус деи»,— заметил мэр.— Поехали же, ради всего святого.

— Все-таки что же ты ему сказал и что он сказал тебе?

— Я сказал: «Благословите, отче. Я согрешил...»

— Нет, нет, опусти все эти предисловия.

— Ну, я ему сказал, что опаздывал к мессе, и он спросил, сколько раз, а я сказал: двадцать, а потом я сказал ему, что я приврал, и он спросил, сколько раз, а я сказал: сорок пять.

— Что-то многовато у тебя получилось, верно? А потом?

— Ну, я ничего не мог больше придумать, и я боялся, что Тереса рассердится, если я его дольше не задержу.

— Передай ей от меня, когда увидишь, что не мешало бы ей завтра стать на колени в исповедальне.

— А потом он спросил, не согрешил ли я против целомудрия, голова у меня сразу заработала, и я сказал, ну, сказал, что спал с девчонками, и он спросил со сколькими, а я сказал: «Да штук шестьдесят пять будет», и тогда очень он разозлился и выставил меня из исповедальни.

— Неудивительно.

— Так что же, я теперь в ад пойду?

— Если кто и пойдет в ад, так это Тереса — передай ей, что я так сказал.

— Ужас сколько я всего наплел в исповедальне. Я-то ведь только один раз опоздал к мессе и то по уважительной причине — такая была прорва туристов на заправке.

— А сколько раз ты врал?

— Да раза два или три, не больше.

— А как насчет девчонок?

— Да разве найдешь в Эль-Тобосо хоть одну, которая всерьез занялась бы делом — так они боятся монашек.

Тут мэр произнес:

— Я вижу отца Эрреру, он идет из церкви.

— Послушай меня,— сказал отец Кихот,— покайся и обещай мне, что больше не будешь врать в исповедальне, даже если Тереса попросит тебя.— Он умолк, а паренек пробормотал что-то.— Так ты обещаешь?

— Да, обещаю, отче. Почему не обещать? Я ведь к исповеди-то хожу не чаще раза в год.

— Скажи: «Даю обещание господу перед вами, отче».

Паренек повторил за ним, и отец Кихот быстро пробормотал отпущение грехов.

Мэр сказал:

— Этот чертов священник всего в ста шагах от нас, отче, и он набирает скорость.

Отец Кихот включил мотор, и «Росинант» подпрыгнул, как антилопа.

— В самое время,— сказал мэр.— Но он бежит сзади почти с такой же скоростью, как наш «Росинант». Ох, этот парень, да благословит его господь, сущее сокровище. Он подставил ногу, и тот споткнулся.

— Если в исповеди этого паренька и было что не так — вина на мне,— произнес отец Кихот. Обращался ли он при этом к себе, к богу или к мэру, так навсегда и останется неизвестным.

— Переключите «Росинанта» хотя бы на пятьдесят. Старина ведь даже не старается. А священник мигом оповестит жандармов.

— Никакой спешки пока что нет — зря вы так думаете,— сказал отец Кихот.— Сначала он кучу всего наговорит парнишке, потом захочет перемолвиться с епископом, а епископа какое-то время не будет дома.

— Он может сначала позвонить жандармам.

— Никогда в жизни... Он человек осторожный, как все секретари.

Они достигли шоссе, ведущего на Аликанте, и мэр нарушил молчание.

— Налево! — резко произнес он.

— Не в Мадрид же, конечно? Куда угодно, только не в Мадрид.

— Никаких городов,— заявил мэр.— Там, где встретим проселочную дорогу, будем ехать по ней. Я почувствую себя спокойнее, только когда мы доберемся до гор. У вас, очевидно, нет паспорта?

— Нет.

— В таком случае нам нельзя укрыться в Португалии.

— Укрыться от чего? От епископа?

— Вы, видно, не понимаете, отче, какое серьезное преступление вы совершили. Вы же освободили галерного раба.

— Бедняга! Все, что он приобрел,— это мои ботинки, причем ненамного лучше его собственных. Он был обречен на неудачу. Я всегда считаю, что вечные неудачники — а у него ведь даже бензин кончился — куда ближе к богу, чем мы. Я, конечно, помолюсь моему предку за него. Как часто Дон Кихота подстерегали неудачи! Даже с ветряными мельницами.

— В таком случае вы уж помолитесь ему хорошенько за нас обоих.

— О да, помолюсь. Помолюсь. У нас с вами, Санчо, пока было не так уж много неудач. Видите, вы, я и «Росинант» — мы все трое снова в пути и на свободе.

У них ушло более двух часов на то, чтобы кружным путем добраться до городка под названием Мора. Там они выехали на шоссе, ведущее в Толедо, но следовали по нему всего несколько минут.

— Надо пробираться к Толедским холмам,— сказал мэр.— Это шоссе не для нас.

Они развернулись и какое-то время ехали по извилистой и очень неровной дороге — судя по солнцу, они, похоже, описали полукруг.

— Вы знаете, где мы находимся? — спросил отец Кихот.

— Более или менее,— не очень уверенно ответил мэр.

— Я что-то немного проголодался, Санчо.

— Ваша Тереса надавала нам столько колбасы и сыра, что хватит на неделю.

— На неделю?

— Гостиницы ведь не для нас. Как и шоссе.

В холмах вокруг Толедо, забравшись достаточно высоко, они нашли удобное место, где могли съехать с дороги, укрыться от чужих глаз вместе с «Росинантом» и поесть. К тому же там оказался ручей, где они могли охладить вино,— он бежал вниз, в находившееся под ними озеро, которое, как мэр не без труда определил по карте, называлось Торре-де-Абрахам.

— Вот только почему его назвали по имени этого старого мерзавца Авраама — понять не могу.

— Почему вы говорите, что он мерзавец?

— Разве он не готов был убить собственного сына? О конечно, был там мерзавец и похуже — тот, кого вы именуете господом: ведь этот омерзительный поступок совершил он. Это он подал пример, и Сталин, подражая ему, перебил своих духовных сыновей. При этом чуть не убил и коммунизм вместе с ними, как курия убила католическую Церковь.

— Не совсем, Санчо. Несмотря на все страдания курии, рядом с вами, во всяком случае, сидит один католик.

— Да, а рядом с вами — коммунист, который все еще жив, несмотря на Сталина. Мы с вами уцелели, отче. Давайте выпьем за это.— И он вытащил бутылку из ручья.

— За двух уцелевших — сказал отец Кихот и поднял стакан. Он испытывал вполне здоровую жажду, и его всегда удивляло то, что биограф его предка так редко упоминал о вине. Историю с бурдюками, которые продырявил Дон Кихот, сочтя их за врагов, едва ли можно принимать в расчет. Отец Кихот снова наполнил свой стакан.— Мне кажется,— сказал он мэру,— что вы больше верите в коммунизм, чем в партию.

— Я примерно то же самое собирался сказать про вас, отче: что вы, похоже, больше верите в католицизм, чем в Рим.

— Верю? Ах верю... Возможно, вы и правы, Санчо. Но возможно, вовсе не верование имеет значение.

— Что вы хотите этим сказать, отче? Я думал...

— Вот Дон Кихот — он действительно верил в существование Амадиса Гальского, Роланда и всех своих героев... или же верил лишь в те добродетели, которые они олицетворяли собой?

— Вы заходите в опасные воды, отче.

— Знаю, знаю. В вашем обществе, Санчо, я мыслю свободнее, чем когда я один. Когда я один, я читаю — прячусь в книги. В них я нахожу веру в людей, которые лучше меня, а когда я обнаруживаю, что моя вера, как и тело, с возрастом слабеет, тогда я говорю себе, что я, наверное, неправ. Это моя вера говорит мне, что я, долж-

но быть, неправ... или всего лишь вера тех людей, которые лучше меня? Это моя вера говорит или вера святого Франциска Сальского? Да и имеет ли это такое уж значение? Передайте-ка мне сыра. До чего же от вина у меня развязывается язык!

— Знаете, что привлекло меня к вам в Эль-Тобосо, отче? Не то, что вы единственный образованный человек в нашем селении. Я вообще-то не так уж и люблю образованных. Со мной лучше не говорить об интеллигенции или культуре. Вы привлекли меня тем, что, как мне думалось, были моей противоположностью. Человек ведь устает от себя, от этого лица, которое он видит каждый день, когда бреется, а все мои друзья из того же теста, что и я сам. Поеду я, к примеру, в Сьюдад-Реаль на партийное собрание — а их теперь спокойно проводят после того, как не стало Франко,— мы там называем друг друга «товарищ» и в то же время немного боимся, потому что каждый знает другого не хуже, чем самого себя. Мы цитируем друг другу Маркса и Ленина, как пароль, доказывающий, что нам можно доверять, и никогда не говорим о тех сомнениях, которые приходят к нам в бессонные ночи. Меня привлекло к вам то, что, как мне казалось, у вас нет сомнений. Меня привлекла к вам, я так думаю, в известной мере зависть.

— До чего же вы ошибались, Санчо. Я одержим сомнениями. Я ни в чем не уверен, даже в существовании бога, но сомнения — это не предательство, как вы, коммунисты, кажется, думаете. Сомнения свойственны человеку. О, я хочу верить, что все — истинная правда, и это мое желание — единственное, в чем я уверен. Я хочу, чтобы и другие верили — и тогда, быть может, частица их веры перейдет и на меня. Булочник, по-моему, верит.

— Вот такая вера, я думал, есть и у вас.

— Ах нет, Санчо, тогда я, наверное, мог бы сжечь мои книги и жить совсем один, зная, что все — истинная правда. «Зная»? До чего же это должно быть страшно. М-да, это ваш предок или мой любил говорить: «Терпите и тасуйте карты»?

— Немножко колбасы, отче?

— Сегодня я, пожалуй, буду держаться сыра. Колбаса — это для более крепких людей.

— Пожалуй, и я сегодня буду держаться сыра.

— Не открыть ли нам еще бутылочку?

— А почему бы и нет?

И вот по мере того, как день клонился к вечеру, за второй бутылкой вина Санчо сказал:

— Я должен кое в чем признаться вам, отче. О нет, не в исповедальне. Я хочу просить прощения не у этой вашей или моей мифической фигуры, которая там, наверху, а только у вас.— Он помолчал, вертя в руках стакан.— Если бы я не приехал и не забрал вас, что бы произошло?

— Не знаю. Мне кажется, епископ считает меня сумасшедшим. Возможно, они попытались бы засадить меня в сумасшедший дом, хотя не думаю, чтобы доктор Гальван согласился помочь им. Каково правовое положение человека, у которого нет родственников? Можно его посадить под замок против воли? Быть может, епископ с помощью отца Эрреры... Ну и потом, всегда ведь остается еще архиепископ... Они ни за что не забудут того случая, когда я дал немного денег «In Vinculis».

— Тогда и возникли мои дружеские чувства к вам, хотя мы едва ли перемолвились словом.

— Вот так же обучаются служить мессу. Этому обучаются в семинарии, чтобы уж никогда не забыть. О господи, я же совсем забыл...

— Что?

— Да ведь епископ оставил мне письмо.— Отец Кихот достал его из кармана и повертел в руках.

— Да ну же! Вскрывайте. Не смертный же это приговор.

— Как знать?

— Дни Торквемады давно прошли.

— Пока существует Церковь, всегда будут маленькие торквемады. Дайте мне еще стаканчик вина.— И он медленно принялся его пить, чтобы отсрочить момент познания истины.

Санчо взял из рук отца Кихота письмо и вскрыл его. Он сказал:

— Во всяком случае, оно достаточно коротко. Что значит «Suspensión a Divinis?»

— Я так и думал: это смертный приговор,— сказал отец Кихот.— Давайте сюда письмо.— Он поставил стакан, не допив вина.— Я больше не боюсь. Когда человек мертв, с ним уже ничего больше сделать нельзя. Остается только уповать на милость господню.— И он прочел вслух письмо: — «Дорогой монсеньор, мне было крайне огорчительно услышать из Ваших уст подтверждение справедливости обвинений, которые — я был почти уверен — могли объясняться недопониманием, преувеличением или злобой». Какой лицемер! Впрочем, лицемерие епископу, наверное, почти необходимо и считалось бы отцом Гербертом Йоне весьма простительным грехом. «Тем не менее в данных обстоятельствах я готов счесть обмен одеждой с Вашим спутником-коммунистом не символическим вызовом, брошенным Святому отцу, а следствием тяжелого умственного расстройства, которое затем побудило Вас помочь мошеннику бежать от правосудия, а также бесстыдно отправиться в пурпурном pechera монсеньора на омерзительный порнографический фильм, о подлинном характере которого достаточно ясно оповещала буква «С». Я обсудил Ваше состояние с доктором Гальваном, который вполне согласен со мной, что Вам нужен длительный отдых, о чем я и напишу архиепископу. А пока я считаю своим долгом объявить вам о Suspensión a Divinis [1].

— Что же тот смертный приговор в точности означает?

— Он означает, что я не должен служить мессу — ни в церкви, ни дома. Но дома, в уединении моей спальни, я, конечно, буду ее служить, ибо я невиновен. Не имею я права и принимать исповедь — разве что в самом крайнем случае. Я остаюсь священником, но священником только для себя. Никому не нужный священник, которому запрещено служить другим. Я рад, что вы приехали и забрали меня. Разве мог бы я вынести такую жизнь в Эль-Тобосо?

— Вы могли бы апеллировать в Рим. Вы же монсеньор!

— Даже монсеньор может затеряться в пыльной картотеке курии.

— Я сказал вам, что мне надо кое в чем признаться вам, отче. Еще немного — и я за вами не приехал бы.— Теперь уже мэр выпил, чтобы придать себе храбрости.— Когда я обнаружил, что вы исчезли,— а неподалеку были двое американцев, которые видели, что произошло, они считали вас мертвым, но я-то знал, что это не так,— я подумал: «Возьму-ка я «Росинанта» и двину в Португалию». Там у меня есть добрые друзья по партии, вот я и подумал: побуду-ка там немного, пока весь шум не уляжется.

— Но вы же не уехали.

— Я поехал в Понферраду и там выбрался на шоссе, ведущее в Оренсе. От этого шоссе, как я увидел на карте, ответвляется проселочная дорога, по которой я и решил поехать,— до границы там оставалось бы меньше шестидесяти километров.— Он передернул плечами.— Ну и вот, добрался я до этой проселочной дороги, развернулся и поехал назад в Вальядолид, а там попросил приятеля, владельца гаража, перекрасить машину и снова поменять ей номер.

---

[1] Приостановить богослужения. Здесь: запрещение служить *(лат.)*.

— Но почему же вы не поехали дальше?

— Да посмотрел я на эти ваши чертовы пурпурные носки, и этот ваш слюнявчик, и новые ботинки, которые мы купили вам в Леоне, и вдруг вспомнил, как вы надули тот шарик.

— Это не выглядит достаточно серьезным основанием.

— Для меня это было достаточно серьезно.

— Я рад, что вы приехали за мной, Санчо. С вами и с «Росинантом» я чувствую себя в безопасности, в большей безопасности, чем там, с отцом Эррерой. Эль-Тобосо для меня уже больше не дом родной, а другого дома у меня нет, кроме этого места на земле, рядом с вами.

— Надо вам найти другой дом, отче,— вот только где?

— Где-нибудь в тихом месте, где мы с «Росинантом» сможем немного отдохнуть.

— И где жандармы с епископом не найдут вас.

— Вы говорили о монастыре траппистов[1] в Галисии... Только вы там не будете чувствовать себя как дома, Санчо.

— Я мог бы оставить вас с ними, нанять машину в Оренсе и перебраться на ней через границу.

— Я не хочу, чтобы наше совместное путешествие окончилось. Пока смерть не разлучит нас, Санчо. Мой предок умер у себя в постели. Возможно, он бы прожил дольше, если бы продолжал свои странствия. А умирать я еще не собираюсь, Санчо.

— Меня тревожат компьютеры жандармов. «Росинант» довольно хорошо закамуфлирован, но на границе могут быть даны наши приметы.

— Нравится вам это, Санчо, или нет, но я думаю, придется вам побыть недельку-другую с траппистами.

— Уж больно плохо там кормят.

— Да и вино тоже, наверное, не лучше.

— Надо нам по пути запастись галисийским вином. А то наше ламанчское почти кончилось.

III

О последнем приключении монсеньора Кихота, которое произошло с мексиканцами

1

Три ночи они спали под открытым небом, осторожно продвигались по малоезженным дорогам сначала среди Толедских холмов, затем через сьерра-де-Гудалупе, где «Росинанту» тяжко пришлось — еще бы: взбираться на высоту восьмисот метров — и затем еще более тяжко, когда они попали в Сьерра-де-Гредос, где дорога на протяжении полутора тысяч метров петляла по горам, так как они решили объехать Саламанку и направиться прямиком к реке Дуэро, отделявшей их от безопасной Португалии. Ехали они в горах очень медленно, но мэр предпочитал горы кастильским долинам, поскольку в горах далеко видно и можно издали заметить казенный джип, да и деревеньки слишком малы, чтобы держать в них пост жандармов. Словом, они петляли по третьеразрядным дорогам, избегая даже второразрядных, обозначенных желтым на карте. Что же до шоссе, обозначенных красным,— эти дороги они полностью исключили.

Как только наступала темнота, сразу становилось холодно, и они охотно стали пить вместо вина виски, заедая его сыром и колбасой. Потом они с трудом засыпали, свернувшись клубком в ма-

[1] Трапписты — члены основанного в 1664 году католического монашеского ордена, которые дают обет молчания. Трапписты — приверженцы вегетарианства; занимаются физическим трудом.

шине. Когда наконец они вынуждены были спуститься в долину, мэр с тоской посмотрел на указатель, нацеленный в сторону Португалии.

— Будь у вас паспорт,— сказал он,— мы могли бы отправиться в Брагансу. Я предпочитаю моих тамошних товарищей испанцам. Куньял куда лучше Каррильо.

— А я считал, что Каррильо по коммунистическим меркам — приличный человек.

— Еврокоммунисту нельзя доверять.

— Но вы же не сталинист, Санчо?

— Я не сталинист, но от сталинистов хоть знаешь, чего можно ждать. Они не иезуиты. Они не вертятся, как флюгер. Если они жестоки, то жестоки и к себе. Когда подходишь к концу самого длинного из всех путей, ложись и отдыхай — отдыхай от споров, разных теорий и модных веяний. Можно сказать: «Я не верю, но приемлю» — и замолчать, как молчат траппистры. Траппистры — это ведь церковники-сталинисты.

— В таком случае из вас вышел бы хороший траппист, Санчо.

— Возможно, только я не люблю рано вставать.

Добравшись до Галисии, они остановились в селении, чтобы узнать, у какого винодела можно купить хорошего вина, так как у них осталось всего несколько бутылок ламанчского, а мэр не доверял вину с этикетками. Отсутствовал он целых десять минут и вернулся такой мрачный, что отец Кихот с тревогой спросил:

— Дурные вести?

— О нет, я получил адрес,— сказал он и пояснил, по какой дороге им надо ехать; следующие полчаса он не говорил ни слова, показывая лишь рукой, куда сворачивать, однако молчание Санчо было столь тягостным, что отец Кихот решил его прервать.

— Вы чем-то встревожены,— сказал он.— Из-за жандармов?

— О, жандармы! — воскликнул мэр.— С жандармами мы справимся. Разве мы уже не справлялись с ними — и притом неплохо — под Авилой и по дороге на Леон? Да плевал я на жандармов.

— Тогда что же вас расстраивает?

— Не люблю я, когда чего-то не понимаю.

— И чего же вы не понимаете?

— Этих невежественных крестьян и их жуткий выговор.

— Они же галисийцы, Санчо.

— И они знают, что мы нездешние. Так что же, они считают, мы чему угодно поверим?

— А что они вам наговорили?

— Они сделали вид, будто очень хотят посоветовать нам вино получше. И принялись спорить между собой по поводу трех виноградников — белое вино-де лучше у одного хозяина, красное — у другого, и еще вздумали меня предупреждать, да так при этом серьезно. Считают, что я полный дурак, раз нездешний. Какие же они бахвалы, эти галисийцы! Вы у нас найдете лучшее вино в Испании, заявили они мне, точно наше ламанчское — конская моча.

— Но о чем же они все-таки вас предупреждали?

— Один из виноградников находится около местечка по имени Леарит. Так вот они сказали: «От этого места держитесь подальше. Там одни мексиканцы». И больше ничего. А потом крикнули мне вслед: «Держитесь подальше от тех мест, где мексиканцы. Их священники портят даже вино».

— Мексиканцы?! Вы уверены, что правильно расслышали?

— Я же не глухой.

— Что же это должно означать?

— Должно быть, Панчо Вилья [1] воскрес из мертвых и грабит Галисию.

[1] Панчо Вилья (1877 — 1923) — руководитель крестьянского движения на севере Мексики в период Мексиканской революции 1910—1917 годов. Убит реакционерами.

Они проехали еще с полчаса и вступили в винные края. Справа от них южные склоны холмов зеленели виноградниками, а слева ютилось ветхое селение, прилепившееся, точно брошенный труп, к скале — то тут, то там торчали полуразрушенные дома, словно зубы во рту, где добрая половина их выбита.

Мэр сказал:

— Не будем сворачивать в селение. Проедем еще пятьдесят ярдов, оставим машину и пойдем по тропинке вверх.

— Куда — вверх?

— Они назвали его сеньором Диего. Под конец эти идиоты пришли все же к согласию, что у него наилучшее вино. «Мексиканцы туда еще не добрались»,— сказали они.

— Опять мексиканцы! Я начинаю немного нервничать, Санчо.

— Мужайтесь, отче. Вас не устрашили ветряные мельницы, почему же вас должна устрашить горстка мексиканцев? Вот это, должно быть, нужная нам тропинка, так что оставим машину здесь.

Они пристроили «Росинанта» за «мерседесом», уже узурпировавшим лучшее место.

Не успели они двинуться вверх по тропинке, как навстречу им попался плотный мужчина в элегантном костюме и ярком полосатом галстуке, быстро спускавшийся вниз. Он очень разгневанно что-то бормотал про себя. Они чуть не столкнулись с ним, так как он вдруг остановился и загородил им дорогу.

— Вы идете наверх за вином? — резко спросил он их.

— Да.

— Можете не стараться,— сказал мужчина.— Он сумасшедший.

— Кто сумасшедший? — спросил мэр.

— Сеньор Диего, конечно. Кто же еще? У него там целый погреб хорошего вина, а он не дал мне попробовать ни стакана, хотя я готов был купить десяток ящиков. Он сказал, что ему не нравится мой галстук.

— Ну, насчет вашего галстука мнения могут быть разные,— осторожно заметил мэр.

— Я сам делец, и вот что я вам скажу: так дела не делают. Просто сейчас у меня нет времени искать вино в другом месте.

— А почему такая спешка?

— Да потому, что я обещал вино священнику. А я всегда выполняю обещания. Тот делец хорош, который выполняет обещания. А я обещал священнику добыть вина. Я же дал это обещание церкви.

— А зачем церкви десять ящиков вина?

— Дело не только в том, что я не сдержу обещания. Я могу из-за этого потерять место в крестном ходе. Если, конечно, священник не согласится взять вместо вина деньгами. Чеки он не берет. Пропустите меня, пожалуйста. Не могу я здесь стоять с вами и разговаривать, просто я хотел вас предупредить.

— Ничего не понимаю, что происходит,— заметил отец Кихот.

— Я тоже.

Тропинка кончалась у дома, сильно нуждавшегося в ремонте; под фиговым деревом стоял стол с остатками еще не убранного завтрака. К отцу Кихоту и Санчо поспешно вышел молодой человек в джинсах. Он сказал:

— Сеньор Диего никого сегодня не принимает.

— Да мы зашли только купить немного вина,— сказал мэр.

— Боюсь, это невозможно. Сегодня, во всяком случае. И можете не говорить мне про праздник. Сеньору Диего нет никакого дела до праздника.

— Да нам нужно вино не для праздника. Мы просто путешествуем, и у нас кончились запасы вина.

— Так вы не мексиканцы?

— Нет, мы не мексиканцы,— весьма убежденно произнес отец Кихот.— Смилостивтесь, отче... Нам надо всего несколько бутылок. Мы едем к траппистам в Осеру.

— К траппистам?.. А откуда вы знаете, что я священник?

— Когда бы вы священничали столько лет, сколько я, вы бы тоже сразу признали коллегу. Даже если он без воротничка.

— Это монсеньор Кихот из Эль-Тобосо,— сказал мэр.

— Монсеньор?

— Забудьте про монсеньора, отче. Обычный приходский священник, как, очевидно, и вы.

Молодой человек кинулся к дому. И позвал:

— Сеньор Диего, сеньор Диего! Идите скорее! Монсеньор! У нас тут монсеньор!

— Разве это такая уж редкость — видеть здесь монсеньора? — спросил мэр.

— Редкость? Конечно. Тут все священники сплошь друзья мексиканцев.

— А тот человек, которого мы повстречали на тропинке, он мексиканец?

— Конечно. И притом из плохих. Потому сеньор Диего и не продал ему вина.

— А я подумал, может, из-за его галстука.

На террасу вышел старик, державшийся с большим достоинством. У него было грустное, усталое лицо человека, который слишком долго наблюдает жизнь. Он с минуту поколебался и, приняв неверное решение, протянул обе руки мэру.

— Приветствую вас, монсеньор, в моем доме.

— Нет-нет! — воскликнул молодой священник.— Монсеньор — это тот, другой.

Сеньор Диего сначала протянул руки, а потом уже и обратил взгляд в сторону отца Кихота.

— Вы уж меня простите,— сказал он,— глаза подводят. Я плохо вижу, очень плохо. Только сегодня утром я прогуливался вот с этим моим внуком по винограднику, и сорняки углядел он, не я. Садитесь, пожалуйста, оба, и я сейчас принесу вам немного поесть и выпить.

— Они едут в Осеру к траппистам.

— Трапписты — люди хорошие, а вот вино у них, по-моему, будет похуже; что же до ликера, который они производят... Надо вам взять ящик вина для них, ну и ящик для себя, конечно. Да, никогда еще у меня под этим деревом не бывало монсеньора.

— Садитесь с ними, сеньор Диего,— сказал молодой священник,— а я принесу ветчины и вина.

— Белого и красного — и плошки для всех нас. Мы сейчас устроим праздник получше, чем мексиканцы.— Когда священник удалился и уже не мог его слышать, он добавил: — Если бы все здешние священники были такие, как мой внук... Я мог бы доверить ему даже виноградник. Если бы он не решил стать священником. А все его мать виновата. Мой сын никогда бы этого не допустил. Будь он жив... Я увидел сегодня, как Хосе выдергивает сорняки — я ведь их уже почти не вижу,— и подумал: «Пора и мне и винограднику на покой».

— Это здесь приход вашего внука? — спросил отец Кихот.

— О нет, нет. Он живет в сорока километрах отсюда. Здешние священники выставили его из нашего прихода. Слишком он для них был опасен. Бедняки любили его, потому что он отказывался брать деньги за отходную, когда кто-нибудь умирал. Прочесть отходную — это же пустяк! Пробормотал несколько слов и подавай за это тысячу песет. Словом, священники написали епископу, и хотя нашлись добрые мексиканцы, которые защищали моего внука, его отсюда уб-

рали. Вы бы сами все поняли, если б побыли здесь подольше, увидели бы, до чего у нас священники алчные, как мексиканцы развратили их своими деньгами, с которыми приехали в наш нищий край.

— Мексиканцы, мексиканцы! Да кто они такие, эти мексиканцы?

Молодой священник появился под фиговым деревом с подносом, на котором стояли тарелочки с ветчиной, четыре большие глиняные плошки и бутылки красного и белого вина. Он наполнил плошки вином.

— Начните с белого,— сказал он.— Чувствуйте себя как дома. Мы с сеньором Диего поели еще до прихода мексиканца. Берите ветчину — ветчина хорошая, домашняя. У траппистов вы такой ветчины не получите.

— Но эти мексиканцы... объясните нам, пожалуйста, отче.

— О, они приезжают сюда, и строят здесь богатые дома, и развращают священников видом своего богатства. Они даже считают, что могут купить Пресвятую Деву. Не будем говорить о них. Есть вещи более приятные для беседы.

— Но кто все-таки они, эти мексиканцы?..

— О, среди них есть и хорошие люди. Я этого не отрицаю. Много хороших людей, и все же... я просто не понимаю чего-то. Слишком много у них денег, и слишком долго они отсутствовали.

— Где — в Мексике?

— В Галисии. Вы не берете ветчины, монсеньор. Прошу вас...

— Я так счастлив,— сказал сеньор Диего,— что принимаю под этим фиговым деревом монсеньора... монсеньора...

— Кихота,— подсказал мэр.

— Кихота? Но, конечно же...

— Недостойного потомка,— вставил отец Кихот.

— И ваш друг тоже?..

— Что до меня,— сказал мэр,— то не могу утверждать, что я прямой потомок Санчо Пансы. У нас с Санчо только фамилия одинаковая — вот и все, но, уверяю вас, мы с монсеньором Кихотом пережили несколько презабавных приключений. Даже если их и нельзя сравнить с...

— Это отличное вино,— сказал сеньор Диего,— но, Хосе, пойдика налей нам из второй бочки слева... ну, ты знаешь из которой... потому что только самое лучшее вино достойно быть поданным монсеньору Кихоту и его другу сеньору Санчо. И только лучшим вином мы поднимем тост за то, чтобы сгинули все здешние священники.— И когда отец Хосе ушел, сеньор Диего с великой грустью добавил: — Вот уж никогда не ожидал, что мой внук станет священником.— Отец Кихот увидел, что на глазах у него появились слезы.— О, я вовсе не презираю священников, монсеньор,— разве такое возможно? У нас хороший папа, но как же, должно быть, страдает даже он, когда во время мессы ему каждый день приходится пить такое скверное вино, а другого старики священники, коллеги моего Хосе, не покупают.

— Так ведь во время причастия глотаешь лишь каплю,— сказал отец Кихот,— едва ли тут можно почувствовать вкус. Церковное вино не хуже того, что подают в ресторанах, в бутылках с роскошными этикетками.

— Да, вы совершенно правы, монсеньор. О, ко мне каждую неделю приезжают сюда всякие мерзавцы за вином, чтобы потом смешать мое вино с каким-нибудь другим — они называют это «Риоха» и рекламируют по всем дорогам Испании, а бедняги иностранцы, которые не знают разницы между хорошим вином и плохим, попадаются на удочку.

— А как вы отличаете мерзавца от честного человека?

— По количеству вина, которое он хочет купить, да еще по тому, что они часто не просят даже и попробовать.— И он доба-

вил: — Вот если бы Хосе женился и был бы у него сын! Я начал учить Хосе работать на винограднике, когда ему было всего шесть лет, и вот теперь он знает почти столько же, сколько я, а глаза у него куда лучше моих. Скоро он уже мог бы учить своего сына...

— А вы не можете найти себе хорошего управляющего, сеньор Диего? — спросил мэр.

— Это глупый вопрос, сеньор Санчо, только какой-нибудь коммунист мог бы его задать.

— А я и есть коммунист.

— Вы уж меня извините, я не хочу сказать ничего плохого про коммунистов, которые на своем месте, но в винограднике им не место. Вы, коммунисты, можете посадить управляющих на все цементные заводы в Испании, если вам захочется. Вы можете посадить управляющих на кирпичные заводы и в компании, которые производят оружие, вы можете поставить их во главе газа и электричества, но дать им управлять виноградником нельзя.

— Почему же, сеньор Диего?

— Лоза — она живая, как цветок или птичка. Ее же не человек сделал — человек только помогает ей выжить... или умереть,— добавил он с глубокой грустью, и лицо его словно окаменело. Он закрыл его от всех, как закрывают книгу, которую больше не хотят читать.

— Это лучшее вино, какое есть на свете,— объявил отец Хосе, а они и не слышали, как он подошел и стал наливать вино из большого кувшина им в плошки.

— Ты уверен, что взял вино из той бочки, из какой надо? — спросил сеньор Диего.

— Конечно. Из второй слева.

— Тогда можно выпить за то, чтобы сгинули все здешние священники.

— Может, вы разрешите мне выпить немного этого доброго вина до того, как мы условимся насчет тоста, а то уж очень жажда мучает.

— Конечно, монсеньор. И давайте в таком случае сначала выпьем за другое. За Святого Отца?

— За Святого Отца и его замыслы,— слегка видоизменил тост отец Кихот.— Действительно, великолепное вино, сеньор Диего. Должен признаться, наш кооператив в Эль-Тобосо не производит ничего похожего, хотя наше вино — вполне пристойное тоже. Но ваше не просто пристойное, а прекрасное.

— Я заметил,— сказал сеньор Диего,— что ваш друг не присоединился к нашему тосту. Но конечно же, даже коммунист может выпить за замыслы Святого отца!

— А вы бы выпили за замыслы Сталина? — спросил мэр.— Никто не знает замыслов человека, а потому за них и нельзя пить. Вы думаете, предок монсеньора действительно представлял испанское рыцарство? Таков мог быть его замысел, но все мы превращаем наши замыслы в жестокие пародии.

Отца Кихота поразило то, с какой грустью и горечью мэр это произнес. Он привык видеть мэра напористым — правда, это было, возможно, лишь формой самозащиты, но горечь — это ведь разновидность отчаяния, свидетельство того, что человек сдается, даже, возможно, меняется. И отец Кихот впервые подумал: «Где-то это наше странствие закончится?»

Сеньор Диего сказал внуку:

— Расскажи им, кто такие мексиканцы. Я-то думал, вся Испания знает про них.

— Мы не слыхали о них в Эль-Тобосо.

— Мексиканцы,— сказал отец Хосе,— приехали из Мексики, но все они родились здесь. Они уехали из Галисии, спасаясь от бедности, и, надо сказать, спаслись. Они хотели нажить деньги и нажили,

и вернулись сюда их тратить. Они дают деньги местным священникам и думают, что дают их Церкви. А священников разобрала алчность — они грабят бедняков и грабят богачей, играя на их суеверии. Они хуже мексиканцев. Мексиканцы — те, наверное, в самом деле верят, что могут купить себе доступ в рай. Но кто в этом виноват? Священники-то знают, что это не так, и все же торгуют Пресвятой Девой. Посмотрели бы вы на праздник, который они сегодня отмечают в соседнем городке. Священники выставляют Пресвятую Деву на торги. Четверо мексиканцев, которые больше заплатят, и понесут ее во время процессии.

— Не может быть! — воскликнул отец Кихот.

— Поезжайте туда — увидите сами.

Отец Кихот поставил на стол свою плошку. И сказал:

— Мы должны туда ехать, Санчо.

— Процессия еще не началась. Допейте сначала вино,— посоветовал сеньор Диего.

— Извините, сеньор Диего, но даже ваше лучшее вино потеряло для меня всякий вкус. Вы указали мне мой долг: «Поезжайте туда — увидите сами».

— А что вы можете сделать, монсеньор? Даже сам епископ поддерживает их.

Отец Кихот вспомнил, как он выразился про своего епископа, но удержался и не повторил, зато его так и подмывало сказать словами своего предка: «У меня под плащом припасена для короля такая фига...»

— Я очень вам благодарен за ваше щедрое гостеприимство, сеньор Диего,— сказал он,— но я должен ехать. Вы едете со мною, Санчо?

— Я б хотел еще попить вина сеньора Диего, отче, но не могу же я отпустить вас одного.

— В таком деле, пожалуй, лучше будет, если я поеду туда один на «Росинанте». Я вернусь сюда за вами. Речь ведь идет о чести Церкви, так что вам нет оснований...

— Мы достаточно долго вместе колесили по дорогам, отче, нечего нам расставаться и сейчас.

А сеньор Диего сказал:

— Хосе, поставь два ящика лучшего вина им в машину. Я всегда буду помнить, как я принимал под этим фиговым деревом — хоть и накоротке — потомка великого Дон Кихота.

2

Они поняли, что подъезжают к городку, когда стали обгонять крестьян, шедших по дороге на праздник. Городок оказался совсем маленький, чуть больше деревушки, и они издали увидели церковь на холме. Они проехали мимо банка — «Банко Испано-Американо», который был закрыт, так же как и все лавки.

— Какой большой банк для такого маленького местечка,— заметил мэр, после чего они миновали еще пять банков.— Мексиканские денежки,— добавил он.

— Бывают минуты,— сказал отец Кихот — когда мне хочется назвать вас compañero [1], но дело до этого пока еще не дошло, не дошло.

— Что вы собираетесь делать, отче?

— Не знаю. Я боюсь, Санчо.

— Боитесь их?

— Нет-нет, боюсь себя.

— Почему вы останавливаетесь?

---

[1] Товарищ *(исп.)*.

— Дайте сюда мой pechera. Он за вами, у заднего стекла. И мой воротник тоже.

Отец Кихот вылез из машины и на глазах у небольшой группы ротозеев принялся одеваться. Он чувствовал себя как актер, одевающийся в своей уборной на глазах у друзей.

— Мы идем на битву, Санчо. Мне нужны мои доспехи. Даже если они столь же нелепы, как Мамбринов шлем.— Он снова сел за руль «Росинанта» и произнес: — Теперь я чувствую себя более готовым к битве.

Перед церковью собралось человек, должно быть, сто. Большинство из них составляли бедняки, и они смущенно расступились, пропуская отца Кихота и Санчо на лучшие места, ближе ко входу, где стояли мужчины и женщины хорошо одетые — наверное, торговцы или банковские служащие. Проходя мимо расступившихся бедняков, отец Кихот спросил одного из них:

— Что у вас тут происходит?

— Да торги уже кончились, монсеньор. Сейчас Пресвятую Деву вынесут из церкви.

А другой сказал:

— Нынче они прошли лучше, чем в прошлом году. Видали бы вы, сколько денег собрали.

— Начали-то торги с тысячи песет.

— А последний выложил сорок тысяч.

— Нет-нет, тридцать.

— То был предпоследний. В жизни б не подумал, что во всей Галисии найдется такая куча денег.

— Ну а тот, который всех обскакал? — спросил отец Кихот.— Что же он получает?

Один из присутствующих расхохотался и сплюнул.

— Отпущение грехов. В общем-то недорого ему это обошлось.

— Не слушайте его, монсеньор. Он все святое высмеивает. Тот, который всех обскакал,— и это справедливо,— он получит самое лучшее место, когда понесут Пресвятую Деву. Знаете, какое у нас тут состязание за эту привилегию.

— И какое же место самое лучшее?

— Впереди, справа.

— В прошлом году,— доложил шутник,— у нас было только четверо носильщиков. А в этом году священник сделал паланкин побольше, так что его понесут уже шестеро.

— И последние двое заплатили всего по пятнадцать тысяч.

— Так у них грехов поменьше. На будущий год, вот увидишь, будет уже восемь носильщиков.

Отец Кихот протиснулся ближе ко входу в церковь.

Какой-то человек дернул его за рукав. В руке он держал две монеты по пятьдесят песет.

— Монсеньор, не дадите мне сто песет бумажкой?

— Зачем она тебе?

— Да хочу пожертвовать Пресвятой Деве.

В церкви запели гимн, и отец Кихот почувствовал, как напряглась в ожидании толпа.

Он спросил:

— А монет Пресвятая Дева не примет?

Над толпой появилась, раскачиваясь, голова в короне, и отец Кихот в едином порыве со всеми, кто стоял вокруг, перекрестился. Монеты выскользнули из пальцев его соседа, и он кинулся подбирать их с земли. Между головами отец Кихот на секунду увидел одного из носильщиков. Это был человек в полосатом галстуке. Тут толпа расступилась, давая дорогу, и перед отцом Кихотом на мгновение предстала вся статуя.

Он не мог поверить тому, что увидел. Покоробил его не привычный вид фигуры с гипсовым лицом и застывшими голубыми глазами, а то, что статуя была вся одета бумажками. Какой-то человек, оттолкнув отца Кихота, потянулся к ней, помахивая бумажкой в сотню песет. Носильщики остановились, чтобы он мог приколоть банкнот к одежде статуи. А ее одежды даже и не видно было из-за бумажных купюр — банкноты в сто песет, в тысячу песет, пятисотфранковые, и на сердце — стодолларовая бумажка. Между отцом Кихотом и статуей находился лишь священник да струя ладана из его кадила. Отец Кихот смотрел на увенчанную короной голову, видел остекленевшие, словно у женщины, умершей и забытой, глаза — никто даже не потрудился закрыть ей веки. Он подумал: «Неужели ради этого она смотрела на то, как в муках умирал ее сын? Чтобы потом собирать деньги? Чтобы на этом разбогател какой-то священник?»

Мэр — а отец Кихот совсем забыл, что позади него стоит мэр,— сказал:

— Пошли отсюда, отче.

— Нет, Санчо.

— Только не делайте глупостей.

— О, вы говорите со мной совсем как тот, другой Санчо, и я отвечу вам так, как сказал мой предок, когда увидел великанов, а вы утверждали, что это были ветряные мельницы: «Если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись»[1].

Выступив на два шага вперед, он встал перед священником, раскачивавшим кадило, и сказал:

— Это же богохульство!

Священник повторил:

— Богохульство?..— Потом, заметив, что на отце Кихоте воротничок и пурпурный pechera, добавил:—...монсеньор.

— Да. Богохульство. Если вам известно значение этого слова.

— О чем вы, монсеньор? У нас сегодня праздник. Наш престольный праздник. С благословения епископа.

— Какого епископа? Да ни один епископ не разрешил бы...

Тут вмешался носильщик в ярком галстуке.

— Этот человек мошенник, отче. Я сегодня уже видел его. На нем тогда не было ни pechera, ни воротничка, и он покупал вино у этого безбожника, сеньора Диего.

— Вы высказали свое возмущение, отче,— сказал мэр.— Пошли отсюда.

— Позовите жандармов! — крикнул мексиканец толпе.

— Да вы же, вы...— начал было отец Кихот, но от гнева никак не мог найти нужного слова.— Опустите Пресвятую Деву! Да как вы смеете,— сказал он, обращаясь к священнику,— одевать ее деньгами? Уж лучше бы несли ее по улице голой.

— Сбегайте же за жандармами! — повторил мексиканец, но все разворачивалось настолько интересно, что никто в толпе не шелохнулся.

Вольнодумец выкрикнул:

— Спросите его, на что пойдут эти деньги!

— Ради бога, пошли отсюда, отче.

— Шествие продолжается! — скомандовал священник.

— Через мой труп,— заявил отец Кихот.

— Да кто вы такой? Какое право вы имеете прерывать наш праздник? Как вас зовут?

Отец Кихот помедлил. Ему не хотелось использовать свой сан, на который, по его мнению, он не имел настоящего права. Но любовь

---

[1] Мигель де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, ч. 1, гл. VIII *(перевод Н. Любимова).*

к женщине, чья статуя колыхалась над ним, восторжествовала над его сдержанностью.

— Я монсеньор Кихот из Эль-Тобосо,— твердо объявил он.

— Это вранье,— сказал мексиканец.

— Вранье или не вранье, но вы не имеете никаких прав в этой епархии.

— Я имею право, как любой католик, бороться с богохульством.

— Спросите все-таки его, на что пойдут эти деньги,— снова послышался голос из толпы, показавшийся отцу Кихоту слишком уж нахальным, но человек не всегда может выбирать себе союзников. И отец Кихот шагнул вперед.

— Правильно! Вдарь ему! Он же только священник. У нас теперь республика.

— Позовите жандармов! Этот человек — коммунист! — Это произнес мексиканец.

Священник взмахнул кадилом между статуей и отцом Кихотом, видимо в надежде, что дым заставит его отступить, и кадило ударило отца Кихота по голове. Струйка крови загогулиной окружила его правый глаз.

— Пойдемте же, отче,— упрашивал его мэр.

Отец Кихот оттолкнул в сторону священника. И сдернул с одежды статуи стодолларовую бумажку, порвав при этом и платье, и бумажку. С другой стороны был приколот пятисотфранковый банкнот. Он легко оторвался, и отец Кихот отшвырнул его прочь. Несколько стопесетовых бумажек разорвались в клочья у него в руках. Он скомкал их и бросил в толпу. Вольнодумец приветствовал это криком «ура» — его поддержали три или четыре голоса. Мексиканец опустил на землю свой конец паланкина, и все сооружение накренилось, так что корона съехала у Пресвятой Девы, как у пьяной, на левый глаз. Вся тяжесть переместилась на другого мексиканца, тот не выдержал и тоже опустил свой конец паланкина — Пресвятая Дева с треском рухнула на землю. Это уже походило на конец оргии. Вольнодумец во главе небольшой группы ринулся спасать банкноты — началась потасовка с носильщиками.

Схватив отца Кихота за плечо, мэр вытолкнул его из толпы. Один только мексиканец в ярком галстуке заметил это и заорал, перекрывая шум драки:

— Вор! Богохульник! Мошенник! — Перевел дух и добавил: — Коммунист!

— На сегодня хватит,— сказал мэр.

— Куда вы меня тащите? Извините. Я что-то ничего не соображаю...— Отец Кихот приложил руку к голове и увидел, что она в крови.— Меня что, кто-то ударил?

— Без кровопролития революции не бывает.

— Я, право же, не собирался...— Совершенно сбитый с толку, отец Кихот позволил мэру отвести себя к тому месту, где их ждал «Росинант».— У меня немного кружится голова,— сказал он.— Не знаю отчего.

Мэр оглянулся. Он увидел, что мексиканец, выбравшись из драки, говорит что-то священнику, размахивая руками.

— Залезайте быстрее,— сказал мэр,— нам надо отчаливать.

— Только не сюда. Я же должен вести «Росинанта».

— Вы не можете вести машину. Вы пострадавший.

— Но он не любит чужой руки.

— Мои руки для него уже не чужие. Разве не я вел «Росинанта» всю дорогу до Эль-Тобосо к вам на выручку?

— Только, пожалуйста, не переутомите его. Он ведь старенький.

— Ничего, еще достаточно молоденький, чтобы делать по сто километров в час.

Отец Кихот уступил и не стал больше спорить. Он откинулся на сиденье, насколько позволял «Росинант». После вспышки гнева он всегда чувствовал себя опустошенным — особенно от мыслей, которые лезли в голову.

— О господи, о господи,— произнес он.— Что-то скажет епископ, если до него это дойдет?

— Безусловно дойдет, но меня больше волнует, что скажут жандармы... или что сделают.

Стрелка спидометра подходила к ста километрам.

— Вы же вызвали бунт. Это самое серьезное из ваших преступлений. Надо нам искать убежище.— И мэр добавил: — Я бы предпочел Португалию, но Осерский монастырь — все-таки лучше, чем ничего.

Они проехали молча еще с полчаса, прежде чем мэр снова раскрыл рот.

— Вы не спите?

— Нет.

— Что-то это непохоже на вас — чтобы вы так долго молчали.

— Меня мучает одно безусловное проявление закона природы. Просто необходимо облегчиться.

— А вы не можете потерпеть еще полчаса? Мы как раз приедем в монастырь.

— Боюсь, что не могу.

Мэр нехотя остановил «Росинанта» возле поля, на котором было что-то, похожее на древний кельтский крест. Пока отец Кихот облегчался, мэр разбирал почти стершуюся надпись на кресте.

— Вот так-то оно лучше. Теперь я снова могу разговаривать,— сообщил ему, вернувшись, отец Кихот.

— Очень странно,— сказал мэр.— Вы заметили в поле этот старый крест?

— Да.

— Оказывается, он не такой уж и старый. На нем значится: тысяча девятьсот двадцать восьмой год, и поставлен он в этом поле в память о школьном инспекторе. Но почему тут? И почему в память о школьном инспекторе?

— Возможно, он погиб на этом месте. В автомобильной аварии?

—А может быть, от рук жандармов,— произнес мэр и взглянул в свое зеркальце, но дорога позади них была пуста.

IV

О том, как монсеньор Кихот воссоединился со своим предком

1

Огромное серое здание Осерского монастыря стоит почти в полном одиночестве во впадине Галисийских холмов. Все селение Осера состоит из лавчонки и бара у самого входа в монастырские угодья. Резные каменные стены шестнадцатого века скрывают строения двенадцатого века: внушительная лестница метров двадцати в ширину, по которой мог бы подняться плечом к плечу целый взвод, ведет к длинным коридорам вокруг главного двора, где над аркадами расположены комнаты для гостей. Днем тут можно услышать лишь стук молотков полудюжины каменотесов, залечивавших раны, нанесенные зданию за семь веков. Время от времени промелькнет фигура в белых одеждах, спешащая, видимо, по какому-то серьезному делу, да из темных углов глянут на вас деревянные статуи пап и рыцарей, чей орден основал здесь монастырь. С наступлением темноты они словно оживают, как это обычно бывает с печальными воспоминаниями. У посетителя возникает впечатление, что он попал на заброшен-

ный остров, где лишь недавно высадилась небольшая группа искателей приключений, которые и принялись обживать развалины отошедшей в прошлое цивилизации.

Двери церкви, ведущие на небольшую площадь перед монастырем, открываются лишь в часы, отведенные для посетителей, а также во время воскресной мессы, монахи же пользуются своей лестницей, что ведет из коридора, соединяющего комнаты для гостей, вниз, в высокий, как в соборе, неф. Только в часы, выделенные для посетителей, или когда приезжают гости, среди древних камней звучат человеческие голоса — словно причалило экскурсионное судно и высадило на берег несколько туристов.

2

Отец Леопольдо прекрасно понимал, что приготовил для гостя очень плохой обед. Он не питал иллюзий насчет своих кулинарных способностей, но его братья-трапписты привыкли и к худшему, да, собственно, жаловаться у них не было оснований — ведь каждому в свою очередь приходилось этим заниматься, и у кого получалось лучше, а у кого и хуже. Тем не менее большинство гостей привыкли, наверное, к лучшей кухне, и отец Леопольдо чувствовал себя глубоко несчастным, вспоминая о том, какой обед он подал в тот день, тем более что он действительно высоко ставил единственного находившегося у них в тот момент гостя — профессора испанистики из американского университета Нотр-Дам. Профессор Пилбим, судя по тарелкам, съел не более одной-двух ложек супа и почти не притронулся к рыбе. Мирской брат [1], помогавший отцу Леопольдо на кухне, многозначительно поднял брови, когда от профессора принесли тарелки, и подмигнул отцу Леопольдо. Когда дан обет молчания, подмигивание вполне может заменить слово, а никто в этом монастыре не давал обета исключить все формы общения друг с другом — не разрешалось только пользоваться голосом.

Отец Леопольдо был рад, когда наконец мог уйти из кухни и отправиться в библиотеку. Он надеялся найти там профессора, чтобы извиниться перед ним за обед. С гостями разрешалось разговаривать, и отец Леопольдо был уверен: профессор Пилбим поймет, что он по рассеянности переложил соли. Думал он в тот момент — как это очень часто с ним бывало — о Декарте. Присутствие профессора Пилбима, который уже вторично приезжал в Осеру, лишило отца Леопольдо спокойствия духа и, вырвав из однообразия его жизни, ввергло в более смутный мир, мир возвышенных раздумий. Профессор Пилбим был, пожалуй, величайшим среди живых авторитетов по Игнатию Лойоле и его трудам, а любая интеллектуальная дискуссия, даже на такую малопривлекательную тему, как святой иезуит, была для отца Леопольдо подобна куску хлеба для голодного. Тут и таилась опасность. В монастыре нередко гостили молодые люди великой набожности, вообразившие, что они призваны вести жизнь траппистов, и они неизменно раздражали отца Леопольдо своим невежеством, да и чрезмерным уважением обета молчания, который, по их мнению, был великой жертвой с его стороны. Их одолевала романтическая жажда принести в жертву и свою жизнь. Он же, придя сюда, обрел лишь весьма шаткий покой души.

Профессора в библиотеке не оказалось; отец Леопольдо сел и снова стал думать о Декарте. Это Декарт из скептика превратил его в служителя Церкви — точно так же, как он привел в лоно Церкви шведскую королеву. Декарт, безусловно, не пересолил бы супа и не пережарил бы рыбы. Декарт был человеком практического склада:

---

[1] Мирской брат — член общества при монастыре; устав общества близок к орденскому, но позволяет братьям иметь семью.

это он изобрел очки, стремясь облегчить жизнь теряющим зрение, и кресло на колесиках, чтобы помочь калекам. В молодости отец Леопольдо и не помышлял стать священником. Он привязался к Декарту, не думая о том, куда это может его завести. Следуя Декарту, он в поисках абсолютной истины все ставил под сомнение и под конец, как и Декарт, принял то, что казалось ему ближе всего к истине. Тогда-то он и совершил великий прыжок — куда больший, чем Декарт,— прыжок в мир тишины Осеры. Он не страдал здесь, если не считать истории с супом и с рыбой, тем не менее радовался возможности поговорить с умным человеком, пусть даже о святом Игнатии, а не о Декарте.

Поскольку профессор Пилбим все не появлялся, отец Леопольдо прошел по коридору вдоль комнат для гостей и спустился в большую церковь, которая в этот час, когда двери с улицы в нее закрыты, должна была быть пустой. В часы, когда в церковь не пускали туристов, там бывало мало народу, даже по воскресеньям, так что отец Леопольдо, входя в нее, как бы входил в родной дом, где нет посторонних. Он мог молиться там как хотел, и он часто читал там молитвы по Декарту, а иногда даже молился Декарту. Церковь была плохо освещена, и когда отец Леопольдо вошел туда со стороны монастыря, он сначала не узнал мужчину, который стоял, разглядывая довольно нелепую фреску, изображавшую голого человека, застрявшего в терновнике. Когда же стоявший заговорил с американским акцентом, отец Леопольдо понял, что это профессор Пилбим.

— Я знаю, что вы не очень любите святого Игнатия,— сказал он,— но ведь он был хорошим солдатом, хороший же солдат не стал бы бросаться в терновник, а нашел бы способ причинить себе страдания более целесообразным путем.

Отец Леопольдо оставил мысль об уединенной молитве, к тому же редкая возможность побеседовать была куда важнее. Он сказал:

— Я не уверен, что святого Игнатия так уж занимала проблема целесообразности. Солдат ведь может быть и большим романтиком. Потому, мне кажется, он и стал национальным героем. Все испанцы — романтики, поэтому мы иногда и принимаем ветряные мельницы за великанов.

— Ветряные мельницы?

— Вы же знаете, что один из наших великих современных философов сравнил святого Игнатия с Дон Кихотом. У них было много общего.

— Я с детства не перечитывал Сервантеса. Мне он представляется слишком уж большим выдумщиком. А времени заниматься вымыслами у меня нет. Я предпочитаю факты. Если бы мне удалось откопать хоть один дотоле неизвестный документ о святом Игнатии, я умер бы счастливым человеком.

— Факты и вымысел — между ними не всегда легко провести грань. Вы ведь католик...

— Боюсь, довольно номинальный, отче. Просто я не потрудился изменить этикетку, с которой появился на свет. Ну и, конечно, то, что я католик, помогает мне в моих изысканиях — это открывает передо мною двери. А вот вы, отец Леопольдо, изучаете Декарта. Как мне представляется, это едва ли открывает вам много дверей. Что привело вас сюда?

— Видимо, Декарт привел меня к тому, к чему пришел и сам — к вере. Факты или вымысел — в конечном счете провести между ними грань невозможно... приходится выбирать.

— Да, но чтобы стать траппистом?

— Я думаю вы знаете, профессор, что, когда прыгаешь, гораздо безопаснее прыгать в глубокую воду.

— И вы не сожалеете?..

— Всегда найдется многое, о чем можно сожалеть, профессор. Сожаление — часть жизни. Нельзя избежать сожалений, даже находясь в монастыре двенадцатого века. Вот вы можете в своем университете их избежать?

— Нет, но я уже давно решил, что я не из тех, кто совершает прыжки.

Фраза эта прозвучала совсем не ко времени, ибо как раз в этот момент профессор так и подпрыгнул от звука взрыва, раздавшегося за стенами; через несколько секунд за ним последовали еще два, а затем треск.

— У кого-то лопнула шина! — воскликнул профессор Пилбим.— Боюсь, произошла авария.

— Это не шина,— сказал отец Леопольдо.— Это были выстрелы.— Он кинулся к лестнице, крикнув через плечо: — Двери в церковь заперты. Следуйте за мной.— Он побежал по коридору вдоль комнат для гостей со всею скоростью, какую позволяло ему длинное одеяние, и, с трудом переводя дух, выскочил на площадку наверху большой парадной лестницы. Профессор не отставал от него.— Пойдите разыщите отца Энрике. Скажите, чтобы он открыл двери в церковь. Если кто-то пострадал, нам не втащить его по этой лестнице.

Отец Франциско, ведавший лавочкой у входа, выскочил из нее, бросив свои открытки, четки и бутылочки с ликером на произвол судьбы. Вид у него был испуганный, и, чтобы не нарушать обета молчания, он взмахнул рукою, указывая на дверь.

Маленький «сеат» стоял у церкви, врезавшись в нее. Двое жандармов, выскочившие из джипа, осторожно направлялись к машине с револьверами на прицеле. Какой-то человек с залитым кровью лицом пытался открыть дверцу «сеата». Он гневно бросил жандармам:

— Да подойдите же, помогите открыть эту дверцу, убийцы. Мы не вооружены.

Отец Леопольдо спросил:

— Вы ранены?

— Конечно, ранен. Но это ерунда. По-моему, они убили моего друга.

Жандармы спрятали револьверы. Один из них сказал:

— Мы же стреляли в шины.

Другой пояснил:

— Нам было приказано. Этих людей разыскивают за устройство бунта.

Отец Леопольдо заглянул внутрь сквозь разбитое ветровое стекло. Увидев пассажира, он воскликнул:

— Но это же священник! — И через мгновение: — Монсеньор!

— Да,— возмущенно подтвердил незнакомец,— монсеньор... и если бы монсеньор не остановился по нужде, мы бы уже находились в безопасности у вас в монастыре.

Жандармам наконец удалось открыть дверцу со стороны пассажира.

— Он живой,— сказал один из них.

— Нет — по вашей милости.

— Вы оба арестованы. Садитесь в джип, а мы сейчас вытащим вашего дружка.

Тут двери церкви распахнулись, и к ним вышел профессор Пилбим.

Отец Леопольдо сказал:

— Они оба ранены. Вы не можете в таком виде их забрать.

—Их разыскивают за устройство бунта и кражу денег.

— Какая ерунда! Этот человек в машине — монсеньор. А монсеньоры не крадут денег. Как зовут вашего друга? — спросил отец Леопольдо у незнакомца.

— Монсеньор Кихот.

— Кихот?! Такого не может быть,— заметил профессор Пилбим.

— Монсеньор Кихот из Эль-Тобосо. Отпрыск самого великого Дон Кихота.

— У Дон Кихота не было отпрысков. Откуда им взяться? Это же вымышленная фигура.

— Вот опять, профессор, факты и вымысел. Видите, как трудно их разграничить,— заметил отец Леопольдо.

Жандармам тем временем удалось вытащить отца Кихота из разбитой машины, и они положили его на землю. Он пытался что-то сказать. Незнакомец нагнулся к нему.

— Если он умрет,— сказал он жандармам,— ей-богу, уж я заставлю вас за это заплатить.

Один из жандармов смутился, а другой резко спросил:

— Ваша фамилия?

— Санкас, Энрике, но монсеньор,— и он так прокатил «р», точно выбивал дробь на барабане,— предпочитает звать меня Санчо.

— Профессия?

— Я бывший мэр Эль-Тобосо.

— Ваши документы.

— Можете их посмотреть, если найдете среди обломков.

— Сеньор Санкас,— обратился к нему отец Леопольдо,— вы не можете разобрать, что пытается сказать монсеньор?

— Он спрашивает, не пострадал ли «Росинант».

— «Росинант»? — воскликнул профессор Пилбим.— Но ведь так звали лошадь!

— А он имеет в виду машину. Я не смею сказать ему правду. Это может оказаться для него слишком тяжелым ударом.

— Профессор, не позвоните ли вы в Оренсе и не попросите ли прислать врача? Отец Франсиско знает номер.

Угрюмый жандарм сказал:

— Насчет доктора мы сами позаботимся. Мы их везем в Оренсе.

— В таком состоянии вы их не повезете. Я это запрещаю.

— Мы пришлем за ним «скорую помощь».

— Можете, если угодно, присылать вашу «скорую помощь», но ей придется долго ждать: эти двое останутся здесь, в монастыре, до тех пор, пока врач не разрешит им уехать. Я поговорю с епископом в Оренсе, и, уверен, он кое-что скажет вашему командиру. И не смейте наставлять на меня вашу пушку.

— Мы поедем и обо всем доложим,— заявил другой жандарм.

Тут вернулся профессор Пилбим с каким-то монахом. Они несли матрас. Профессор сказал:

— Отец Франсиско сейчас звонит. А это мы принесли вместо носилок.

Отца Кихота с трудом переложили на матрас, и они вчетвером внесли его в церковь и пошли с ним по нефу. Он что-то бормотал — возможно молитвы, а возможно и проклятья. Когда они свернули перед алтарем к лестнице, он попытался перекреститься, но так и не сумел завершить крестное знамение. Он снова лишился чувств. Лестница оказалась для носильщиков серьезным испытанием, и наверху они вынуждены были остановиться, чтобы передохнуть.

Профессор Пилбим сказал:

— Кихот — это не испанская фамилия. Сам Сервантес сказал, что подлинное имя его героя скорее всего было Квексана и что жил он не в Эль-Тобосо.

Мэр сказал:

— Так и монсеньор Кихот родился не там.

— А где же он родился?

Мэр процитировал:

— «В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать» [1].

— Но вся эта история нелепа. А Росинант...

Отец Леопольдо сказал:

— Давайте сначала осторожно положим его на кровать в третьей комнате для гостей, а потом будем обсуждать сложное различие между фактом и вымыслом.

Тут отец Кихот открыл глаза.

— Где я? — спросил он.— Мне казалось... мне казалось... я был в церкви.

— Вы и были там, монсеньор. В Осерской церкви. А сейчас мы несем вас в комнату для гостей, где вы сможете поспать на удобной кровати, пока не приедет доктор.

— Опять доктор! О господи, господи, неужели у меня так плохо со здоровьем?..

— Немножко отдохнете — и снова станете прежним.

— Я подумал... в церкви... а потом была лестница... я подумал, если бы мне только отслужить мессу...

— Возможно... завтра... когда вы отдохнете.

— Слишком давно я не служил мессы. Болел... странствовал...

— Не волнуйтесь, монсеньор. Может быть, завтра.

Они благополучно донесли его до отведенной ему комнаты, а вскоре приехал доктор из Оренсе и сказал им, что, по его мнению, у отца Кихота нет ничего серьезного — шок и небольшая рана на голове от разбившегося ветрового стекла. Конечно, в его возрасте... Завтра, сказал доктор, он обследует его более тщательно. Возможно, потребуется рентген. А пока больному необходим покой. Куда больших забот требовал мэр — больших во многих отношениях, ибо, когда доктор покончил с ним (а ему было наложено более полудюжины швов), из Оренсе позвонил начальник жандармов. Жандармы позвонили в Ламанчу и навели справки об отце Кихоте — тамошний епископ сказал им, что это действительно монсеньор (произведенный в сан Святым Отцом по какому-то недоразумению), но он психически не вполне здоров и не отвечает за свои поступки. Что же до его спутника, тут дело обстоит иначе. Он действительно был мэром Эль-Тобосо, но на последних выборах потерпел поражение, к тому же он отъявленный коммунист.

По счастью, у телефона оказался отец Леопольдо. Он сказал:

— Нас в Осере не интересуют политические взгляды. Он пробудет здесь до тех пор, пока не выздоровеет и не сможет двинуться в путь.

3

Доктор дал отцу Кихоту успокаивающее. Он заснул глубоким сном и проснулся только в час ночи. А проснувшись, никак не мог понять, где находится. Он позвал: «Тереса!» — но ответа не последовало. Откуда-то доносились голоса — мужские голоса, и ему пришла в голову мысль, что это отец Эррера и епископ беседуют о нем в гостиной. Он вылез из постели, но ноги не держали его; тогда он снова опустился на кровать и на этот раз уже более настойчиво позвал Тересу.

Вошел мэр и следом за ним — отец Леопольдо. Профессор Пилбим остался стоять в дверях.

— У вас что-нибудь болит, монсеньор? — осведомился отец Леопольдо.

— Пожалуйста, не зовите меня монсеньором, доктор Гальван.

---

[1] Мигель де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский, ч. 1, гл. 1 *(перевод Н. Любимова)*.

Я ведь не имею теперь права даже служить мессу. Епископ запретил. Он бы с удовольствием даже сжег мои книги.

— Какие книги?

— Мои любимые. Святого Франциска Сальского, святого Августина, сеньориту Мартен из Лизье. Боюсь, он не оставит мне даже апостола Иоанна.— Он поднес руку к забинтованной голове.— Я рад, что вернулся в Эль-Тобосо. Но может быть, как раз в эту минуту на улице отец Эррера сжигает мои книги.

— Не волнуйтесь. Через день-другой... отче... вы снова почувствуете себя самим собою. А сейчас вам нужен покой.

— Это трудно — лежать в покое, доктор. Столько всего в моей голове просится наружу. Вы во всем белом... вы не собираетесь меня резать?

— Конечно нет,— заверил его отец Леопольдо,— только дадим вам еще одну таблетку, чтобы вы спали.

— Как, Санчо, это вы? Рад вас видеть. Вы, значит, сумели добраться домой. А как «Росинант»?

— Очень устал. Отдыхает сейчас в гараже.

— Какие мы с ним оба старые. Я вот тоже устал.

Он без возражений проглотил таблетку и почти тотчас заснул.

— Я посижу с ним,— сказал Санчо.

— А я побуду с вами. Я не смогу заснуть после всех этих волнений,— сказал отец Леопольдо.

— А я ненадолго прилягу,— сказал профессор Пилбим.— Вы знаете мою комнату. Разбудите меня, если я вам понадоблюсь.

Часов около трех утра отец Кихот что-то произнес и вывел их обоих из неглубокого сна. Он сказал:

— Ваше преосвященство, агнец, возможно, и способен усмирить слона, но я очень вас прошу, помяните коз в ваших молитвах.

— Он видит сон или бредит? — поинтересовался отец Леопольдо.

Санчо сказал:

— Я что-то припоминаю...

— Вы не имеете права жечь мои книги, ваше преосвященство. Умоляю вас, пусть я погибну от меча, но не от булавочных уколов.— Последовала короткая пауза. Затем: — Пукнуть,— сказал отец Кихот,— можно и мелодично.

— Боюсь,— прошептал отец Леопольдо,— что он в куда худшем состоянии, чем сказал нам доктор.

— Мамбрино,— послышалось из постели,— Мамбринов шлем. Дайте мне его.

— Что такое Мамбринов шлем?

Санчо сказал:

— Так назывался тазик цирюльника, который надел себе на голову Дон Кихот. Его предок, как он считает.

— Профессору, по-моему, это представляется абсурдом.

— Как и епископу, так что я склонен думать, что это правда.

— Каюсь и прошу прощения за полбутылки. Я согрешил перед Святым Духом.

— Что он хочет этим сказать?

— Слишком долго объяснять сейчас.

— Человек многому научился от животных: от аиста перенял идею клизмы, от слонов — целомудрие, от лошади — верность.

— Будто читает святого Франциска Сальского,— прошептал отец Леопольдо.

— Нет. По-моему, это из Сервантеса,— поправил их профессор Пилбим, входя в комнату.

На какое-то время воцарилась тишина.

— Он снова заснул,— прошептал отец Леопольдо.— Может быть, когда проснется, он будет чувствовать себя поспокойнее.

— Молчание у него — не признак спокойствия,— сказал Санчо.— Иной раз оно означает смятение духа.

Однако голос, раздавшийся из постели, звучал громко и твердо:

— Я не предлагаю тебе быть губернатором, Санчо. Я предлагаю тебе царство.

— Скажите ему что-нибудь,— попросил отец Леопольдо.

— Царство? — переспросил Санчо.

— Пойдем со мной, и ты обретешь царство.

— Я никогда не расстанусь с вами, отче. Мы для этого слишком уже долго с вами странствуем.

— Вот такие подскоки, значит, и есть любовь.

Отец Кихот сел в постели и отбросил простыню.

— Вы осудили меня, ваше преосвященство, запретили служить мессу даже приватно. Это позор. А я ведь ничем перед вами не провинился. И я повторю вам в лицо те слова, которые сказал доктору Гальвану: «Пошел он к такой-то матери, этот епископ».— Отец Кихот опустил ноги на пол, пошатнулся, затем обрел равновесие.— По таким подскокам,— повторил он,— узнается любовь.

Он подошел к двери и повозился с ручкой. Затем повернулся и посмотрел сквозь находившихся в комнате так, точно они все трое были стеклянные.

— Нет воздушных шариков,— заметил он с глубокой грустью,— нет воздушных шариков.

— Идите за ним,— сказал отец Леопольдо мэру.

— А не стоит его разбудить?

— Нет. Это может быть опасно. Пусть до конца проживет свой сон.

Отец Кихот медленно и осторожно вышел в коридор и направился к большой лестнице, но, возможно, воспоминание о том, как его несли из церкви, заставило его остановиться. Он повернулся к одной из деревянных раскрашенных фигур — папе или рыцарю? — и совершенно здраво спросил:

— Это путь в вашу церковь?

Казалось, он получил ответ, так как повернулся и, молча пройдя мимо Санчо, на сей раз направился прямиком к внутренней лестнице. И все трое осторожно, чтобы его не потревожить, пошли за ним.

— А что, если он свалится с лестницы? — прошептал мэр.

— Разбудить его еще опаснее.

Отец Кихот привел их в большую темную церковь, освещенную лишь месяцем, глядевшим в восточное окно. Он твердым шагом прошел к алтарю и стал читать старинную латинскую мессу, но в каком-то странно усеченном виде. Начал он с возгласа!

— «Et introibo ad altare Dei, qui laetificat juventutem meam» [1].

— Сознает ли он, что делает? — шепотом спросил профессор Пилбим.

— Это одному богу известно,— ответил отец Леопольдо.

А отец Кихот продолжал быстро читать мессу — опустил послания апостолов, опустил Евангелие, словно стремился быстрее добраться до освящения даров. «Потому что боится, как бы епископ не прервал его? — подумал про себя мэр.— Или жандармы? Он даже длинный перечень святых от Петра до Дамиана — и тот опустил».

— Когда он обнаружит, что нет ни дискоса, ни чаши, то наверняка проснется,— заметил отец Леопольдо.

Мэр сделал несколько шагов к алтарю. Он боялся, что в момент пробуждения отец Кихот может упасть, и ему хотелось быть рядом, чтобы подхватить его.

---

[1] Подхожу к алтарю божию, который был мне радостью в моей юности *(лат.)*.

— «Кто накануне того дня, когда Он принял страдания, разломил хлеб...» — Казалось, отец Кихот не замечал, что на алтаре не было ни гостии, ни дискоса. Он воздел к небу пустые руки.— «Hoc est enim corpus meum» [1].— И твердо, без единой запинки дочитал мессу до освящения несуществующего вина в несуществующей чаше.

Когда раздались слова, сопутствующие освящению, отец Леопольдо и профессор по привычке опустились на колени; мэр же продолжал стоять. Он хотел быть наготове на случай, если отец Кихот пошатнется.

— «Hic est enim calix sanguinis mei» [2].— Пустые руки округлились в воздухе, как бы охватывая несуществующую чашу.

— Что это — сон? Бред? Безумие? — шепотом вопросил профессор Пилбим.

Мэр еще на несколько шагов приблизился к алтарю. Он боялся отвлечь отца Кихота. Пока он произносит латинские слова, он по крайней мере счастлив в своем сне.

За годы, прошедшие с юности, когда мэр учился в Саламанке, он почти забыл мессу. В его голове остались только какие-то ключевые моменты, которые в те далекие времена воздействовали на его чувства. Отец Кихот, видимо, страдал такими же пробелами в памяти — произнося все эти годы почти автоматически, наизусть слова мессы, он помнил только эти фразы, которые, подобно ночникам в детстве, озаряли темную комнату его привычки.

Так он вспомнил «Отче наш»; оттуда память его перескочила на «Agnus Dei» [3].

— «Agnus Dei Qui tollis peccata mundia»[4].— Он помолчал и потряс головой. На секунду мэру показалось, что отец Кихот выходит из своего сна. А он прошептал совсем тихо, так что только мэр услышал: — Агнец господень, но ведь козы-то, козы...— И затем перешел к молитве римского центуриона: — «Господь, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой... скажи слово, и выздоровеет слуга твой».

Приближался момент причащения. Профессор сказал:

— Когда он обнаружит, что причащаться нечем, то безусловно проснется.

— Не уверен,— откликнулся отец Леопольдо. И добавил: — Я не уверен, проснется ли он вообще.

Несколько секунд отец Кихот молчал. Он стоял, слегка раскачиваясь, перед алтарем. Мэр сделал еще шаг вперед, готовый подхватить его, но тут отец Кихот снова произнес: «Corpus Domini nostri» [5]— и, без колебаний взяв с невидимого дискоса невидимую гостию, положил это ничто себе на язык. Затем он поднял невидимую чашу и как бы глотнул из нее. Мэр видел движение его горла при глотке.

Только тут отец Кихот, казалось, осознал, что он не один в церкви. Он озадаченно посмотрел вокруг. Возможно, он искал причащающихся. Заметив мэра, стоявшего в нескольких шагах от него, он взял двумя пальцами несуществующую гостию; нахмурился, словно что-то озадачивало его и затем улыбнулся.

— Compañero,— сказал он,— стань на колени, compañero.— Вытянув два пальца, он сделал три шага вперед, и мэр опустился на колени. «Что угодно, лишь бы он был спокоен,— подумал Санчо,— все что угодно». Пальцы приблизились почти к самому его лицу. Мэр раскрыл рот и почувствовал на своем языке вместо облатки — пальцы.— Такие вот подскоки,— произнес отец Кихот,— такие подскоки...— И тут ноги его подкосились.

---

[1] Сие есть тело мое *(лат.)*.
[2] Сие есть чаша крови моей *(лат.)*.
[3] Агнца божьего *(лат.)*.
[4] Агнец божий, что приемлет на себя грех мира *(лат.)*.
[5] Тело господа нашего *(лат.)*.

Мэр едва успел подхватить его и опустить на землю.

— Compañero,— в свою очередь повторил мэр,— это я, Санчо,— снова и снова тщетно пытаясь уловить биение сердца отца Кихота.

4

Монах, занимающийся гостями,— очень древний старец по имени отец Фелипе — сказал мэру, что, как ему кажется, он сможет найти отца Леопольдо в библиотеке. Это был час, отведенный для посещений, и отец Фелипе вел то и дело разбредавшихся туристов по тем помещениям монастыря, которые были открыты для публики. Тут были пожилые дамы, с глубочайшим уважением вслушивавшиеся в каждое слово; несколько мужей, всем своим видом показывающих, что они пришли сюда, только чтобы ублаготворить жен, и трое молодых ребят, которым то и дело приходилось напоминать, чтобы они не курили, а они были явно расстроены тем, что две хорошенькие девушки в группе не обращали на них ни малейшего внимания. Их мужские чары, казалось, не действовали на девушек, а вот дух безбрачия и тишина, царившие в старом здании, возбуждали девчонок, как острый запах духов, и они, точно завороженные, уставились на табличку «Clausura» [1], которая в какой-то момент, словно знак, регулирующий уличное движение, преградила им путь,— смотрели так, будто там, за этой дверью, были тайны, куда более интересные и порочные, чем все, что могли им предложить молодые ребята.

Один из них подергал за ручку и обнаружил, что дверь заперта. Желая привлечь к себе внимание, он громко спросил:

— Эй, отче, а там что?

— Там один из наших гостей,— заснул и никак не проснется,— ответил отец Фелипе.

«Надолго-надолго заснул и долго-долго не проснется»,— подумал мэр. Это была комната, где лежало тело отца Кихота. Мэр постоял, глядя вслед туристам, пока они шли по длинному коридору мимо комнат для гостей, затем повернулся и отправился в библиотеку. Там он обнаружил профессора и отца Леопольдо, которые беседовали, меряя шагами помещение.

— Снова факт и вымысел,— говорил отец Леопольдо,— провести между ними грань со всею очевидностью нельзя.

Мэр сказал:

— Я пришел, отче, проститься с вами.

— Вы вполне можете побыть здесь еще немного.

— Я полагаю, тело отца Кихота заберут сегодня в Эль-Тобосо. А мне, думается, лучше двинуть в Португалию, где у меня есть друзья. Вы не разрешите мне воспользоваться телефоном, чтобы вызвать такси: я хочу доехать до Оренсе и взять там напрокат машину?

Профессор сказал:

— Я отвезу вас. Мне самому надо в Оренсе.

— Вы не хотите быть на похоронах отца Кихота? — спросил отец Леопольдо мэра.

— То, что делают с телом, не так уж и важно, верно?

— Вполне христианская мысль,— заметил отец Леопольдо.

— К тому же,— добавил мэр,— мое присутствие, я думаю, приведет в смущение епископа, который, несомненно, там будет, если похороны состоятся в Эль-Тобосо.

— Ах, да, епископ... Он уже звонил сегодня утром. Он хотел, чтобы я передал настоятелю, что отцу Кихоту ни в коем случае не разрешено служить мессу, даже для себя. Я сообщил ему о печаль-

---

[1] Закрыто. Здесь: вход запрещен *(лат.)*.

ных обстоятельствах, которые не позволяют сомневаться, что его распоряжение будет исполнено — отныне и навеки.

— И что он сказал?

— Ничего, но мне кажется, я услышал вздох облегчения.

— Почему вы сказали — «отныне и навеки»? То, что мы вчера ночью слышали, едва ли можно назвать мессой,— заметил профессор.

— Вы в этом уверены? — спросил отец Леопольдо.

— Конечно. Ведь не было же освящения вина.

— Я повторяю: вы в этом уверены?

— Конечно уверен. Не было же ни вина, ни гостии.

— Декарт, думается, выразился бы осторожнее: он сказал бы, что не видел ни хлеба, ни вина.

— Но вы же знаете, как и я, что действительно ни хлеба, ни вина не было.

— Я знаю столько же, сколько и вы, или так же мало, да, согласен. Но монсеньор Кихот явно верил, что у него был и хлеб и вино. Так кто же из нас прав?

— Мы.

— Логически это очень трудно доказать, профессор. В самом деле очень трудно.

— Вы хотите сказать,— спросил мэр,— что я действительно причастился?

— Конечно, причастились — в его представлении. А разве для вас это что-то значит?

— Для меня — нет. Но, боюсь, в глазах вашей Церкви я никак не достоин причастия. Я же коммунист. Человек, который не был на исповеди лет тридцать, а то и больше. А чего я только ни натворил за эти тридцать лет... ну, едва ли вам будут интересны детали.

— Возможно, монсеньор Кихот знал состояние вашего духа лучше, чем вы сами. Вы же были друзьями. Вы вместе странствовали. Он хотел, чтобы вы причастились. Тут он действовал без колебаний. Я отчетливо слышал, как он сказал: «Стань на колени, compañero».

— Но гостии же не было,— крайне раздраженно настаивал на своем профессор,— что бы там Декарт не говорил. Вы спорите, просто чтобы спорить. Вы неправильно ссылаетесь на Декарта.

— Вы считаете, труднее превратить воздух в вино, чем вино в кровь. Можем ли мы при ограниченности наших чувств разрешить эту дилемму? Перед нами — бесконечная тайна.

Мэр сказал:

— Мне все-таки хотелось бы думать, что никакой гостии не было.

— Почему?

— Потому что в молодости я какое-то время в известной мере верил в бога и кое-что от этого еще осталось. Я боюсь мистики, и я слишком стар, чтобы менять свои пятна. Я предпочитаю мистике Маркса, отче.

— Вы были хорошим другом, и вы хороший человек. Вы не нуждаетесь в моем благословении, но придется вам его тем не менее принять. Не смущайтесь. Такая у нас привычка — все равно как посылать открытки на рождество.

Пока профессор собирался, мэр купил у отца Фелипе бутылочку ликера и две открытки с видами, так как монахи отказались взять у него деньги за постой и даже за телефонный звонок. Ему не хотелось чувствовать себя им обязанным: ведь благодарность — это все равно как наручники, которые может снять с тебя лишь твой тюремщик. Мэру же хотелось быть свободным от каких-либо обязательств, но у него было ощущение, что где-то по дороге из Эль-Тобосо он свою свободу потерял. «Людям свойственно сомневаться»,— сказал ему отец Кихот, но сомневаться, подумал Санчо,— значит утратить

свободу действий. Когда сомневаешься, начинаешь колебаться между одним и другим. Ведь не в сомнениях же Ньютон открыл закон тяготения или Маркс — будущее капитализма.

Мэр пошел взглянуть на искореженный каркас «Росинанта». Он порадовался, что отец Кихот не видел своего коня в таком состоянии: автомобиль стоял, прижатый к стене церкви, ветровое стекло разлетелось на кусочки, одна дверца болталась на петлях, другая была вдавлена, шины спущены, прорешеченные пулями жандармов,— «Росинанту», как и отцу Кихоту, пришел конец. Они умерли друг за другом — искореженный металл, лопнувший мозг. Мэр с каким-то лютым упорством подбирал сравнения, ища схожесть, стремясь доказать самому себе, что человек — это та же машина. Но ведь отец Кихот любил эту машину.

Раздался гудок, и мэр, отвернувшись от «Росинанта», направился к профессору Пилбиму. Когда он сел рядом с профессором, тот сказал:

— У отца Леопольдо какие-то нелепые представления о Декарте. В этом молчании, которое они здесь вынуждены поддерживать, видимо, рождаются странные идеи — как грибы в темном погребе.

— Да. Возможно.

Мэр не раскрывал рта до самого Оренсе — в его мозгу зародилась странная для него мысль. Почему ненависть к человеку — даже к такому человеку, как Франко,— умирает вместе с его смертью, а любовь, любовь, которую он начал испытывать к отцу Кихоту, казалось, продолжала жить и разрасталась, хотя они простились навеки и между ними навеки воцарилось молчание... Сколько же времени, не без страха подумал он, может такая любовь длиться? И к чему она его приведет?

■

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

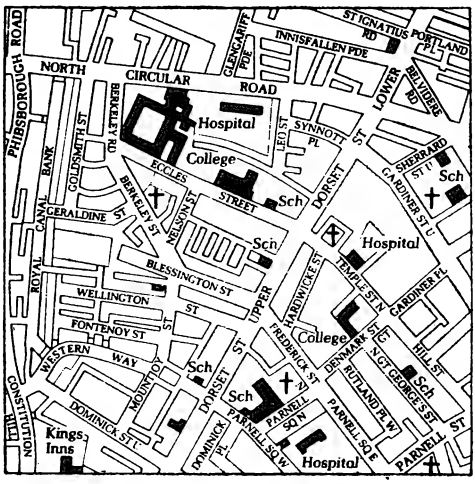
Улисс

РОМАН

Перевод с английского В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

II

4



Мистер Леопольд Блум с удовольствием ел внутренние органы животных и птиц. Он любил жирный суп из гусиных потрохов, пупки с орехами, жареное фаршированное сердце, печенку, поджаренную ломтиками в сухарях, жареные наважьи молоки. Всего же больше любил он бараньи почки на углях, которые оставляли во рту тонкий привкус с отдаленным ароматом мочи.

Почки не выходили из головы у него, пока он, стараясь тихо ступать, собирал для нее завтрак на горбатом подносе. На кухне было прохладно, даже зябко, хотя за окном стояло летнее погожее утро. Это как-то еще разжигало аппетит.

Уголь в очаге разгорался.

Хлеб с маслом: еще ломтик — три, четыре — и хватит. Она не любит, когда гора на тарелке. Хватит. Отойдя от подноса, он снял с полки чайник и поставил на огонь сбоку. Чайник сел тусклой глыбой, выставив торчком хобот. Скоро поспеет. Хорошо. Во рту сухо.

Кошка ходила на прямых лапах вокруг ножки стола, хвост кверху.

— Мррау!

— А, вот ты где,— сказал мистер Блум, оборачиваясь от очага.

Продолжение. Начало см. в № 1.

Кошка мяукнула в ответ и продолжала путь вокруг ножки, ступая на прямых лапах, мяукая. Вот так же она разгуливает по моему письменному столу. Мурр. Почеши за ушком. Мурр.

Мистер Блум с добродушным интересом поглядел на черное гибкое существо. Ладный вид: шерстка гладкая и блестит, белая пуговка под хвостом, глаза зеленые, светятся. Он нагнулся к ней, упершись ладонями в колени.

— Молочка киске!

— Мррау!— громко мяукнула она.

Говорят, они глупые. Они понимают, что мы говорим, лучше, чем мы их понимаем. Эта понимает все, что захочет. И злопамятная. Жестокая. Это у них в природе. Странно, что мыши при этом не пищат. Как будто им нравится. Интересно, каким я ей кажусь. Вышиной с башню? Нет, она ведь может на меня вспрыгнуть.

— А цыплят боится,— поддразнил он ее.— Боится цып-цыпочек. В жизни не видал такой глупой киски.

— Мгррау!— мяукнула она громче.

Глаза ее, жадные, полуприкрытые от стыда, моргнули, и, жалобно, протяжно мяукнув, она выставила свои молочно-белые зубки. Он видел, как сужаются от жадности черные щелки ее зрачков, превращая глаза в зеленые камешки. Подойдя к шкафу, он взял кувшин, свеженаполненный разносчиком от Ханлона, налил на блюдце теплопузырчатого молока и осторожно поставил блюдце на пол.

— Мяв!— взвизгнула она, кидаясь к еде.

Он смотрел, как металлически поблескивают ее усы в тусклом свете и как, трижды примерившись, она легко принялась лакать. Правда или нет, что, если усы подрезать, не сможет охотиться. Почему бы? Может, кончики светят в темноте. Или служат как щупики, возможно.

Он слушал, как она лакает. Яичницу с ветчиной не стоит. В такую сушь яйца нехорошо. Хочется свежей, чистой воды. Баранью почку у Бакли сегодня тоже не стоит: четверг. Обжарить в масле — и с перчиком. Лучше свиную почку у Длугача. Пока чайник не закипел. Она лакала все медленней, потом вылизала блюдце. Почему у них языки такие шершавые? Лакать удобней, сплошь пористые, в дырочках. Ничего она тут не слопает? Он поглядел кругом. Ничего.

Тихо поскрипывая подметками, он поднялся по лестнице в переднюю и стал у дверей спальни. Может, она захочет чего-нибудь повкусней. Обычно предпочитает небольшие бутербродики утром. Но все-таки — вдруг.

Он проговорил негромко, стоя в пустой передней:

— Я схожу за угол. Через минуту вернусь.

Услышал звуки своего голоса, добавил:

— Тебе чего-нибудь не захватить к завтраку?

Мягкий и сонный голос пробормотал в ответ:

— Нне.

Нет. Ничего не хочет. Затем послышался глубокий парной вздох, еще мягче, это она повернулась в постели, и разболтанные медные кольца звякнули. Надо, чтоб подтянули. Жаль. Из Гибралтара, неблизкий путь. Совсем забыла испанский, и ту малость, что знала. Интересно, сколько папаша за нее заплатил. Фасон старинный. Ах да, конечно. На губернаторской распродаже. Пошептался с аукционщиком. По части денег старина Твиди кремень. Да, сэр. Было дело под Плевной. Я вышел из рядовых, сэр, и горжусь этим. Но все-таки хватило ума провернуть дельце с марками. Проявил дальновидность.

Рука его сняла шляпу с крючка над поношенным плащом с распродажи забытых вещей и над толстым пальто с его монограммой. Марка: картинка, а сзади клей. Наверняка из офицеров многие этим

промышляют. Что говорить. Пропотевшее клеймо на дне шляпы молча сообщило ему: Плестоу, шляпы-лю. Он заглянул воровато за кожаный ободок. Белая полоска бумаги. Надежное место.

На крыльце он ощупал брючный карман: тут ли ключ. Нету. В тех, что оставил. Надо бы взять. Картофелина на месте. Гардероб скрипит. Не стоит ее тревожить. Была совсем сонная. Он притянул дверь к себе, осторожно, еще чуть-чуть, пока защитная полоска внизу не прикрыла порожек усталым веком. На вид закрыто. Обойдется до моего прихода.

Он перешел на солнечную сторону, минуя открытый люк погреба в семьдесят пятом доме. Солнце приближалось к шпилю церкви святого Георгия. Похоже, день будет жаркий. Когда в этом черном, особенно чувствуешь. Черное проводит, отражает (а может, преломляет?) тепло. Но в светлом костюме никак нельзя. Не пикник. От ощущения блаженного тепла глаза его часто жмурились. Фургон из пекарни Боланда лотки наш насущный но ей вчерашний больше по вкусу пироги горячая хрустящая корочка. Чувствуешь себя помолодевшим. Где-нибудь на востоке, вот таким утром, пуститься в путь на заре. Будешь двигаться впереди солнца — выиграешь у него день. А если все время так, то в принципе никогда не постареешь ни на один день. Идешь вдоль берега, в незнакомой стране, подходишь к городским воротам, там стража, тоже какой-нибудь служака с усищами старины Твиди опирается на этакую длинную пику. Бродишь по улицам под навесами. Головы прохожих в тюрбанах. Темные пещеры лавок, где торгуют коврами, внутри здоровенный турок, свирепый Турка, сидит, поджавши ноги, покуривая витой кальян. Крики разносчиков. Утоляешь жажду укропной водой, шербетом. Слоняешься целый день. Можешь повстречать парочку грабителей. Ну и что, повстречаешь. Солнце к закату. На колоннах тени мечетей; мулла со свитком в руках. Дрожь по деревьям, сигнал, вечерняя свежесть. Прохожу дальше. Гаснущее золотое небо. Мать на пороге хижины. Зовет детишек домой на своем темном наречии. Из-за высокой стены звуки струн. Луна в ночном небе, лиловая, как новые подвязки у Молли. Звуки струн. Слушаешь. Девушка играет на этом инструменте, как же он называется, цимбалы. Идешь дальше.

А может быть, там все и не так. Начитался этой ерунды: по следам солнца*. С сияющим солнцем на титуле. Он усмехнулся самодовольно. Как сказал Артур Гриффит про ту заставку над передовицей во «Фримене» *: солнце гомруля восходит на северо-западе из переулка за Ирландским банком. Он длил усмешку. Лучше и еврею не выдумать: солнце гомруля восходит на северо-западе.

Он приблизился к пивной Ларри О'Рурка. Из-под решетки погреба плыли влажные испарения портера. Через раскрытые двери бара несло имбирем, бросовым чаем и бисквитной трухой. Но заведение стоящее: как раз у трамвайного кольца. Скажем, Маколи там подальше: гиблое место. А если бы провели линию вдоль Северной окружной, от скотного рынка к набережным, цена тут же бы подскочила.

Лысая голова над занавеской. Прижимист, старый пройдоха. Насчет рекламы с ним бесполезно. Что ж, в своем деле ему видней. Вон он, наш бравый Ларри, без пиджака, прислонясь к мешкам с сахаром, созерцает, как прислужник в фартуке орудует с ведром и шваброй. Саймон Дедал его отлично копирует, как он щурит свои глазенки. Знаете, я вам что скажу? Что же, мистер О'Рурк? Знаете что, японцы слопают русских и не поморщатся.

Стоп, надо перекинуться парой слов: может, про похороны. Бедняга Дигнам, вы уже слышали, мистер О'Рурк?

Сворачивая на Дорсет-стрит, он бодро поприветствовал в дверь:

— День добрый, мистер О'Рурк.

— Добрый день, добрый день.

— Хорошая погодка, сэр.

— Ничего не скажешь.

Откуда у них деньги берутся? Наезжают рыжаки-прислужники из графства Лейтрим, моют стаканы да сливают опивки в погребе. И вдруг, любуйтесь, он уже процветает, как Адам Финдлейтер или Дэн Таллонс. А еще учесть конкуренцию. Повальная жажда. Неплохая головоломка: пересечь Дублин и не натолкнуться на кабак. Тут просто так не скопишь. Может, с пьяных имеют. Принес три, записал пять. Ну и что это? Там бобик, тут бобик[1], одни крохи. А может, на оптовых заказах. Стакнется с агентом поставщиков. Ты босса своего обработай, а навар пополам, идет?

Сколько он может взять за месяц на портере? Скажем, сбыл десять бочек. Скажем, он имеет десять процентов. Какие там десять. Пятнадцать. Он проходил мимо школы Святого Иосифа. Галдят, сорванцы. Окна настежь. Свежий воздух помогает запоминать. И хором полезно. Эйбиси дифиджи килумен опикью эрэстэ видаблью. Это мальчишки там? Да. Иништерк. Инишарк. Инишбоффин. Зубрят свою смехографию. Мою. Горы Блум*.

Он остановился перед витриной Длугача, глядя на связки колбас, копченых и кровяных, темных и светлых. Пятнадцать помножить на. Цифры, ускользая, вертелись в его мозгу: он недовольно прогнал их. Глянцевитые кольца, туго начиненные мясом, насыщали его взгляд, и он безмятежно вдыхал пряный и парной запах вареной свиной крови.

Почка сочила кровь на блюдо с рисунком из ивовых ветвей: последняя. Он стоял у прилавка следом за соседской прислугой. Возьмет ее или нет? Она вычитывала по пунктам, держа в руке списочек. Руки потрескались: от стирки. И полтора фунта сосисок Денни. Взгляд его приковали мощные бедра. Вудс его фамилия. Чем занимается неизвестно. Жена уже старовата. Свежая кровь. Ухажеров не разрешают. Руки крепкие. Выбивала ковер на веревке. Серьезно выбивала, я вам скажу. Юбка сбилась на сторону, взлетала с каждым ударом.

Хореглазый свинопродавец свертывал низку сосисок толстыми, розовыми, как сосиски, пальцами. Эк тугомяса, что телка откормленная в стойле.

Он взял один листок из лежавшей стопки. Образцовая ферма в Киннерете, на берегу Тивериадского озера. Можно создать идеальный зимний санаторий. Мозес Монтефиоре *, я так и думал. Усадьба обнесена стеной, в смутной дымке пасущиеся стада. Он отставил от себя листок: интересно; прочесть повнимательней, заглавие, пасущиеся стада в дымке, листок похрустывал. Молоденькая белая телочка. Бывало, поутру на скотном рынке *: ревут быки, клейменые овцы в загонах, шлепается навоз, скотоводы чавкают по грязи в кованых сапогах, держа неошкуренные прутья, похлопывают скотину по мясистым задам, гляди — первый сорт. Он заставлял себя невозмутимо держать листок, обуздывая волю и чувства, устремив в точку кроткий застывший взор. Юбка сбилась, взлетала каждый раз — рраз — рраз.

Свинопродавец выхватил два листа из стопки, завернул первосортные сосиски, осклабил медную рожу.

— Пожалте, мисс.

С дерзкой ухмылкой она протянула ему монету в своей мощной руке.

— Благодарим, мисс. Сдача шиллинг три пенса. А вам, сэр?

Мистер Блум, не мешкая, показал. Догнать и пойти за ней, если недалеко уйдет, следом за колыхающимися окороками. Недурно, как первая утренняя картинка. Да поживей ты, тьфу. Куй железо,

---

[1] Шиллинг *(жарг.)*.

пока горячо. Она вышла из лавки, постояла на ярком солнце и двинулась ленивой походкой направо. Он вздохнул, выпустив воздух через нос: они никогда не понимают. Руки огрубели от стирки. И на ногах ногти с наростами. Изодранная темная власяница защищает все подступы. Укол от ее равнодушия разгорелся в груди у него до слабого наслаждения. Не тебе, другому: какой-то констебль на досуге тискал ее на Экклс-лейн. Они любят, когда есть за что подержаться. Первосортные сосиски. Ах-ах, я заблудилась, о мистер полисмен.

— Три пенса, сэр.

Рука его приняла влажную мякоть и опустила в боковой карман. Затем выудила из брючного кармана три монетки и положила на резиновые пупырышки. Они полежали миг, были мигом подсчитаны и мигом отправлены, одна за другой, в ящик кассы.

— Спасибо, сэр. Заходите.

Лисьи глазки, благодаря его, метнули испытующую искорку. Мистер Блум почти сразу же отвел взгляд. Нет — лучше не стоит — в другой раз.

— Всего доброго,— произнес он, уходя.

— Всего доброго, сэр.

Ни следа. Скрылась. Ну и ладно.

Он зашагал обратно по Дорсет-стрит, углубившись в чтение. Агендат Нетаим — товарищество плантаторов *. Приобрести у турецкого правительства большие песчаные участки и засадить эвкалиптовыми деревьями. Дают отличную тень, топливо и строительный материал. Апельсиновые плантации и необъятные дынные бахчи к северу от Яффы. Вы платите восемьдесят марок, и для вас засаживают дунам земли маслинами, апельсинами, миндалем или лимонами. Маслины дешевле: для апельсинов нужно искусственное орошение. Ежегодно вам высылаются образцы урожая. Вас вносят в книги товарищества в качестве пожизненного владельца. Можете уплатить наличными десять, потом погодные взносы. Берлин W 15, Бляйбтройштрассе, 34.

Не выйдет. Но что-то есть в этом.

Он видел стадо в знойной серебристой дымке. Пыльные серебристые маслины. Долгие безмятежные дни: уход за деревьями, сбор плодов. Маслины, кажется, кладут в банки? Дома несколько осталось, от Эндрюса. Молли сперва плевалась, теперь входит во вкус. Апельсины в папиросной бумаге укладывают в ящики. Другие цитрусы так же. Цитроны. Интересно, там ли еще бедняга Цитрон, на Сент-Кевин-пэрейд. И Мастянский со своей цитрой. Славные у нас были вечера. Молли в плетеном кресле Цитрона. Приятно взять в руки, плод восковой, прохладный, подержишь, поднесешь к носу и вдохнешь аромат. Такой густой, сладкий, одуряющий аромат. Всегда неизменный, из года в год. И по хорошей цене идет, Мойзел мне говорил. Арбьютес-плейс, Плизентс-стрит; добрые старые времена. Он говорил, нельзя ни малейшего изъяна. Проходят весь этот путь: Испания, Гибралтар, Средиземное море, Ближний Восток. Штабеля ящиков в Яффе на набережной, клерк их вычеркивает в гроссбухе, босые грузчики в замасленных робах таскают. Вон этот, какбишьего, выходит от. Как ваши де? Не смотрит. Одна скука, когда встречаешь шапочного знакомца. Спина как у того норвежского капитана. Интересно, еще раз встречу его сегодня? Поливалка. Накликать дождь. На небеси и на земли.

Облако начало закрывать солнце: медленно, больше и больше, целиком. Серое. Вдалеке.

Нет, там не так. Бесплодный, голый, пустынный край. Вулканическое озеро, мертвое море: ни рыбы, ни водорослей, глубокая впадина в земле. Ветру не всколыхнуть эти воды, свинцово-серые, с ядовитыми испарениями. Это называется дождь серный; города до-

лины — Содом, Гоморра, Едом *. Мертвые имена. Мертвое море в мертвой стране, седой, древней. Древней сейчас. Она кормила древнейшее, изначальное племя. Сгорбленная старуха перешла улицу у лавки Кэссиди, цепко сжимая в когтях бутылку. Древнейший народ. Скитался в дальних краях, по всей земле, из пленения в пленение, плодясь, умирая, рождаясь повсюду. Земля же его лежит там. И больше не может уже родить. Мертва — старушиная — седая запавшая прорва мира.

Запустение.

Седой ужас опалил его плоть. Сложив листок, сунув его в карман, он повернул на Экклс-стрит, торопясь домой. Холодная маслянистость ползла по его жилам, леденя кровь; годы одевали его в соляной покров. Что же, такие мои дела. Да, такие дела. Ранняя рань, а на уме дрянь. Не с той ноги встал. Надо снова начать упражнения по Сэндоу. Стойку на руках. Кирпичные бурые дома в пежинах. Восьмидесятый так и пустует. Почему бы? Всего двадцать восемь фунтов по оценке. Тауэрс, Баттерсби, Норт, Макартур: все окна первого этажа в билетиках. Нашлепки на больном глазу. Вдохнуть теплый парок от чайника, дымок от масла на сковородке. Подойти поближе к ней, полнотелой, в теплой постели. Да, да.

Стремительные жаркие лучи солнца примчались от Берклироуд, проворные, в легких сандалиях, по просиявшему тротуару. Вон она, вон она стремится навстречу мне, девушка с золотыми волосами по ветру.

Открытка и два письма на полу в прихожей. Он, наклонившись, поднял. Миссис Мэрион Блум. Стремительный ритм сердца резко упал. Дерзкий почерк. Миссис Мэрион.

— Польди!

Войдя в спальню, он полуприкрыл глаза и, двигаясь сквозь теплый и желтый сумрак, приблизился к ее растрепанной голове.

— Кому там письма?

Он поглядел на них. Моллингар. Милли.

— Письмо мне от Милли,— сказал он, следя за своим голосом,— а тебе открытка. И письмо тебе.

Он положил ее письмо и открытку на саржевое покрывало у сгиба ее колен.

— Тебе шторы поднять?

Подтягивая осторожно шторы до половины, он видел через плечо, как она глянула на конверт и сунула его под подушку.

— Хватит так? — спросил он, оборачиваясь.

Она читала открытку, приподнявшись на локте.

— Посылка дошла уже,— сказала она.

Он не уходил; она отложила открытку и медленно, с блаженным вздохом, опять свернулась клубком.

— Давай-ка чай поскорей,— поторопила она.— Совсем горло пересохло.

— Чайник уже кипит.

Однако он задержался убрать со стула: полосатая нижняя юбка, нечистое мятое белье; и, взяв все в охапку, положил в ноги постели.

Когда он был уже на ступеньках, она окликнула:

— Польди!

— Что?

— Ошпарь заварной чайник.

Вполне закипел: пар валит из носика. Он ошпарил и сполоснул заварной чайник, насыпал четыре полных ложечки чаю и, наклонив большой чайник, залил чай водой. Поставив чай настояться, он отодвинул большой чайник в сторону и, вдавив сковороду прямо в жар угля, смотрел, как масло плавится и скользит по ней. Когда он развернул почку, кошка жадно мяукнула рядом с ним. Если ей давать много

мяса, не будет мышей ловить. Говорят, они не едят свинину. Кошер. Он бросил ей окровавленную обертку и положил почку в шипящее масло. Перцу. Он взял щепотку из выщербленной рюмки для яйца, посыпал круговыми движениями.

Потом он распечатал письмо, скользнул глазами по всей странице. Спасибо — новая беретка — мистер Коклан — пикник на озере Оул — студент — приморские красотки Буяна Бойлана.

Чай настоялся. Он налил себе в свою чашку с приспособлением для усов, из имитации фарфора Дерби-Корона, улыбаясь. Подарок Милли-глупышки ко дню рождения. Тогда ей было всего пять лет. Нет, погоди: четыре. Я ей купил бусики под янтарь, а она их порвала. Опускал для нее в почтовый ящик сложенные листочки. Он улыбался, наливая чай.

О Милли Блум, ты мне мила, моя родная,
В тебя, как в зеркало, гляжусь, тебя желая.
Хоть ты бедна, хочу я быть с тобою рядом,
А не с той Кэти, что виляет толстым задом *.

Бедный старый профессор Гудвин. Конечно, слегка ку-ку. Но до того учтивый старичок. Провожал Молли с эстрады на старомодный манер. А это зеркальце в цилиндре. В тот вечер Милли его притащила в гостиную. Ой, поглядите, чего было в шляпе у профессора Гудвина! Мы все смеялись. Женская натура уже тогда проявлялась. Такая была вострушка.

Он поддел почку вилкой, перевернул, потом поставил заварной чайник на поднос. Горб стал пружинить, когда он поднял поднос. Все взял? Бутерброды — четыре, сахар, ложечка, сливки. Так. Он направился с подносом наверх, продев большой палец в ручку чайника.

Толкнув дверь коленом, он вошел и поставил поднос на стул у изголовья постели.

— До чего же ты долго,— сказала она.

Медь задребезжала, когда она резво приподнялась, упершись локтем в подушку. Он спокойно смотрел на ее полные формы и на ложбинку между мягких больших грудей, круглившихся в ночной рубашке, как козье вымя. Тепло, шедшее от ее тела, мешалось в воздухе с душистым запахом наливаемого чая.

Краешек распечатанного конверта торчал из-под примятой подушки. Уже уходя, он остановился поправить покрывало.

— А от кого письмо? — спросил он.

Дерзкий почерк. Мэрион.

— Да от Бойлана,— сказала она. — Должен программу принести.

— Что ты собираешься петь?

— Là ci darem [2] с Дойлом,— ответила она,— и «Старую сладкую песню любви» *.

Она пила чай, полные губы улыбались. Довольно затхлый дух от этих курений на другой день. Как тухлая вода от цветов.

— Может быть, приоткрыть окошко?

Отправляя в рот сложенный пополам тонкий ломтик, она спросила:

— А во сколько похороны?

— В одиннадцать, кажется,— ответил он. — Я еще не смотрел газету.

Следуя знаку ее пальца, он поднял за штанину ее грязные панталоны. Не то? Тогда серую перекрученную подвязку с чулком: подошва мятая, залоснилась.

— Да нет же, книжку.

[2] Дуэт «Дай руку мне, красотка» из оперы Моцарта «Дон Жуан» (акт I, сц. 3).

Другой чулок. Нижняя юбка.

— Должно быть, упала,— сказала она.

Он поглядел по сторонам. Voglio e non vorrei [3]. Интересно, правильно ли она произносит voglio. На кровати нигде. Завалилась куда-то. Он нагнулся и приподнял подзор. Упавшая книга распласталась на пузе ночного горшка в оранжевую полоску.

— Дай-ка мне,— сказала она. — Я тут отметила. Хотела одно слово спросить.

Сделав глоток из чашки, которую держала за неручку, и бесцеремонно обтерев пальцы об одеяло, она принялась водить по странице шпилькой, покуда не нашла слово.

— Метим что? — переспросил он.

— Вот это,— сказала она. — Что это значит?

Наклонившись, он прочел подле холеного ногтя на ее большом пальце.

— Метемпсихоз?

— Вот-вот. С чем это вообще едят?

— Метемпсихоз,— начал он, морща лоб,— это греческое. Из греческого языка. Это означает переселение душ.

— Ну и дичь! — оценила она. — А теперь скажи по-простому.

Он улыбнулся, искоса глянув в ее смеющиеся глаза. Все те же молодые глаза. Первый вечер после игры в шарады. Долфинс-барн. Он полистал замусоленные страницы. «Руби — краса арены». Ага — картинка. Свирепый итальянец с хлыстом. А это, видно, Руби, краса чего положено, голая на полу. Милостиво дали прикрыться. «Злодей Маффеи остановился и с проклятиями отшвырнул прочь свою жертву». Всюду жестокость. Одурманенные звери. Трапеция в цирке Хенглера. Не мог смотреть, отвернулся. А толпа глазеет. Ты там надрывай силы, а мы себе надорвем животики. Их целые семьи. Вдалбливают им смолоду, они и метемпсихозят. Будто бы мы живем после смерти. Души наши. Будто бы душа человека, когда он умрет, душа Дигнама...

— Ты ее уже кончила? — спросил он.

— Да,— сказала она.— Совсем никакой клубнички. Она что, все время любила того, первого?

— Я даже не заглядывал. Хочешь другую?

— Ага. Принеси еще Поль де Кока. Такое симпатичное имя [4].

Она подлила себе чаю, глядя сбоку на струйку.

Надо продлить ту книжку из библиотеки на Кейпл-стрит, а то напишут Карни, моему поручителю. Перевоплощение: вот то самое слово.

— Некоторые верят,— начал он,— что после смерти мы будем снова жить в другом теле и что уже жили раньше. Это называется перевоплощение. Что все мы уже жили раньше, тысячи лет назад, на земле или на какой-нибудь другой планете. Они считают, что мы забыли про это. А некоторые говорят, что они помнят свои прошлые жизни.

Густые сливки вились витками у нее в чашке. Как бы ей лучше запомнить это слово: метемпсихоз. Хорошо бы пример. Пример.

Над кроватью «Купанье нимфы». Приложение к пасхальному номеру «Фотокартинок»: роскошный шедевр, великолепные краски. Как чай, до того, как налили молока. Похожа на нее с распущенными волосами, только потоньше. За рамку отдано три и шесть. Она сказала: над кроватью будет красиво. Обнаженные нимфы — Греция — а вот и пример — все люди, что тогда жили.

Он перелистал страницы обратно.

— Метемпсихоз,— сказал он,— так это называли древние гре-

---

[3] Хочу и не хотела бы* *(итал.)*.

[4] Cock — половой член *(англ.)*.

ки. Они верили, что человек может превратиться в животное или, скажем, в дерево. Что они называли нимфами, например.

Она перестала вдруг помешивать ложечкой. Смотрела прямо перед собой и втягивала воздух округлившимися ноздрями.

— Горелым пахнет,— сказала она. — У тебя там ничего на огне?

— Почка! — возопил он.

Он сунул, не глядя, книжку во внутренний карман и, стукнувшись носком ноги о хромой комод, ринулся на запах, сбегая по лестнице прыжками всполошенного аиста. Пахучий дым поднимался сердитой струйкой с одного края сковороды. Поддев почку вилкой, он отодрал ее и перевернул, как на спину черепаху. Совсем чуть-чуть подгорела. Он перебросил ее на тарелку и полил оставшимся бурым соком.

Теперь чайку. Он уселся, отрезал ломоть хлеба, намазал маслом. Срезал пригорелую мякоть и бросил кошке. Наконец, отправил кусочек на вилке в рот и принялся жевать, разборчиво смакуя упругое аппетитное мясо. В самый раз. Глоток чаю. Потом он нарезал хлеб на кубики, обмакнул один в соус и сунул в рот. Так что там у нее про студента и про пикник? Он разложил около себя листок с письмом и медленно стал читать, жуя, макая кубики в соус и отправляя их в рот.

Дражайший папулька

Преогромнейшее спасибо за твой чудный подарочек ко дню рождения. Он мне дивно идет. Все говорят, что в новой беретке я просто неотразима. Получила от мамочки чудную коробку со сливочными тянучками, пишу ей отдельно. Конфетки — дивные. А я тут зарылась с головой в фотографию. Мистер Коклан снял меня вместе со своей мадам, когда проявим, пришлю. Вчера тут была сплошная запарка. Погожий денек, и все толстомясые припожаловали. В понедельник хотим устроить пикничок небольшой компанией на озеро Оул. Спасибо тебе еще раз и тысяча поцелуев, а мамочке скажи, я ее ужасно люблю. Внизу играют на пианино. В субботу будет концерт в отеле «Гревильский герб». Сюда по вечерам иногда заходит один студент, его фамилия Баннон, и у него какие-то родственники ужасные богачи, и он исполняет эту песенку Бойлана (чуть-чуть не написала Буяна Бойлана) о приморских красотках. Передай ему от меня, что Милли-глупышка ему шлет привет. Пора кончать письмо, с любовью

твоя любящая дочь

Милли.

P. S. Извини за каракули. Очень спешу. Пока.

М.

Пятнадцать вчера. Как сошлось, и число пятнадцатое. Первый день рожденья в чужих местах. Разлука. Помню летнее утро, когда она родилась. Помчался за миссис Торнтон на Дензилл-стрит. Бодрая старушка. Куче младенцев помогла явиться на свет. Она с первой минуты знала: бедняжке Руди не жить. Авось Бог милостив, сэр. А сама уже знала. Остался бы жить, сейчас было бы одиннадцать.

Отсутствующим печальным взглядом он смотрел на постскриптум. Извини за каракули. Спешу. Внизу пианино. Выпорхнула из гнезда. Сцена с ней из-за браслета в кафе «XL». Не стала есть пирожные, не глядела, не разговаривала. Дерзкая девчонка. Он обмакнул в соус еще кубик хлеба, машинально продолжая доедать почку. Двенадцать и шесть в неделю. Не густо. Но могло и похуже быть. В мюзик-холл. Студент. Он глотнул остывшего чаю, запить еду. Потом опять перечел письмо: дважды.

Ну ладно, она умеет вести себя осмотрительно. А вдруг нет? Оставь, ничего еще не случилось. Все возможно, конечно. Во вся-

ком случае, обождем. Бесенок. Вечно бегом по лестнице, ножки тонкие, стройные. Судьба. Наступает зрелость. Кокетка — страшная.

Он улыбнулся в кухонное окно с теплотой, с тревогой. Однажды вижу ее на улице: щиплет себя за щеки, чтоб разрумянились. Слегка малокровная. Поздно отняли от груди. В тот день на «Короле Эрина» вокруг маяка Киш. Старую посудину качало вовсю. А ей хоть бы что. Шарф по ветру, светло-голубой, распущенные волосы по ветру.

Щечки в ямочках, кудряшки
Вскружат голову бедняжке.

Приморские красотки. Распечатанный конверт. Руки в брюки и распевает, ни дать ни взять извозчик навеселе. Друг дома. *Вскрюжат,* он так поет. Освещенный пирс, летний вечер, звуки оркестра.

До чего ж милы и кротки
Те приморские красотки.

И Милли тоже. Первые юные поцелуи. Как давно минуло. Миссис Мэрион. Сейчас снова легла, читает, перебирая прядки волос, заплетая их, улыбаясь.

Сожаление и потерянность, нарастая, смутной волной расползались вниз по спине. Да, случится. Помешать. Бесполезно: что сделаешь! Девичьи губы, нежные, легкие. Случится то же. Он чувствовал, как волна потерянности охватывает его. Бесполезно тут что-то делать. Губы целуют, целующие, целуемые. Женские губы, полные, клейкие.

Лучше пусть там, где она сейчас: подальше. И занята. Хотела собаку от нечего делать. Можно бы туда съездить. На табельные дни в августе, всего два и шесть в оба конца. Но это через полтора месяца. Можно бы устроить бесплатный проезд, как журналисту. Или через Маккоя.

Кошка, вылизав свою шерстку, вернулась к обертке в кровяных пятнах, потыкала ее носом и пошла к двери. Оглянулась на него, мяукнула. Хочет выйти. Жди перед дверью — когда-нибудь отворится. Пусть подождет. Как-то занервничала. Электричество. Гроза в воздухе. И умывала ушко спиной к огню.

Он ощутил сытую тяжесть — потом легкие позывы в желудке. Поднялся из-за стола, распуская брючный ремень. Кошка настойчиво мяукнула.

— Мяу,— передразнил он. — Обождешь, пока я сам соберусь.

Тяжесть: день будет жаркий. Лень подыматься на площадку по лестнице.

Газетку. В сортире он любил читать. Надеюсь, никакая макака туда не забредет, пока я.

В ящике стола ему попался старый номер «Осколков». Свернув, он сунул его под мышку, подошел к двери и отворил. Кошка кинулась мягкими прыжками наверх. А, вон ты куда — свернуться на постели клубком.

Прислушавшись, он услыхал ее голос:

— Поди сюда, кисонька. Ну поди.

Он вышел с черного хода во двор; постоял, прислушиваясь к звукам соседнего двора. Все тихо. Может быть, вешают белье. Королевна в парке вешает белье. Славное утро.

Он наклонился взглянуть на чахлые кустики мяты, посаженной вдоль стены. Поставить беседку здесь. Бобы, дикий виноград. И надо везде удобрить, земля плохая. Бурая корка серы. Почва всегда такая без навоза. Кухонные помои. Перегной — что бы это за штука? У соседей куры: вот их помет — отличное удобрение. Но самое лучшее — от скота, особенно если кормили жмыхами. Сухой навоз. Лучшее средство для чистки лайковых перчаток. Грязь очищает. И

зола. Надо тут все переделать. В том углу горох. Салат. Всегда будет свежая зелень. Но с этими садиками свои неудобства. Тот шмель или овод в Духов день.

Он двинулся по дорожке. А где моя шляпа, кстати? Должно быть, повесил обратно на крючок. Или оставил наверху. Вот номер, совсем не помню. На вешалке в прихожей слишком полно. Четыре зонтика, ее плащ. Подбирал письма. У Дрейго колокольчик звонил. Как странно, именно в этот момент я думал. Его волосы, каштановые, напомаженные, над воротничком. Свежевымыт и свежепричесан. Не знаю, успею ли зайти в баню. Тара-стрит. Тип, что у них за кассой, устроил побег Джеймсу Стивенсу *. Такие слухи. О'Брайен *.

Каким он басом говорит, этот Длугач. Агендат — как там? Пожалте, мисс. Энтузиаст *.

Он отворил, толкнув носком, ветхую дверь сортира. Смотри, чтобы не запачкать брюки, потом на похороны. Вошел, пригнув голову, стараясь не задеть о низкий косяк. Оставив дверь приоткрытой, посреди пыльной паутины и вони заплесневелой хлорки, не спеша, отстегнул подтяжки. Перед тем как усесться, бросил через щель взгляд на соседское окно. А король на троне пишет манифест *. Никого нет.

Раскорячившись на позорном стуле, он развернул журнал на оголенных коленях и стал читать. Что-нибудь новенькое и полегче. Не торопись особо. Попридержи. Наш премированный осколок: «Мастерский удар Мэтчена». Автор — мистер Филип Бьюфой, член лондонского Клуба Театралов. Гонорар по гинее за столбец. Три с половиной. Три фунта три. Три фунта тринадцать и шесть.

Он мирно прочел, сдерживая себя, первый столбец, затем, уступая, но еще придерживая, начал второй. На середине, окончательно уступив, он дал кишечнику опорожняться свободно, продолжая мирно, неторопливо читать, вчерашний легкий запор прошел без следа. Авось не слишком толсто, геморрой снова не разойдется. Нет, самый раз. Ага. Уфф! Для страдающих запором: одна таблетка святой коры. В жизни может такое быть. Это не тронуло и не взволновало его, но, в общем, было бойко и живо. Теперь что хочешь печатают. На безрыбье. Он читал дальше, спокойно сидя над своими подымавшимися миазмами. Бойко, что говорить. «Мэтчен часто вспоминает свой мастерский удар, покоривший сердце смеющейся чаровницы, которая ныне». Мораль в конце и в начале. «Рука об руку». Лихо. Он снова окинул взглядом прочитанное и, выпуская ровную струю мочи, благодушно позавидовал мистеру Бьюфою, который сочинил это и получил гонорар в размере трех фунтов тринадцати шиллингов и шести пенсов.

Я б тоже мог кое-что накропать. Авторы — мистер и миссис Л. М. Блум. Придумать историйку на тему пословицы. Какой только? Как-то пробовал записывать на манжете, что она говорит, пока собирается. Не люблю собираться вместе. Порезался, бреясь. Покусывает нижнюю губку, застегивая крючки на платье. Я засекаю время. 9.15. Робертс тебе заплатил уже? 9.20. А в чем была Грета Конрой? 9.23. Чего меня угораздило купить такую гребенку? 9.24. С этой капусты меня всегда пучит. Заметит пылинки на обуви — потрет каждую туфельку об чулки на икрах, обе по очереди, так ловко. Наутро после благотворительного бала, когда оркестр Мэя исполнял танец часов Понкьелли. Объяснял ей: утренние часы, потом день, вечер, потом ночные часы. Она чистила зубы. Это была первая встреча. У нее голова кружилась. Пощелкивали пластинки веера. А этот Бойлан богатый? Да, он со средствами. А что? Я во время танца заметила, у него пахнет чем-то приятным, дорогим изо рта. Тогда не стоит мурлыкать. Надо бы намекнуть. В последний раз какая-то странная музыка. Зеркало было в темноте. Она взяла свое малень-

кое, потерла о кофточку на грудях, нервно, так и заколыхались. Потом смотрелась. Нахмуренный взгляд. Чего-то там такое не сладилось.

Вечерние часы, девушки в серых газовых платьях. Потом ночные часы: в черном, с кинжалами, в полумасках. Это поэтично: розовое, потом золотое, потом серое, потом черное. И в то же время как в жизни. День, потом ночь.

Он смело оторвал половину премированного рассказа и подтерся ею. Потом поднял брюки, застегнул, надел подтяжки. Потянул на себя кривую шаткую дверь сортира и вышел из полумрака на воздух.

При ярком свете, облегченный и освеженный в членах, он тщательно осмотрел свои черные брюки, их обшлага, колени и за коленями. Во сколько похороны? Надо уточнить по газете.

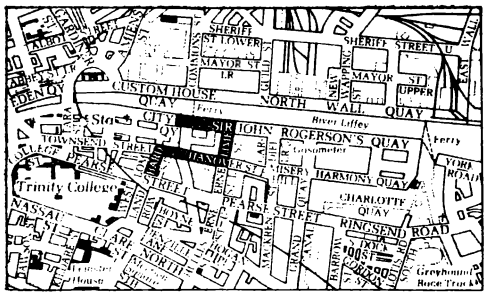
Мрачные скрипучие звуки высоко в воздухе. Колокола церкви святого Георгия. Они отбивали время: гулкий мрачный металл.

Эй — гей! Эй — гей!
Эй — гей! Эй — гей!
Эй — гей! Эй — гей!

Без четверти. Потом снова: по воздуху донесся обертон. Терция.

Бедный Дигнам!

5



По набережной сэра Джона Роджерсона шагал собранным шагом мистер Блум: мимо ломовых подвод, мимо маслобойни Лиска (льняное масло, жмыхи), мимо Уиндмилл-лейн и мимо почтово-телеграфного отделения. На этот адрес тоже было бы можно. И мимо богадельни для моряков. С шумливой утренней набережной он повернул на Лайм-стрит. У коттеджей Брэди шатался мальчишка-свалочник, примкнув ведерко с требухой, сосал жеваный окурок. Девчонка помладше, с изъеденным коростой лбом, глазела на него, вяло придерживая ржавый обруч. Сказать ему, если курит — перестанет расти. Да ладно, оставь в покое! И так житье у него не рай. Ждать у трактира, тащить папашу домой. Тять, ну пойдем, мамка ждет. Как раз затишье: не будет много народу. Он перешел Таунсенд-стрит, миновал хмурый фасад Бетеля *. Да, Эль: Его дом: Алеф, Бет. Потом похоронное бюро Николса. В одиннадцать. Времени хватит. Ей-ей, Корни Келлехер подкинул эту работенку О'Нилу. Напевает, прикрыв глаза. Корни. Повстречал я в темном парке. Одну пташку. Возле арки. Работает на полицию. Свое имя мне сказала и мои труляля труляля там там. Ясное дело, он подкинул. Схороните-ка по дешевке в сухом-немазаном. И мои труляля труляля труляля труляля.

На Уэстленд-роу он остановился перед витриной Белфастской и Восточной чайной компании, прочел ярлыки на пачках в свинцовой фольге: отборная смесь, высшее качество, семейный чай. Жарко становится. Чай. Надо бы им разжиться у Тома Кернана. Хотя похороны — неподходящий случай. Покуда глаза его невозмутимо читали, он снял, не торопясь, шляпу, вдохнув запах своего брильянтина, и плавным красивым жестом провел рукой по лбу и по волосам. Какое жаркое утро. Глаза из-под приспущенных век отыскали чуть

заметную выпуклость на кожаном ободке внутри его шляпы-лю. Вот она. Правая рука погрузилась в тулью. Пальцы живо нащупали за ободком карточку, переместили в жилетный карман.

До того жарко. Рука еще раз, медленнее, прошлась по лбу и по волосам. Потом он надел снова шляпу и, освеженный, снова прочел: отборная смесь, из лучших цейлонских сортов. На дальнем востоке. Должно быть, чудесный уголок: сад мира, огромные ленивые листья, на них можно плавать, кактусы, лужайки в цветах, деревья-змеи, как их называют. Интересно, там вправду так? Сингалезы валяются на солнышке, в dolce far niente [5], за целый день пальцем не шевельнут. Шесть месяцев в году спят. Слишком жарко для ссор. Влияние климата. Летаргия. Цветы праздности. Главная пища — воздух. Азот. Теплицы в Ботаническом саду. Хрупкие растения *, водяные лилии. Листья истомились без. Сонная болезнь в воздухе. Ходишь по розовым лепесткам. Есть студень или рубцы и в голову не взбредет. Тот малый на картинке, в каком это он месте был? Ах да, на мертвом море, лежит себе на спине, читает газету под зонтиком. При всем желании не утонешь: столько там соли. Потому что вес воды, нет, вес тела в воде равен весу, весу чего же? Или объем равен весу? Какой-то закон такой, Вэнс нас учил в школе. Вечно крутил пальцами. Учение и кручение. А что это, в самом деле, вес? Тридцать два фута в секунду за секунду. Закон падения тел: в секунду за секунду. Все они падают на землю. Земля. Сила земного тяготения, вот это что такое, вес.

Он повернулся и неспешно перешел через улицу. Как это она шла со своими сосисками? Примерно так вот. На ходу он вынул из бокового кармана сложенный «Фримен», развернул его, скатал в трубку по длине и начал похлопывать себя по брюкам при каждом неспешном шаге. Беззаботный вид: заглянул просто так. В секунду за секунду. Это значит в секунду на каждую секунду. С тротуара он метнул цепкий взгляд в двери почты. Ящик для опоздавших писем. Опускать сюда. Никого. Пошел.

Он протянул свою карточку через медную решетку.

— Нет ли для меня писем? — спросил он.

Пока почтовая барышня смотрела в ячейке, он разглядывал плакат вербовочной службы: солдаты всех родов войск на параде; и, держа конец своей трубки у самых ноздрей, вдыхал запах свежей типографской краски. Наверно, ответа нет. В последний раз зашел слишком далеко.

Барышня сквозь решетку подала ему карточку и письмо. Он поблагодарил, бросив быстрый взгляд на конверт, заадресованный на машинке:

Здесь
Почтовое Отделение Уэстленд-роу, до востребования
Генри Флауэру [6], эсквайру.

Ответила все-таки. Сунув письмо и карточку в боковой карман, он вернулся к параду всех родов войск. А где тут полк старины Твиди? Отставной вояка. Вон они: медвежьи шапки с султаном. Нет, он же гренадер. Остроконечные обшлага. Вот: королевские дублинские стрелки. Красные мундиры. Эффектно. Поэтому женщины за ними и бегают. Военная форма. Легче и вербовать и муштровать. Письмо Мод Гонн, чтобы их не пускали по вечерам на О'Коннелл-стрит: позор для столицы Ирландии *. Сейчас газета Гриффита * трубит о том же: армия, где кишат венерические болезни, империя Венерия. Какой-то вид у них недоделанный: как будто одурманенные. Смирно. Равняйсь. Сено — солома. Сено — солома. Полк Его Величества. А вот форму пожарника или полисмена он никогда не надевает. Масон, да*.

[5] Сладкое безделье *(итал.)*.
[6] Flower — цветок *(англ.)*.

Беспечной походкой он вышел с почты и повернул направо. Говорильня; как будто этим что-то исправишь. Рука его опустилась в карман; указательный палец просунулся под клапан конверта и вскрыл его несколькими рывками. Не думаю, чтобы женщины особо обращали внимание. Пальцы вытащили письмо письмо и скомкали в кармане конверт. Что-то подколото: наверно, фотография. Прядь волос? Нет.

Маккой. Как бы поскорей отвязаться. Одна помеха. Чужое присутствие только злит, когда ты.

— Здравствуйте, Блум. Куда направляетесь?

— Здравствуйте, Маккой. Да так, никуда.

— Как самочувствие?

— Прекрасно. А вы как?

— Скрипим помаленьку,— сказал Маккой.

Бросая взгляд на черный костюм и галстук, он спросил, почтительно понизив голос:

— А что-нибудь... надеюсь, ничего не случилось? Я вижу, вы...

— Нет-нет,— сказал Блум.— Это Дигнам, бедняга. Сегодня похороны.

— Ах да, верно. Печальная история. А в котором часу?

Нет, и не фотография. Какой-то значок, что ли.

— В оди... одиннадцать,— ответил мистер Блум.

— Я попытаюсь выбраться,— сказал Маккой.— В одиннадцать, вы говорите? Я узнал только вчера вечером. Кто же мне сказал? А, Холохан *. Прыгунчик, знаете?

— Знаю.

Мистер Блум смотрел через улицу на кэб, стоявший у подъезда отеля «Гровнор». Швейцар поставил чемодан между сиденьями. Она спокойно стояла в ожидании, а мужчина, муж, брат, похож на нее, искал мелочь в карманах. Пальто модного фасона, с круглым воротником, слишком теплое для такой погоды, на вид как байка. Стоит в небрежной позе, руки в карманы, накладные, сейчас так носят. Как та надменная дамочка на игре в поло. Все женщины свысока, пока не раскусишь. Красив телом красив и делом. Неприступны до первого приступа. Достойная госпожа и Брут весьма достойный человек *. Разок ее поимеешь, спеси как не бывало.

— Я был с Бобом Дореном *, он снова сейчас в загуле, и с этим, как же его, с Бэнтамом Лайонсом *. Да мы тут рядом и были, у Конвея.

Дорен Лайонс у Конвея. Она поднесла к волосам руку в перчатке. И тут заходит Прыгунчик. Под мухой. Немного откинув голову и глядя вдаль из-под приспущенных век, он видел заплетенные крендельки, видел, как сверкает на солнце ярко-желтая кожа. Как ясно сегодня видно. Может быть, из-за влажности. Болтает о том о сем. Ручка леди. С какой стороны она будет садиться?

— И говорит: *Грустная весть насчет бедного нашего друга Падди! Какого Падди?* Это я говорю. *Бедняжечки Падди Дигнама,* это он говорит.

Уезжают за город — наверно, через Бродстоун. Высокие коричневые ботинки, кончики шнурков свисают. Изящная ножка. Чего он все возится с этой мелочью? А она видит, что я смотрю. Всегда примечают, если кто клюнул. На всякий случай. Запас беды не чинит.

— *А что такое?* я говорю. *Чего это с ним стряслось?* говорю.

Надменная — богатая — чулки шелковые.

— Ага,— сказал мистер Блум.

Он отодвинулся слегка вбок от говорящей маккоевой головы. Будет сейчас садиться.

— *Чего стряслось?* говорит. *Помер он, вот чего.* И, мать честная, тут же наливает себе. *Как, Падди Дигнам?* Это я говорю. Я про-

сто ушам своим не поверил. Я же с ним был еще в прошлую пятницу, нет, в четверг, в «Радуге» мы сидели. *Да,* говорит. *Покинул он нас. Скончался в понедельник, сердяга.*

Гляди! Гляди! Шелк сверкнул, чулки дорогие белые. Гляди!

Неуклюжий трамвай, трезвоня в звонок, вклинился, заслонил.

Пропало. Чтоб сам ты пропал, курносая рожа. Чувство — как будто выставили за дверь. Рай и пери*. Вот всегда так. В самый момент. Девица в подворотне на Юстейс-стрит. Кажется, в понедельник было, поправляла подвязку. Рядом подружка, прикрывала спектакль. Esprit de corps [7]. Ну что, что вылупился?

— Да-да,— промолвил мистер Блум с тяжким вздохом.— Еще один нас покинул.

— Один из лучших,— сказал Маккой.

Трамвай проехал. Они уже катили в сторону Окружного моста, ручка ее в дорогой перчатке на стальном поручне. Сверк-блеск — поблескивала на солнце эгретка на ее шляпе — блеск-сверк.

— Супруга жива-здорова, надеюсь? — спросил Маккой, сменив тон.

— О да,— отвечал мистер Блум,— спасибо, все в лучшем виде.

Он рассеянно развернул газетную трубку и рассеянно прочитал:

Как живется в доме
Без паштетов Сливи?
Тоскливо.
А с ними жизнь словно рай.

— Моя дражайшая как раз получила ангажемент. То есть, уже почти.

Опять насчет чемодана закидывает. И что, пусть. Меня больше не проведешь.

Мистер Блум приветливо и неторопливо обратил на него свои глаза с тяжелыми веками.

— Моя жена тоже,— сказал он.— Она должна петь в каком-то сверхшикарном концерте в Белфасте, в Ольстер-холле, двадцать пятого.

— Вот как? — сказал Маккой.— Рад это слышать, старина. А кто это все устраивает?

Миссис Мэрион Блум. Еще не вставала. Королева в спальне хлеб с вареньем. Не за книгой. Замусоленные карты, одни картинки, разложены по семеркам вдоль бедра. На темную даму и светлого короля. Письмо. Кошка пушистым черным клубком. Полоска распечатанного конверта.

Эта старая.
Сладкая.
Песня.
Любви.
Раз-да-ется...

— Видите ли, это нечто вроде турне,— задумчиво сказал мистер Блум.— *Песня любви.* Образован комитет, при равном участии в прибылях и расходах.

Маккой кивнул, пощипывая жесткую поросль усиков.

— Понятно,— произнес он.— Это приятная новость.

Он собрался идти.

— Что же, рад был увидеть вас в добром здравии,— сказал он.— Встретимся как-нибудь.

— Конечно,— сказал мистер Блум.

— Знаете еще что,— решился Маккой.— Вы не могли бы меня вписать в список присутствующих на похоронах? Я бы хотел быть

[7] Дух товарищества *(франц.).*

сам, только, возможно, не получится. В Сэндикоуве кто-то утонул, и может так выйти, что мне со следователем придется туда поехать, если тело найдут. А вы просто вставьте мое имя, если меня не будет, хорошо?

— Я это сделаю,— сказал мистер Блум, собираясь двигаться.— Все будет в порядке.

— Отлично,— сказал бодро Маккой.— Большое спасибо, старина. Может, я еще и приду. Ну, пока. Просто К. П. Маккой, и сойдет.

— Будет исполнено,— твердо пообещал мистер Блум.

Не вышло меня обойти. А подбивал клинья. На простачка. Но я себе на уме. У меня к этому чемодану слабость. Кожа. Наугольники, клепаные края, замок с предохранителем и двойной защелкой. В прошлом году Боб Каули ему одолжил свой, для концерта на регате в Уиклоу, и с тех пор о чемоданчике ни слуху ни духу.

С усмешкой на лице мистер Блум неспешно шагал в сторону Брансвик-стрит. Моя дражайшая как раз получила. Писклявое сопрано в веснушках. Нос огрызком. Не без приятности, в своем роде: для небольшого романса. Но жидковато. Вы да я, мы с вами, не правда ли? Как бы на равных. Подлиза. Противно делается. Что он, не слышит разницы? Кажется, он слегка таков. Не по мне это. Я так и думал, Белфаст его заденет. Надеюсь, в тех краях с оспой не стало хуже. А то вдруг откажется еще раз делать прививку. Ваша жена и моя жена.

Интересно, а он за мной не следит?

Мистер Блум стоял на углу, глаза его блуждали по красочным рекламным плакатам. Имбирный эль (ароматизированый), фирма Кантрелл и Кокрейн. Летняя распродажа у Клери. Нет, пошел прямо. Всех благ. Сегодня «Лия»: миссис Бэндмен Палмер*. Хотелось бы еще раз посмотреть ее в этой роли. Вчера играла Гамлета. Мужская роль. А может, он был женщина *. Почему Офелия и покончила с собой. Бедный папа! Так часто рассказывал про Кейт Бейтмен * в этой роли! Простоял целый день у театра Адельфи в Лондоне, чтобы попасть. Это за год до моего рождения: в шестьдесят пятом. А в Вене Ристори *. Как же она правильно называется? Пьеса Мозенталя. «Рахиль»? Нет. Всегда говорил про ту сцену, где старый ослепший Авраам узнает голос и ощупывает его лицо пальцами.

Голос Натана! Голос сына его! Я слышу голос Натана, который оставил отца своего умирать от горя и нищеты на моих руках, и оставил дом отчий, и оставил Бога отцов своих.

Здесь каждое слово, Леопольд, полно глубокого смысла.

Бедный папа! * Бедный! Хорошо, что я не пошел в комнату и не видел его лицо. В тот день! Боже! Боже! Эх! Кто знает, быть может, так было лучше для него.

Мистер Блум завернул за угол, прошел мимо понурых одров на извозчичьей стоянке. Что толку об этом думать. Пора для торбы с овсом. Лучше бы я не встретил его, этого Маккоя.

Он подошел ближе, услышал хруст золоченого овса, жующие мирно челюсти. Их выпуклые оленьи глаза смотрели на него, когда он шел мимо, среди сладковатой овсяной вони лошадиной мочи. Их Эльдорадо. Бедные саврасы! Плевать им на все, уткнули длинные морды в свои торбы, знать ничего не знают и забот никаких. Слишком сыты, чтоб разговаривать. И корм и кров обеспечены. Холощеные: черный обрубок болтается, как резиновый, между ляжками. Что ж, может, они и так счастливы. На вид славная, смирная животинка. Но как примутся ржать, это бывает невыносимо.

Он вынул из кармана письмо и положил его в газету, которую нес. Можно здесь натолкнуться на нее. В переулке надежней.

Он миновал «Приют извозчика». Странная у извозчика жизнь. Туда-сюда. В любую погоду, в любое место, на время или в один конец, все не по своей воле. Voglio e non. Люблю иногда их угостить

сигареткой. Общительны. Катит мимо, покрикивает на лету. Он замурлыкал:

Là ci darem la mano
Ла да лала ла ла.

Он повернул на Камберленд-стрит и, пройдя несколько шагов, остановился под стеной станции. Никого. Лесосклад Мида. Кучи досок. Развалины и хибарки. Осторожно пересек клетки классиков, в одной — позабытый камушек. Не сгорел. Возле склада мальчик на корточках играл один в шарики, посылая главный щелчком большого пальца. Пестрая и мудрая кошка, моргающий сфинкс, смотрела со своей нагретой приступки. Жалко их беспокоить. Магомет отрезал кусок своего плаща, чтобы не разбудить *. Вынимай. Я тоже играл в шарики, когда ходил в школу к той старой даме. Она любила резеду. Миссис Эллис. А где мистер? Он развернул письмо под прикрытием газеты.

Цветок. Кажется, это — . Желтый цветочек с расплющенными лепестками. Значит, не рассердилась? Чего она там пишет?

Дорогой Генри!

Я получила твое письмо и очень тебе благодарна за него. Жалко, что тебе не понравилось мое последнее письмо. И зачем ты вложил марки? Я на тебя так сердилась. Ужасно хочется, чтобы я могла как-нибудь тебя проучить за это. Я назвала тебя противным мальчишкой, потому что мне совершенно не нравится тот свет. Пожалуйста, объясни мне, что этот твой совет означает? Так ты несчастлив в семейной жизни, мой бедненький противный мальчишка? Ужасно хочется, чтобы я могла чем-нибудь помочь тебе. Напиши мне, пожалуйста, что ты думаешь про меня, бедняжку. Я часто думаю о твоем имени, оно такое красивое. Генри, милый, а когда мы встретимся? Ты просто представить себе не можешь, как часто я о тебе думаю. У меня никогда еще не было такой привязанности к мужчине. Я так страдаю. Пожалуйста, напиши мне длинное письмо, расскажи мне побольше. И помни, если ты этого не сделаешь, я тебя проучу. Вот знай теперь, что я тебе сделаю, противный мальчишка, если ты не напишешь. Я так мечтаю, чтобы мы встретились. Генри, милый, исполни эту мою просьбу, пока у меня еще есть терпение. Тогда я скажу тебе все. А сейчас я с тобой прощаюсь, мой противный, мой миленький. У меня сегодня ужасно болит голова и напиши *поскорее* тоскующей по тебе

Марте.

P. S. Напиши мне, какими духами душится твоя жена. Я хочу знать.

xxxx[8]

С глубокомысленным видом он отколол цветок от бумаги, понюхал его почти исчезнувший запах и положил в кармашек у сердца. Язык цветов. Им это нравится, потому что нельзя подслушать. Или отравленный букет, разделаться с ним. Шагая медленно дальше, он перечел еще раз письмо, шепча отдельные слова про себя. Сердилась гвоздика на тебя миленький мужецвет проучить твой кактус если ты пожалуйста бедняжка незабудка я так мечтаю фиалки мой милый розы когда же мы анемоны встретимся противный ночной пестик жена духи Марте*. Он перечел до конца, вынул его из газеты и спрятал обратно в боковой карман.

Тихая радость приоткрыла его губы. Не сравнить с первым письмом. Интересно, сама писала? Разыгрывает возмущение: я девушка из хорошей семьи, пример добродетели. Могли бы встретиться в воскресенье после мессы. Большое спасибо — не по моей части.

---

[8] Условный знак «масса поцелуев» в английских письмах.

Обычная любовная драчка. Потом разбегутся по углам. Не лучше, чем сцены с Молли. Сигара успокаивает. Наркотик. В следующий раз пойти еще дальше. Противный мальчишка, проучить: боится слов, конечно. Что-нибудь шокирующее, а? Стоит попробовать. Каждый раз понемножку.

Продолжая ощупывать письмо в кармане, он вытащил из него булавку. Простая булавка? Он бросил ее на землю. Откуда-нибудь из одежды: что-то закалывала. Это немыслимо, сколько на них булавок. Нет розы без шипов.

Грубые дублинские голоса взвыли у него в голове. В ту ночь в Куме, две девки, обнявшись под дождем:

> Эх, у Мэри панталоны на одной булавке.
> А булавка упадет —
> Как домой она дойдет,
> Как домой она дойдет?

Кто? Мэри. Ужасно болит голова. Наверно, их месячные розы. Или целый день за машинкой. Вредно для нервов желудка. Зрительное напряжение. Какими духами душится твоя жена? Додумалась, а?

> Как домой она дойдет?

Марта, Мэри. Мария и Марфа*. Где-то я видел эту картину, уже забыл, старого мастера или подделка. Он сидит у них в доме, разговаривает. Таинственно. Те девки из Кума тоже слушали бы.

> Как домой она дойдет?

Приятное вечернее ощущение. Скитанья кончены. Можешь расслабиться — мирные сумерки — пусть все идет своим чередом. Забудь. Рассказывай о тех местах, где ты был, о чужих обычаях. Другая, с кувшином на голове, готовила ужин: фрукты, маслины, прохладная вода из колодца, хладнокаменного, как дырка в стене в Эштауне *. В следующий раз, как пойду на бега, надо будет прихватить бумажный стаканчик. Она слушает с расширенными глазами, темные ласковые глаза. Рассказывай — еще и еще — все расскажи. И потом вздох: молчание. Долгий — долгий — долгий покой.

Проходя под железнодорожным мостом, он вынул конверт, проворно изорвал на клочки и пустил по ветру. Клочки разлетелись, быстро падая вниз в сыром воздухе: белая стайка, потом все попадали.

Генри Флауэр. Вот так можно разорвать и чек на сто фунтов. Простой листик бумаги. Лорд Айви * явился как-то в Ирландский банк с семизначным чеком, получил миллион наличными. Вот и смотри, что можно взять на портере. Зато другой братец, лорд Ардилон *, говорят, должен менять рубашку четыре раза на день. Какие-то вши, не то черви. Миллион фунтов, минутку. Два пенса — это пинта, четыре — кварта, значит, галлон портера восемь пенсов, хотя нет, шиллинг четыре пенса. Двадцать поделить на один и четыре: примерно пятнадцать. Так, точно. Пятнадцать миллионов бочонков портера.

Что я говорю, бочонков? Галлонов. Но все равно около миллиона бочонков.

Прибывающий поезд тяжело пролязгал над головой у него, один вагон за другим. В голове стукались бочонки; плескался и переливался мутный портер. Затычки вылетели, полился мощный мутный поток, растекаясь по грязной земле, петляя, образуя озерки и водовороты хмельной влаги и увлекая с собой широколистые цветы ее пены.

Он подошел к отворенным задним дверям церкви Всех Святых. Ступив на крыльцо, снял шляпу, вытащил из кармана визитную карточку и снова засунул ее за кожаный ободок. Тьфу ты. Ведь мог прощупать Маккоя насчет бесплатного проезда в Моллингар.

Прежнее объявление на дверях. Проповедь высокопреподобного Джона Конми *, О. И.[9] о святом Петре Клавере *, О. И. и об африканской миссии. За обращение Гладстона молились, когда был уже почти в беспамятстве *. Протестанты такие же. Обратить в истинную веру Вильяма Дж. Уолша, доктора богословия. Спасать миллионы китайцев. Как они ухитряются это растолковать косоглазым. Те предпочли бы унцию опиума. Жители Небесной Империи. Злостная ересь для них. Будда, их бог, лежит на боку в музее *. Прохлаждается, подложив руку под голову. Возжигают курения. Непохоже на «ессе homo» [10]. Терновый венец и крест. Трилистник — хорошая придумка святого Патрика *. А едят палочками? Конми: Мартин Каннингем * с ним знаком; почтенного вида. Надо было к нему пойти, когда устраивал Молли в хор *, а не к этому отцу Фарли, что на вид простачок, а на самом деле. Так учат их. Уж этот не отправится крестить негритят, в очках от солнца и потея ручьями. А те дивились бы на очки, как сверкают. Забавно бы поглядеть, как они там сидят в кружок, развесив толстые губищи, и в полном восторге слушают. Натюрморт. Лакают, как молочко.

Прохладный запах святых камней влек его. Он поднялся по истертым ступеням, толкнул дверь и тихонько вошел.

Что-то тут делается: служба какой-то общины. Жаль, что так пусто. Отличное укромное местечко, где бы пристроиться рядом с приятной девушкой. Кто мой ближний *? Часами в тесноте, под тягучую музыку. Та женщина у вечерней мессы. На седьмом небе. Женщины стали на колени у своих скамей, опустив головы, вокруг шей алые ленточки *. Часть стала на колени у алтарной решетки. Священник обходил их, шепотом бормоча, держа в руках эту штуку. Возле каждой он останавливался, вынимал причастие, стряхивал одну-две капли (они что, в воде?) и аккуратненько клал ей в рот. Ее шляпа и голова дернулись вниз. К следующей. Ее шляпа дернулась тут же. К следующей: маленькая старушка. Священник наклонился, чтобы положить его ей в рот, все время продолжая шептать *. Латынь. К следующей. Закрой глаза, открой рот. Что? Corpus [11]. Тело. Труп. Хорошая находка, латынь. Первым делом их одурманить. Приют для умирающих *. Кажется, они это не жуют: сразу глотают. Дикая идея — есть куски трупа. То-то каннибалы клюют на это.

Он стоял чуть поодаль, глядя, как их незрячие маски движутся вереницей по проходу, ищут свои места. Потом подошел к скамье и сел с краю, продолжая держать свои газету и шляпу. И что за горшки мы носим. Шляпы надо бы делать по форме головы. Они были рассеяны вокруг, там и сям, головы все еще опущены, алые ленточки, ждут, пока это растопится в их желудках. Вроде мацы, тот же сорт хлеба: пресные хлебы предложения *. Только посмотреть на них. Так и видно, как счастливы. Конфетка. Счастливы до предела. Да, это называется хлеб ангелов *. За этим большая идея, чувствуешь что-то в том роде, что Царство Божие внутри нас. Первые причастники. Чудо для крошек — леденец за грошик. После этого они все чувствуют себя как одна семья, то же самое в театре, все заодно. Конечно, чувствуют, я уверен. Не так одиноко: мы все собратья. Потом в приподнятых чувствах. Дает разрядку. Во что по-настоящему веришь, то и существует. Исцеления в Лурде, воды забвения, явление в Ноке *, кровоточащие статуи. Старикан заснул возле исповедальни. Оттуда и храп. Слепая вера. Обеспечил местечко в грядущем царствии. Убаюкивает все страдания. Разбудите в это же время через год.

Он увидел, как священник убрал чашу с причастием куда-то внутрь и на мгновение стал на колени перед ней, выставив серую

---

[9] Член Общества Иисуса (ордена иезуитов).
[10] Се человек * *(лат.)*.
[11] Тело *(лат.)*.

большую подметку из-под кружевного балахона, что был на нем. А вдруг и у него на одной булавке. Как он домой дойдет? Сзади круглая плешь. На спине буквы. И. Н. Ц. И. *? Нет: И. Х. С. Молли мне как-то объяснила. Ищу храм святости — или нет: ищу храм страдания, вот как. А те, другие? И нас целиком искупил.

Встретиться в воскресенье после мессы. Исполни эту мою просьбу. Появится под вуалью и с черной сумочкой. В сумерках и против света *. Могла бы быть тут, с ленточкой на шее, и все равно тайком проделывать такие делишки. Они способны. Тот гусь, что выдал непобедимых *, он каждое утро ходил, Кэри его звали, к причастию. Вот в эту самую церковь. Питер Кэри. Нет, это у меня Петр Клавер в голове. Дэнис Кэри *. Представить только себе. Дома жена и шестеро детей. И все время готовил это убийство. Эти святоши, вот самое подходящее для них слово, в них всегда что-то скользкое. И в делах тоже они виляют. Да нет, ее нет здесь — цветок — нет, нет. А кстати, конверт-то я разорвал? Да-да, под мостом.

Священник ополоснул потир, потом залпом ловко опрокинул остатки *. Вино. Так аристократичней чем если бы он пил что уж они там пьют портер Гиннесса или что-нибудь безалкогольное дублинское горькое Уитли или имбирный эль (ароматизированный) Кантрелла и Кокрейна. Им не дает: вино предложения *: только то, другое. Скупятся. Святые мошенники; но правильно делают: иначе бы все пьянчужки сбегались клянчить. Странная атмосфера в этих. Правильно делают. Совершенно правы.

Мистер Блум оглянулся на хоры. Музыки никакой не будет. Жаль. Кто у них органист? Старый Глинн, вот тот умел заставить инструмент говорить, *вибрато:* по слухам, пятьдесят фунтов в год ему платили на Гардинер-стрит. В тот день Молли была очень в голосе, «Stabat mater»[12]* Россини. Сначала проповедь отца Бернарда Вохена. Христос или Пилат? Да Христос, только не томи нас всю ночь. Вот музыку они хотели. Шарканье прекратилось. Булавка упадет — слышно. Я ей посоветовал направлять голос в тот угол. Волнение так и чувствовалось в воздухе, на пределе, все даже головы подняли:

Quis est homo[13].

В этой старой церковной музыке есть чудесные вещи. Меркаданте *: семь последних слов. Двенадцатая месса Моцарта, а из нее — «Gloria». Папы в старину знали толк и в музыке и в искусстве, во всяческих статуях, картинах. Или Палестрина, к примеру. Пока так было, в добрые старые времена, славная была жизнь. И для здоровья полезно, пение, правильный режим, потом варили ликеры. Бенедиктин. Зеленый шартрез. Но все-таки держать в хоре кастратов, это уж что-то слишком. А какие это голоса? Наверно, интересно было слушать после их собственных густых басов. Знатоки. Должно быть, они после этого ничего не чувствуют. Некая безмятежность. Не о чем беспокоиться. Жиреют, что им еще? Высокие длинноногие обжоры. Кто знает? Кастрат. Тоже выход из положения.

Он увидел, как священник нагнулся и поцеловал алтарь, потом, повернувшись к собравшимся, благословил их. Все перекрестились и встали. Мистер Блум оглянулся по сторонам и тоже встал, глядя поверх поднявшихся шляп. Встают это конечно для евангелия. Потом все опять стали на колени, а он спокойно уселся на скамью. Священник сошел с алтарного возвышения, держа перед собой ту штуку *, и они с прислужником стали друг другу отвечать по-латыни. Потом священник стал на колени и начал читать по бумажке:

— Господь наше прибежище и сила наша...

---

[12] «Мать стояла» *(лат.)*.

[13] Кто тот человек * *(лат.)*.

Мистер Блум подался вперед, чтобы уловить слова. Английский. Бросить им кость. Еще что-то помню. Когда был у мессы последний раз *? Преславная и непорочная дева. Супруг ее Иосиф. Петр и Павел. Так интересней, когда понимаешь, о чем все это. Блестящая организация, это факт, работает как часы. Исповедь. Все стремятся. Тогда я скажу тебе все. Раскаяние. Прошу вас, накажите меня. Сильнейшее оружие в их руках. Сильней, чем у доктора или адвоката. Женщины просто с ума сходят. А я шушушушушушу. А вы бубубубубубу? Зачем же это вы? Разглядывает свое кольцо, ищет оправдание. Шепчущая галерея, у стен есть уши. Муж, к своему изумлению, узнает. Господь слегка подшутил. Потом она выходит. Раскаяние на пять минут. Мило пристыжена. Молитва у алтаря. Аве Мария да святая Мария. Цветы, ладан, оплывающие свечи. Прячет румянец. Армия спасения — жалкая подделка. Перед нашим собранием выступит раскаявшаяся блудница. Как я обрела Господа. В Риме, должно быть, головастые парни: они же заправляют всей лавочкой. И денежки хорошие загребают. Завещания: приходскому священнику в его полное распоряжение. Служить мессы за упокой моей души всенародно при открытых дверях. Монастыри мужские и женские. В деле о завещании Ферманы священник в числе свидетелей. Этого не собьешь. Ответ заранее на все готов. Свобода и возвышение нашей святой матери церкви. Учители церкви, они на это придумали целое богословие.

Священник молился:

— Блаженный архангеле Михаиле, огради нас в час бедствий. Сохрани нас от злобы и козней диавола (смиренно молим, да укротит его Господь!); и властию Божией, о княже воинства небесного, низрини его, Сатану, во ад, и с ним купно прочих злых бесов, кои рыщут по свету погибели ради душ наших.

Священник с прислужником встали и пошли прочь. Кончено. Женщины еще остались: благодарение.

Пора убираться. Брат Обирало. Вдруг пойдет с блюдом. Вноси свою лепту.

Он поднялся. Эге. Это что же, две пуговицы на жилете так и были расстегнуты? Женщины в таких случаях в восторге. Никогда не скажут тебе. А уж мы-то. Простите, мисс, тут у вас (гмм!) крохотная (гмм!) пушинка. Или крючок расстегнется сзади на юбке. Проблеск луны *. Досадуют, если ты не. Что же ты раньше не сказал? Любят, когда у тебя слегка растрепанный вид. Хорошо еще тут, а не дальше к югу. Он прошел меж скамей, незаметно застегиваясь на ходу, и главною дверью вышел на свет. Зажмурясь, он остановился на миг возле холодной черной мраморной чаши, покуда сзади и спереди от него две богомолки окунали робкие руки в мелководье святой воды *. Трамваи — фургон из красильни Прескотта — вдовица в трауре. Замечаю, потому что сам в трауре. Он надел шляпу. Сколько там набежало? Четверть? Хватает времени. Стоит сейчас заказать лосьон. Где это? Ах да, в прошлый раз. Свени на Линкольн-плейс. Аптекари редко переезжают. Эти их бутыли зеленые, золотые, не очень сдвинешь. Аптека Гамильтона Лонга основана в год наводнения. Недалеко от гугенотского кладбища. Зайти как-нибудь.

Он двинулся в южном направлении по Уэстленд-роу. А ведь рецепт-то в тех брюках. Ох, да и ключ там же. Морока с этими похоронами. Ну ладно, он, бедный, не виноват. Когда я заказывал это дело в последний раз? Постой-ка. Еще помню, разменял соверен. Должно быть, первого числа или второго. По книге заказов можно найти.

Аптекарь перелистывал страницу за страницей назад. От него будто пахнет чем-то песочным, ссохшимся. Сморщенный череп. Старик. Ищут философский камень. Алхимия. Наркотики дают возбуждение, а потом старят. Потом летаргия. А почему? Реакция. Целая жизнь за одну ночь. Характер постепенно меняется. Живешь постоянно среди трав, мазей, лекарств. Все эти алебастровые горшочки.

Ступка и пестик. Aq. Dist. Fol. Laur. Te Virid [14]. Уже один запах почти вылечивает, как позвонить в дверь к зубному. Доктор Коновал. Ему бы самому подлечиться. Лечебная кашка или эмульсия. Кто первый решился нарвать травы и лечиться ею, это был храбрый малый. Целебные травы. Нужна осторожность. Тут хватит всего вокруг, чтобы тебя хлороформировать. Проверка: синяя лакмусовая бумажка краснеет. Хлороформ. Чрезмерная доза опия. Снотворное. Приворотные зелья. Парегорик, маковый сироп, вреден при кашле. Закупоривает поры или мокроту. Яды, вот единственные лекарства. Исцеление там, где не ожидаешь. Мудрость природы.

— Примерно две недели назад, сэр?

— Да,— ответил мистер Блум.

Он ждал у конторки, вдыхая едкую вонь лекарств, сухой пыльный запах губок и люффы. Долгое дело — рассказывать, о чем у тебя голова болит.

— Миндальное масло и бензойная настойка,— сказал мистер Блум,— и потом померанцевая вода...

От этого лосьона кожа у нее делается нежная и белая, точно воск.

— И еще воск,— добавил он.

Подчеркивает темный цвет глаз. Смотрела на меня, натянув простыню до этих самых глаз, испанских, нюхала себя, пока я продевал запонки. Домашние средства часто самые лучшие: клубника для зубов, крапива и дождевая вода, а еще, говорят, толокно с пахтаньем. Питает кожу. Один из сыновей старой королевы, герцог Олбани*, кажется, у него была всего одна кожа. Да, у Леопольда. А у всех нас по три. В придачу угри, мозоли и бородавки. Но тебе еще нужно и духи. Какими духами твоя? Peau d'Espagne [15]. Эта померанцевая вода очень освежает. От мыла приятный запах. Чистое ядровое мыло. Еще успеваю в баню, тут за углом. Хаммам. Турецкая. Массаж. Грязь скапливается в пупке. Приятней, если бы хорошенькая девушка это делала. Да я думаю и я. Да, я. В ванне этим заняться. Странное желание я. Вода к воде. Полезное с приятным. Жалко, нет времени на массаж. Потом весь день чувство свежести. Похороны мраку нагонят.

— Вот, сэр,— отыскал аптекарь.— Это стоило два и девять. А склянка у вас найдется с собой?

— Нет,— сказал мистер Блум.— Вы приготовьте, пожалуйста, а я зайду попоздней сегодня. И я возьму еще мыло, какое-нибудь из этих. Они почем?

— Четыре пенса, сэр.

Мистер Блум поднес кусок к носу. Сладковато-лимонный воск.

— Вот это я возьму,— решил он.— Итого будет три и пенни.

— Да, сэр,— сказал аптекарь.— Вы можете заплатить за все сразу, когда придете.

— Хорошо,— сказал мистер Блум.

Он вышел из аптеки, не торопясь, держа под мышкой трубку газеты и в левой руке мыло в прохладной обертке.

У самой подмышки голос и рука Бэнтама Лайонса сказали:

— Приветствую, Блум, что новенького? Это сегодняшняя? Вы не покажете на минутку?

Фу ты, опять усы сбрил. Длинная, холодная верхняя губа. Чтобы выглядеть помоложе. А выглядит по-дурацки. Он моложе меня.

Пальцы Бэнтама Лайонса, желтые, с чернотой под ногтями, развернули газету. Ему бы тоже помыться. Содрать корку грязи. Доброе утро, вы не забыли воспользоваться мылом Пирса? По плечам перхоть. Череп бы смазывал.

— Хочу взглянуть насчет французской лошадки, что сегодня бежит,— сказал Бэнтам Лайонс.— Черт, да где тут она?

---

[14] Фармацевтические сокращения: дистиллированная вода, лавровый лист, зеленый чай *(лат.)*.

[15] Испанская кожа *(франц.)*.

Он шелестел мятыми страницами, ерзая подбородком туда-сюда по тугому воротничку. Зуд после бритья. От такого воротничка волосы будут лезть. Оставить ему газету, чтоб отвязался.

— Можете взять себе,— сказал мистер Блум.

— Аскот *. Золотой кубок. Постойте,— бормотал Бэнтам Лайонс.— Один мо. Максим Второй.

— Я здесь только рекламу смотрел,— добавил мистер Блум.

Внезапно Бэнтам Лайонс поднял на него глаза, в которых мелькнуло хитрое выражение.

— Как-как вы сказали? — переспросил он отрывисто.

— Я говорю: можете взять себе,— повторил мистер Блум.— Я все равно хотел выбросить, только посмотрел рекламу.

Бэнтам Лайонс, с тем же выражением в глазах, поколебался минуту — потом сунул раскрытые листы обратно мистеру Блуму.

— Ладно, рискну,— проговорил он.— Держите, спасибо.

Едва не бегом он двинулся в сторону Конвея. Прыть как у зайца.

Мистер Блум, усмехнувшись, снова сложил листы аккуратным прямоугольником и поместил между ними мыло. Дурацкие стали губы. Играет на скачках. Последнее время просто повальная зараза. Мальчишки-посыльные воруют, чтобы поставить шесть пенсов. Разыгрывается в лотерею отборная нежная индейка. Рождественский ужин за три пенса. Джек Флеминг играл на казенные деньги, а после сбежал в Америку. Теперь владелец отеля. Назад никогда не возвращаются. Котлы с мясом в земле Египетской.

Бодрой походкой он приблизился к мечети турецких бань. Напоминает мечеть, красные кирпичи, минареты. Я вижу, сегодня университетские велогонки. Он рассматривал афишу в форме подковы над воротами Колледж-парка: велосипедист, согнувшийся в три погибели. Бездарная афишка. Сделали бы круглую, как колесо. Внутри спицы: гонки — гонки — гонки; а по ободу: университетские. Вот это бы бросалось в глаза.

Вон и Хорнблоуэр у ворот. С ним стоит поддерживать: мог бы туда пропускать за так. Как поживаете, мистер Хорнблоуэр? Как поживаете, сэр?

Погодка прямо райская. Если бы в жизни всегда так. Погода для крикета. Рассядутся под навесами. Удар за ударом. Промах. Здесь для крикета тесновато. Подряд шесть воротцев. Капитан Коллер пробил по левому краю и вышиб окно в клубе на Килдер-стрит. Таким игрокам место на ярмарке в Доннибруке. Эх, башки мы им открутим, как на поле выйдет Джек. Волна тепла. Не слишком надолго. Вечно бегущий поток жизни *: ищет в потоке жизни наш взгляд, что нам доро-о-оже всего.

А теперь насладимся баней: чистая ванна с водой, прохладная эмаль, теплый, ласкающий поток. Сие есть тело мое *.

Он видел заранее свое бледное тело, целиком погруженное туда, нагое в лоне тепла, умащенное душистым тающим мылом, мягко омываемое. Он видел свое туловище и члены, покрытые струйной рябью, невесомо зависшие, слегка увлекаемые вверх, лимонно-желтые; свой пуп, завязь плоти; и видел, как струятся темные спутанные пряди поросли и струятся пряди потока вокруг поникшего отца тысяч *, вяло колышущегося цветка.

6

Гласневинское кладбище.

Мартин Каннингем, первый, просунул оцилиндренную голову внутрь скрипучей кареты и, ловко войдя, уселся. За ним шагнул мистер Пауэр, пригибаясь из-за своего роста.

— Садитесь, Саймон.

— После вас,— сказал мистер Блум.

Мистер Дедал надел живо шляпу и поднялся в карету, проговорив:

— Да-да.

— Все уже здесь? — спросил Мартин Каннингем.— Забирайтесь, Блум.

Мистер Блум вошел и сел на свободное место. Потом взялся за дверцу и дважды притянул ее, пока она не закрылась плотно. Продел руку в петлю и с серьезным видом посмотрел через открытое окошко кареты на спущенные шторы соседских окон. Одна отдернута: старуха глазеет. Приплюснула нос к стеклу: побелел. Благодарит небо, что ее пронесло. Поразительно, какой у них интерес к трупам. Рады нас проводить на тот свет так тяжко производить на этот. Занятие в самый раз по ним. Шушуканье по углам. Шмыгают неслышно в шлепанцах, боятся, еще проснется. Потом прибрать его. Положить на стол. Молли и миссис Флеминг стелят ложе. Подтяните слегка к себе. Наш саван. Не узнаешь, кто тебя мертвого будет трогать. Обмыть тело, голову. Ногти и волосы, кажется, подрезают. Часть на память в конвертик. Потом все равно отрастают. Нечистое занятие.

Все ждали, не говоря ни слова. Наверно, венки выносят. На что-то твердое сел. А, мыло: оно же в заднем кармане. Лучше убрать оттуда. Подожди случая.

Все ждали. Потом спереди донеслись звуки колес — ближе — потом стук копыт. Тряхнуло. Карета тронулась, скрипя и покачиваясь. Послышались другие копыта и скрипучие колеса, сзади. Проплыли соседские окна и номер девятый с открытой дверью, с крепом на дверном молотке. Шагом.

Они еще выжидали, с подпрыгивающими коленями, покуда не повернули и не поехали вдоль трамвайной линии. Трайтонвилл-роуд. Быстрей. Колеса застучали по булыжной мостовой, и расшатанные стекла запрыгали, стуча, в рамах.

— По какой это он дороге? — спросил мистер Пауэр в оба окошка.

— Айриштаун,— ответил Мартин Каннингем.— Рингсенд. Брансвик-стрит.

Мистер Дедал, поглядев наружу, кивнул.

— Хороший старый обычай,— сказал он.— Отрадно, что еще не забыт.

С минуту все смотрели в окна на фуражки и шляпы, приподнимаемые прохожими. Дань уважения. Карета, миновав Уотери-лейн, свернула с рельсов на более гладкую дорогу. Взгляд мистера Блума заметил стройного юношу в трауре и широкополой шляпе.

— Тут мимо один ваш друг, Дедал,— сказал он.

— Кто это?

— Ваш сын и наследник.

— Где он там? — спросил мистер Дедал, перегибаясь к окну напротив.

Карета, миновав улицу с доходными домами и развороченной, в канавах и ямах, мостовой, свернула, накренившись, за угол и снова покатила вдоль рельсов, громко стуча колесами. Мистер Дедал откинулся назад и спросил:

— А этот прохвост Маллиган тоже с ним? Его fidus Achates [16]?

— Да нет, он один,— ответил мистер Блум.

— От тетушки Салли, надо думать,— сказал мистер Дедал.— Эта шайка Гулдингов, пьяненький счетоводишка и Крисси, папочкина вошка-сикушка, то мудрое дитя, что узнает отца*.

Мистер Блум бесстрастно усмехнулся, глядя на Рингсенд-роуд. Братья Уоллес, производство бутылок. Мост Доддер.

Ричи Гулдинг с портфелем стряпчего. Гулдинг, Коллис и Уорд, так он всем называет фирму. Его шуточки уже сильно с бородой. А был хоть куда. Воскресным утром танцевал на улице вальс с Игнатием Галлахером *, на Стеймер-стрит, напялив две хозяйкины шляпы на голову. Ночи напролет куролесил. Теперь начинает расплачиваться: боюсь, что эта его боль в пояснице. Жена утюжит спину. Думает вылечиться пилюльками. А в них один хлеб. Процентов шестьсот чистой прибыли.

— Связался со всяким сбродом,— продолжал сварливо мистер Дедал.— Этот Маллиган, вам любой скажет, это отпетый бандит, насквозь испорченный тип. От одного его имени воняет по всему Дублину. Но с помощью Божией и Пресвятой Девы, я им особо займусь, я напишу его матери, или тетке. или кто она там ему такое письмо, что у нее глаза полезут на лоб. Я тыл ему коленом почешу *, могу вас заверить.

Он силился перекричать громыханье колес:

— Я не позволю, чтобы этот ублюдок, ее племянничек, губил бы моего сына. Отродье зазывалы из лавки. Шнурки продает у моего родича, Питера Пола Максвайни*. Не выйдет.

Он смолк. Мистер Блум перевел взгляд с его сердитых усов на кроткое лицо мистера Пауэра, потом на глаза и бороду Мартина Каннингема, которые солидно покачивались. Шумливый человек, своевольный. Носится со своим сыном. И правильно. Что-то после себя оставить. Если бы Руди, малютка, остался жить. Видеть, как он растет. Слышать голосок в доме. Как идет рядом с Молли в итонской курточке *. Мой сын. Я в его глазах. Было бы странное ощущение. От меня. Слепой случай. Это видно тем утром на Ричмонд-террас она у окна глядела как две собаки случаются под стеной Не содейте зла *. И сержант ухмылялся. Она была в том палевом халате с прорехой, так и не собралась зашить. Польди, давай мы. Ох, я так хочу, умираю. Так начинается жизнь.

Потом в положении. Пришлось отменить концерт в Грейстоуне. Мой сын в ней. Я мог бы его поставить на ноги. Мог бы. Сделать самостоятельным. Немецкому научить.

— Мы не опаздываем? — спросил мистер Пауэр.

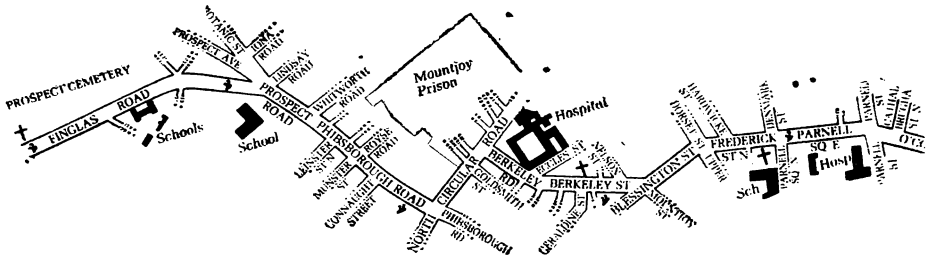
— На десять минут,— сказал Мартин Каннингем, посмотрев на часы.

Молли. Милли. То же самое, но пожиже. Ругается, как мальчишка. Катись колбаской! Чертики с рожками! Нет, она милая девчушка. Станет уж скоро женщиной. Моллингар. Дражайший папулька. Студент. Да, да: тоже женщина. Жизнь, жизнь.

Карету качнуло взад-вперед и с ней четыре их тулова.

---

[16] Верный Ахат * *(лат.)*.



— Корни мог бы нам дать какую-нибудь колымагу поудобней,— заметил мистер Пауэр.

— Мог бы,— сказал мистер Дедал,— если бы он так не косил. Вы меня понимаете?

Он прищурил левый глаз. Мартин Каннингем начал смахивать хлебные крошки со своего сиденья.

— Что это еще, Боже милостивый? — проговорил он.— Крошки?

— Похоже, что кто-то тут устраивал недавно пикник,— сказал мистер Пауэр.

Все привстали, недовольно оглядывая прелую, с оборванными пуговицами, кожу сидений. Мистер Дедал покрутил носом, глядя вниз, поморщился и сказал:

— Или я сильно ошибаюсь... Как вам кажется, Мартин?

— Я и сам поразился,— сказал Мартин Каннингем.

Мистер Блум опустился на сиденье. Удачно, что зашел в баню. Ноги чувствуешь совершенно чистыми. Вот только бы еще миссис Флеминг заштопала эти носки получше.

Мистер Дедал, отрешенно вздохнув, сказал:

— В конце концов, это самая естественная вещь на свете.

— А Том Кернан появился? — спросил Мартин Каннингем, слегка теребя кончик бороды.

— Да,— ответил мистер Блум.— Он едет за нами с Хайнсом * и с Недом Лэмбертом.

— А сам Корни Келлехер? — спросил мистер Пауэр.

— На кладбище,— сказал Мартин Каннингем.

— Я встретил утром Маккоя,— сообщил мистер Блум,— и он сказал, тоже постарается приехать.

Карета резко остановилась.

— Что там такое?

— Застряли.

— Где мы?

Мистер Блум высунул голову из окна.

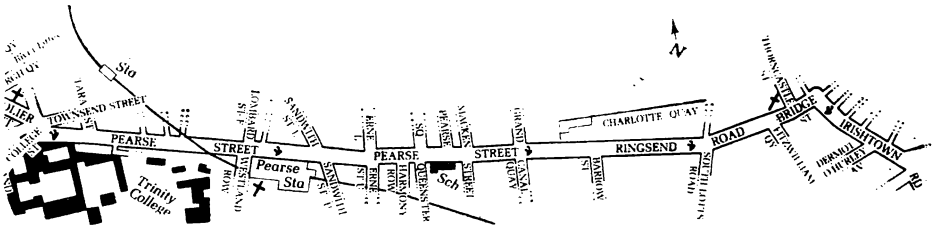
— Большой канал,— сказал он.

Газовый завод. Говорят, вылечивает коклюш. Повезло, что у Милли этого не было. Бедные дети. Сгибаются пополам в конвульсиях, синеют, чернеют. Просто кошмар. С болезнями сравнительно легко обошлось. Одна корь. Чай из льняного семени. Скарлатина, эпидемии инфлюэнцы. Рекламные агенты смерти. Не упустите такого случая. Вон там собачий приют *. Старый Атос *, бедняга! Будь добрым к Атосу, Леопольд, это мое последнее желание. Да будет воля твоя. Слушаемся их, когда они в могиле. Предсмертные каракули. Он себе места не находил, тосковал. Смирный пес. У стариков обычно такие.

Капля дождя упала ему на шляпу. Он спрятал голову и увидел, как серые плиты моментально усеялись темными точками. По отдельности. Интересно Как через сито. Я так и думал, пойдет. Помнится, подошвы скрипели.

— Погода меняется,— спокойно сообщил он.

— Жаль, быстро испортилась,— откликнулся Мартин Каннингем.



— Для полей нужно,— сказал мистер Пауэр.— А вон и солнце опять выходит.

Мистер Дедал, воззрившись через очки на задернутое солнце, послал немое проклятие небесам.

— Не надежнее, чем попка младенца,— изрек он.

— Поехали.

Колеса с усилием завертелись снова, и торсы сидящих мягко качнуло. Мартин Каннингем живее затеребил кончик бороды.

— Вчера вечером Том Кернан был грандиозен,— сказал он.— А Падди Леонард его передразнивал у него на глазах.

— О, покажите-ка нам его, Мартин,— оживился мистер Пауэр.— Сейчас вы, Саймон, услышите, как он высказался про исполнение «Юного бунтаря» Беном Доллардом.

— Грандиозно,— с напыщенностью произнес Мартин Каннингем.— *То, как он спел эту простую балладу, Мартин, это самое проникновенное исполнение, какое мне доводилось слышать при всем моем долгом опыте.*

— Проникновенное,— со смехом повторил мистер Пауэр.— Это словечко у него просто пунктик. И еще — *ретроспективное упорядочение.*

— Читали речь Дэна Доусона? — спросил Мартин Каннингем.

— Я нет,— сказал мистер Дедал.— А где это?

— В сегодняшней утренней.

Мистер Блум вынул газету из внутреннего кармана. Я еще должен поменять книгу для нее.

— Нет-нет,— сказал поспешно мистер Дедал.— Потом, пожалуйста.

Взгляд мистера Блума скользнул по крайнему столбцу, пробежав некрологи. Коллен, Коулмен, Дигнам, Фоусетт, Лаури, Науман, Пик, это какой Пик, не тот, что служил у Кроссби и Оллейна? нет, Секстон, Эрбрайт. Черные литеры уже начали стираться на потрепанной и мятой бумаге. Благодарение Маленькому Цветку *. Горькая утрата. К невыразимой скорби его. В возрасте 88 лет, после продолжительной и тяжелой болезни. Панихида на тридцатый день. Квинлен. Да помилует Иисус Сладчайший душу его.

> Уж месяц как Генри ушел без возврата,
> В обители вечной он пребывает.
> Семейство скорбит над жестокой утратой,
> На встречу в горнем краю уповая *.

А я конверт разорвал? Да. А куда положил письмо, после того как перечитывал в бане? Он ощупал свой жилетный карман. Тут. Генри ушел без возврата. Пока у меня еще есть терпение.

Школа. Лесосклад Мида. Стоянка кэбов. Всего два сейчас. Дремлют. Раздулись, как клещи. Мозгов почти нет, одни черепные кости. Еще один трусит с седоком. Час назад я тут проходил. Извозчики приподняли шапки.

Спина стрелочника неожиданно выросла, распрямившись, возле трамвайного столба, у самого окна мистера Блума. Разве нельзя при-

думать что-нибудь автоматическое чтобы колеса сами гораздо удобней? Да, но тогда этот парень потеряет работу? Да, но зато еще кто-то получит работу, делать то, что придумают?

Концертный зал Эншент. Закрыт сегодня. Прохожий в горчичном костюме, с крепом на рукаве. Некрупная скорбь. Четверть траура. Женина родня, скажем.

Они проехали мрачную кафедру Святого Марка, под железнодорожным мостом, мимо театра «Куинз»: в молчании. Рекламные щиты. Юджин Стрэттон, миссис Бэндмен Палмер. А не сходить ли мне на «Лию» сегодня вечером? Говорил ведь что. Или на «Лилию Килларни» *? Оперная труппа Элстер Граймс. Новый сенсационный спектакль. Афиши на будущую неделю, еще влажные, яркие. «Бристольские забавы» *. Мартин Каннингем мог бы достать контрамарку в «Гэйети». Придется ему поставить. Шило на мыло.

Он придет днем. Ее песни.

Шляпы Плестоу. Бюст сэра Филипа Крэмптона * у фонтана. А кто он был-то?

— Как поживаете? — произнес Мартин Каннингем, приветственно поднося ладонь ко лбу.

— Он нас не видит,— сказал мистер Пауэр.— Нет, видит. Как поживаете?

— Кто? — спросил мистер Дедал.

— Буян Бойлан,— ответил мистер Пауэр.— Вон он, вышел проветриться.

В точности когда я подумал.

Мистер Дедал перегнулся поприветствовать. От дверей ресторана «Ред бэнк» блеснул ответно белый диск соломенной шляпы — щеголеватая фигура — проехали.

Мистер Блум осмотрел ногти у себя на левой руке, потом на правой руке. Да, ногти. Что в нем такого есть что они она видит? Наваждение. Ведь хуже не сыщешь в Дублине. Этим и жив. Иногда они человека чувствуют. Инстинкт. Но этакого гуся. Мои ногти. А что, просто смотрю на них: вполне ухожены. Потом одна, размышляет. Тело не такое уже упругое. Я бы заметил: по памяти. А отчего так? Наверно, кожа не успевает стянуться, когда с тела спадет. Но фигура еще на месте. Еще как на месте. Плечи. Бедра. Полные. Вечером, когда одевалась на бал. Рубашка сзади застряла между половинок.

Он зажал руки между колен и отсутствующим, довольным взглядом обвел их лица.

Мистер Пауэр спросил:

— Что слышно с вашим турне, Блум?

— О, все отлично,— отвечал мистер Блум.— Мнения самые одобрительные. Вы понимаете, такая удачная идея...

— А вы сами поедете?

— Нет, знаете ли,— сказал мистер Блум.— Мне надо съездить в графство Клэр по одному частному делу. Идея в том, чтобы охватить главные города. Если в одном прогоришь, в других можно наверстать.

— Очень правильно,— одобрил Мартин Каннингем.— Сейчас там Мэри Андерсон*. А партнеры у вас хорошие?

— Ее импресарио Луис Вернер,— сказал мистер Блум.— О да, у нас все из самых видных. Дж. К. Дойл и Джон Маккормак* я надеюсь и. Лучшие, одним словом.

— И мадам,— добавил с улыбкой мистер Пауэр.— Хоть упомянем последней, все равно первая.

Мистер Блум развел руками в жесте мягкой учтивости и снова сжал руки. Смит О'Брайен *. Кто-то положил букет у подножия. Женщина. Наверно, годовщина смерти. Желаем еще многих счастливых. Объезжая статую Фаррелла, карета бесшумно сдвинула их несопротивляющиеся колени.

Ркии: старик в темных лохмотьях протягивал с обочины свой товар: разевая рот: ркии.

— Шну-ркии, четыре на пенни.

Интересно, за что ему запретили практику. Имел свою контору на Хьюм-стрит. В том же доме, где Твиди, однофамилец Молли, королевский адвокат графства Уотерфорд. Цилиндр с тех пор сохранился. Остатки былой роскоши. Тоже в трауре. Но так скатиться, бедняга! Каждый пинает, как собаку. Последние деньки О'Каллахана.

И мадам. Двадцать минут двенадцатого. Встала. Миссис Флеминг принялась за уборку. Причесывается, напевает. Voglio e non vorrei. Нет. Vorrei e non [17]. Рассматривает кончики волос, не секутся ли. Mi trema un poco il [18]. Очень красиво у нее это tre: рыдающий звук. Тревожный. Трепетный. В самом слове «трепет» уже это слышится.

Глаза его скользнули по приветливому лицу мистера Пауэра. Виски седеют. Мадам: и улыбается. Я тоже улыбнулся. Порой улыбка столько скажет нам *. А может, просто из вежливости. Приятный человек. Интересно, это правду рассказывают насчет его содержанки? Для жены ничего приятного. Но кто-то меня уверял, будто бы между ними ничего плотского. Можно себе представить, тогда у них живо бы все завяло. Да, это Крофтон * его как-то встретил вечером, он нес ей фунт вырезки. Где же она служила? Барменша у Джури. Или из «Мойры»?

Они проехали под фигурой Освободителя в обширном плаще *

Мартин Каннингем легонько коснулся мистера Пауэра.

— Из колена Рувимова,— сказал он.

Высокий чернобородый мужчина с палкой грузно проковылял за угол «У слона» Элвери, показав им за спиной скрюченную горстью ладонь.

— Во всей своей девственной красе,— сказал мистер Пауэр.

Мистер Дедал, поглядев вслед ковыляющей фигуре, пожелал кротко:

— Чтоб тебе сатана пропорол печенки!

Мистер Пауэр, зашедшись неудержимым смехом, заслонил лицо от окна, когда карета проезжала статую Грэя *.

— Мы все это испытали,— заметил неопределенно Мартин Каннингем.

Глаза его встретились с глазами мистера Блума. Погладив свою бороду, он добавил:

— Ну, скажем, почти все из нас.

Мистер Блум заговорил с внезапною живостью, вглядываясь в лица спутников.

— Это просто отличная история, что ходит насчет Рувима Дж. и его сына.

— Про лодочника? — спросил мистер Пауэр.

— Да-да. Отличная ведь история?

— А что там? — спросил мистер Дедал.— Я не слышал.

— Там возникла какая-то девица,— начал мистер Блум,— и он решил услать его от греха подальше на остров Мэн, но когда они оба...

— Что-что? — переспросил мистер Дедал. — Это этот окаянный уродец?

— Ну да,— сказал мистер Блум. — Они оба уже шли на пароход, и тот вдруг в воду...

— Варавва в воду! * — воскликнул мистер Дедал. — Экая жалость, не утонул!

Мистер Пауэр снова зашелся смехом, выпуская воздух через заслоненные ноздри.

---

[17] Хотела бы и не * *(итал.)*.

[18] Слегка дрожит мое *(итал.)*.

— Да нет,— принялся объяснять мистер Блум,— это сын...

Мартин Каннингем бесцеремонно вмешался в его речь.

— Рувим Дж. с сыном шли по набережной реки к пароходу на остров Мэн, и тут вдруг юный балбес вырвался и через парапет прямо в Лиффи.

— Боже правый! — воскликнул мистер Дедал в испуге. — И утонул?

— Утонул! — усмехнулся Мартин Каннингем. — Он утонет! Лодочник его выудил багром за штаны и причалил с ним прямиком к папаше, с полумертвым от страху. Полгорода там столпилось.

— Да,— сказал мистер Блум,— но самое-то смешное...

— И Рувим Дж.,— продолжал Мартин Каннингем,— пожаловал лодочнику флорин за спасение жизни сына.

Приглушенный вздох вырвался из-под ладони мистера Пауэра.

— Да-да, пожаловал,— подчеркнул Мартин Каннингем. — Героически. Серебряный флорин.

— Отличная ведь история? — повторил с живостью мистер Блум.

— Переплатил шиллинг и восемь пенсов,— бесстрастно заметил мистер Дедал.

Тихий сдавленный смех мистера Пауэра раздался в карете.

Колонна Нельсона *.

— Сливы, восемь на пенни! Восемь на пенни!

— Давайте-ка мы примем более серьезный вид,— сказал Мартин Каннингем.

Мистер Дедал вздохнул:

— Бедняга Падди не стал бы ворчать на нас, что мы посмеялись. В свое время сам порассказывал хороших историй.

— Да простит мне Бог! — проговорил мистер Пауэр, вытирая влажные глаза пальцами. — Бедный Падди! Не думал я неделю назад, когда его встретил последний раз и был он, как всегда, здоровехонек, что буду ехать за ним вот так. Ушел от нас.

— Из всех, кто только носил шляпу на голове, самый достойный крепышок,— выразился мистер Дедал. — Ушел в одночасье.

— Удар,— молвил Мартин Каннингем. — Сердце.

Печально он похлопал себя по груди.

Лицо как распаренное: багровое. Злоупотреблял горячительным. Средство от красноты носа. Пей до чертиков, покуда не станет трупносерым. Порядком он денег потратил, чтоб перекрасить.

Мистер Пауэр смотрел на проплывающие дома со скорбным сочувствием.

— Бедняга, так внезапно скончался.

— Наилучшая смерть,— сказал мистер Блум.

Они поглядели на него широко открытыми глазами.

— Никаких страданий,— сказал он. — Момент, и кончено. Как умереть во сне.

Все промолчали.

Мертвая сторона улицы. Днем всякий унылый бизнес, земельные конторы, гостиница для непьющих, железнодорожный справочник Фолконера *, училище гражданской службы, Гилл *, католический клуб, общество слепых. Почему? Какая-то есть причина. Солнце или ветер. И вечером то же. Горняшки да подмастерья. Под покровительством покойного отца Мэтью *. Камень для памятника Парнеллу. Удар. Сердце *.

Белые лошади с белыми султанами галопом вынеслись из-за угла Ротонды. Мелькнул маленький гробик. Спешит в могилу. Погребальная карета. Неженатый. Женатому вороных. Старому холостяку пегих. А монашке мышастых.

— Грустно,— сказал Мартин Каннингем.— Какой-то ребенок.

Личико карлика, лиловое, сморщенное, как было у малютки Ру-

ди. Тельце карлика, мягкое, как замазка, в сосновом гробике с белой обивкой внутри. Похороны оплачены товариществом. Пенни в неделю за клочок на кладбище. Наш. Бедный. Крошка. Младенец. Несмышленыш. Ошибка природы. Если здоров, это от матери. Если нет, от отца. В следующий раз больше повезет.

— Бедный малютка,— сказал мистер Дедал. — Отмаялся.

Карета медленно взбиралась на холм Ратленд-сквер. Растрясут его кости. Свалят гроб на погосте *. Горемыка безродный. Всему свету чужой.

— В расцвете жизни *,— промолвил Мартин Каннингем.

— Но самое худшее,— сказал мистер Пауэр,— это когда человек кончает с собой.

Мартин Каннингем быстрым движением вынул часы, кашлянул, спрятал часы обратно.

— И это такое бесчестье, если у кого-то в семье,— продолжал мистер Пауэр.

— Временное умопомрачение, разумеется,— решительно произнес Мартин Каннингем. — Надо к этому относиться с милосердием.

— Говорят, тот, кто так поступает, трус,— сказал мистер Дедал.

— Не нам судить,— возразил Мартин Каннингем.

Мистер Блум, собравшись было заговорить, снова сомкнул уста. Большие глаза Мартина Каннингема. Сейчас отвернулся. Гуманный, сострадательный человек. И умный. На Шекспира похож. Всегда найдет доброе слово. А у них никакой жалости насчет этого, и насчет детоубийства тоже. Лишают христианского погребения. Раньше загоняли в могилу кол, в сердце ему. Как будто и так уже не разбито. Но иногда те раскаиваются, слишком поздно. Находят на дне реки вцепившимися в камыши. Посмотрел на меня. Жена у него жуткая пьянчужка. Сколько раз он заново обставит квартиру, а она мебель закладывает чуть ли не каждую субботу. Жизнь как у проклятого. Это надо каменное сердце. Каждый понедельник все заново. Тяни лямку. Матерь божья, хороша же она была в тот вечер. Дедал рассказывал, он там был. Как есть в стельку, и приплясывает с мартиновым зонтиком:

> На Востоке слыву я первейшей
> Ах, первейшей
> Красавицей-гейшей *.

Опять отвернулся. Знает. Растрясут его кости.

В тот день, дознание. На столе пузырек с красным ярлыком. Номер в гостинице, с охотничьими картинками. Духота. Солнце просвечивает сквозь жалюзи. Уши следователя на солнце, крупные, волосатые. Показания коридорного. Сперва подумал, он спит. Потом увидал на лице вроде как желтые потеки. Свесился с кровати. Заключение: чрезмерная доза. Смерть в результате неосторожности. Письмо. Моему сыну Леопольду.

Не будет больше мучений. Никогда не проснешься. Всему свету чужой.

Лошади припустили вскачь по Блессингтон-стрит. Свалят гроб на погосте.

— А мы разогнались, я вижу,— заметил Мартин Каннингем.

— Авось, он нас не перевернет,— сказал мистер Пауэр.

— Надеюсь, нет,— сказал Мартин Каннингем. — В Германии завтра большие гонки. Кубок Гордона Беннетта *.

— Да, убей бог,— хмыкнул мистер Дедал. — Это бы стоило посмотреть.

Когда они свернули на Беркли-стрит, уличная шарманка возле Бассейна встретила и проводила их разухабистым скачущим мотивчиком мюзик-холла. Не видали Келли? * Ка — е два эль — и. Марш мертвых из «Саула» *. Этот старый негодник Антонио *. Меня бро-

сил без всяких резонио. Пируэт! Скорбящая Божья Матерь *. Экклстрит. Там дальше мой дом. Большая больница. Вон там палата для безнадежных. Это обнадеживает. Приют Богоматери для умирающих. Мертвецкая тут же в подвале, удобно. Где умерла старая миссис Риордан. Эти женщины, ужасно на них смотреть. Ее кормят из чашки, подбирают ложечкой вокруг рта. Потом обносят кровать ширмой, оставляют умирать. Славный был тот студент, к которому я пришел с пчелиным укусом. Потом сказали, он перешел в родильный приют. Из одной крайности в другую.

Карета завернула галопом за угол — и стала.

— Что там еще?

Стадо клейменого скота, разделившись, обтекало карету, тяжело ступая разбитыми копытами, мыча, лениво обмахивая хвостами загаженные костлявые крупы. По бокам и в гуще гурта трусили меченые овцы, блея от страха.

— Эмигранты,— сказал мистер Пауэр.

— Гей! Гей! — покрикивал голос скотогона, бич его щелкал по их бокам. — Гей! С дороги!

Конечно, четверг. Завтра же день забоя. Молодняк. У Каффа шли в среднем по двадцать семь фунтов. Видимо, в Ливерпуль. Ростбиф для старой Англии *. Они скупают самых упитанных. И потом пятая четверть теряется: все это сырье, шерсть, шкуры, рога. За год наберется очень порядочно. Торговля убоиной. Побочные продукты с боен идут кожевникам, на мыло, на маргарин. Интересно, еще действует этот трюк, когда можно было мясо с душком покупать прямо с поезда, в Клонзилле.

Карета пробиралась сквозь стадо.

— Не могу понять, почему муниципалитет не проложит линию трамвая от ворот парка к набережным,— сказал мистер Блум. — Можно было бы весь этот скот доставлять вагонами прямо на пароходы.

— Чем загораживать движение,— поддержал Мартин Каннингем. — Очень правильно. Так и надо бы сделать.

— Да,— продолжал мистер Блум,— и еще другое я часто думаю, это чтобы устроили похоронные трамваи, знаете, как в Милане. Провести линию до кладбища и пустить специальные трамваи, катафалк, траурный кортеж, все как положено. Вы понимаете мою идею?

— Ну, это уж анекдот какой-то,— молвил мистер Дедал. — Вагон спальный и вагон-ресторан.

— Печальные перспективы для Корни,— добавил мистер Пауэр.

— Почему же? — возразил мистер Блум, оборачиваясь к мистеру Дедалу. — Разве не будет это приличней, чем трястись вот так парами, нос к носу?

— Ну ладно, может, тут и есть что-то,— снизошел мистер Дедал.

— И к тому же,— сказал Мартин Каннингем,— мы бы избавились от сцен вроде той, когда катафалк перевернулся у Данфи и опрокинул гроб на дорогу.

— Совершенно ужасный случай! — сказало потрясенное лицо мистера Пауэра. — И труп вывалился на мостовую. Ужасно!

— Первым на повороте у Данфи,— одобрительно кивнул мистер Дедал. — На кубок Гордона Беннетта.

— Господи помилуй! — произнес набожно Мартин Каннингем.

Трах! На попа! Гроб грохается об мостовую. Крышка долой. Падди Дигнам вылетает и катится в пыли, как колода, в коричневом костюме, который ему велик. Красное лицо — сейчас серое. Рот разинут. Спрашивает, что такое творится. Правильно закрывают им. Жуткое зрелище с открытым. И внутренности быстрей разлагаются. Самое лучшее закрыть все отверстия. Ага, и там. Воском. Сфинктер расслабляется. Все заткнуть.

— Данфи,— объявил мистер Пауэр, когда карета повернула направо.

Перекресток Данфи. Стоят траурные кареты: залить горе. Придорожный привал. Для трактира идеальное место. Наверняка заглянем на обратном пути пропустить за его здоровье. Чаша утешения. Эликсир жизни.

А допустим правда случилось бы. Пошла бы у него кровь скажем если бы напоролся на гвоздь? И да и нет, я так думаю. Смотря где. Кровообращение останавливается. Но из артерии еще сколько-нибудь может вытечь. Было бы лучше хоронить в красном. В темно-красном.

Они ехали молча по Фибсборо-роуд. Навстречу с кладбища пустой катафалк: с облегченным видом.

Мост Кроссганс: королевский канал.

Вода с ревом устремлялась сквозь шлюзы. Человек стоял на опускающейся барже между штабелями сухого торфа. У створа, на буксирной тропе, лошадь на длинной привязи. Плавание на «Бугабу» *.

Глаза их смотрели на него. По медленным тинистым каналам и рекам проплыл он в своем дощанике через всю Ирландию к побережью на буксирном канате мимо зарослей камыша, над илом, увязшими бутылками, трупами дохлых псов. Атлон, Моллингар, Мойвэлли, я бы мог Милли навестить пешим ходом, шагай себе вдоль канала. Или на велосипеде. Взять старенький напрокат, никакого риска. У Рена был как-то на торгах, только дамский. Улучшать водные пути. У Джеймса Макканна * хобби катать меня на пароме. Дешевый транспорт. Малыми расстояниями. Плавучие палатки. Туризм. И катафалки можно. Водой на небо. А что, поехать вот так, без предупреждения. Сюрприз. Лейкслип, Клонзилла. Спустился, шлюз за шлюзом, до Дублина. С торфом из внутренних болот. Привет. Он снял соломенную порыжелую шляпу, приветствуя Падди Дигнама.

Проехали дом Брайена Бороимe. Близко уже.

— Интересно, как там наш друг Фогарти,— сказал мистер Пауэр.

— Спросите у Тома Кернана,— отозвался мистер Дедал.

— Как так? — спросил Мартин Каннингем. — Я думал, он ему сделал ручкой.

— Хоть скрылся из глаз, но для памяти дорог *,— промолвил мистер Дедал.

Карета повернула налево по Финглас-роуд.

Направо камнерезные мастерские. Финишная прямая. На полоске земли столпились безмолвные фигуры, белые, скорбные, простирая безгневно руки, в горе пав на колени, с указующим жестом. Тесаные куски фигур. В белом безмолвии — взывают. Обширный выбор. Том. Х. Деннани, скульптор и изготовитель надгробий.

Проехали.

Перед домом Джимми Гири, могильщика, сидел на обочине старый бродяга и, ворча, вытряхивал сор и камешки из здоровенного пропыленного башмака с зияющей пастью. После жизненного странствия.

Потянулись угрюмые сады — один за другим — угрюмые дома.

Мистер Пауэр показал рукой.

— Вон там был убит Чайлдс,— сказал он.— В крайнем доме.

— Там,— подтвердил мистер Дедал. — Жуткая история. Братоубийство. Так считали, по крайней мере. А Сеймур Буш его вытянул.

— Улик не было,— сказал мистер Пауэр.

— Одни косвенные,— сказал Мартин Каннингем. — Таков принцип правосудия. Пусть лучше девяносто девять виновных ускользнут, чем один невиновный будет приговорен *.

Они смотрели. Земля убийцы. Зловеще проплыла мимо. Закрыты ставни, никто не живет, запущенный сад *. Все пошло прахом. Невиновный приговорен. Убийство. Лицо убийцы в зрачках убитого. Про такое любят читать. В саду найдена голова мужчины. Одежда ее состояла из. Как она встретила смертный час. Знаки недавнего насилия. Орудием послужило. Убийца еще на свободе. Улики. Шнурок от ботинок. Тело решено эксгумировать. Убийство всегда откроется.

Теснота тут в карете. А вдруг ей не понравится если я нежданно-негаданно. С женщинами надо поосторожней. Один раз застанешь со спущенными панталонами, всю жизнь не простит. Пятнадцать.

Прутья высокой ограды Проспекта замелькали рябью в глазах. Темные тополя, редкие белые очертания *. Очертания чаще, белые силуэты толпою среди деревьев, белые очертания, части их, безмолвно скользили мимо с тщетными в воздухе застывшими жестами.

Ободья скрипнули по обочине: стоп. Мартин Каннингем потянулся к ручке, нажал, повернул ее и распахнул дверцу, толкнув коленом. Он вышел. За ним мистер Пауэр и мистер Дедал.

Момент переложить мыло. Рука мистера Блума проворно расстегнула задний брючный карман и отправила мыло, слипшееся с оберткой, во внутренний карман с носовым платком. Он вышел, сунув обратно газету, которую все еще держала другая рука.

Убогие похороны: три кареты и катафалк. Какая разница. Факельщики, золоченая сбруя, заупокойная месса, артиллерийский салют. Смерть с помпой. У последней кареты стоял разносчик с лотком фруктов и пирожков. Черствые пирожки ссохлись вместе: пирожки для покойников. Собачья радость. Кто их ест? Те, кто обратно с кладбища.

Он шел за своими спутниками, позади мистер Кернан и Нед Лэмберт, за ними Хайнс. Корни Келлехер, стоявший у открытого катафалка, взял два венка и передал один мальчику.

А куда же делись те детские похороны?

Упряжка лошадей со стороны Финглас-роуд натужно тащила в похоронном молчании скрипучую телегу с глыбой гранита. Шагавший впереди возчик снял шапку. Теперь гроб. Хоть мертвый, а поспел раньше. Лошадь оглядывается на него, султан съехал. Глаза тусклые: хомут давит, зажало ей вену или что там. А знают они что такое возят сюда каждый день? Верно что ни день похорон двадцать — тридцать. Еще Иеронимова Гора для протестантов. Хоронят везде и всюду каждую минуту по всему миру. Спихивают под землю возами, в спешном порядке. Тысячи каждый час. Чересчур много развелось.

Из ворот выходили женщина и девочка в трауре. Тонкогубая гарпия, из жестких деловых баб, шляпка набок. У девочки замурзанное лицо в слезах, держит мать за руку, смотрит на нее снизу, надо или не надо плакать. Рыбье лицо, бескровное, синее.

Служители подняли гроб и понесли в ворота. Мертвый вес больше. Я сам себя чувствовал тяжелей, когда вылезал из ванны. Сначала труп: потом друзья трупа. За гробом с венками шли Корни Келлехер и мальчик. А кто это рядом с ними? Ах да, свояк.

Все двигались следом.

Мартин Каннингем зашептал:

— Я так и обомлел, когда вы при Блуме начали о самоубийствах.

— Что-что? — зашептал мистер Пауэр.— А почему?

— Его отец отравился,— шептал Мартин Каннингем. — Он был хозяин отеля «Куинз» в Эннисе. Слышали он сказал он едет в Клэр. Годовщина.

— О Господи! — шептал мистер Пауэр.— В первый раз слышу. Отравился?

Он оглянулся туда, где в сторону усыпальницы кардинала* двигалось лицо с темными задумчивыми глазами. Беседуя.

— А он был застрахован? — спросил мистер Блум.

— Кажется, да,— отвечал мистер Кернан,— но только он заложил свой полис. Мартин хлопочет, чтобы младшего устроить в Артейн.

— А сколько всего детишек?

— Пятеро. Нед Лэмберт обещает устроить одну из девочек к Тодду.

— Печальный случай,— с сочувствием произнес мистер Блум.— Пятеро маленьких детей.

— А какой удар для жены,— добавил мистер Кернан.

— Еще бы,— согласился мистер Блум.

Чихала она теперь на него.

Он опустил взгляд на свои начищенные ботинки. Она пережила его. Овдовела. Для нее он мертвее, чем для меня. Всегда один должен пережить другого. Мудрецы говорят. Женщин на свете больше, мужчин меньше. Выразить ей соболезнование. Ваша ужасная утрата. Надеюсь, вы вскоре последуете за ним. Это только вдовы индусов. Она может выйти за другого. За него? Нет. Хотя кто знает. Вдовство больше не в чести *, как старая королева умерла. Везли на лафете. Виктория и Альберт. Траурная церемония во Фрогморе *. Но в конце она себе позволила парочку фиалок на шляпку. Тщеславие, в глубине души. Все ради тени. Консорт, даже не король. Ее сын, вот где было что-то реальное. Какая-то новая надежда, а не то прошлое, которое, она все ждала, вернется. Оно не может вернуться. Кому-то уйти первым — в одиночку, под землю — и не лежать уж в ее теплой постели.

— Как поживаете, Саймон? — тихо спросил Нед Лэмберт, пожимая руку. — Не виделись с вами целую вечность.

— Лучше не бывает. А что новенького в нашем преславном Корке? *

— Я ездил туда на скачки на светлой неделе,— сказал Нед Лэмберт. — Нового одно старое. Остановился у Дика Тайви.

— И как там наш Дик, честняга?

— Как есть ничего между ним и небом,— выразился Нед Лэмберт.

— Силы небесные! — ахнул мистер Дедал в тихом изумлении. — Дик Тайви облысел?

— Мартин Каннингем пустил подписной лист в пользу ребятни,— сказал Нед Лэмберт, кивнув вперед.— По нескольку шиллингов с души. Чтобы им продержаться, пока получат страховку.

— Да-да,— произнес неопределенно мистер Дедал.— Это что, старший там впереди?

— Да,— сказал Нед Лэмберт,— и брат жены. За ними Джон Генри Ментон. Он уже подписался на фунт.

— Я был всегда в нем уверен,— заявил мистер Дедал. — Сколько раз я говорил Падди, чтоб он держался за ту работу. Джон Генри — это не худшее, что бывает.

— А как он потерял это место? — спросил Нед Лэмберт. — Попивал чересчур?

— Грешок многих добрых людей,— со вздохом молвил мистер Дедал.

Они остановились у входа в часовню. Мистер Блум стоял позади мальчика с венком, глядя вниз на его прилизанные волосы и тонкую, с ложбинкой, шею в новеньком тесном воротничке. Бедный мальчуган! Был ли он при этом, когда отец? Оба без сознания. В последний миг приходит в себя и узнает всех в последний раз. Все что

он мог бы сделать. Я должен три шиллинга О'Грэди. Понимал ли он? Служители внесли гроб в часовню. Где у него голова?

Через мгновение он прошел за другими, моргая после яркого света. Гроб стоял перед алтарем на подставке, по углам четыре высокие желтые свечи. Всегда впереди нас. Корни Келлехер, прислонив венки у передних углов, знаком указал мальчику стать на колени. Вошедшие стали там и сям на колени у мест для молящихся. Мистер Блум стоял позади, невдалеке от купели и, когда все стали на колени, аккуратно уронил из кармана развернутую газету и стал на нее правым коленом. На левое колено он осторожно поместил свою шляпу и, придерживая ее за поля, благочестиво склонил голову.

Из дверей появился служка, неся медное ведерко с чем-то внутри. За ним шел священник в белом, одной рукой поправляя столу, другой придерживая маленькую книжицу у своего жабьего брюха. А кто будет нам читать? Каркнул ворон: я опять *.

Они стали у гроба, и священник принялся быстро каркать по своей книжке.

Отец Гробби. Я помню, как-то похоже на гроб. Dominenamine [19]. Здоровенная морда. Заправляет спектаклем. Дюжий христианин. Горе тому, кто на него косо глянет: священник. Ты еси Петр. Отъел бока, как баран на клевере, сказал бы Дедал. И брюхо раздулось, как у дохлого пса. Где он такие выражения находит, диву даешься. Пуфф: бока лопаются.

— Non intres in judicium cum servo tuo, Domine [20].

Дает им чувство собственной важности, когда над ними молятся по-латыни. Заупокойная месса. Все в трауре, рыдают. Бумага с траурной каймой. Твое имя в поминальном листе. Как зябко тут. Его и тянет поесть, когда сидит уныло все утро притопывает ногами да ждет следующего милости просим. И глаза жабьи. С чего его так пучит? Молли, эту с капусты. Может быть, тут воздух такой. На вид как будто раздут от газов. В таком месте должна быть адская пропасть газов. Мясников взять: сами становятся как сырые бифштексы. Кто мне рассказывал? Мервин Браун. В крипте святого Вербера у них чудный орган старинный полтораста лет им там пришлось пробуравить дырки в гробах чтобы газы выпустить и поджечь. Со свистом вырывается: синий. Свистнуло — и тебя нет.

Колено больно. Ох. Вот так лучше.

Священник взял из служкиного ведерка палку с шишкой на конце и помахал ей над гробом. Потом пошел в ноги гроба, помахал там. Вернулся на место и положил ее обратно в ведерко. Каким и был покуда не упокоился. Это все записано: он все это обязан проделать.

— Et ne nos inducas in tentationem [21].

Служка вторил ему писклявым дискантом. Я часто думал, что лучше брать прислугу из мальчиков. Лет до пятнадцати. Старше уже, конечно...

А там святая вода, должно быть. Окропляет сном. Небось уже обрыдло ему махать махалкой над всеми трупами что подвозят. Пускай бы полюбовался над чем он машет. Каждый божий день свежая порция: мужчины средних лет, старухи, дети, женщины, умершие от родов, бородачи, лысые бизнесмены, чахоточные девицы с цыплячьими грудками. Круглый год бормочет над ними одно и то же потом покропит водой: спите. Сейчас вот Дигнама.

— In paradisum [22].

---

[19] Господиимя *(искаж. лат.)*.
[20] Не осуди раба твоего, Господи *(лат.)*.
[21] И не введи нас во искушение *(лат.)*.
[22] В раю *(лат.)*.

Говорит он пойдет в рай или уже в раю. Над каждым повторяет. Нудное дело. Но что-то он должен говорить.

Священник закрыл книжку и вышел, служка за ним. Корни Келлехер открыл боковые двери и вошли могильщики. Они снова подняли гроб, вынесли его и опустили на свою каталку. Корни Келлехер дал один венок мальчику, другой свояку, и все следом за ними вышли через боковые двери на воздух, теплый и пасмурный. Мистер Блум вышел последним, сунув обратно в карман сложенную газету. Взор его оставался чинно потуплен, пока каталка с гробом не повернула налево. Железные колеса визгливо скрежетнули по гравию, и отряд тупоносых башмаков двинулся за каталкой по аллее могил.

Тари тара тари тара тару. Батюшки, тут разве можно петь.

— Мавзолей О'Коннелла,— сказал мистер Дедал рядом с ним.

Кроткие глаза мистера Пауэра поднялись к вершине высокого обелиска.

— Тут он покоится,— произнес он,— среди своего народа, старый Дэн О'. Но сердце его погребено в Риме *. А сколько разбитых сердец погребено тут, Саймон!

— Там вон ее могила *, Джек,— сказал мистер Дедал. — Скоро и я лягу рядом. Да призовет Он меня, когда будет воля Его.

Не удержавшись, он начал тихо всхлипывать, бредя неровной, оступающейся походкой. Мистер Пауэр взял его под руку.

— Ей лучше там, где она сейчас,— мягко промолвил он.

— Да, я знаю,— ответил сдавленно мистер Дедал. — Она сейчас на небе, если только есть небо.

Корни Келлехер шагнул в сторону и пропустил остальных вперед.

— Печальные события,— учтиво заговорил мистер Кернан.

Мистер Блум прикрыл глаза и дважды скорбно покивал головой.

— Все остальные надели шляпы,— заметил мистер Кернан. — Я думаю, и нам тоже стоит. Мы последние. Это кладбище коварное место.

Они покрыли головы.

— А вам не кажется, что его преподобие отслужил слишком скоропалительно? — сказал с неодобрением мистер Кернан.

Мистер Блум солидно кивнул, глянув в живые глаза с красными прожилками. Скрытные глаза, скрытные и обыскивающие. Видимо, масон: точно не знаю. Опять рядом с ним. Мы последние. В равном положении. Авось, он что-нибудь еще скажет.

Мистер Кернан добавил:

— Служба Ирландской Церкви, на Иеронимовой Горе, и проще и более впечатляет, я должен это сказать.

Мистер Блум выразил сдержанное согласие. Язык, конечно, многое значит.

Мистер Кернан торжественно произнес:

— *Я есмь воскресение и жизнь**. Это проникает до самой глубины сердца.

— Действительно,— сказал мистер Блум.

Твоего-то может и да но какой прок малому в ящике шесть футов на два с цветочком из пятки? Ему проникает? Седалище страстей. Разбитое сердце. В конечном счете насос, качает каждый день сотни галлонов крови. Потом в один прекрасный день закупорка, и ты с концами. Их тут вокруг навалом: кишки, печенки, сердца. Старые ржавые насосы — и ни черта больше. Воскресение и жизнь. Уж если умер так умер. Или идея насчет страшного суда. Всех вытряхнуть из могил. Лазарь! иди вон *. А пошла вонь, и трюк провалился. Подъем! Страшный суд! И все шныряют как мыши, разыскивают свои печенки и селезенки и прочие потроха. Чтоб все до крохи соб-

рал за утро, так твою и растак. Ползолотника праху в черепе. Двенадцать гран ползолотника. Тройская мера.

Корни Келлехер пристроился к ним.

— Все было экстра-класс,— сказал он. — А?

Он искоса поглядел на них тягучим взглядом. Грудь полисмена. С твоим труляля труляля.

— Как полагается,— согласился мистер Кернан.

— Что? А? — переспросил Корни Келлехер.

Мистер Кернан повторил.

— А кто это позади нас с Томом Кернаном? — спросил Джон Генри Ментон.— Лицо знакомое.

Нед Лэмберт мельком оглянулся назад.

— Блум,— ответил он. — Мадам Мэрион Твиди, та, что была, вернее, она и есть, певица, сопрано. Это жена его.

— А, вон что,— протянул Джон Генри Ментон. — Давненько я ее не видал. Была эффектная женщина. Я танцевал с ней, постой-ка, тому назад пятнадцать — семнадцать золотых годиков, у Мэта Диллона в Раундтауне. Было что подержать в руках.

Он оглянулся в конец процессии.

— А что он такое? Чем занимается? Он не был в писчебумажной торговле? Помню, я с ним расплевался как-то вечером в кегельбане.

Нед Лэмберт усмехнулся:

— Ну как же, был. Пропагандист промокашек.

— Бога ради,— посетовал Джон Генри Ментон,— и что она вышла за этого гуся лапчатого? Ведь какая была, с изюминкой, с огоньком.

— Такой пока и осталась,— заверил Нед Лэмберт.— А он сейчас рекламный агент.

Большие выпуклые глаза Джона Генри Ментона глядели неподвижно вперед.

Тележка свернула в боковую аллею. Солидный мужчина выступил из засады за кустами и снял шляпу. Могильщики тронули свои кепки.

— Джон О'Коннелл,— сказал мистер Пауэр, довольный.— Никогда не забудет друга.

Мистер О'Коннелл молча пожал всем руки. Мистер Дедал сказал:

— Я снова с визитом к вам.

— Любезный Саймон,— произнес негромко смотритель,— я совсем не желаю вас в свои завсегдатаи.

Поклонившись Неду Лэмберту и Джону Генри Ментону, он пошел рядом с Мартином Каннингемом, позвякивая связкой длинных ключей у себя за спиной.

— А вы не слышали историю,— спросил он у всех,— насчет Малкэхи из Кума?

— Я не слыхал,— ответил Мартин Каннингем.

Все дружно склонили к нему цилиндры, Хайнс тоже подставил ухо. Смотритель подцепил большими пальцами золотую цепочку от часов и, деликатно понизив голос, заговорил, обращаясь к их выжидательным улыбкам:

— Рассказывают, будто бы двое дружков, подвыпив, в один туманный вечер заявились сюда навестить могилу приятеля. Спросили, где тут лежит Малкэхи из Кума, им объяснили, куда идти. Ну-с, проплутав сколько-то в тумане, они находят могилу. Один из пьяниц читает по буквам: Теренс Малкэхи. Другой в это время хлопает глазами на статую Спасителя, которую вдова заказала и поставила.

Смотритель похлопал глазами на один из попутных памятников. Потом снова продолжал:

— Ну, поморгал он, поморгал на божественную статую и говорит: *Да ни хрена он не похож на нашего Малкэхи. Какой-то сапожник делал, ни малейшего сходства.*

Вознагражденный улыбками, он пропустил их вперед и принялся тихо толковать с Корни Келлехером, забирая у него квитанции, листая и проглядывая их на ходу.

— Это он специально,— объяснил Мартин Каннингем Хайнсу.

— Знаю,— ответил Хайнс,— я раскусил.

— Подбодрить публику,— сказал Мартин Каннингем. — Из чистой доброты, ничего другого.

Мистера Блума восхищала осанистая фигура смотрителя. С ним все хотят быть в хороших отношениях. Глубоко порядочный человек, Джон О'Коннелл, отличной выпечки. Ключи — как реклама для Ключчи — нет опасения, что кто-то сбежит, на выходе не проверяем. Хабеас корпус *. После похорон надо заняться этой рекламой. Кажется, я написал Боллсбридж на том конверте, которым прикрыл листок, когда она вдруг вошла, а я писал Марте. Еще застрянет как неверно заадресованное. Не мешало бы побриться. Щетина седая. Это первый признак, когда волос седеет у корней. Еще характер портится. И в седых волосах уж блестит серебро *. Интересно, что чувствует его жена. Как у него хватило духу сделать кому-то предложение. Пошли, будешь жить на кладбище. Огорошить ее этим. Сначала, может, это ее возбудит. Смерть в ухажерах. Тут всюду ночные тени роятся при таком множестве мертвецов. Тени могил когда скрипят гроба и Дэниэл О'Коннелл наверно он потомок его кто ж это уверял будто он был со странностями и любвеобилен на редкость но все равно великий католик как огромный гигант во тьме. Блуждающие огоньки. Могильные газы. Ей надо отвлекать мысли от этого, а то не сможет зачать. Женщины особенно впечатлительны. Рассказать ей в постели историю с привидениями, чтобы заснула. Ты видела когда-нибудь привидение? Знаешь, а я видел. Стояла тьма, хоть глаз выколи. Часы пробили двенадцать. Но могут и целоваться со всем пылом, стоит только настроить. В Турции шлюхи на кладбищах. Если взять молодую, чему угодно научится. Можешь тут подцепить молодую вдовушку. Мужчинам такое нравится. Любовь среди могил. Ромео *. Обостряет удовольствие. В расцвете смерти объяты мы жизнью. Крайности сходятся. Танталовы муки для бедных мертвецов. Запахи жареных бифшексов для голодных. Гложущих собственные потроха. Желание подразнить других. Молли хотелось заняться любовью перед окном. Как бы там ни было, восемь детей у него.

Он тут насмотрелся вдоволь на уходящих в землю, укладывает ими участок за участком вокруг. Святые поля. Больше было бы места, если хоронить стоя. Сидя или же на коленях не выйдет. Стоя? * В один прекрасный день, оползень или что, вдруг голова показывается наружу, и протянутая рука. Тут вся земля кругом, наверно, как соты: продолговатые ячейки. Содержит все в чистоте: бордюры, трава подрезана. Майор Гэмбл называет Иеронимову Гору мой сад. А что, верно. Должны быть сонные цветы. Мастянский говорил, в Китае гигантские маки на кладбищах дают самый лучший опиум. Ботанический сад тут недалеко. Кровь впитывается в землю дает новую жизнь. Та же идея у тех евреев что говорят убили христианского мальчика Каждому человеку своя цена. Хорошо сохранившийся жирный труп джентльмена-эпикурейца необходим для вашего сада. Цена дешевая. Туша Вильяма Уилкинсона, ревизора и бухгалтера, недавно скончавшегося, три фунта тринадцать и шесть. Рады служить вам.

Можно ручаться почва тучнеет на славу от трупного удобрения, кости, мясо, ногти. Начинка склепов. Жуть. Делаются зеленые и розовые, разлагаются. В сырой земле гниют быстро. Тощие ста-

рики дольше держатся. Становятся не то сальные не то творожистые. Потом чернеют, сочатся черной вонючей патокой. Потом высыхают. Мотыльки смерти. Конечно клетки или что там есть живут дальше. Изменяются, но по сути вечные. Нечем кормиться кормятся собой.

На них ведь должна развестись чертова погибель червей. Должно быть в почве так и кишат так и кружат. Вскрюжат голову бедняжке. Щечки в ямочках, кудряшки. А вид у него вполне бодрый. Дает ему ощущение власти, видеть как все уходят в землю раньше него. Интересно как он смотрит на жизнь. Не прочь пошутить: отвести душу. Анекдот-сообщение. Сперджен отправился на небо сегодня утром в 4 часа. Сейчас 11 вечера, время закрытия. Еще не прибыл. Петр. Мертвецы и сами по крайней мере мужчины вполне бы послушали анекдотец, а женшинам бы разузнать насчет моды. Сочную грушу или дамский пунш, крепкий, сладкий, горячий. Предохраняет от сырости. Смеяться полезно так что это самое лучшее когда в таком стиле. Могильщики в «Гамлете»: говорит о глубоком знании наших душ. О мертвых нельзя шутить по крайней мере два года. De mortuis nil nisi prius [23]. Сначала чтобы кончился траур. Трудно представить себе его похороны. Как будто каламбур. Говорят прочесть собственный некролог будешь жить дольше. Дает второе дыхание. Новый контракт на жизнь.

— Сколько у нас на завтра? — спросил смотритель.

— Двое,— ответил Корни Келлехер. — В пол-одиннадцатого и в одиннадцать.

Смотритель сунул бумаги в карман. Колеса каталки остановились. Присутствующие, разделившись, пройдя осторожно между могил, стали по обе стороны ямы. Могильщики сняли гроб и поставили его носом на край, подведя снизу веревки.

Хороним его. Днесь Цезаря пришли мы хоронить *. Его мартовские или июньские иды *. Он не знает кто тут и ему все равно.

Нет, а это-то еще кто этот долговязый раззява в макинтоше? Нет правда кто хочу знать. Нет, грош я дам за то чтоб узнать. Всегда кто-нибудь объявится о ком ты отродясь не слыхивал. Человек может всю жизнь прожить в одиночестве. А что, может. Но все-таки кто-то ему нужен кто бы его зарыл хотя могилу он себе может выкопать сам. Это мы все делаем. Только человек погребает. Нет, еще муравьи. Первое что всех поражает. Хоронить мертвых. Говорят Робинзон Крузо был на самом деле. Тогда стало быть Пятница его и похоронил. Каждая Пятница хоронит Четверг если так поглядеть.

О бедный Крузо Робинзон!
И как же смог прожить там он? *

Бедный Дигнам! Последнее земное ложе его в этом ящике. Как подумаешь сколько их кажется такой тратой дерева. Все равно сгложут. А можно было бы придумать нарядный гроб с какой-то скажем панелью чтобы с нее соскальзывали. Эх только будут возражать чтобы их хоронили в из-под другого. Страшная привередливость. Положите меня в родной земле. Горсточку глины из Палестины. Только мать и мертворожденного могут похоронить в одном гробу *. А я понимаю почему. Понимаю. Чтобы его защищать как можно дольше даже в земле. Дом ирландца его гроб *. Бальзамирование в катакомбах, мумии, тот же смысл.

Мистер Блум стоял поодаль со шляпой в руках, считая обнаженные головы. Двенадцать, я тринадцатый. Нет. Чудик в макинтоше тринадцатый. Число смерти. И откуда он выскочил? В часовне не было, за это я поручусь. Глупейший предрассудок насчет тринадцати.

---

[23] О мертвых ничего кроме прежде* *(лат.)*.

Хороший твид, мягкий, у Неда Лэмберта на костюме. Красноватая искра. У меня был похожий когда жили на Западной Ломбард-стрит. Раньше он был большой щеголь. Три раза на день менял костюм. А мой серый надо снести к Мизайесу, чтоб перелицевал. Эге. Да он перекрашен. Надо бы его жене хотя у него нет жены или там хозяйке повыдергивать эти нитки.

Гроб уходил из вида, могильщики спускали его, крепко уперев ноги на подгробных подпорах. Они выпрямились и отошли: и все обнажили головы. Двадцать.

Пауза.

Если бы все мы вдруг стали кем-то еще.

Вдалеке проревел осел. К дождю. Не такой уж осел. Говорят, никогда не увидишь мертвого осла. Стыд смерти. Прячутся. Бедный папа тоже уехал.

Легкий ветерок овевал обнаженные головы, шепча. Шепот. Мальчик возле могилы держал обеими руками венок, покорно глядя в открытый черный провал. Мистер Блум стал позади осанистого и благожелательного смотрителя. Фрак хорошо пошит. Прикидывает наверно кто из нас следующий. Что ж, это долгий отдых. Ничего не чувствуешь. Только сам момент чувствуешь. Должно быть чертовски неприятно. Сперва не можешь поверить. Должно быть ошибка: это не меня. Спросите в доме напротив. Обождите, я хотел то. Я не успел это. Потом затемненная палата для смертников. Им хочется света*. Кругом перешептываются. Вы не хотите позвать священника? Потом бессвязная речь, мысли путаются. Бред: все что ты скрывал всю жизнь. Борьба со смертью. Это у него не естественный сон. Оттяните нижнее веко. Смотрят: а нос заострился а челюсть отвисла а подошвы ног пожелтели? Заберите подушку и пусть кончается на полу* все равно обречен. На той картинке смерть грешника ему дьявол показывает женщину. И он умирающий в рубашке тянется ее обнять. Последний акт «Лючии»*. «Ужель никогда не увижу тебя?» Бамм! Испустил дух. Отошел наконец-то. Люди слегка поговорят о тебе — и забудут. Не забывайте молиться о нем. Поминайте его в своих молитвах. Даже Парнелл. День плюща отмирает *. Потом и сами за ним: один за другим все в яму.

Мы сейчас молимся за упокой его души. Три к носу брат и не угоди в ад. Приятная перемена климата. Со сковородки жизни в огонь чистилища.

А думает он когда-нибудь про яму ждущую его самого? Говорят про это думаешь если внезапно дрожь проберет в жаркий день. Кто-то прошел по твоей могиле. Предупреждение: скоро на выход. За другими. Моя в том конце к Фингласу, участок что я купил. Мама бедная мамочка и малютка Руди.

Могильщики взялись за лопаты и начали швырять на гроб тяжелые комья глины. Мистер Блум отвернул лицо. А если он все это время был жив? Брр! Вот это уж было бы ужасно! Нет, нет: он мертвый, конечно. Конечно мертвый. В понедельник умер. Надо бы какой-то закон чтобы протыкать им сердце для верности или электрический звонок в гробу или телефон и какую-нибудь решетку для доступа воздуха. Сигнал бедствия. Три дня. Летом это довольно долго. Пожалуй лучше сразу сплавлять как только уверились что не.

Глина падала мягче. Начинают забывать. С глаз долой из сердца вон.

Смотритель отошел в сторону и надел шляпу. С него хватит. Провожающие понемногу приободрились и неприметно, один за другим, тоже покрывали головы. Мистер Блум надел шляпу и увидел, как осанистая фигура споро прокладывает путь в лабиринте могил. Спокойно, с хозяйской уверенностью, пересекал он поля скорби*.

Хайнс что-то строчит в блокнотике. А, имена. Он же их все знает. Нет: идет ко мне.

— Я тут записываю имена и фамилии,— полушепотом сказал Хайнс.— Ваше как имя? Я не совсем помню.

— На эл,— отвечал мистер Блум.— Леопольд. И можете еще записать Маккоя. Он меня попросил.

— Чарли,— произнес Хайнс, записывая.— Знаю его. Он когда-то работал во «Фримене».

Верно, работал, до того как устроился в морге под началом Луиса Берна. Хорошая мысль чтобы доктора делали посмертные вскрытия. Выяснить то что им кажется они и так знают. Он скончался от Вторника. Намазал пятки. Смылся. прихватив выручку с нескольких объявлений. Чарли, ты моя душка*. Потому он меня и попросил. Ладно, кому от этого вред. Я все сделал, Маккой. Спасибо, старина, премного обязан. Вот и пускай будет обязан — а мне ничего не стоит.

— И скажите-ка,— продолжал Хайнс,— вы не знаете этого типа, ну там вон стоял, еще на нем...

Он поискал глазами вокруг.

— Макинтош,— сказал мистер Блум.— Да, я его видел. Куда же он делся?

— Макинтош,— повторил Хайнс, записывая.— Не знаю, кто он такой. Это его фамилия?

Он двинулся дальше, оглядываясь по сторонам.

— Да нет,— начал мистер Блум, оборачиваясь задержать его.— Нет же, Хайнс!

Не слышит. А? Куда же тот испарился? Ни следа. Ну что же из всех кто. Не видали? Ка е два эл. Стал невидимкой. Господи, что с ним сталось?

Седьмой могильщик подошел к мистеру Блуму взять лежавшую рядом с ним лопату.

— О, извините!

Он поспешно посторонился.

Бурая сырая глина уже видна была в яме. Она поднималась. Вровень. Гора сырых комьев росла все выше, росла, и могильщики опустили свои лопаты. На минуту все опять обнажили головы. Мальчик прислонил венок сбоку, свояк положил свой сверху. Могильщики надели кепки и понесли обглиненные лопаты к тележке. Постукали лезвием по земле: очистили. Один нагнулся и снял с черенка длинный пучок травы. Еще один отделился от товарищей и медленно побрел прочь, взяв на плечо оружие с синеблещущим лезвием. Другой в головах могилы медленно сматывал веревки, на которых спускали гроб. Его пуповина. Свояк, отвернувшись, что-то вложил в его свободную руку. Безмолвная благодарность. Сочувствуем, сэр: такое горе. Кивок. Понимаю. Вот лично вам.

Участники похорон разбредались медленно, бесцельно, окольными тропками, задерживались у могил прочесть имена.

— Давайте кругом, мимо могилы вождя, * — предложил Хайнс.— Время есть.

— Давайте,— сказал мистер Пауэр.

Они свернули направо, следуя медленному течению своих мыслей. Тусклый голос мистера Пауэра с суеверным почтением произнес:

— Говорят, его вовсе и нет в могиле. Гроб был набит камнями. И что он еще вернется когда-нибудь.

Хайнс покачал головой.

— Парнелл никогда не вернется,— сказал он.— Он там, все то, что было смертного в нем. Мир праху его.

Мистер Блум шагал в одиночестве под деревьями меж опечаленных ангелов, крестов, обломанных колонн, фамильных склепов, каменных надежд, молящихся с поднятыми горé взорами, мимо старой Ирландии рук и сердец*. Разумнее тратить эти деньги на добрые дела для живых. Молитесь за упокой души его. Как будто кто-то на

самом деле. Спустили в яму и кончено. Как уголь по желобу. Потом для экономии времени за всех чохом. День поминовения. Двадцать седьмого я буду у него на могиле. Садовнику десять шиллингов. Выпалывает сорняки. Сам старик. Сгорбленный в три погибели, щелкает своими ножницами. В могиле одной ногой. Ушедший от нас. Покинувший этот мир. Как будто они по своей воле. Всех выкинули пинком. Сыгравший в ящик. Интересней, если б писали, кто они были. Имярек, колесник. Я был коммивояжер, сбывал коркский линолеум. Я выплачивал по пять шиллингов за фунт. Или женщина с кастрюлей. Я стряпала добрую ирландскую похлебку. Как там это стихотворение эклогия на сельском кладбище написал Вордсворт или Томас Кэмпбелл *. У протестантов говорят: обрел вечный покой. Или старый доктор Моррен: великая исцелительница позвала его к себе. Для них это Божий надел. Очень милая загородная резиденция. Заново оштукатурена и покрашена. Идеальное местечко, чтобы спокойно покурить и почитать «Чёрч таймс». Объявления о свадьбах никогда не берут в веночек. Проржавелые венки, гирлянды из фольги висели на крестах и оградках. Вот это выгодней. Хотя цветы более поэтично. А такое надоедает, не вянет никогда. Совершенно невыразительно. Бессмертники.

Птица неподвижно сидела на ветке тополя. Как чучело. Как наш свадебный подарок от олдермена Хупера. Кыш! Не пошевельнется. Знает, что тут не ходят с рогатками. Это еще печальней, мертвые животные. Милли-глупышка хоронила мертвую птичку в коробочке, на могилку венок из маргариток, обрывки бусиков.

Это Святое Сердце там: * выставлено напоказ. Душа нараспашку *. Должно быть сбоку и раскрашено красным как настоящее сердце. Ирландия была ему посвящена или в этом роде. Выглядит страшно недовольным. За что мне такое наказание? Птицы слетались бы и клевали как там про мальчика с корзинкой плодов но он сказал нет потому что они бы испугались мальчика. Аполлон это был *.

Сколько их *! И все когда-то разгуливали по Дублину. В бозе почившие. И мы были прежде такими, как ты теперь.

И потом как можно всех запомнить? Глаза, голос, походку. Ладно, голос — положим: граммофон. Установить в каждом гробу граммофон или иметь дома. После воскресного обеда. Поставим-ка нашего бедного прадедушку. Кррааххек! Здраздрраздраст страшнорад крххек страшнорадсновавстре здраздрас стррашкррпуффс. Напоминает голос как фотография напоминает лицо. Иначе ты бы не вспомнил лицо скажем через пятнадцать лет. Чье например? Например кого-то кто умер когда я был у Уиздома Хили.

Фыррст! Шорох камней. Стой. Обожди-ка.

Он остановился, вглядываясь в подножие склепа. Какой-то зверь. Погоди. Вон вылезает.

Жирная серая крыса проковыляла вдоль стены склепа, шурша по гравию. Старый ветеран — прапрадедушка — знает все ходы-выходы. Серая живность протиснулась в щель под стену, сжавшись и извиваясь. Вот где прятать сокровища.

Кто там живет? Здесь покоится Роберт Эмери. Роберта Эммета * похоронили тут при свете факелов, так, кажется? Совершает обход.

Хвост скрылся.

Такие вот молодцы живо разделаются с любым. Не будут разбирать кто оставят гладкие косточки. Для них мясо и мясо. Труп это протухшее мясо. А сыр тогда что такое? Труп молока. В этих «Путешествиях по Китаю» написано что китайцы говорят от белых воняет трупом. Лучше сжигать. Попы страшно против. На руку другой фирме. Оптовая торговля кремационными и голландскими печами. Чумные поветрия. Сваливают в ямы с негашеной известкой. Камеры усыпления для животных. Прах еси и в прах возвратишься. Или хоронить в море. Где это про башню молчания у парсов? Птицы пожи-

рают. Земля, огонь, вода. Говорят утонуть приятней всего. В одной вспышке видишь всю свою жизнь. А если спасли уже нет. Но в воздухе нельзя хоронить. С аэроплана. Интересно, передаются там новости когда свеженького спускают под землю. Подземные средства связи. Мы этому научились у них. Не удивился бы. Их хлеб насущный. Мухи слетаются еще когда не помер как следует. Пронюхали про Дигнама. Запах это им все равно. Рыхлая белая как соль трупная каша: на запах, на вкус как сырая репа.

Ворота забелелись впереди: открыты еще. Обратно на этот свет. Довольно тут. Каждый раз приближаешься еще на шаг. Последний раз был на похоронах миссис Синико *. И у бедного папы. Любовь которая убивает. Бывает даже разрывают землю ночью при фонарях как тот случай я читал чтоб добраться до свежезахороненной женщины или уже даже тронутой когда трупные язвы пошли. Мурашки забегают от такого. Я тебе явлюсь после смерти. Ты увидишь призрак мой после смерти. Мой призрак будет тебя преследовать после смерти. Существует тот свет после смерти и называется он ад. Мне совсем не нравится тот свет, так она написала. Мне нисколько не больше. Еще столько есть посмотреть, услышать, почувствовать. Чувствовать тепло живых существ рядом. Пускай эти спят в своих червивых постелях. В этом тайме они меня еще не возьмут. Теплые постели; теплая полнокровная жизнь.

Мартин Каннингем появился из боковой аллеи, о чем-то серьезно говоря.

Кажется, стряпчий. Лицо знакомое. Ментон, Джон Генри, стряпчий, поверенный по присягам и свидетельствам. Дигнам работал у него раньше. У Мэта Диллона давным-давно. Мэт компанейский человек. Веселые вечеринки. Холодная дичь, сигары, стаканы «напейся и не облейся». Уж вот у кого золотое сердце. Да, Ментон. В тот вечер в кегельбане взъярился на меня как черт что я заехал своим шаром к нему. Просто по чистейшей случайности: смазал. А он меня всеми фибрами невзлюбил. Ненависть с первого взгляда. Молли и Флуи Диллон обнялись под сиренью, хихикали. Мужчины всегда так, их до смерти уязвляет если при женщинах.

На шляпе у него вмятина на боку. Из кареты наверно.

— Прошу прощения, сэр,— сказал мистер Блум, поравнявшись с ними.

Они остановились.

— У вас шляпа слегка помялась,— показал мистер Блум.

Джон Генри Ментон одно мгновение смотрел на него в упор, не двигаясь.

— Тут вот,— пришел на выручку Мартин Каннингем и показал тоже.

Джон Генри Ментон снял шляпу, исправил вмятину и тщательно пригладил ворс о рукав. Затем опять нахлобучил шляпу.

— Теперь все в порядке,— сказал Мартин Каннингем.

Джон Генри Ментон отрывисто дернул головой в знак признательности.

— Спасибо,— бросил он кратко.

Они продолжали свой путь к воротам. Мистер Блум, удрученный, отстал на несколько шагов, чтобы не подслушивать разговора. Мартин разделает этого законника. Мартин такого обалдуя обведет и выведет, пока тот не успеет рта разинуть.

Рачьи глаза. Ничего. Потом еще может пожалеет когда дойдет до него. И получится твой верх.

Спасибо. Ишь ты, какие мы важные с утра!

(Продолжение следует)

IV. Калипсо

В этом эпизоде начинается день главного героя романа — рекламного агента, еврея по национальности Леопольда Блума, который соотносится Джойсом с Одиссеем, едва ли не самым любимым образом писателя и самым «законченным характером человека»[1] в мировой литературе.

Место действия — дом Блума на Экклз-стрит, 7. Время действия, как и в первом эпизоде со Стивеном-Телемаком,— 8 часов утра. Орган, который символически представляет эпизод,— почка. «Искусство» — экономика, точнее, разумное ведение домашнего хозяйства. Цвет — оранжевый. Символ-лейтмотив — нимфа. Действительно в пятой песни «Одиссеи» рассказывается о пребывании Одиссея у нимфы Калипсо, которая «насильно им овладела» и к тому же препятствует его возвращению на родную Итаку. Однако Зевс посылает к Калипсо Гермеса с приказом освободить Одиссея, а ему повелевает вспомнить о своем доме и народе. Нимфа Калипсо в тексте Джойса не только фигура над супружеской постелью Блумов, но и сама жена Леопольда Блума, певица Мэрион Блум, испанка по происхождению, которая, несмотря на свои измены, крепко привязала к себе Блума. Стоит заметить, что прототипом Мэрион в значительной мере послужила жена Джойса, Нора Барнакль. Итакой в данном случае становится Сион, Палестина, древняя историческая родина Блума, куда он постоянно устремляется в своих мыслях. Блум, как и Стивен, не чувствует себя хозяином в доме. Как и Стивен, с которым он пока не знаком, он ощущает себя изгнанником. Роль Гермеса у Джойса выполняет хозяин мясной лавки польский еврей Длугач.

Важен иронический подтекст эпизода: еврей Длугач торгует свининой, которую не должны употреблять в пищу правоверные евреи. Ироническое снижение есть и в образе самого джойсовского Одиссея. В нем, конечно, нет ничего величественного. О его царственности напоминает только имя Леопольд — царь, владыка мира. Даже в мелочах Джойс подчеркивает эту разницу: у Одиссея была собака, у Блума — кошка. У Одиссея — сын Телемак, у Блума — дочь Милли, а сын Руди умер в младенчестве.

В этом эпизоде появляются — в довольно большом количестве — герои из других произведений Джойса, в частности из сборника рассказов «Дублинцы» — мистер Маккой («Милость божия»), Грета Конрой («Мертвые»). Есть и некоторые «непонятности» в тексте. Например, картофелина в кармане брюк Блума. Картофелина — своего рода символ, талисман, данный Блуму матерью, напоминающий о голоде 1846 — 1848 гг. и одновременно хранящий от несчастий тех лет. В те голодные годы основной пищей ирландского крестьянства был картофель.

[1] См. «Вопросы литературы», 1984, № 4, с. 207—208.

BLOOMSDAY

«Блумсдей» («День Блума») — 16 июня 1904 г. Рисунок Джона Райена.

Начитался этой ерунды: по следам солнца — имеется в виду книга «По следам солнца: дневник обошедшего мир» (1893) американского путешественника Фредерика Томпсона, который особенно много времени провел на Востоке. На титульном листе книги была изображена девушка, играющая на цимбалах, а вовсе не сияющее солнце, как кажется Блуму. Видимо, в его библиотеке экземпляр книги был без титульного листа.

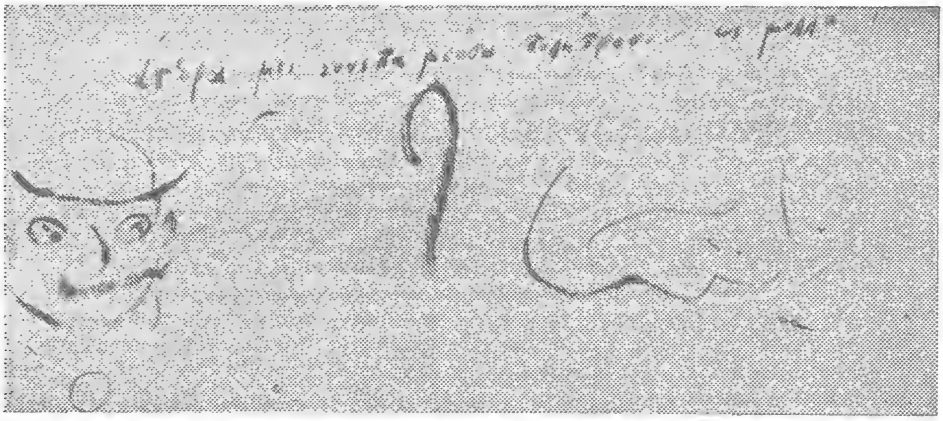
Как сказал Артур Гриффит про ту заставку над передовицей во «Фримене»...— «Фримен» — ежедневная газета, внешне поддерживающая политику гомруля, но по сути умеренно консервативная. Заставка изображала восходящее солнце над Ирландским банком, под ней были слова «Ирландия должна стать нацией». Символика этой заставки в том, что консервативный Ирландский банк занимал здание, в котором до Акта об Унии 1800 г. размещался независимый Ирландский парламент.

Горы Блум — пример использования Джойсом значимых географических названий: действительно, в 55 милях на юго-запад от Дублина находится гора Блум.

Мозес Хайм Монтефиоре (1784—1885)— состоятельный английский филантроп, который ратовал за политическую эмансипацию евреев в Англии, за улучшение условий существования еврейского населения в Европе, а также призывал к колонизации Палестины.

Бывало, поутру на скотном рынке...—в 1893—1894 гг. Блум работал у скототорговца Джозефа Каффа клерком.

Агендат Нетаим — товарищество план-



Блум. Рисунок Джеймса Джойса. Париж, ок. 1923 г. (Вверху — первая строчка «Одиссеи» Гомера.)

таторов — реклама сионистской колонии в Палестине.

Содом, Гоморра, Едом — Блум ошибочно включил Едом в число городов, пораженных гневом Божьим. Едом встречается в Книге Бытия, 36, 8, где говорится о том, как Исав изменил свое имя на Едом.

О Милли Блум... — несколько измененное стихотворение неизвестного ирландского автора.

Старая сладкая песня любви (1884) — песня Джеймса Лайма Моллоя (1837—1909) на слова Клифтона Бингема (1859—1913).

Хочу и не хотела бы — Блум несколько искажает слова из дуэта «Дай руку мне, красотка» («Дон Жуан», акт I, сц. 3).

Джеймс Стивенс — главный организатор и вдохновитель фенианского общества. О каком *О'Брайене* идет речь, с уверенностью сказать трудно. Возможно, Джойс имеет в виду Джеймса Фрэнсиса Ксавье О'Брайена (1828—1905), по образованию медика. В 1856 г. О'Брайен вступил в американскую организацию фениев, участвовал в гражданской войне, после войны оказался в Ирландии, где принял участие в восстании фениев в Корке в 1867 г. Был арестован, приговорен к смертной казни, которая была, однако, отменена в 1869 г. В 1885 — 1905 гг. член парламента, сторонник Парнелла; ратовал за экономическую независимость Ирландии, на что, видимо, иронически и намекает Джойс.

Энтузиасты — название христианской секты IV века, а также секты пуритан в XVII веке, которая проповедовала патриархальные экономические отношения. Сомнительно, чтобы Блум знал религиозное значение этого понятия. Вероятнее всего, оно было у него на слуху, и он, зная о сионистских настроениях Длугача, бессознательно применил его к нему.

А король на троне... — строчка из популярной детской песенки.

V. Лотофаги

Во время своих странствий Одиссей и его спутники встречаются с мирным племенем лотофагов. Лотофаги угостили спутников Одиссея «сладко-медвяным лотосом», и те, вкусив этот дивный плод, позабыли обо всем, «утратив желанье назад воротиться». Одиссею пришлось силой затаскивать их на корабль. Джойс причисляет к лотофагам всех тех, кто находится в состоянии дурмана, наркотического опьянения — причастников в церкви, евнухов, подвыпивших солдат.

Время действия — 10 часов утра. Место действия — улицы Дублина, по которым идет Блум от своего дома к баням. Стоит вспомнить, что и Стивен Дедал в это время находится у воды, на берегу Дублинского залива.

Эпизод символически представляет половые органы. Ботаника и химия — «искусства» эпизода. В тексте постоянно упоминаются различные цветы. Все модификации фамилии Блума имеют в своей основе цветок. Блум — по-английски цветок, цветение; венгерская фамилия Вираг также означает «цветок», и, наконец, Блум подписывает свои любовные письма Марте — «Генри Флауэр». В сознании Блума также постоянно возникают различные ассоциации, связанные с цветами. Не меньшую роль в данном эпизоде играют и различные запахи — духов, цветов, тела, благовоний и т. д. Большое значение имеет наркотический эффект запаха. Это становится особенно ощутимо в церкви, где Блум присутствует при таинстве причастия, евхаристии, которая, в свою очередь, по замыслу Джойса, является символом-лейтмотивом эпизода.

Некоторые эпизоды «Улисса» имеют некий геометрический аналог. В «Лотофагах» это круг, что соответствует форме лотоса, а также потира, чаши для причастия.

...хмурый фасад Бетеля — пожалуй, это единственное название в Дублине, которое стоит специально комментировать в данном эпизоде из-за его этимологии: Бет *(евр.)* — дом, Эль *(евр.)* — Бог, то есть дом Божий (ср. Книга Судей, 20, 26). Видимо, Бетель — это название штаб-квартиры Армии Спасения на Ломбард-стрит. Естественно, такое название не могло не привлечь Джойса.

Нора Джойс (фотография, ок. 1920 г.).

Цветы праздности... в Ботаническом саду. Хрупкие растения — видимо, эти слова соотносятся с названиями стихотворений английских поэтов, в частности, «Цветы праздности» — цикл стихотворений в «Часах праздности» (1807) Байрона; «Хрупкий цветок» (1820) — стихотворение Шелли; «Ботанический сад» (1791) — стихотворение Эразма Дарвина (1731—1802).

Письмо Мод Гонн, чтобы их не пускали по вечерам на О'Коннелл-стрит: позор для столицы Ирландии — в начале англо-бурской войны (1899—1902) командование британской армии, стремясь увеличить число добровольцев, издало приказ, по которому сформированные отряды проводили несколько дней в дублинских казармах. Это привело к тому, что О'Коннелл-стрит по вечерам была заполнена солдатами, которые подыскивали себе подружек на ночь. Мод Гонн обратилась к «Дочерям Ирландии» с воззванием, призывая их протестовать против вербовки ирландцев в британскую армию, а также против размещения полков в Дублине.

...газета Гриффита — имеется в виду газета «Объединенные ирландцы», основанная в 1899 г.

А вот форму пожарника или полисмена он никогда не надевает. Масон, да. — Король Эдуард VII (1841—1910, прав. 1901—1910) любил появляться в различных одеяниях, однако никогда не надевал формы почетного пожарника или полисмена. Он же был великим мастером английских франкмасонов с 1874 г. вплоть до восшествия на престол в 1901 г.

Холохан — персонаж рассказа «Мать» из сборника «Дублинцы». Был хром, откуда и прозвище — «прыгунчик».

...Брут весьма достойный человек — Шекспир, «Юлий Цезарь», акт III, сц. 2.

Боб Дорен — персонаж рассказа «Пансион» из сборника «Дублинцы». *Бэнтам Лайонс* — персонаж рассказа «День плюща» из того же сборника.

Рай и пери — название стихотворения Томаса Мура в «Лалла Рук» (1817), в котором рассказывается о попытке пери попасть в рай.

Сегодня «Лия»: миссис Бэндмен Палмер— Милисент Палмер (1865—1905), американская актриса, 16 июня 1904 г. выступала в театре «Гэйети» в пьесе «Покинутая Лия» (1862), представляющей собой адаптированный перевод пьесы «Дебора» (1850) австрийского драматурга еврейского происхождения Соломона Мозенталя (1821—1877). Главная тема пьесы — осуждение антисемитизма. Лию преследует злодей Натан.

А может, он был женщина — кем были Шекспир и Гамлет — тема, которая зазвучит во весь голос в эпизоде «Сцилла и Харибда». Блум, далекий от подобных теоретических споров и рассуждений, видимо, неосознанно вспоминает теорию Эдварда Вайнинга о том, что Гамлет был женщиной.

Кейт Бейтмен (1843—1917?) — английская мелодраматическая актриса, одна из лучших исполнительниц роли Лии.

Аделаида Ристори (1822—1906) — итальянская трагическая актриса. Также играла роль Лии.

Бедный папа...— отец Блума, Рудольф Вираг, покончил с собой 27 июня 1886 г.

Магомет отрезал кусок своего плаща, чтобы не разбудить — по преданию, Магомет очень любил животных.

Сердилась гвоздика... — этот язык цветов можно расшифровать следующим образом: гвоздика — любовь, кактус — фаллос, незабудка — скромность, стыдливость, как и фиалка; роза — любовь и красота, анемоны — хрупкость.

Марта, Мэри. Мария и Марфа — Марфа, Мария — сестры Лазаря. Аллюзия на евангельский текст, послуживший сюжетом для

Нора Джойс (с картины Майрона Наттинга, Париж, ок. 1924 г.).

Здание Дублинской таможни.

многих картин (см. Евангелие от Луки, 10, 41—42).

...дырка в стене в Эштауне — Эштаун находится в северной части Феникс-парка, вблизи от резиденции вице-короля Ирландии. Это место ассоциировалось у ирландцев со взятками, которые во время выборной кампании передавались через эту дырку избирателям.

Лорд Айви, сэр Эдвард Сесил (1847—1927) — ирландский филантроп, один из пайщиков знаменитой пивоваренной компании «Гиннесс».

Лорд Ардилон, сэр Артур Гиннесс (1840—1915) — ирландский политический деятель, председатель Королевского дублинского общества, один из пайщиков компании «Гиннесс».

Джон Конми (1847—1910) — ректор колледжа Клонгоуз (1885—1891). Этот персонаж впервые появляется у Джойса в «Портрете художника в юности».

Святой Петр Клавер (1581—1654) — испанский иезуит, миссионер. 44 года провел в Южной Америке и в Африке.

За обращение Гладстона молились, когда был уже почти в беспамятстве — Уильям Гладстон (1809—1898), премьер-министр Англии, пользовался большой популярностью в Ирландии из-за его поддержки гомруля и терпимого отношения к католикам. Дублинский архиепископ Уолш призвал верующих молиться о душе Гладстона накануне его смерти.

Будда, их бог, лежит на боку в музее — в Национальной галерее в Дублине статуя Будды появилась в 1891 г.

Се, Человек! — слова Пилата о Христе (Евангелие от Иоанна, 19, 4—5). Так же называется картина на данный евангельский сюжет, принадлежащая кисти венгерского художника Михая Мункачи (1841—1900), которая выставлялась в Дублине в 1899 г.

Трилистник хорошая придумка святого Патрика — св. Патрик (ок. 385 — ок. 461) — один из патронов-покровителей Ирландии. По преданию, св. Патрик с помощью трилистника пояснил триединство Святой Троицы. В более поздние времена трилистник стал национальным символом Ирландии.

Мартин Каннингем — персонаж рассказа «Милость божия» из сборника «Дублинцы».

...когда устраивал Молли в хор — Блум, видимо, не знает о существовании рескрипта папы Пия X (1835—1914, папств. 1903—1914) от 22 ноября 1903 г., который запрещал женщинам пение в церковных хорах.

...кто мой ближний? — см. Евангелие от Луки, 10, 29.

...алые ленточки — видимо, в церкви отмечается праздник какого-то братства. Отсюда и алые ленточки — символ этого братства.

...все время продолжая шептать — по обряду, священник, причащая, повторяет слова молитвы.

Приют для умирающих — находится у Хэролдс-Кросс в южной части Дублина, в нем подвизались римско-католические монахини.

...пресные хлебы предложения — вид хлеба, который едят на еврейскую пасху (см. Исход, 12, 8). Такой хлеб ел и Христос со своими учениками во время Тайной Вечери. Блум, однако, путает хлеб еврейской пасхи с двенадцатью пресными хлебами из пшеничной муки, которые еврейские священники клали в субботу на алтарь (ср. Левит, 24, 5—9 и Исход, 25, 30).

...хлеб ангелов (от лат. panis angelorum) — почтительное название евхаристии.

...явление в Ноке — Нок — местечко на западном побережье Ирландии, где, по преданию, Св. Дева явилась в 1880 г. монахиням Мэри Маклуглин и Мэри Бирн.

И.Н.Ц.И. — Иисус Назорей, Царь Иудейский (см. Евангелие от Иоанна, 19, 19). Эти буквы были начертаны на кресте Христа.

В сумерках и против света — слова из оперы Гилберта и Салливана «Испытание судьи» (1876).

Непобедимые — группа фениев, основанная в 1881 г. и видевшая свою цель в уничтожении членов британского правительства в Ирландии.

Дэнис Кэри (1845—1883) — глава дублинской организации непобедимых, организатор нескольких убийств британских политических деятелей в Феникс-парке. Был арестован, приговорен к повешению. Однако смертная казнь была отменена. Его брат, Питер, также был связан с организацией непобедимых. В то время когда в Дублине шел судебный процесс над Дэнисом Кэри, его жена ждала седьмого ребенка.

Священник ополоснул потир, потом залпом... опрокинул остатки — по обряду, священник после причастия омывает потир вином и выпивает находящееся в чаше.

Им не дает: вино предложения — причастники, по католической традиции, получают при этом таинстве только «хлеб», тело Христово. Вино, кровь Христова, по древнееврейской традиции, предназначается лишь для священника.

«Stabat Mater» — гимн, принадлежащий итальянскому композитору Джоаккино Россини (1792—1868), в котором рассказывается о страданиях Девы Марии.

Кто тот человек — начальные слова третьей части «Stabat Mater».

Саверио Меркаданте (1795—1870) — итальянский композитор, автор оратории «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте». Блум также вспоминает «Gloria» («Слава в вышних Богу») из двенадцатой мессы Моцарта и духовную музыку Палестрины.

...держа перед собой ту штуку — имеется в виду католический требник.

Когда был у мессы последний раз? — обычный вопрос, который задается католическим священником во время исповеди.

Проблеск луны — ср. Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 5.

...окунали робкие руки в мелководье святой воды — в католических храмах обычно стоят каменные чаши со святой водой, в которые можно окунуть пальцы.

...герцог Олбани — младший сын королевы Виктории (1853—1884). Был слаб здоровьем, страдал гемофилией. В народе его болезнь считали таинственной.

Аскот — ипподром вблизи Виндзора, где в июне проходят ежегодные четырехдневные скачки, собирающие цвет английской аристократии.

Вечно бегущий поток жизни — строчка из оперы «Маритана» (1845) ирландского композитора Уильяма Винсента Уоллеса (1813—1865) на либретто Эдварда Фицболла (1792—1873).

...сие есть тело Мое — слова, произносимые во время мессы (см. Евангелие от Луки, 22, 19) и восходящие к словам Христа во время Тайной Вечери.

...поникшего отца тысяч — Джойс обыгрывает название цветка «мать тысяч» (saxifraga stolonifera), представляющего собой ползучее растение со множеством усов.

VI. Гадес

Шестой эпизод романа Джойса соответствует одиннадцатой песни «Одиссеи», в которой Одиссей спускается в царство мертвых Аид, или Гадес. Здесь его ожидают встречи со многими тенями. Некоторые дают Одиссею важные советы объясняют ему причину его земных неудач. В Аиде Одиссей встречает тень матери, беседует с Сизифом, Гераклом и Агамемноном и узнает, что последний погиб от руки своей жены Клитемнестры.

Четырем рекам Аида в тексте эпизода соответствуют река Доддер, Большой и Королевский каналы и река Лиффи. Сизиф — это Мартин Каннингем, Цербер, пес о двух или трех головах, стерегущий вход в Аид — отец Гробби (обращает внимание «говорящая» фамилия этого персонажа). Геракл — Дигнам, Аякс — Парнелл.

Время действия — 11 часов утра. Место действия — сначала карета, которая везет Блума и его спутников на кладбище, а затем, во второй части эпизода,— Глазневинское кладбище в северном пригороде Дублина. Путь похоронного кортежа от дома Дигнама до кладбища проходит через весь город. Отсюда — обилие названий улиц, площадей, мостов пабов, больниц. На своем пути карета минует Ротонду, крупнейший дублинский зал публичных собраний. На Королевском канале расположен и небольшой городок Моллингар, где сейчас живет дочь Блума Милли, а еще дальше город Эннис (графство Клэр). Там находится отель «Корона», который содержал отец Блума и где он покончил с собой, о чем постоянно вспоминает Блум.

Среди множества действующих лиц эпизода — персонажи «Дублинцев»: Каннингем, Пауэр, Кернан, Хайнс, Галлахер. Особого упоминания заслуживает спутник Блума — Саймон Дедал, отец Стивена. В этом эпизоде впервые пересекаются пути двух главных героев романа — Блума и Стивена: через окно кареты Блум видит «стройного юношу в трауре и широкополой шляпе».

Центральный образ эпизода — сердце, которое упоминается здесь множество раз в различных значениях. Искусство — религия. Символические цвета эпизода — белый и черный. Образ-лейтмотив — гробовщик.

...верный Ахат — спутник и друг Энея во время его странствий (ср. «Энеида», I, 188).

...то мудрое дитя, что узнает отца — парафраза строки из «Одиссеи» «Ведать о том, кто отец наш, наверное нам невозможно» (1.215, пер. В. А. Жуковского).

Игнатий Галлахер — персонаж рассказа «Облачко» из сборника «Дублинцы».

Я тыл ему коленом почешу... — Шекспир, «Генрих IV», часть II, акт II, сц. 1.

Шнурки продает у моего родича, Питера Пола Максвайни — некоторое время отец Оливера Гогарти, послужившего прототипом Быка Маллигана, служил у Максвайни и занимался продажей бижутерии и различных галантерейных товаров.

Итонская курточка (итонский костюм) — школьная форма учащихся Итона и некоторых других привилегированных частных школ. Состоит из пиджака, черного жилета и галстука, брюк в узкую полоску, белой рубашки с крахмальным воротничком.

Не содейте зла. Господь близок — слова, написанные в пресвитерианской церкви, мимо которой проезжает похоронная процессия.

Хайнс — персонаж рассказа «В день плюща» из сборника «Дублинцы».

Собачий приют, расположенный на Большом канале, основан дублинским обществом покровительства животным. *Атос* — собака отца Блума.

Благодарение Маленькому Цветку — «Маленький цветок» — стихотворение А. Теннисона, напечатанное 16 июня 1904 г. в газете «Ивнинг телеграф». Полное название — «Цветок на треснувшей стене». Цветок в этом стихотворении становится символом ушедшей из мира души.

Уж месяц как Генри... — пример стихотворений, появляющихся в разделе некрологов. По замыслу Джойса, имя Генри должно соотнестись в сознании читающего с «Маленьким цветком».

«Лилия Килларни» (1862) — музыкальная комедия немецкого композитора Юлия Бенедикта (1804—1880) и ирландского драматурга Дайана Бусико (1822—1890). *«Бристольские забавы»* — музыкальная комедия Генри Джарретта, пользовавшаяся большой популярностью на рубеже веков.

Филип Крэмптон (1777 — 1858) — дублинский хирург, слава которого была почти европейской. Его статуя находилась на Колледж-грин.

Мэри Андерсон — известная французская актриса (настоящее имя — де Марано). Ей особенно удавались лирические и мелодраматические роли. Одной из лучших ролей считалась роль Джульетты в «Ромео и Джульетте». 16 июня 1904 г. выступала в Ольстер-холле в Белфасте.

Дж. К. Дойл и Джон Маккормак — певцы, пользовавшиеся большой популярностью в Дублине в 1904 г. Дж. К. Дойл — баритон, победитель многих музыкальных конкурсов. Маккормак пел в церковном хоре.

Уильям Смит О'Брайен — герой восстания 1848 г. Умер 16 июня 1864 г. Его статуя работы Томаса Фаррелла (1827—1900) была установлена в 1869 г.

Хотела бы и не — Блум исправляет свою ошибку: теперь строчка из оперы Моцарта «Дон Жуан» звучит правильно.

Порой улыбка столько скажет нам — строчка из популярной американской песни Бенни Дейвиса и Гарри Акста.

Крофтон — персонаж рассказа «В день плюща» из сборника «Дублинцы». Прототипом этого персонажа послужил Дж. Крофтон (1838—1907) — как и Джон Джойс (Саймон Дедал), сборщик налогов.

Они проехали под фигурой Освободителя в обширном плаще — статуя Дэниэла О'Коннелла — «Освободителя» — работы скульптора Джона Генри Фоули стоит вблизи О'Коннелл-бридж.

Джон Грэй (1816—1875) — ирландский патриот, протестант, издатель журнала «Фримен». Статуя Джона Грэя работы скульптора Томаса Фаррелла стоит на Сэквилл-стрит.

Варавва в воду — в пьесе английского драматурга Кристофера Марло «Мальтийский еврей» (1588) главный герой Варавва погибает в котле с кипящей водой, которую приготовил для своих врагов.

Колонна Нельсона — стояла на Сэквилл-стрит. Высота 121 фут, на ней фигура адмирала Нельсона (1758—1805). Колонна была разрушена ирландскими патриотами в 1966 г. в 50-ю годовщину Пасхального восстания.

Джон Фолконер — издатель, печатник, книготорговец. *М. Гилл* — печатник, издатель, к тому же держал лавку, в которой продавал церковную утварь.

Отец Мэтью — статуя преподобного Теобальда Мэтью (1780—1861), ирландского «апостола» воздержания, известного своей подвижнической деятельностью во время эпидемии холеры 1832 г., а также Великого голода.

Удар. Сердце — намек на смерть Парнелла, скончавшегося по официальной версии от сердечного приступа.

Растрясут его кости. Свалят гроб на погосте — строчки из популярной песенки «Поезд бедняка» Томаса Ноэля.

В расцвете жизни — слова из заупокойной мессы; полностью строчка звучит так: «В расцвете жизни мы объяты смертью».

На Востоке слыву я первейшей... — песенка «Жемчужина Азии» из оперы «Гейша» (музыка Джеймса Филиппа, либретто Гарри Гринбэнка).

Гордон Беннетт (1841—1918) — американский спортсмен, журналист, учредил ежегодные гонки и приз победителям.

Не видали Келли? — название популярной песенки Уильяма Маккенна.

«Саул» (1739) — оратория Г. Ф. Генделя (1685—1759).

...старый негодник Антонио — продавец мороженого, персонаж песенки, в которой, как и в песенке о Келли, речь идет о бесшабашном прожигателе жизни.

Скорбящая Божья Матерь — имеется в виду самая большая дублинская больница, где была палата для безнадежных больных.

Ростбиф для старой Англии — строчка из одноименной песенки.

Плавание на «Бугабу» — сатирическая баллада Дж. Руни о трудностях плавания на торфяной барже и различных связанных с этим неприятностях.

Джеймс Макканн (ум. 12 февраля 1904 г.) — директор Большого Канала. Он уже в царстве мертвых. Джойс уготовил ему в романе роль Харона, перевозчика душ умерших через Стикс.

Хоть скрылся из глаз, но для памяти дорог — строка из популярной песенки на слова Джорджа Линли (1778—1865).

Пусть лучше девяносто девять виновных ускользнут, чем один невиновный будет приговорен — искаженные слова Иисуса (ср. Евангелие от Луки, 15, 7). Слова эти отсылают также к Уильяму Бэкстоуну (1732—1780) — английскому юристу, комментатору свода законов и уложений: «Лучше пусть девяносто девять виновных избегнут наказания, нежели пострадает один невиновный».

...запущенный сад — Шекспир, «Гамлет», акт I, сц. 2.

Темные тополя, редкие белые очертания — описание подземного царства мертвых в «Энеиде» (VI).

Усыпальница кардинала — имеется в виду усыпальница Эдварда Маккейба (1816—1885), архиепископа дублинского.

Вдовство больше не в чести... — королева Виктория (1819—1901, прав. 1837—1901) носила постоянный траур по своему мужу принцу Альберту, который умер в 1861 г. Ее верность умершему супругу и траур были постоянными темами разговора в обществе и в печати. Однако к концу жизни королева уже не так строго соблюдала траур.

Фрогмор Лодж — расположен вблизи Виндзорского замка. Здесь была построена усыпальница принца Альберта.

...в нашем преславном Корке — имеется в виду одноименная песенка Томаса Крофтона Кроукера (1798—1854).

А кто будет нам читать? Каркнул ворон: я опять — слова из детской песенки.

Тут он покоится... старый Дэн О'. Но сердце его погребено в Риме — О'Коннелл умер в 1847 г. в Генуе. Его сердце было погребено в церкви св. Агаты в Риме, а тело в склепе на Глазневинском кладбище.

Там вон ее могила... — имеется в виду могила матери Стивена Дедала.

Я есмь воскресение и жизнь — см. Евангелие от Иоанна, 11, 25

Лазарь! иди вон — слова Иисуса у места погребения Лазаря (Евангелие от Иоанна, 11,43).

Хабеас корпус — юридический термин, означающий неприкосновенность личности.

И в седых волосах уж блестит серебро — ср. название песенки Х. Дэнкса на слова И. Рексфорда «И в златых волосах уж блестит серебро».

Любовь среди могил. Ромео — аллюзия на стихотворение Роберта Браунинга «Любовь среди развалин» (1855), а также на последнюю сцену «Ромео и Джульетты».

Стоя? — ирландских королей и военачальников по традиции хоронили стоя в полном боевом облачении лицом к стране их врагов.

О мертвых ничего кроме прежде — Блум искажает известную латинскую поговорку «О мертвых ничего кроме хорошего».

Днесь Цезаря пришли мы хоронить — Шекспир, «Юлий Цезарь», акт III, сц. 2.

Его мартовские или июньские иды — в «Юлии Цезаре» прорицатель говорит Цезарю: «Остерегайтесь ид мартовских» (акт I, сц. 2). Дигнам умер 13 июня, т. е. его смерть пришлась на июньские иды.

О бедный Крузо Робинзон... — популярная песенка.

Только мать и мертворожденного могут похоронить в одном гробу — еврейские обычаи позволяли хоронить мать и умершего младенца в одном гробу.

Дом ирландца его гроб — ироническое искажение пословицы «Дом англичанина — его крепость».

Им хочется света — видимо, аллюзия на последние слова Гёте «Света, больше света».

Заберите подушку и пусть кончается на полу... — видимо, аллюзия на сцену из романа Золя «Земля» (1887).

Последний акт «Лючии» — имеется в виду опера Гаэтано Доницетти (1797—1848) «Лючия ди Ламмермур» (1835), в которой рассказывается трагическая история любви.

Даже Парнелл. День плюща отмирает — 6 октября — годовщина смерти Парнелла. Сторонники Парнелла, верные его памяти, в этот день носили в память о нем лист плюща.

...поля скорби — «Энеида», VI, 441.

Чарли, ты моя душка — шотландская народная песенка, в которой рассказывается о принце Чарли (1720—1788).

...мимо могилы вождя — то есть Парнелла.

...мимо старой Ирландии рук и сердец — строчка из песенки ирландского композитора Ричарда Харви на слова Н. Дэлени.

Как там это стихотворение эклогия на сельском кладбище написал Вордсворт или Томас Кэмпбелл — на самом деле имеется в виду «Элегия на сельском кладбище» (1751) английского поэта Томаса Грея (1716—1771).

Это Святое Сердце там... — Маргарита Мэри Алакок (1647—1690), ирландская католическая монахиня, имела несколько видений, во время которых, как она говорила, Иисус брал в руки свое сердце и вкладывал его в сердце Маргариты. В память об этих видениях в конце XIX в. и был учрежден культ Святого Сердца, получивший большое распространение в католических странах, в частности в Ирландии.

Душа нараспашку — ср. со словами Яго и «Отелло», акт I, сц. 1.

Птицы слетались бы и клевали... Аполлон это был — Блум путает имя знаменитого греческого художника Апеллеса, современника Александра Македонского, с Аполлоном. Блум вспоминает один из рассказов о чудесном даре Апеллеса, о его фантастически правдоподобных полотнах.

Сколько их! — ср. Данте, «Ад», III, 55.

Роберт Эмери. Роберта Эммета... — имя Роберта Эмери вызывает у Блума ассоциацию с Робертом Эмметом (1778—1803), ирландским патриотом, который пытался получить помощь Наполеона для проведения восстания. Однако помощь Наполеона не подоспела. Эммет был схвачен и казнен. По преданию, тело его было тайно похоронено на Гласневинском кладбище.

...на похоронах миссис Синико — самоубийство миссис Синико — сюжет рассказа «Несчастный случай» из сборника «Дублинцы».

Е. ГЕНИЕВА

ГЕОРГ ГЕЙМ

Перевод с немецкого М. ГАСПАРОВА

Недавно исполнилось сто лет со дня рождения одного из крупнейших поэтов Германии двадцатого века Георга Гейма.

Он родился в 1887 году и прожил недолго: двадцати четырех лет, катаясь на коньках, он утонул под провалившимся льдом. 1912 год, год гибели Гейма, это еще мирное время. Но его стихи, его опыты в драматургии и прозе создавались будто в предчувствии надвигавшихся на Европу потрясений — «некалендарного двадцатого века».

С фотографии на нас смотрит круглое, мальчишеское лицо, напоминающее известный портрет другого трагического гения Германии — молодого Клейста: те же округлость и доверчивость, то же жуткое несоответствие портрета творчеству и рано оборвавшейся жизни. Как в прошлом веке драматургия и проза Клейста, так в нашем поэзия Гейма выразили глубокое неблагополучие времени и жестокость мироустройства.

В истории литературы Гейм значится предтечей экспрессионизма. Но это лишь часть истины. Вместе с другими замечательными поэтами своего поколения он открыл за немногие годы творчества новое понимание времени, новый мир образов, новый язык, важные для всей немецкой поэзии.

Предшествовавшие десятилетия в культуре Европы получили наименование «belle époque». Связи с реальностью были ослаблены. Время отражалось косвенно — в усталости, тронутой увяданием красоте, томительно-сладостном предчувствии конца. В поэзии Гейма заметен отблеск этой культуры, но куда заметней разрывы. «На гребне belle époque, когда все казалось в совершенном порядке, сумасшедшие, убийцы и бунтари Гейма были созданием человека, сохранившего разум»,— писал о его стихах спустя полвека Стефан Хермлин. В этих стихах и в самом деле много сумасшедших, бунтарей, а кроме того, калек, нищих. Но автор далек — это сразу ясно при чтении — от сентиментального сочувствия «бедным людям». Гейм видел все обобщенней, крупней, видел не только страдания человека, но и искалеченный род человеческий.

За долгие годы у нас стало дурной традицией принимать за бессилие трагическое восприятие жизни. Там, где следовало ценить бесстрашие, видели пессимизм и слепоту. Между тем поэзия Гейма, как и творчество многих других выдающихся лириков того времени, обладала исключительной силой исторического предвидения. Это сказалось не только в стихах, рисовавших не начавшуюся еще войну (такие пророческие стихи есть не только у Гейма), но и в совершенно новом восприятии жизни, новой ее оценке. Мир увиден здесь как будто не теми глазами, не глазами людей, привыкших отворачиваться от безобразного и отводить мертвым пространство за решеткой на кладбище. Гейму претило слабодушное забвение ужаса и смерти — он видел смерть там, где она ежедневно совершает свою работу, среди жизни.

«Мертвецкий дом» — названо одно из его стихотворений. Это и дом его поэзии: мертвые населяют ее гуще живых. Можно по-разному отнестись ко всем этим скопищам мертвецов, которые переполняют у него, наседая в неистовстве друг на друга, реку Стикс, уподобляются тянущимся по небу облакам или — целый народ! — лежат на столах в морге. Можно неприязненно отвернуться, а можно, почувствовав силу этой поэзии, задуматься над стихами. Дело не только в художественном вкусе читателей, хотя это, конечно, первостепенно — дело еще и в выборе, который делает для себя каждый: знать или не хотеть знать; понимать, замечать, видеть или закрывать глаза на происходящее. Ведь в одном нельзя заподозрить Гейма — в обмане, в произволе мрачного воображения. Всего через несколько лет после последнего его стихотворения миллионы мертвецов — а потом еще! и еще! — пали в землю Европы.

Привычные разделения безобразного и прекрасного, живого и мертвого, человеческого и природного у Гейма забыты и отменены. С каким-то немыслимым сострада-

нием отталкивающее уравнено у него с прекрасным (так в стихотворении «Спящий в лесу»). Щемящая жалость не высказана, а выражена в самом построении этих стихов: красота не отворачивается от тлена. В одном и целом соединены противоположные, противоречащие друг другу начала: свет и тьма (он пишет однажды о «черном пламени»), движение и статика («неподвижный поток»). Крепко спаянные слова взрываются внутренней несовместимостью. Развития и динамики почти нет (обычно они замещены все новыми и новыми точками, с которых увиден предмет, и новыми пространствами, открывающимися читателю). Но развитие тут заложено — все существует в предчувствии взрыва.

Отсюда напряженность этой поэзии, ее кричащая образность, особенно яркая уже в переводившихся на русский язык и потому не включенных в подборку стихах Гейма о городах (одно из них было переведено Пастернаком).

Образы у Гейма картинны, предметны (солнце у него «как бочонок», «как желтый тюрбан»). Кажется, что он мог быть художником, как молодой Маяковский. Но окраска своя, геймовская, гораздо более мрачная (лишь изредка у него в ходу другая палитра — и все тогда, как в детской сказке, пурпур, голубизна и золото). Метафоры, разрастаясь, создают уже не образное отражение действительности, а новую предметную реальность, не похожую на первую, но выражающую ее суть. В таких стихах, как «Umbra vitae» или «Слепые женщины», говорится, в сущности, о состоянии мира, и «корабли, повисшие в волнах» — знак оборванной жизни, прекратившегося движения.

Среди его стихов есть высокие образцы любовной лирики, вошедшие во все представительные антологии немецкой поэзии. Но и в стихотворении «Длинные твои ресницы...» внимательный читатель заметит не выведенные на поверхность мотивы, относящиеся к чему-то более широкому, чем любовная тема стихотворения. В каждом четверостишии тут сталкиваются и спорят высь и глубь, тень и свет. Материя жизни разведена на полюса.

Поэзия Гейма, не знавшая больших форм, и в малых отличалась эпической монументальностью. Он писал о больших городах, павших на колени. Написал, как людские толпы (читай: человечество) неподвижно стоят на улицах и с ужасом смотрят в небо (появившаяся в те годы комета Галлея для Гейма в стихотворении «Umbra vitae» только предлог и повод). Порой он видит землю с немыслимой высоты, со сгрудившимися в города домами, пересеченную реками, по одной из которых плывет ставшая тоже огромной утопленница Офелия, а по берегам в лучах заходящего солнца — лязг и скрежет заводов. Земля видна вся. В его стихах, как на полотнах Петрова-Водкина, заметно, что она круглая.

В тонких книжках его стихов — прижизненном сборнике «Вечный день» (1911), в подготовленном им самим к печати сборнике «Umbra vitae» (1912) и стихах, опубликованных посмертно,— мир на грани между гибелью и спасением. Как отвечают эти стихи нашему теперешнему сознанию, как отзывается в них драма современного человечества!..

Н. ПАВЛОВА

Два слова от переводчика

Гейм писал очень точными словами, и они требовали очень точного перевода. Мало того: он умел писать так, что слова его ощущались как сказанные впервые, свободные от ассоциаций долгого стихотворного употребления. Чтобы передать это, мне пришлось отбросить в его стихах метр и рифму: переводить его ямбы не размером подлинника, а свободным стихом. Конечно, не совсем свободным: внимательный читатель уловит в нем ритм и даже угадает, за какими стихами в оригинале стоят обычные геймовские ровные пятистопники, а за какими — более сложные размеры. За границей такая практика переводов обычна, хотя у нас внове. Мне кажется, что, когда мы предлагаем читателю поэта как представителя такой-то школы, эпохи, культуры, тогда переводчик обязан передавать все внешние признаки, характерные для этой школы, эпохи, культуры, и, конечно, стиховые в первую очередь. Но когда мы хотим, чтобы читатель встретился с поэтом один на один, в его неповторимой индивидуальности — как здесь,— то мы вправе отбросить общее, чтобы вернее сохранить личное в поэте — образность и стиль. Конечно, это годится не для всякого автора: Верлена или трубадуров так переводить нельзя. Это экспериментальный перевод: когда-нибудь, надеюсь, он уступит место переводам Гейма, отлично сделанным размером подлинника.

Офелия. I

В волосах гнездятся речные крысы,
Руки в перстнях вытянулись по воде
Плавниками, несущими ее тело
Сквозь тенистый подводный первобытный лес.

Последнее солнце, проблуждавши в сумраке,
Глубоко закатилось в ее мозг, как в гроб.
Зачем умерла она? Почему одна она
В порослях водорослей спутавшейся реки?

Ветер повис в камышах. Как взмахом,
Он взметает стаю летучих мышей.
Темными крыльями над темными водами
Они вьются, влажные, как тяжкий дым,

Как ночная туча. Белесый угорь
Ей щекочет груди. Светляк на лбу
Мерцает, и листьями плачет ива
Над ней, над мукой, не знавшей слов.

Офелия. II

Желтое поле. Кровавым потом
Потный полдень. Ветер заснул.
Вот она плывет, умирающая птица,
Под белым кровом лебяжьих крыл.

Мягко опали голубые веки.
И под сверканье звенящих кос
Снится ей поцелуй, как пурпур,
Вечный сон ее в вечном гробу.

Мимо, мимо! Туда, где над берегом
Гудящий город. Где в плотинный створ
Белый бьет бурун, и на все четыре
Стороны стонет эхо. Туда,

Где гул по улицам. Колокольный звон.
Машинный скрежет. Стрельба. Туда,
Где запад грозится слепым и красным
Кругом, где вычерчен подъемный кран.

Подъемный кран, чернолобый тиран,
Молох над павшими ниц рабами,
Тягота мостов, которые для него
Коваными цепями сковали реку.

Незримо уносит ее поток,
И где ее мчит, взметаются толпы
Большими крыльями черной тоски,
Тенью ширящейся с берега на берег.

Мимо, мимо! Где в жертву мраку
Лето приносит поздний закат,
Где усталая истома дальнего вечера
Темной зеленью легла на луга,

Поток ее мчит, навек погруженную,
По стылым заводям встречных зим
Вниз по течению времени. в вечность,
Где дышит дымом огненный небосвод.

Арестанты. II

По дороге, по рытвинам, дробный шаг —
Колонна арестантов марш-марш домой.
Через мерзлое поле, в огромный гроб,
Как бойня, углами в серую муть.

Ветер свищет. Буря поет.
Они гонят кучку жухлой листвы.
Стража позади. У пояса — звяк —
Железные ключи на железном кольце.

Широкие ворота разеваются до небес
И опять смыкаются. Ржавчина дня
Изъедает запад. В мутной синеве
Дрожит звезда — колотит мороз.

У дороги два дерева в полумгле,
Скрюченные и вздутые два ствола.
И на лбу у калеки, черный и кривой,
Крепчает рог и тянется ввысь.

Спящий в лесу

Он спит с утра. Солнце сквозь тучи
Красным тронуло красную рану.
Капает роса. Весь лес — как мертвый.
Птичка на ветке вскрикивает во сне.

Покойник спит, забывшись, забытый,
Овеваем лесом. Черви, вгрызаясь
В щели его черепа, поют свою песню,
И она ему снится звенящей музыкой.

Как это сладко — спать, отстрадавши
Сон, распасться на свет и прах,
Больше не быть, от всего отсечься,
Уплыть, как вздох ночной тишины,

В царство спящих. В преисподнее братство
Мертвых. В высокие их дворцы,
Где палаты сменяют одна другую,
В их застолья, в их праздники без конца,

Где темное пламя встает в светильниках,
Где звонким золотом — струны лир,
А в высоких окнах — морские волны
И зеленые луга, выцветающие в даль.

Он улыбается из пустого черепа,
Он спит, как бог, осиленный сладким сном.
Черви набухают в открытых ранах
И, сытые, тащатся через красный лоб.

Расщелина сходит ко дну оврага.
Он спит на цветах. И устало клонит
Рану, как чашу, полную крови,
Льющей темнобархатно-розовый свет.

Дерево

Возле канавы у края луга
Стоит дуб, исковерканный и старый,
В дуплах от молний, изгрызен бурей,
Черный терн и крапива у корней.

Душным вечером собирается гроза —
Он высится, синий, неколеблемый ветром.
Праздные молнии, бесшумно вспыхивая
В небе, сплетают ему венец.

Ласточки стаями мчатся понизу,
А поверху сброд летучих мышей
Кружится над голым, выжженным молнией,
Суком, отросшим, как виселичный глаголь.

О чем ты думаешь, дуб, в вечерний
Час грозы? О том, как жнецы,
Отложив серпы, отдыхают в полдень
В тени, и по кругу ходит бутыль?

Или о том, как они когда-то
Человека повесили на твоем суку —
Стиснулась удавка, вывихнулись ноги,
И синий язык торчал изо рта?

И висел он лето и зиму,
В переплясе на ледяном ветру,
Словно ржавый колокольный язык,
Ударяясь в оловянное небо.

Луи Капет[1]

Стук барабанов вкруг эшафота.
Эшафот крыт черным, как гроб.
На нем машина. Доски разомкнуты,
Чтобы вдвинуть шею. Вверху — острие.

Все крыши в зеваках. Красные флаги.
Выкрикивают цены за места у окон.
Зима, но люди в поту.
Ждут и ворчат, стискиваясь теснее.

Издали шум. Все ближе. Толпа ревет.
С повозки сходит Капет, забросанный
Грязью, с растрепанной головой.

Его подтаскивают. Его вытягивают.
Голова в отверстии. Просвистела сталь,
И шея из доски отплевывается кровью.

[1] Имя, под которым был судим и казнен в 1793 году французский король Людовик XVI.

Зима

Зима врастяжку. По ровной глади
Голубые снега. На дорогах стрелки
Вытянулись, показывая друг другу вслед
Лиловое безмолвие горизонта.

Четыре дороги, все — в пустоту,
Скрестились. Кусты — как стынущие нищие.
Красная рябина блестит печально,
Как птичий глаз. Четыре дороги

Застыли на миг пошептать ветвями
И вновь вперед, в четыре одиночества,
На север и юг, на восток и запад,
Где небо к земле придавило день.

Земля из-под жатвы горбом, как короб
С треснувшей плетенкой. Белою бородой
Она щетинится, как солдат после боя —
Сторож над мертвыми после жаркого дня.

Снег бледнее и день короче.
Солнце дышит с низких небес
Дымом, которому навстречу талый
Лед горит, как красный огонь.

Вечер

День потонул в червонном багрянце.
Река бела небывалой гладью.
Движется парус. У руля, как вырезанный,
Лодочник высится над большой кормой.

На всех островах в прозрачное небо
Вскинулся красный осенний лес,
И шелест веток из темных омутов
Отзывается дрожью кифарных струн.

Сумрак, сумрак разливается вширь,
Как синее вино из опрокинутой чаши.
А поодаль стояла окутанная в черное,
На высоких котурнах большая ночь.

Крестный ход

Бескрайний край, где лето и ветер,
И ветру вверились светлые облака,
Где зреет золотом желтое жито
И связанная в снопы высыхает рожь.

Земля туманится и дрожит
В запахах зеленых ветров и красных
Маков, которые уронили головы
И ярко горят от копны к копне.

Проселок выгнулся в полукруглый мост
Над свежей волной и белыми каменьями
И длинными водорослями в длинных
Струях под солнцем, играющим в воде.

Над мостом возносится первая хоругвь,
Пылая пурпуром и золотом. Оба
Конца ее с кистями справа и слева
Держат причетники в выцветших стихарях.

Слышится пение. Младший клир
С непокрытыми головами шествует
Впереди прелатов. Старинные, благолепные
Звуки над нивами разносятся вдаль.

В белых одежках, в маленьких веночках
Маленькие певчие истово поют;
И взмахивают кадилами мальчики
В красных сутанах и праздничных шлыках.

Алтарные движутся изваяния,
Мариины раны сияют в лучах,
И близится Христос с деревянным желтым
Лицом под сенью пестроцветных венков.

Под навесом от солнца блещет епископская
Митра. Он шагает с пением на устах,
И вторящие голоса диаконов
Возносятся в небо и разносятся по полям.

Ковчежцы сверкают вкруг старых мантий.
Дымят кадила тлением трав.
Тянется шествие в пышности полей.
Золото одежд выцветает в прожелть.

Шествие все дальше. Пение все тише.
Узенькая вереница втягивается в лес,
И он, зеленый, блещущую глотает
Темными тропами златодремлющей тишины.

Полдень настает. Засыпают дали.
Ласточки полосуют глубокий воздух.
И вечная мельница у края неба
Тянется крыльями в белые облака.

Госпиталь. II

Опускается мрачный вечер. Тупо
Они вкорчиваются в подушки. С реки
Наползает холодный туман. Бесчувственно
Они внемлют молитвословиям мук.

Медленная, желтая, многоногая
Наползает в их постели горячка.
И они в нее глядят, онемелые,
И в зрачках их — выцветшая тоска.

Солнце тужится на пороге ночи.
Пышет жар. Они раздувают ноздри.
Их палит огонь,
Красный круг взбухает, как пузырь.

Там, над ними, Некий на стульчаке
Ими правит жезлом железным,
А под ними роют в жаркой грязи
Черные негры белую могилу.

Меж постелей идут похоронщики,
Выдирая рывком за трупом труп.
Кто не взят, тот вопит, уткнувшись в стену,
Воплем страха, прощанием мертвецов.

Комары зудят. Воздух плавится.
Горло пухнет в багровый зоб.
Рвется зоб, льется огненная лава,
Голова гудит, как каленый шар.

Они рвут с себя липкие рубахи,
Пропотелые одеяла — прочь,
Голые до пупа,
Качаются они маятником бреда.

Смерть струится во всю ночную ширь
В темный ил и слизь морских топей.
Они слушают, замирая, как гремит
Ее посох у больничных порогов.

Вот к постели несут причастие.
Поп больному мажет маслом лоб и рот.
Выжженная глотка мучительно
Вталкивает просфору в пищевод.

Остальные вслушиваются,
Словно жабы в красных пятнах огня.
Их постели — как большой город,
Крытый тайной черных небес.

Поп поет. В ответ ему каркает
Их молитв жуткий пересмех.
Их тела трясутся от гогота,
Руки держатся за вздутый живот.

Поп склоняет колени у кровати,
Он по плечи ныряет в требник.
А больной привстает. В его руках
Острый камень. Рука его в размахе,

Выше, выше. И вот уже дыра
Вспыхивает в черепе. Священник — навзничь.
Крик
Замерзает в зубах навстречу смерти.

Umbra vitae [1]

Люди высыпали на улицы,
Люди смотрят на небесные знаменья:
Там кометы с огненными клювами
И грозящие зубчатые башни.

Крыши усеяны звездочетами,
Их подзорные трубы вперились в небо.
Из чердачных дыр торчат колдуны,
В темноте заклиная свое светило.

Из ворот, закутавшись в черное,
Выползают хворобы и уродства.
На носилках тащат корчь и жалобы немощных,
А вослед, торопясь, гремят гробы.

Ночью толпы самоубийц
Рыщут, ищут свою былую силу
И, склоняясь на все четыре стороны,
Разметают пыль руками, как метлами.

Они сами — точно пыль на ветру.
Волосы устилают им дорогу.
Они скачут, чтоб скорей умереть,
И ложатся в землю мертвыми головами.

Некоторые еще корчатся. И зверье,
Слепое, вставши вокруг, втыкает
Рог им в брюхо. И мертвые вытягиваются,
А над ними — чертополох и шалфей.

Вымер год. Опустел от ветра.
Он повис, как намокший плащ,
И со стоном вечная непогода
Кружит тучи из глуби в глубь.

Все моря застыли. В волнах
Корабли повисли и медленно
Выгнивают. Течение не течет,
И врата семи небес на запоре.

Для деревьев нет ни зим и ни лет.
Им конец, и конец навеки.
Они тянутся иссохшими пальцами
Поперек забытых дорог.

Умирающий силится воспрянуть.
Вот он вымолвил единое слово,
А его уже нет. Где жизнь?
Его взгляд — как разбитое стекло.

Тени, тени. Смутные, потаенные.
Сновидения у глухих дверей.
Кто проснется страдать под новым утром,
Долго будет стряхивать тяжкий сон с серых век.

---

[1] Тень жизни *(лат.)*.

◆

Плавучими кораблями
нас уносило вдаль.
Зимним блеском
полосовало нас.
В море меж островами
мы пускались в пляс.
Поток проносился мимо.
В небе была пустота.

Есть ли на свете город,
где я не стоял у ворот?
Ты ли там проходила,
чью берегу я прядь?
Сквозь умирающий вечер
светил мой ищущий свет,
Но только чужие лица
всплывали в его луче.

Я выкликал покойников
из отреченных мест.
Но и меж погребенных
не было мне тебя.
Шел я через поле,
деревья стояли в ряд,
Качая голые сучья
в стынущих небесах.

Я рассылал гонцами
воронов и ворон,
Они разлетались в сумрак
над тянущейся землей,
А возвращаясь, падали,
как камень, с карканьем в ночь,
Держа в железных клювах
соломенные венки.

Изредка слышен голос
в веянье ветерка,
Изредка ночью сон мой
лелеет твоя рука.
Все, что было когда-то,—
вновь у меня в глазах.
Но веется черный траур,
но сеется белый прах.

Помешанные. III

Королевство. Области красных полей.
Цепи, плети, охранники.
Здесь шуршим мы в крапиве, в репьях, в терновнике
Пред пугающим вызовом диких небес,

Пред гигантскими красными иероглифами,
Огненными зубьями целящимися в нас,—
И синяя отрава по сети жил
Судорожно вкрадывается в наши головы.

Наш неистов вакхантский пляс,
И что ноги наши в тысячах терний,
И что давят они крошечных червячков,—
Мы лишь издали слышим в собственных жалобах.

Наши легкие ноги — из стекла,
Наши плечи — под багряными крыльями,
А когда стекло разобьется вдрызг,
Мы плывем над его звонкими осколками.

О, божественные игры! Море огня.
Небо в пламени. Мы — одинокие
Полубоги И наши волосатые
Ноги попирают камни руин.

Забвенный край, утонувший в мусоре,
Где лишь царским лбом качается дрок,
Нас хватая за ноги золотой рукой
И блудливо вползая под наши мантии.

Квакает жаба. Синий удод
Блеет, как увязшая в болоте коза.
Отчего такие узкие ваши лбы
И хохлы ваши встали дурацким дыбом?

Вы цари, по-вашему? Вы только псы,
Даль ночную запугивающие лаем.
Отчего вы бежите? А бедные трепещут
И летят, как гуси из-под ножа.

Я один в краю глухой непогоды,
Я, с креста глядевший на Иерусалим,
Бывший Иисус, а теперь в углу
Гложущий пыльную подобранную горбушку.

Город

Ночь широка. Сияние облаков
Разорвано лунным западом.
Тысячи окон вытянулись во тьму,
Мигая крошечными красными веками.

•

Улицы, как жилы, пронизали город.
Наплывает и уплывает несчетный люд.
Монотонно гудят из блеклого затишья
Тупые звуки тупого бытия.

Рождение, смерть, насильное однообразие,
Шелест ветра, долгий предсмертный крик —
Тупо, слепо, мимо и мимо —

И блеск, и пламя, и факелы, и пожар,
Издали вскинувшие грозную длань
Высоко над облачной пеленою.

Ночь

Все огни умирали в небе, за пламенем пламя.
Все венки облетали. Утопая в крови, из бездны
Ужас зиял. И как из-за врат преисподней,
Издали вновь и вновь долетали темные зовы.

Сверху еще склонялся из галереи факел,
Двигаясь в хоре. И гас, свисая, как чертовы волосы,
Красный и дымный. А снаружи деревья в буре
Вырастали ввысь и тряслись от кроны до корня.

А в облаках проносились, распевая дикие песни,
Белые старцы бури, и в страхе исполинские птицы
Падали с неба, как корабли с сырыми
Парусами, тяжко нависающими над валами.

Молнии разорвали диким и красным взором
Ночь, чтобы осветить простор бесконечных залов,
Где в зеркалах стояли яркие лики мертвых,
С угрозою к небесам тянувших черные руки.

Побудь со мною. Пусть наши сердца не дрогнут,
Когда во мрак неслышно раскроются двери
И придет тишина. И в ее железном дыханье
Наши жилы застынут и наши иссохнут души.

Зима

Печные трубы завывают вьюгой.
Ночные сумраки темнеют кровью.
У всех домов вытягиваются лица.

Мы здесь живем в обстроенных теснотах,
В могильной полутьме и полусвете,
И как канат, сучим пустое время.

День — он теснится в этажи пониже,
Где жаркое в печах бушует пламя.
А мы стоим у перемерзших окон
И смотрим поперек пустых дворов.

Слепые женщины

Слепые шествуют за поводырями —
Черные исполинши, глиняные молохи
Над плечами тянущих рабынь — запевая
Долгую протяжную песнь слепых.

Твердым шагом вступает их хор
В железный лед обступающего неба.
Ветер клубит над широкими их макушками
Пепельные пожары седых волос.

Исполинские посохи их прощупывают
Улицу до самого взгорбья. Огромные
Гробы лбов их запечатаны огненной
Пентаграммой черного божества.

Вечер вывешивает огненную бочку
На сучья тополя в самый горизонт.
И руки незрячих тычутся в солнце
По веселому небу, как черные кресты.

* * *

Нас зазывали эти дворы,
Худыми руками хватали за полы наши души,
И мы скользнули сквозь ночные ворота
В заколдованное время мертвых садов.

Свинцовый дождь струился из труб,
Мутные вытягивались облака.
Над застывающими прудами
Сохлые от страсти свисали розы.

Мы шли по узким осенним тропам,
О наши лица разбивались стеклянные
Шары. Их держали на острых пальцах встречные,
И боль была, как вспышки огня.

И так мы таяли в стеклянных пространствах,
Со стоном прорезываясь сквозь тонкое стекло,
И навеки сидим в белесых облаках,
Грезя, как в закате порхают бабочки.

Адская вечеря. II

В высях, где тени сгустились в тьму,
В тысяче вечностей над бездной мук,
Над бушеваньем ливней является
Бледное, как утро, божье лицо.

Дальние церкви наполняет сон
Сфер, безмерный, как лепет арф,
Когда, как месяц с большого небосвода,
Белое наклоняется божье чело.

Приблизьтесь. Рот его — сладкий плод,
Кровь его — тяжкое медленное вино,
На его губах в темно-красной заводи
Зыбок синий жар полдневных морей.

Приблизьтесь. Нежен, как бабочкина пыльца,
Как юной звезды золотая ночь,
Мерцает рот в бороде златобородого,
Как в темном раскопе мерцает хризолит.

Приблизьтесь. Он прохладней змеиной кожи,
Мягче пурпурных царских риз,
Нежнее заката, который обесцвечивает
Дикую боль огненной любви.

Скорбь падшего ангела — словно сон
На лбу его, белом троне мучений,
Грустном грустью просыпающегося утром
О виденьях, канувших в бледный рассвет.

Глубже, чем тысяча пустых небес,
Его горечь, прекрасная, точно ад,
Чью пылающую бездну пронизывает
Бледный луч с полуденной вышины.

Его боль — как ночной двусвечник:
Взгляните: пламя облегло ему голову
И двумя рогами в дремучей роскоши
Из кудрей его вонзается в тьму.

Его боль — как ковер, по которому
Письмена каббалистов горят сквозь ночь,
И как остров, минуемый плавателями
В час, когда в дебрях кричит единорог.

Его тело — в нем тень и сень дубрав,
Взлет печальных птиц над большими заводями;
Это царь, в горностаях, задумчивый,
Тихо шествует сквозь склеп своих предков.

Приблизьтесь. Загоритесь его скорбями,
Впейте вздох его, холодный, как лед,
Вздох, принесшийся из-за тысяч эдемов
Ароматом, впитавшим любое горе.

Вот он смотрит, он улыбается,—
И душа в вас тиха, как пруд в камыше,
Тихо наполняемая пеньем Пановой
Флейты, льющимся из лавровых рощ.

Усните. Ночь, сгущаясь в соборе,
Угашает огни на высоком алтаре,
И огромный орел его безмолвия
Зыблет тень своих крыл на ваших лбах.

Спите, спите. Темный божеский рот
Вас коснется осеннею ли, могильною ли
Свежестью, и мнимый расцветет поцелуй,
Желт, как гиацинт, ядовит, как мучница.

Посвящается Хильдегарде К.

Длинные твои ресницы,
Глаз твоих темные воды,
Дай мне нырнуть,
Дай утонуть.

Горняк спускается в шахту,
Мигает тусклая лампа
Тенями на стене
У рудных врат.

Так спускаюсь и я
Позабыть на лоне твоем
Все, что гудит в высях —
Свет, боль, день.

Посреди широкого поля,
Где ветер пьянеет рожью,—
Высокий больной терновник
Упирается в синеву.

Дай мне руку,
Врастем друг в друга,
Добыча одного ветра,
Взлет одиноких птиц.

Вслушаемся в летний
Смутный гул органной грозы,
Окунемся в осенний
Свет на бреге синего дня.

Или встанем
Над колодезем темным —
Глубже заглянуть в тишь,
Нашу найти любовь.

Или выйдем
Из-под тени золотой рощи,
И большой закат
Мягко ляжет тебе на лоб.

Божья печаль,
Молчи о вечной любви.
Опрокинь бокал —
Сон до дна.

Чтобы встать у края земли,
Где море в золотых пятнах
Тихо вкатывается
В заводи сентября.

Чтобы найти покой
В обиталище иссохших цветов.
Через скалы вниз
Поет и трепещет ветер.

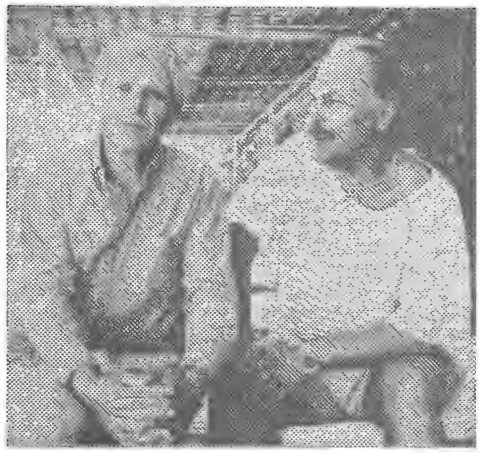
Только с тополя,
Вскинутого в вечную синь,
Уже падает порыжелый лист,
Замирая у тебя на затылке.

■

ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ—
ЛАРС ХЕССЛИНД

О ЛЮБВИ И ПРОЧЕМ

Диалог в письмах *



Несколько месяцев назад я закончил, вероятно, самую необычную из своих литературных работ: вместе со шведским писателем Ларсом Хесслиндом мы завершили подготовку к печати книги о любви.

Пять шестых объема составит проза, рассказы и повести о любви, отдельно Хесслинда, отдельно мои. А в конце — наш с ним диалог на эту тему. В такой книжке каждый из нас остается собой, нет необходимости в неизбежном при соавторстве компромиссе, пойти на который и Ларсу и мне было бы необычайно трудно: в жизни мы с ним друзья и люди достаточно покладистые, но за рабочим столом — ярко выраженные индивидуалисты.

Предполагается, что книга (ее условное название «Любовь на Востоке и на Западе») выйдет в 1989 году одновременно на двух языках — у нас в «Художественной литературе», в Швеции — в крупнейшем издательстве Скандинавии «Бра беккер».

С согласия Ларса хочу предложить наш с ним диалог (с небольшими сокращениями) читателям «Иностранной литературы».

Несколько слов о моем партнере по диалогу. Хесслинд — прозаик, автор пятнадцати книг, хорошо известный в своей стране. Его последний роман вышел тиражом в 180 тысяч экземпляров — цифра фантастическая для девятимиллионной Швеции.

Леонид Жуховицкий

Леонид Жуховицкий

Да здравствуют юные полиглоты!

В Москве, на вполне русском заборе, я прочел надпись мелом на английском языке: «Все, в чем вы нуждаетесь,— это любовь...»

Понятия не имею, кто впервые бросил в жизнь этот лозунг: американцы, европейцы или азиаты, борцы за мир, эмансипацию или за чистую природу. Или авторы знаменитой песенки? Не знаю. Но как же здорово, как точно, как мудро сказано!

Преувеличено? Ну да, конечно же, да — ровно настолько, сколько требуется, чтобы мысль стала афоризмом.

Все, в чем вы нуждаетесь...

Но ведь мы нуждаемся во многом. И потребности все растут. Чтобы книжка вышла в свет, и то сколько нужно: перо, бумага, типографские машины...

Однако давно известно: любовь требует минимума вещей. Любимые стихи от руки переписывают в тетрадь, иногда даже выцарапывают гвоздем на стене. Любимого актера или певца мы готовы слушать, сидя на полу переполненного зала. С любимым человеком и того проще: одна кровать, две простыни и никакой одежды.

Но — какой печальный и тревожный парадокс! — чем дальше, тем азартнее люди гоняются за вещами, тем меньше внимания они уделяют любви. Может показаться, что это не так: нынешняя раскованная молодежь и в сфере личных отношений себя не ограничивает, свобода практически полная. Но любовь и секс — понятия все-таки разные. Ко множеству доступных предметов потребления добавилось человеческое тело, только и всего.

Иногда мне кажется, что современное человечество все больше напоминает Гобсека или Плюшкина: бессмысленное накопительство переходит всякие разумные пределы, отнимая время, нервы, духовные силы и в конечном счете любовь.

Мы прославляем цивилизацию и почти обожествляем прогресс. Но ведь наша цивилизация по сути денежно-вещевая. Достигнут ли прогресс в любви со времени шекспировской Джульетты?

И вообще — что такое прогресс? Может быть, это медведь, который тащит нас в кусты, чтобы сожрать, а мы брюзжим, что он делает это недостаточно быстро...

Я не уверен, что именно европейцы или американцы самые счастливые люди на земле. Между тем мы вольно или невольно навязываем всей планете свою

* Письма Ларса Хесслинда перевела со шведского Е. Берлин.

модель успеха. Мы говорим: Бельгия по производству стали на душу населения опережает Таити в сто двадцать раз, значит, бельгийцы живут в сто двадцать раз лучше. Но может быть, таитяне в двести сорок раз счастливее в любви?

Тебя. Ларс, никогда не мучила мысль, что в достижении цели ты добился многого, но что, может быть, ошибка заложена в самом выборе цели, и чем больше тебе везет, тем ты дальше от счастья?

Ларс Хесслинд

В пятидесятые годы я работал воспитателем в детском доме, где проводили лето дети, по разным причинам не сумевшие приспособиться к жизни в обществе. Директором у нас был умный и опытный человек, общение с ним дало мне, двадцатилетнему, необычайно много.

Когда к нам привозили очередного ребенка, мы, воспитатели, собирались, чтобы обсудить, как с ним быть дальше.

Однажды в детском доме появилась веснушчатая девятилетняя девочка. Она страдала клептоманией — воровала все, что плохо лежит, и раздавала другим детям, а иногда и взрослым.

Помню, я все думал: как же ее воспитывать? Подговорить других детей, чтобы с презрением отталкивали краденое?

И тогда директор детского дома преподал нам урок, который я помню и по сей день.

— Да, друзья мои,— сказал он,— у девочки клептомания. Но пусть это не покажется вам странным — ворует она потому, что получала слишком мало любви. Ранний опыт накладывает огромный отпечаток на личность ребенка. Маленький человек получает подарки как награду за успехи и как доказательство того, что его любят. Если же мир взрослых отказывает ребенку в любви, ребенок пытается добыть ее сам, потому что быть любимым ему так же необходимо, как пить и есть. Ребенок крадет на первый взгляд совершенно не нужные ему вещи. Иногда он что-то оставляет себе, но чаще раздает другим, порой совсем чужим людям. А те платят ему благодарностью. Иными словами, ребенок покупает себе любовь. Поэтому такую форму клептомании лучше всего лечить любовью и дружбой...

Ты знаешь, наш директор оказался прав. Мы не ругали девочку, мы благодарили ее за каждый подарок, пусть даже и украденный, мы сами делали ей подарки. И мало-помалу она перестала воровать.

Быть может, всех, кто пытается купить любовь, и надо лечить любовью? Может, любовь в том и заключается, чтобы отдавать и брать? Возможно, именно здесь лежит ключ к счастью?

Вместо этого мы выбиваемся из сил, гонясь за все большим материальным благополучием. Но может, подлинной целью этой погони является нечто иное — то, чего нам не хватает? И не получается ли, что охотиться за материальными благами, а тем самым эксплуатировать природу, расхищать ее богатства, опустошать землю нас заставляет именно дефицит дружбы и любви?

Да, более высокий жизненный уровень еще не означает более счастливую жизнь.

Но имеет ли любовь будущее? Это вопрос, от которого голова идет кругом. Конечно, и в будущем люди будут влюбляться — но не станет ли охота за собственностью и властью важнее, чем отношения между людьми и народами? Уже сейчас, мне кажется, в богатых, индустриально развитых странах деловые интересы мощно давят на любовь. Иногда я задаю себе вопрос: что, если тяга к вещам сродни любви? Во всяком случае, я рад, что в отношениях между мужчиной и женщиной присутствует еще и секс. Я положительно оцениваю эту изначальную силу человеческого тела — иначе в будущем, которое поджидает нас за углом, кто-то захотел бы лечь в постель со своим любимым автомобилем.

Леонид Жуховицкий

Ты привел поразительный пример с больной девочкой. Мне стало страшно, когда я представил себе всю меру одиночества и отчаяния девятилетнего ребенка. Потом стало страшно вдвойне: разве той же самой болезнью, клептоманией, не больно сегодня все человечество? И отдельным людям, и нациям, и целым странам катастрофически не хватает любви. А в результате начинается воровство: у человека крадут одежду или мотоцикл, у нации — права и достоинство, у страны — землю, нефтяное месторождение или рынок сбыта. Самое трагичное, что человечество разделяет с этой девочкой не только ее беду, но и ее заблуждение: люди надеются на украденное купить любовь. Но ведь любовь, наверное, единственное, что нельзя импортировать: была ли в истории хоть одна страна-захватчик, жители которой стали счастливее?

Возможно, я ошибаюсь — никакой статистики на этот счет нет,— но мне кажется, что «производство любви на душу населения» в первые послевоенные десятилетия у нас довольно быстро росло, зато где-то с середины семидесятых начало даже падать. Этот процесс очень меня беспокоит. Ведь, не найдя любви друг у друга, тысячи мужчин и женщин ежедневно начинают свою необъявленную бытовую войну, и жертвами их порой неосознанного бесчинства становятся, как в слепой современной войне, и старики, и дети, и вообще случайные люди, все, кто подвернется под руку.

Как-то меня позвали в компанию молодежи, где за чайным столом время от времени обсуждались различные проблемы современности. Я был приглашен, когда обсуждалась ситуация в семье: причины множества разводов, ближайшие перспективы и более далекое будущее. Я сказал ребятам, что, очевидно, на наших глазах распадаются не просто отдельные семьи, но и вообще семья как форма жизни. Со мной легко согласи-

лись. Дальше диалог был примерно такой:

— А что вас, собственно, пугает в распаде семьи?

Я ответил, что дело не в кризисе официальной формы — меня куда больше тревожит утрата очень дорогих человеческих отношений. Дружбы, любви, привязанности, взаимной заботы. Тревожит, что в жизненные планы многих моих знакомых молодых людей любовь вообще не входит. Образование, приличный уровень жизни, семья, дети — это да. А любовь — нет. Тут уж как выпадет. Вроде лотереи.

Одна из девушек возразила:

— Ну и что? Да, любовь значит для нас все меньше. Но ведь мы отказываемся от нее не просто так, а во имя других ценностей. Свобода, материальная независимость, творчество, познание жизни, секс, наконец.

Я ответил:

— Но ведь все это, вместе взятое, все-таки не любовь.

Вот тут-то она и сказала:

— Ну и что? А докажите ценность любви!

Очень хорошо помню свое ощущение в тот момент, верней, целых два ощущения. Первое — писательское: какая великолепная фраза! Второе — человеческое: бог ты мой, до чего же мы докатились...

Эта девушка очень точно выразила в словах то, что и раньше в общем-то чувствовалось: на невидимой бирже человеческих отношений акции любви ощутимо упали...

Ты, конечно, прав — с автомобилем в постель не ляжешь, так что для женщин еще не все потеряно. Но когда перед молодым человеком встает выбор — девушка или автомобиль,— он часто выбирает автомобиль, видимо надеясь, что если будет автомобиль, то и девушка найдется. Сперва реальные ценности, а любовь потом. Но ведь это «потом» может и не наступить: та часть души, которой мы любим, атрофируется, как любой неработающий орган.

Если мужчины и женщины разучатся любить друг друга, вряд ли наша цивилизация устоит. А если и устоит — кому она будет нужна?

Ларс Хесслинд

Начну, друг мой, с одного воспоминания. Это было в конце сороковых. Я был нормальным, до смерти влюбленным, подростком, а девочка — конечно же, самой красивой на свете: ты бы посмотрел, как она прыгала в воду с трамплина на пляже, где мы обычно проводили летние каникулы!

И конечно же, ей ничего не было известно о моей страсти. При встрече мы здоровались друг с другом, но это было все.

Дождливые осенние дни всегда полны для меня любви. Может, потому, что именно в дождливые осенние дни я чаще всего проделывал пешком путь в шесть километров до дома, где жила эта девочка. Я долго стоял под большим дубом (его листва спасала от дождя) и смотрел на освещенное окно мансарды в надежде увидеть ее хоть мельком. Иногда она возникала на мгновенье — видимо, вставала со стула, отвлекаясь от уроков. Но мне редко везло. Потом я возвращался домой, дождь хлестал в лицо, и я чувствовал себя героем, который перед отправкой на фронт не успел проститься с любимой девушкой. Чего бы я не отдал за возможность хоть секунду побыть с ней!..

Позже я узнал, что большинство моих приятелей было влюблено в ту же девочку и что они тоже бродили вокруг ее дома. То, что я с ними никогда не сталкивался, видимо, нужно отнести на счет моей мелодраматической склонности наносить визиты даме сердца именно в дождливые дни...

Похоже, ты прав, Леонид, что-то случилось с любовью и в нашей стране. Я не уверен, что подростки в сегодняшней Швеции способны пройти под дождем шесть километров и столько же назад ради того, чтобы в окне увидеть силуэт любимой девушки.

Быть может, всеобщая инфляция поразила и любовь — она тоже упала в цене?

Разумеется, на развитие отношений между мужчиной и женщиной оказывают влияние эпоха и общество, в котором они живут. В Швеции одна из важных проблем — равенство между полами. Наши женщины борются за равенство, в понимании необходимости полного равенства воспитываем мы и детей. Это, безусловно, влияет на отношения между мужчиной и женщиной.

После войны женщины стали гораздо активнее в политических делах, в учреждениях, на производстве и дома. Они требовали образования, работы, зарплаты и свободы любого выбора на тех же условиях, что и мужчины.

Важным для женщин стало распространение противозачаточных средств. Смелые женщины, занимавшие руководящие посты в государственных учреждениях, настойчиво поднимали этот вопрос. Они требовали для женщины права самой решать, иметь ли ей ребенка: без этого права женщине трудно было бы достичь свободы выбора. Волновала в этой связи и проблема свободного аборта.

Условия жизни женщин в Швеции улучшаются, и женщины все более уравниваются в правах с мужчинами, хотя многое еще не достигнуто.

Женщина завоевала наравне с мужчиной возможность получать образование, она может сама себя содержать, жить в собственном доме, с мужем, если ей так хочется, или отдельно со своими детьми, она больше не зависит от мужа материально. Она может теперь сама выбирать постоянного партнера или того, кого просто хочет пригласить в свою постель.

Этот период жизни нашей страны иностранцы ошибочно называют «временем свободной любви», подразумевая под

этим, что в Швеции все спят друг с другом.

Нет, любовь не стала «свободной». Она стала более равной. А вот семья как институт начала расшатываться. Женщины и мужчины съезжаются и живут вместе, не вступая в брак, у них рождаются дети, но в любой момент они могут друг с другом расстаться.

Все труднее сохранять заключенные браки, женщины хотят полнее проявить себя, они не считают пребывание у плиты и рождение детей главным в своей жизни. Они готовы вести с мужчинами конкурентную борьбу за право на работу и власть в обществе.

В новых условиях общество перестраивается. Законы теперь регулируют имущественные отношения не только при разводе женатых, но и при разъезде неженатых. Внебрачные дети получают такие же права, как и дети, рожденные в браке.

Все это справедливо и хорошо. Ну а что происходит с любовью?

Многое свидетельствует о том, что шведы боятся утратить личную независимость, свободу распоряжаться собственной жизнью. При необходимости выбора, в кризисных ситуациях ради сохранения работы, положения, жилья, любовь все чаще приносят в жертву. Горячее желание пожертвовать всем во имя любви, во имя того, чтобы пройти по жизни вместе с любимым человеком, можно видеть все реже и реже.

В семидесятые годы у нас резко уменьшилось число вступающих в брак. Упала и рождаемость. В восьмидесятые отношение к браку изменилось, но своеобразно. Количество заключенных браков стало расти, молодые люди снова хотят создавать семьи. Но число новорожденных попрежнему угрожающе мало.

Похоже, рост количества браков означает не возрождение любви, а всего лишь стремление завести семью, на которую смотрят весьма прагматично и ценят лишь за определенные удобства совместной жизни.

У шведов есть присловье: одно потеряешь, другое найдешь.

Так мы нередко и рассуждаем сегодня, когда одну связь заменяем другой, то и дело меняем партнеров. Нервно, истерично ищем мы большую, настоящую, идеальную любовь, а наши дети страдают от постоянной «смены декораций». Взрослые реализуют свое право на свободу, а дети — расплачиваются. У них тоже есть потребность в любви и спокойствии, но кого это интересует?..

Леонид Жуховицкий

Еще студентом, на гроши стипендии слоняясь по Кавказу, я попал в удивительно красивое место: маленький поселок на Черном море между пляжем и горами. Там было все, что нужно человеку, уставшему от многомиллионного города: тишина, малолюдство, фантастический пейзаж — снежники на горах и пятна крыш среди виноградников и мандариновых садов, обилие дешевых фруктов и прозрачное море. Лишь потом я почувствовал, что у поселка есть и недостатки: мало удобств, мало развлечений, всего один плохонький ресторанчик, слабая связь с цивилизацией — узкая извилистая дорога, тяжелая даже для местных водителей.

Тем не менее две недели у моря дали ощущение счастья, живущее до сих пор.

Несколько лет назад я снова попал в этот поселок.

Почти все в нем изменилось к лучшему. Выросли современные пансионаты, появились первоклассные рестораны, дорога, ведущая к аэропорту, стала прямой и широкой. Обновленный курорт догнал эпоху.

Но — толпы народу, полчища экскурсионных автобусов, покончивших с тишиной, пляж, забитый телами, которые подрумяниваются, как картошка на сковороде. А главное — море, неопрятное, как ванна, в которой мылись впятером...

Получился абсурд: ведь и гостиницы, и дороги, и рестораны строили только для того, чтобы удобней было наслаждаться тишиной и морем. Теперь удобств хватает, а наслаждаться нечем...

Все, о чем ты рассказал, само по себе прекрасно. Конечно, хорошо, когда у каждого отдельная квартира, полная материальная независимость и свобода выбора. Все удобства для любви! Но не теряем ли мы при этом море?

Жизненные удобства необычайно много дают, но многое и отнимают. Я счастлив, что в великолепном современном самолете перелетел через Гималаи. Но втройне счастлив, что через пять хребтов Большого Кавказа прошел пешком, что в начале августа играл в снежки на Мамисонском перевале, что из трещин в огромном, тридцатиметровой толщины, Цейском леднике пил воду, может быть чистейшую на земле.

Отношения мужчины и женщины, вероятно, самый увлекательный детектив на свете. Читатель, который сразу кидается в конец книги, чтобы узнать, кто кого убил, конечно, быстрее доберется до истины — но радость его будет очень короткой.

Я завидую твоим двенадцати километрам под дождем; правда, у меня тоже была девочка, и окно ее было на пятом этаже, но путь туда и обратно составлял всего шесть километров, так что мои воспоминания вдвое короче.

Хорошую поэзию надо читать по странице в день. Тогда успеваешь все пережить: и тень на оконной занавеске, и обмен взглядами, и касание рук, и удары сердца в ладонь, и слепящую красоту женского тела, которое открывается постепенно и в борьбе, как открывалась Америка конкистадорам, и все прочее, о чем лучше знать не по чужому пересказу. Каждая строчка имеет свою великую ценность, и ни одна не заменит другую.

Наши литературные журналы печатают много стихов о любви, в том числе очень талантливые. Но среди них почти нет стихов о первой любви. Неужели ее пробегают, не заметив?

Несколько слов о независимости.

Однажды ко мне зашла знакомая, которая несколько месяцев назад разошлась с мужем, и стала жаловаться на тоску и одиночество. Чтобы утешить ее, я сказал:

— Зато теперь ты независимая женщина.

Она мрачно ответила:

— Независимая, значит — ненужная.

Стремление к материальной самостоятельности оправданно и благородно. Но часто порыв бывает слишком силен и переходит разумный предел — человеку хочется быть независимым и внутренне. А как этого добиться? Способ только один — не любить. Ведь любви без зависимости не бывает; мы зависим от наших детей, от наших стариков, от настроения и состояния близкого человека. Зависимость эта порой тяжела — зато она спасает от одиночества.

Вообще, если бы было необходимо определить, чем отличаются друг от друга столь близкие и во многом совпадающие понятия, как «любовь» и «секс», я бы ответил так: любовь — это то, что спасает от одиночества.

...Знаешь, чего я боюсь сейчас больше всего? Чтобы нас с тобой не приняли за моралистов. Чтобы читатель не подумал: вот два человека, которые совсем неплохо провели молодость и ни в чем себе не отказывали, вдруг решили поговорить о сдержанности. А то еще вспомнят насмешливую поговорку: когда человек не может уже служить дурным примером, он начинает давать благие советы.

Сейчас я думаю: если бы все сначала, от чего из прожитого я бы отказался? От чего-то, наверное, отказался бы — но не от любви. Пожалуй, ни одну из женщин я не вычеркнул бы из прошлого. Никого — ни добрых, ни злых, ни умных, ни глупых. Даже лживых и тщеславных — нет, тоже нет. Все это стало частью меня самого.

Неужели, чтобы не повторять ошибок, надо сперва их совершить? Или трудное время заложило в нас что-то охраняющее душу, в том числе и честно отработанную безответную первую любовь, мельканье тени на занавесках и километры под дождем — твои двенадцать и мои шесть?

Извини, что столь трудные вопросы для ответа оставляю тебе.

Ларс Хесслинд

Друг мой, хотя ты прямо и не говорил об этом, мне показалось, что в Советском Союзе существует нравственное разграничение между сексом в свободной форме и любовью.

Если такое разграничение действительно существует, то мне его трудно понять, и я был бы тебе очень благодарен, если бы ты смог детальнее объяснить мне твои взгляды на эти вещи.

Например, является ли связь между мужчиной и женщиной на чисто сексуальной почве чем-то негативным и неприемлемым для вас? Как ты относишься к гомосексуализму и лесбиянству? Допустимы ли у вас такие отношения?

Я всегда считал секс могучей силой — возможно, самым сильным и важным человеческим инстинктом. Можно ли рассматривать отдельно секс и любовь? Можно ли говорить о любви, если я лишь несколько часов проведу с женщиной в гостинице и больше никогда ее не увижу — но в течение этих нескольких часов я люблю ее всем сердцем?

Велики ли различия в способности любить у разных людей и народов? Действительно ли любовь это одно и то же для готтентотов, живущих в девственных лесах Африки, и народностей Крайнего Севера вашей страны? Одинаково ли понимают любовь советская и шведская девушка? Насколько сильно история, политика и религия влияли и влияют на мир наших чувств, порождая разнящиеся установки и предрассудки?

Материнская любовь, отцовская любовь, любовь к родителям — разные ли это формы одного и того же, то есть потребности быть любимым кем-то в обществе тебе подобных, или же нет? Принадлежать другому человеку, заботиться о другом человеке — быть может, как раз это мы и называем п о т р е б н о с т ь ю в л ю б в и? Независимо от того, о чем идет речь.

В результате развития общества и личности, воздействий извне (политических решений, религиозных правил и т. д.) потребность эта видоизменяется и у различных людей получает различное выражение. Я не считаю, что люди рождаются гомосексуалистами или лесбиянками. Каждый человек — продукт своей среды и того, что получил в наследство.

Правда ли, что само понятие любви и то, как мы ее воспринимаем, все время меняется? Когда нам кажется, что мы видим существование без любви, не значит ли это, что любовь сегодня просто стала иной по сравнению с тем временем, когда мы были наиболее активными ее потребителями?

Впрочем, слово «активные» вряд ли точно. Разве я имею в виду только активность в области секса? И разве потребность в любви уменьшается при снижении половой активности? Нет, я думаю, как раз наоборот: потребность в любви усиливается с возрастом, по мере того как человек становится менее деятельным членом человеческого коллектива. Он начинает чувствовать себя лишним, ему кажется, что он уже в тягость своим ближним. И потребность в нежности, дружбе, любви становится еще острее, как доказательство того, что человек нужен другим, что им интересуются, что он не остался за бортом жизни.

Что заставляет нас проявлять недовольство, когда любимый человек отправляется в длительное путешествие, когда он прерывает с нами связь или даже когда умирает? Печаль, что с нами так плохо обошлись? Или это возмущается наш эгоизм, которому нанесли удар? Если мы плачем оттого, что нам жаль самих себя, выходит, любовь эгоцентрична

и ее цель — способствовать нашему хорошему самочувствию?

Я слышал от близких друзей, у которых умерли их любимые, что они сразу после их смерти внезапно переполнялись злобой. Они объясняли мне это так: «Как она могла так поступить? Взять и умереть и оставить меня здесь одного?..»

Я часто задумываюсь: почему при любовной связи всегда идет борьба за власть? Когда двое людей любят друг друга, каждая сторона хочет перехитрить другую и стать лидером.

То, что лежит за этой борьбой, всегда было для меня загадкой. И вовсе не разумеется само собой, что в обществе, где доминируют мужчины, власть — в руках мужчин. Во многих случаях власть находится как раз в руках женщин.

Дорогой мой Леонид, если ты сможешь мне, дилетанту, пытающемуся выбраться из этих необычных лабиринтов любви, указать верный путь, я буду тебе вечно обязан.

Леонид Жуховицкий

Дорогой Ларс, ты задал так много вопросов, что вряд ли я смогу подробно ответить на все — а на некоторые, вероятно, просто не сумею.

Я удручающе нормальный мужчина, всю жизнь любил и люблю женщин, поэтому мои суждения об однополой любви, скорей всего, поверхностны. Я думаю, что гомосексуалистами и лесбиянками люди становятся под влиянием не столько среды, сколько гормонов: когда у женщин растут усики и бородка, а у мужчины фигура похожа на женскую, вряд ли тут виновата дурная компания. Но, повторяю, в этом вопросе я не специалист.

Мои соотечественники относятся к однополой любви чаще всего резко отрицательно, хотя и не агрессивно. Тут общественное мнение и судебная практика, в общем, совпадают. Официально гомосексуализм считается преступлением и даже карается лишением свободы. Но практически закон применяется лишь тогда, когда гомосексуализм связан с другими преступлениями — насилием и совращением несовершеннолетних. Во всяком случае, я не могу вспомнить ни одного судебного процесса, поводом для которого послужил бы гомосексуализм как таковой.

На мой взгляд, пора юридическую теорию привести в соответствие с судебной практикой — то есть карать все виды насилия, но не однополую любовь саму по себе. Если гомосексуализм — гормональная болезнь, ее надо лечить. Тех же, кто вылечиться не может или не хочет, надо оставить в покое — пусть ищут счастье в той сфере, которая им доступна. Да, они не похожи на нас. Но ведь и мы не похожи на них. И вероятно, лучшее, что мы можем сделать,— это терпеть их, как они терпят нас...

Теперь о самом, с моей точки зрения, важном твоем вопросе — о нравственном разграничении между сексом и любовью.

Да, в нашей стране такое разграничение есть. «Секс в свободной форме» развит у нас, думаю, не меньше, чем в Швеции. Провести вместе ночь, съездить вдвоем в отпуск, крутить длительный, обоим приятный роман — все это в порядке вещей и никого не шокирует. Но «свободный секс», доставляющий немало радости, все-таки знает свое место. И мужчина, имеющий двух вполне «качественных» любовниц, может тосковать от неразделенной любви. И красавица, прихоти которой охотно выполняют трое или четверо, отворачивается от них, чтобы самой выполнять прихоти пятого.

Можно ли рассматривать отдельно секс и любовь, спрашиваешь ты. Я убежден — можно. В идеальных случаях они совпадают. А если нет? С любимым человеком может быть прекрасно в постельной игре, а может быть и никак. Ну и что? Значит, в этой частности, пусть и очень важной, не повезло. Ты прав, секс — могучая сила. Но наверное, любовь все-таки сильнее.

Я бы сказал так: секс отличается от любви как партнер по теннису от близкого друга. Оба необходимы, но один только на корте, а другой всегда.

Впрочем, не исключено, что я сейчас говорю о сексе в чересчур узком понимании. А взять любимую женщину за руку — это разве не сексуальное удовольствие? А ехать с ней в одной машине? Смотреть один фильм? Лежать рядом на пляже? Просто знать, что она читает в соседней комнате?

Пожалуй, любимый человек доставляет сексуальную радость самим фактом своего существования.

Полностью с тобой согласен: постоянная потребность заботиться о другом человеке и есть самый точный показатель любви. Даже яростная страсть такую потребность сплошь и рядом не вызывает.

Возможно, я не прав, но мне кажется, что из всех стран, где мне удалось побывать, именно в нашей престиж любви стоит наиболее высоко. Наша литература редко рассматривает любовь как пролог к хорошей, спокойной, обеспеченной жизни. Зато с какой охотой любовь противопоставляется спокойной и обеспеченной жизни!

Да и в реальности люди до сих пор не просто приносят любви вынужденные жертвы (это понятно), но и как бы стараются принести побольше жертв — словно язычники своему грозному, непознаваемому, нелогичному богу.

В нашей стране писатель помимо основной работы служит чем-то вроде священника — с ним советуются устно и письменно о множестве личных дел. Сплошь и рядом пишут, просто чтобы выговориться, особенно женщины. Так вот, излюбленная схема таких исповедей: все имела и все бросила ради некрасивого, небогатого, невезучего, но любимого. Причем пишут об этом не с сожалением, а с гордостью: любовь без жертв в сознании моих соотечественников словно бы несет печать второсортности.

Сейчас вот думаю: что тому причиной? Наверное, многовековой опыт труд-

ной жизни. Войны, революции, голод, разруха, разнообразные социальные сдвиги в течение веков убедили людей, что в тяжелый момент можно надеяться только на проверенные человеческие отношения. А тяжелые моменты в жизни моих соотечественников встречались, к сожалению, слишком часто. Вероятно, отсюда и стремление многократно проверить на разрыв то, что связывает мужчину и женщину. Секс приносит радость сегодня — спасибо ему за это. А любовь — это то, что останется, когда изменит все остальное.

У наших народов очень разный социальный опыт. Для поколения моих родителей любящая женщина — та, что способна пять лет ждать мужа с войны и десять лет — из тюрьмы. Мой родной дядя пробыл в тюрьме (без всякой вины, в сталинские годы) семнадцать лет, после чего вернулся к жене и взрослой дочери — его дом остался его домом.

Ты, конечно, понимаешь, что в такой системе ценностей секс занимать главное место просто не мог. Он существовал в тех же формах, что и в других странах, но существовало и нечто сверх него. Условно я определил бы это так: если нормальная температура любви 36,6, то в нашей стране ее обычный градус 39 или 40. Хорошо это или плохо, мне судить трудно — я никогда не умел удержаться на температуре 36,6.

Ты расширяешь диапазон любви за счет материнской, отцовской, любви к родителям. Полностью согласен — все это вещи одного порядка, потому что дают великое счастье заботиться о близком человеке. Не случайно и грудной младенец, и сильный взрослый мужчина слышат одну и ту же формулу любви: «Ты мой маленький!» Если же рядом с человеком нет другого человека, он любит собаку или кошку. Это естественно: живое тянется к живому.

Помню, в детстве мы смеялись над одинокой старухой, делившей комнату и миску супа с беспородной старой собакой. Откуда бралась в нас эта глупая жестокость? Ведь мы даже в стихах воспевали собачью верность человеку — почему же человеческая верность собаке способна вызвать недобрый смех?

Одна пожилая женщина рассказала мне, что встает ежедневно в шесть утра, чтобы накормить голубя: он прилетает на балкон и, если не находит в блюдечке зерна, начинает стучать клювом в окно. Между прочим, у женщины этой есть муж, дочь и два внука. Зачем ей еще и голубь?

Я думаю об этом вот что: сколько бы ни было в мире любви, ее никогда не будет слишком много...

А теперь у меня вопрос к тебе.

У нас сейчас довольно много пишут о проституции — много и, к сожалению, довольно неглубоко. Я на три недели оторвался от нашей с тобой будущей книги, чтобы попытаться проанализировать эту новую для нашей печати проблему. И вот что я хотел бы узнать у тебя. Иногда говорят, что женщину толкает к проституции нужда. У меня нет в этом уверенности. Даже в нашей стране, не самой богатой, никто не голодает. А Швеция богата по-настоящему. Вот я и хочу спросить: что порождает проституцию в одной из самых благополучных стран на земле?

Ларс Хесслинд

Друг мой, когда писатель пытается разобраться в причинах и следствиях какого-либо сложного явления, ему, конечно, нужны знания. Мой личный опыт ограничивается несколькими посещениями борделей в портах Средиземного моря. Я тогда плавал юнгой на шведском торговом судне во время летних каникул — я учился в реальной школе, мне не было еще восемнадцати. Мои старшие товарищи, которые потащили меня в публичный дом, уверяли, что эти визиты носят учебный характер и являются необходимой частью матросского образования. Насколько мне помнится, им не составило большого труда уговорить меня пополнить мои знания. Как бы там ни было, я надеюсь, что мои прегрешения теперь будут списаны за давностью лет. Несмотря на пройденный курс, я не стал ни моряком, ни экспертом в области проституции. Тем не менее позволь мне порассуждать на заданную тему.

Почему человек занимается проституцией? Вероятно, на этот вопрос существует так же много ответов, как мужчин и женщин, занимающихся проституцией.

Проституция, как я ее понимаю, широкое понятие: это всякое унизительное действо, которое совершается за плату в любой форме.

Разве это не проституция, когда подчиненные лижут ботинки своим начальникам, чтобы получить какие-либо привилегии?

Разве это не проституция, когда художники и писатели ставят свой талант на службу угнетателям и власть имущим, получая в награду золото и земные блага? А если так, то существует тьма-тьмущая проституток и среди мужчин, и среди женщин.

Где проходит граница того, что называют проституцией?

Если я дарю женщине дорогой подарок и приглашаю ее на ужин в шикарный ресторан и она потом не отказывает мне наедине — можно ли это сравнивать с уличной проституцией?

Или: если писатель не пишет правду, чтобы иметь возможность вести удобную жизнь безо всяких осложнений, разве это не проституция? В моем понимании провести упомянутую границу чрезвычайно трудно, и многим людям следовало бы выстирать сначала свое собственное белье, а потом уже обрушиваться на ночных бабочек.

А теперь сведем твой вопрос к одной только женской проституции. Для того, чтобы ответить на него, я связался с социологами соответствующего профиля. Я спросил их, почему молодые шведки идут на улицу и продают себя. Ведь страна наша богата, и у нас широко развита по-

мощь людям как в социальной, так и в экономической сфере. Для этого мы и платим самые высокие в мире налоги.

При поверхностном рассмотрении наиболее частой причиной проституции в нашей стране называют деньги.

Но существуют, конечно, и другие, скрытые, причины. В основном женщины-проститутки не очень-то образованны, это относится и к проституткам мужского пола. Как правило, их родители — рабочие, разнорабочие, живущие на пособие. Куда реже на улице можно встретить дочерей из обеспеченных и интеллигентных семей.

В основном на улицу идут дети разведенных родителей или матерей-одиночек, которые с малолетства перевидали дома множество мужчин. Как правило, у них не складываются отношения с родителями. Не является редкостью и пристрастие проституток к наркотикам, и это объяснимо, поскольку родители употребляли алкоголь или наркотики на глазах у ребенка. Часто жили в неустроенных, бедных домах, у них не было контакта со взрослыми. Это в свою очередь означало, что им было сложно адаптироваться в коллективе, что они становились «трудными детьми» в школе и без присмотра днем и ночью бегали по улице. Картину может дополнить раннее приобщение к преступному миру.

Тут цепочка: нерегулярное посещение школы приводит к плохой успеваемости, что вкупе с мелкими правонарушениями и употреблением наркотиков ведет к безработице.

Все очень просто. Уделом таких женщин становится самый низкооплачиваемый, грязный и однообразный труд. Тот, кто не справляется с работой, теряет место. Товарищи по работе не проявляют солидарности по отношению к тем, кто подводит коллектив. Уволенной молодой женщине остается уповать лишь на социальную помощь, чтобы как-то просуществовать. Сеть социальной помощи хорошо развита, но существует ряд условий для ее получения. Женщина, например, должна все время доказывать властям, что она активно пытается получить работу на рынке рабочей силы. Но наркоманкам это сделать нелегко, и тогда на них оказывают давление — вовсе лишают пособий.

Людям трудно составить правильное экономическое уравнение, если денег должно хватать на оплату жилья, пищи и дорогостоящий алкоголь или наркотики. Для молодых отчаявшихся женщин реальный способ раздобыть деньги в этой тяжелой ситуации — продавать свое тело. Такой рынок всегда существует. От покупателей нет отбоя. Холостяки. Женатые. Безобразные и красивые. Высокие и худые. Низкие и толстые.

Проститутки в Швеции редко работают на мужчину-покровителя, так называемого сутенера. Чаще всего по собственной инициативе они снимают дешевую комнату в каком-нибудь доме, идущем на снос, куда и приводят своих клиентов. Эти женщины могут «оказывать услуги» и в автомобиле клиента.

Большинство проституток употребляет наркотики. Многие колются. Так как группа наркоманов часто пользуется одним и тем же шприцем, вирус СПИДа от зараженного наркомана может быть передан здоровому. Таким образом большинство молодых проституток являются распространителями жизненно опасного вируса, который ведет к заболеванию СПИДом.

Мне трудно рассматривать женщину-проститутку как единственную виновницу происходящего. Ей необходим клиент, тогда только можно говорить о проституции. Может быть, именно мужчина является виновником всего этого свинства. Он — потребитель. Человек, покупающий женские тела, чтобы дать выход тайным темным вожделениям. Проститутки могут рассказать невероятные истории о том, чего за деньги требуют от них мужчины.

Некоторые женские организации в нашей стране выдвигают сейчас требование привлекать к уголовной ответственности клиентов проституток — это, по их мнению, должно помочь ликвидировать проституцию как явление. Поборники этой идеи исходят из коммерческой аксиомы, что если нет покупателя, то нет и продажи. Без покупателей рынок умирает.

Я лично считаю, что, даже если ввести закон, объявляющий преступником клиента-мужчину, проституция от этого не прекратится. Она будет только более завуалированной.

Женские организации, которые борются с проституцией и привлечением женщин к производству порнографических открыток, очень активно выступают против мужчин, которые покупают услуги проституток. Одно время эти активистки отправлялись в излюбленные проститутками районы и фотографировали номера тех автомобилей, которые подбирали проституток. Потом сфотографированные номера обнародовались в ежедневной прессе и на больших афишах, вывешенных на улицах и площадях города.

Каждый мог, например, прочесть:

«В автомобилях с перечисленными ниже номерами проститутки Гётеборга оказывали свои услуги вечером в среду, 22 апреля 1985 года...»

Действия активисток не вызвали понимания у проституток, те оценили эту акцию как посягательство на их ремесло. Они делали все, чтобы помешать воинствующим женским организациям.

Что же общество может предпринять, если оно хочет покончить с проституцией? В Швеции осуществлен проект, который, как мне кажется, может помочь проституткам вести жизнь, более достойную человека. В одном из наших крупных городов сотрудники социальной службы обращались к уличным проституткам и предлагали им ряд альтернатив, если те изъявят желание изменить образ существования. За то, что они покинут улицу, им были предложены жилье, работа, образование, помощь психологов и наркологов. Результат был весьма ободряющим. Оказалось, что большин-

ство женщин покончили бы с проституцией, если бы взамен им была обещана жизнь, полноценная в их понимании. Иными словами, проститутки выходили на улицу и позволяли позорить и унижать себя не ради удовольствия, а потому, что у них не было выбора. Вы никогда не встретите на улицах Гётеборга, Мальме и Стокгольма женщин — адвокатов, врачей, ученых, преподавателей, инженеров, директоров — или их дочерей, прогуливающихся в поисках клиентов. Нет, друг мой, там можно увидеть только слабых. Тех женщин, которым не удалось найти себе достойное место в шведском обществе. Тех женщин, которых предали родители, товарищи, ближние.

Слабых втаптывают в грязь при любой общественной системе. Каково отношение к проституткам в Советском Союзе? Каков твой взгляд на проституцию?

Леонид Жуховицкий

Дорогой Ларс, на первый твой вопрос ответить несложно: проституция у нас есть, официальное отношение к ней однозначно-отрицательное, общественное мнение, по существу, совпадает с официальным.

Мое мнение? Вот тут коротким ответом не отделаешься.

Чтобы выполнить обязанности хорошего оппонента, я должен сейчас с тобой яростно спорить. Но, увы, мое мнение во многом совпадает с твоим. Двух точек зрения на проблему у меня нет, я вынужден изложить ту, что имеется.

Прежде всего, что такое проституция? Наиболее распространенная в нашей стране формулировка — продажа тела. У меня это определение возражений не вызывает, я готов его принять.

Но если с этой позиции взглянуть на целый ряд жизненных явлений, даже при беглом анализе выяснится, что дамы, готовые раздеться за договорную сумму, в торговле телом не монополистки. Формы самопродажи куда многочисленней и прихотливей.

Конечно, прийти за плату в гостиничный номер к иностранцу или на квартиру к соотечественнику — проституция без всяких оговорок. Ну а, допустим, выгодное замужество, брак по корысти, стремительный прорыв к материальным благам, обеспеченный официальными штампами,— это что? Чем расплачивается расчетливая невеста за будущее многолетнее благополучие? Так почему же розничная торговля телом единодушно осуждается, а за оптовую преподносят цветы?

Впрочем, в оптовой коммерции со слабым полом успешно конкурируют рыцари и джентльмены.

В самом деле, что приносят на алтарь выгодного брака крепкие телом и не слабые духом, на все готовые и на все способные зятья?

За что их награждают резко возросшим уровнем жизни или молниеносной карьерой? Нет слов, они трудятся — но как определить этот труд?

Наконец, не худо бы установить, где начинается и где кончается тело. От макушки до пят или только середина? Логично ли, воспрещая к продаже филейную часть, бестрепетно выкладывать на прилавок все остальное?

Когда талантливый человек во имя житейских благ ставит мозг на службу лживой, а то и подлой силе, как назвать это занятие? Впрочем, известно как — именно так и называем. Но что-то не припомню, чтобы за политическую или литературную проституцию тащили в милицию или требовали справку, заверенную соответствующими органами.

Ну, а совесть, таинственная субстанция, живущая, видимо, тоже где-то в нашем теле, ибо где же ей еще помещаться — разве редко продается она?

Нет, я вовсе не оправдываю продажу конкретного тела за конкретную сумму — я просто ищу место этого вида проституции среди других...

Еще неясность — где та грань, за которой женщина нестрогих нравов становится профессионалкой?

Девушка познакомилась с мужчиной, зашла к нему послушать музыку и осталась ночевать. Хвалить. может, и не за что — но при чем тут проституция? Взрослые люди, каждый сам себе хозяин.

Девушка познакомилась с мужчиной, зашла с ним в кафе-мороженое, а потом осталась ночевать.

Зашла с ним в ресторан, а потом осталась ночевать.

Осталась ночевать, а потом получила подарок.

Осталась ночевать, а потом получила деньги на подарок.

Осталась ночевать, а потом получила деньги уже без ритуальной фразы: «Выбери, что нравится самой».

Всмотрись в эту лестницу — одна ступенька почти не отличается от другой. Да и «подарок» — сколько вмещает этот этап! Букет цветов просто предписывается всеми современными нравоучителями. А коробка конфет? А сережки из пластика? А косынка, маечка, кофточка? Колечко с дешевым камнем? С недешевым? С дорогим?

Так где же роковой рубеж? С какой ступеньки в ужасе бросаться назад? Тут и взрослый-то, бывалый, задумается. А каково бедной девушке? Всего-то и хотела порезвиться, пока молода, запастись воспоминаниями на отдаленную старость — а, глядишь, уже куплена и оплачена. Раз оплачена, два — а потом за так и обидно, и накладно. Нынче у девушек расходы большие...

Каковы реальные заработки проституток?

Я занимался этим вопросом — вопреки легендам, оказалось, что они очень умеренны. Среди бывших проституток богатых практически нет. Деньги, легко приходящие, и уходят легко. Очень велики накладные расходы: одежда, так сказать, «рабочий кабинет», частный врач и т. д. К тому же в большинстве

профессий чем больше стаж, тем больше заработок, а в этом ремесле наоборот — годы растут, а доходы падают.

Если взять одни сутки из жизни общедоступной дамы, вполне можно разинуть рот: за ночь ей удается получить больше, чем академику за день. Если же взять пятнадцать — двадцать лет, поразишься ее нищете: все, что пришло, разлетелось. Строго говоря, проститутка отдает себя не за деньги, а за право подержать их в руках.

Древнейшую в мире профессию принято считать безнравственной, но весьма выгодной. Мой дилетантский анализ показал, что это не совсем так. Торговля телом не более безнравственна, чем спекуляция должностью, талантом или душой. Но, увы, куда менее выгодна.

Впрочем, я, кажется, поторопился с выводом. Конечно же, выгодна, еще как выгодна! Но не тем, кто торгует собственным телом,— тем, кто торгует чужим. Выгодна швейцару в ресторане и портье в гостинице, официанту и таксисту — проститутки платят им не торгуясь,— хозяйке притона, сутенеру, милиционеру или иным представителям власти, которых ночные охотницы достаточно весомо «благодарят» за благосклонное невнимание. Практически все эти люди в той или иной форме получающие «процент с оборота», сами занимаются проституцией — из-под полы продают совесть и честь, как личную, так и профессиональную...

Ты полностью прав — предложение зависит от спроса. Но кто они, мужчины, пользующиеся услугами проституток, завсегдатаи рынка, где все ряды мясные? Ведь при нынешних нравах так легко получить бесплатно то, за что они платят, и немало. К тому же случайное знакомство с купленной женщиной часто приводит к неслучайному знакомству с венерологом, а в последнее время над платной кроватью висит вовсе уж страшное — беспощадный топор СПИДа.

Что же за фанатики платят деньги за право напиться из корыта общего пользования?

Все просто и печально: продажная любовь — для закомплексованных, невезучих, убогих, безнадежно одиноких. Видимо, проституция потому и существует несколько тысячелетий, что нередко выступала как уродливая, извращенная, но все же форма общественного милосердия.

Помимо общеизвестных прав — на работу, образование, медицинскую помощь и т. д.— мужчины и женщины имеют биологическое право друг на друга. В особо несчастливых случаях постельная коммерция позволяет это право на низшем уровне но все же реализовать.

Решительным действиям шведских противниц проституции я сочувствовать не могу. Я давно заметил, что сытый и благополучный очень редко делится с голодным и невезучим своим достатком, но охотно и сладострастно следит за нравственностью аутсайдера. Интересно, понравится ли охотницам за номерами крамольных машин, если, например, проститутки объявят войну адюльтеру и опубликуют в газетах фамилии этих женщин и их любовников? Мне вообще кажется, что слежка и донос — не лучшие методы борьбы за высокую мораль.

Есть у проблемы и еще одна грань. Наш великий писатель Герцен заметил когда-то, что красота — это тоже талант. Верно, талант ни за что дается природой и, как всякая яркая одаренность, нарушает размеренное течение жизни, принося окружающим то радость, то беду.

Ну, а одаренность в любви, в том числе и плотской,— разве она поровну распределяется? И легко ли жить по единому обычаю князю Мышкину и Дон Жуану, Джульетте и Кармен? И разве не встречаются в жизни женщины, гениальные в любовной игре и не умеющие, увы, иным способом равноценно выразить себя?

Так что же делать — принять проституцию как неизбежность, максимально облагородить и легализовать? Такие идеи носятся в воздухе. Но я с этой мыслью согласиться не могу — как говорится, душа не принимает. И так в мире слишком многое продается и покупается. Если еще и любовь превратится в массовый товар, во что через два-три поколения превратимся мы?

Конечно, я понимаю, что жизнь вполне может с моими эмоциями не посчитаться. Так как быть, что противопоставить расчетливому разврату?

Ни на мораль, ни на страх я здесь не надеюсь. Если трезво поразмыслить, верить можно только в любовь. Пожалуй, лишь она способна уберечь девушку от панели перед гостиницей, как, впрочем, и решить множество иных проблем. Вот почему, в частности, я пишу о любви, вот почему я с радостью читаю твои рассказы о ней...

Дорогой Ларс, видимо, в нашем диалоге неизбежна еще одна тема, так сильно, хоть и косвенно, повлиявшая на нашу с тобой прозу. Я имею в виду женскую эмансипацию. Это движение прошло в наших странах огромный путь, уже можно сделать существенные выводы. Вот я и хочу спросить: что думают об эмансипации в Швеции? Что думаешь об этом процессе ты? Я знаю, что ты прогрессивный человек и верный сторонник эмансипации. Но я попросил бы тебя привести аргументы не только «за», но и «против» — если ты их видишь.

Ларс Хесслинд

Дорогой Леонид!

В Париже я столкнулся с тем, что воинственные феминистки усиленно защищают свою женственность и даже с речами выступают в броских, изящных нарядах, на высоких тонких каблуках, в чулках в сеточку со швом сзади и прекрасно сшитых юбках модной длины. Они гордятся тем, что они женщины, и любят подчеркивать это.

Я думаю, что эмансипация вовсе не означает, что женщины стремятся похо-

дить на мужчин. В основном речь идет о социальном равенстве. Желание женщин, чтобы их принимали всерьез, чтобы их считали полноценными, полноправными членами общества, так же естественно, как желание американских или южноафриканских чернокожих добиться социальной справедливости.

В каждой революции существуют силы, противящиеся переменам. Силы, которые тянут назад. Силы, которые пытаются остановить время и удержать неограниченную власть в своих руках.

Но застой — тоже враг перемен. Многие мужчины так же реагируют на борьбу женщин за освобождение, как белое общество реагирует на желание черных быть равноправными людьми. Женщины хотят, чтобы в социальном, юридическом и экономическом плане к ним относились как к мужчинам и за труд платили как мужчинам.

Конечно, существуют различия между мужчинами и женщинами. Но есть различия и между мужчинами, и между женщинами. Мы можем быть умными или глупыми, сильными или слабыми, разговорчивыми или молчаливыми, гомосексуалистами, бисексуалистами, гетеросексуалистами, бедными, богатыми, желтыми, черными, белыми, кудрявыми, с прямыми волосами, честными, бесчестными, терпимыми, жестокими, либералами, пацифистами, сионистами, коммунистами, консерваторами, революционерами, капиталистами...

Почему именно тот факт, что женщины есть женщины, чье предназначение в земной жизни — рожать наших детей, обрекает женщину на худшую в социальном отношении жизнь? Мне это понять трудно

В нашей стране женщины отстаивают свои права. По закону женщины у нас должны получать равную с мужчинами плату за равный труд. На наших предприятиях есть омбудсман — инспектор по вопросам равноправия; кстати, это женщина. В ее обязанности входит следить за тем, чтобы на рынке рабочей силы женщины не подвергались дискриминации.

У нас теперь в объявлениях о приеме на работу запрещается указывать, что нужна, например, женщина тридцатилетнего возраста или что нужен мужчина с экономическим образованием.

В объявлении о наличии рабочих мест следует указывать, что вакансии открыты как для мужчин, так и для женщин. В конкурсе могут участвовать и те и другие.

Если работодатель обойдет это положение и наймет мужчину, женщина, обладающая одинаковыми с мужчиной деловыми качествами, сможет обратиться к омбудсману с протестом и потребовать проведения конкурса. Решение можно обжаловать в арбитраже. Таким образом теоретически у женщин появилась возможность добиваться справедливости. Но вряд ли такой порядок приведет к социальной справедливости вообще. Работодатели найдут немало лазеек, чтобы обойти закон.

Ты спрашиваешь меня о моих аргументах «за» или «против» эмансипации. Это все равно что спрашивать об аргументах «за» или «против» апартеида в Южной Африке.

Для меня тут не может быть сомнений и колебаний, поскольку я вырос в условиях одной из самых старых демократий мира. Само слово «демократия» подразумевает всеобщее равноправие независимо от расы или пола.

В демократической стране женщины не должны быть гражданами с более низким статусом по сравнению с мужчинами. Но к сожалению, осознавать это и на словах утверждать данный постулат — еще не все. Его нужно осуществить на практике.

У нас, например, отцу предоставляется декретный отпуск. Это значит, что после рождения ребенка отец в течение девяти месяцев может оставаться дома и ухаживать за ним, получая при этом полную зарплату. Таков закон. И все равно закон этот используется недостаточно эффективно.

Достижению равенства полов препятствуют в основном мужчины, которые, воздействуя на общественное мнение, борются с идеями равенства.

Бог свидетель, что я против навязчивой склонности шведских законодателей принимать все новые и новые законы, но если ничто больше не помогает, то они должны прибегнуть к крутым мерам и в этом важном деле. Хотя лучше всего, если бы равенство между полами было достигнуто посредством развития информации и на основе всеобщей практики.

Что сегодня более всего воздействует на общественное мнение и особенно на формирование мировоззрения детей? Телевидение, кино, комиксы и — до некоторой степени — книги. Длительное время я исследовал, чему учат наших детей средства массовой информации, когда они затрагивают темы, посвященные равенству полов. Результаты были очень интересными, если исходить из тезиса, что информация влияет на отношение человека к жизни.

В Швеции издается 20 миллионов экземпляров комиксов, обычно переводных, для детей в возрасте от шести до тринадцати лет. Сами по себе комиксы не столь уж сильный фактор воздействия на фоне других средств массовой информации. Но вкупе с второразрядными и третьеразрядными американскими видеофильмами и фильмами для обычного экрана влияние их резко усиливается. Тем более что Швеция — одна из самых густооснащенных видеоаппаратурой стран.

Что же узнают дети из комиксов о женщине?

Ей в комиксах отводится в основном одна-единственная роль. Она — всего лишь безвольная дуреха, которая обычно запутывает свою жизнь и попадает в зависимость от врагов. И мы, мужчины — герои,— ее спасаем.

В нашем блистательном мире комиксов и дешевых телевизионных фильмов

существует только два типа женщин: порядочная и непорядочная.

Порядочную женщину легко узнать — она блондинка, платье у нее с глубоким вырезом, но бюст умеренный. Непорядочная женщина — брюнетка, декольте у нее побольше и, соответственно, увеличен бюст.

Женщины — героини средств массовой информации — выступают лишь в роли подручных и ассистентов мужчин. Если они когда-либо и занимают руководящее положение, значит, они брюнетки и желают миру зла.

Женщина, стоящая у власти, никогда не командует нормальными белыми мужчинами. У нее в подчинении или какие-то странные треугольные существа, или инопланетяне, в лучшем случае — низкорослые готтентоты из далеких африканских джунглей.

Смешно, скажет кто-нибудь. Но если мы над этим задумаемся, то увидим закономерности, которые не покажутся такими уж смешными.

В нашей стране дети до пяти лет играют в одни и те же игры, независимо от их пола. Но однажды происходит нечто странное. Шестилетние мальчики начинают презирать девочек. Восьмилетние — теряют к девочкам всякий интерес. В десять лет будущие мужчины чуть ли не плюют на своих будущих партнерш по любовным приключениям и браку. И лишь в двенадцатилетнем возрасте начинают их признавать. В пятнадцать лет популярность девочек растет. Возникает, наконец, мнимое равенство. Но, честно говоря, девочки, вам никогда не догнать нас, ребят!

Что я хочу всем этим сказать? Отношение к женщине и решению проблемы равенства пола закладывается не только дома, в детском саду или в школе. Огромную роль здесь играют средства массовой информации. С этой точки зрения, я думаю, как шведским, так и советским детям прививается определенный, неправильный, взгляд на женщин. Чтобы изменить это в нашей стране, нужна, по-моему, своего рода культурная революция.

Ибо мощные силы в высших политических кругах и в мире коммерции, а также средства массовой информации — против радикального изменения в нашем отношении к женщине. Достаточно раскрыть любую еженедельную газету, чтобы в этом убедиться.

В некоторых областях нашей жизни стремление женщин к равноправию заводит их порою слишком далеко. Вот что произошло в этом году у нас в издательском мире. Литераторы-женщины в писательском издательстве постановили рассматривать произведения женщин менее строго, чтобы таким образом большее число женщин смогло опубликовать свои произведения. Но можно ли произведения искусства оценивать, исходя из принципа равенства, политических или религиозных соображений?

Нам в Швеции предстоит сделать еще многое, чтобы установить полную социальную и экономическую справедливость. Мне кажется, мы на правильном пути. Пусть даже экономическая независимость женщины приводит к увеличению числа разводов. Вероятно, именно этим мы расплачиваемся за освобождение женщины после тысячелетнего ее угнетения мужчинами. Но в основном расплачиваемся даже не мы, а дети!

Мне с болью приходится констатировать, что детей, родители которых в разводе, становится все больше и больше и что растут они в худших условиях. Но может быть, я напрасно беспокоюсь? Может быть, лучше иметь одного счастливого родителя, чем двух несчастных?

Леонид, каким опытом в решении проблемы неполной семьи располагаете вы в Советском Союзе? После войны у вас ведь осталось много детей-сирот. Как складывалась их жизнь?

Лично я убежден, что мы, мужчины, можем многому научиться у женщин. Как в эмоциональном, так и в интеллектуальном плане.

Мужчины созданы для борьбы и соперничества, возможно, поэтому мы строим мир, в котором всегда есть место войне.

Несомненно, у женщин инстинкт сохранения жизни развит сильнее. В этом, по-видимому, и заключается главное различие между мужчиной и женщиной. Располагай женщины властью, возможно, все их решения были бы на благо жизни. И общество, которое воспроизведет жизнь, вырастет из матриархата.

Эмансипация в современном индустриальном обществе, где роль женщины затушевана, сама собой подразумевается, она столь же закономерна, как то, что солнце всходит на востоке.

Как смотрят на эмансипацию в Советском Союзе? Каково твое личное мнение по этому вопросу? Каково положение советской женщины? Кто у вас смотрит за домом и детьми?

Леонид Жуховицкий

Дорогой Ларс, мне жаль, что неточность в определении — моя или переводчика — заставила тебя решать задачу, непосильную для интеллигента и джентльмена: искать негативные стороны в благородной идее эмансипации. Ты, конечно, прав: ставить под сомнение принцип женского равноправия нелепо и несерьезно. Однако, когда у нас говорят об эмансипации, обычно имеют в виду не абстрактную идею, а реальный, сложный, много лет идущий процесс. Попытка разобраться в его закономерностях вовсе не обязательно реакционна.

К такому анализу вынуждает целый ряд обстоятельств, из которых одно особенно тревожно: в странах, где эмансипация развивается наиболее успешно, с каждым новым поколением все больше женщин добивается равенства в очень важной области — так же, как и мужчины, они не рожают детей. Если так пойдет дальше, лет через двести спорить об эмансипации будут не русские и не шведы — их просто не останется на земле.

Готов присоединиться к твоей критике плохих фильмов, подчеркивающих в женщине биологическое начало. Но разве кино виновато в том, что в развитых странах из множества женских занятий самым непрестижным становится материнство?

Похоже, практика движения за женское равноправие где-то отклонилась от пути, предписанного ей передовой теорией. Рано или поздно нам все равно придется посмотреть в глаза этой реальности. Надеюсь, ты не сочтешь это дремучим консерватизмом: ведь можно быть сторонником цивилизации и тем не менее не одобрять уничтожение лесов, чернобыльскую катастрофу, кислотные дожди в Европе и гибель рыбы в Северном море.

Итак, что же показывает практика в нашей стране?

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что из всех стран именно в нашей эмансипация была проведена наиболее быстро и последовательно: семьдесят лет назад, сразу после революции, женщина была полностью уравнена в правах с мужчиной. Во всех правах — и на образование, и на труд, и на участие в управлении государством, и, разумеется, на решение семейных проблем.

Мало того, практика эмансипации обогнала теорию. Общество усиленно помогало женщине реализовать все ее указанные права, и в результате сегодня в нашей стране женщин с высшим образованием больше, чем мужчин, подавляющее большинство женщин работает, а в выборных органах власти их около трети — насколько мне известно, в парламентах и в органах местного самоуправления других стран эта цифра значительно ниже. Что же касается семьи, тут пора ставить вопрос об эмансипации мужчины: по закону муж и жена равны, но юридическая практика такова, что при разводе суд практически всегда отдает предпочтение женщине, оставляя ей детей и принимая ее сторону в конфликтной ситуации. Недаром в трех случаях из четырех дело о разводе возбуждает женщина — она теряет, как правило, только нелюбимого мужа, а мужчина — и обжитой дом, и любимых детей.

Словом, можно сказать, что женская эмансипация в нашей стране безоговорочно победила: женщина обрела равные возможности в общественной жизни и явное лидерство в семье.

Остается посмотреть, что из всего этого вышло.

Фундаментальное положение эмансипации — равенство прав — никто у нас, насколько мне известно, сомнению не подвергает. Но вот практический результат вызывает единодушный восторг разве что на торжественных заседаниях в честь Международного женского дня. Как это часто бывает, жизнь оказалась сложнее благородной идеи, и фонарь теории, верно указав общее направление, не сумел высветить камни и рвы.

Как-то в ответ на одну из публикаций я получил письмо читательницы, научного работника, где была жутковатая фраза: «Эмансипация — ловушка для женщины». Как видишь, есть и такая точка зрения.

Как ты знаешь, начало нашего с тобой диалога напечатал московский еженедельник «Неделя». Естественно, пошли письма, среди которых есть поразительно интересные. Приведу отрывок из одного, автор — женщина двадцати трех лет:

«Теперь о диалоге в «Неделе». О нем мне стало известно за несколько дней до того, как газета попала в руки. Причем мнения разделились, а это, как известно, основной показатель правильности выбора темы. Что касается меня...

Диалог очень приятно читается, даже возникло впечатление, что сижу в той же комнате третьей и слушаю. Что касается Ваших с Хесслиндом совместных восемнадцати километров в оба конца, ради вожделенных силуэтов за оконными занавесками, то здесь, вероятно, мечтательно вздохнет Ваш ровесник, тридцатилетний недоуменно пожмет плечами, а сегодняшний десятиклассник просто расхохочется. Жаль, но как быть? От всех своих знакомых (и партнеров) я в разное время слышала одну и ту же фразу: «Надо быть в этом проще». Что это значит? Не обязательно знать имя женщины, которая легла рядом в постель — зачем перегружать память, когда есть столько более нужной информации...

Более того: от своих знакомых я слышала множество слов, определяющих отношения между мужчиной и женщиной. Слово «любовь» среди них, как принято нынче говорить, и не ночевало...

В диалоге есть место, где Ларс Хесслинд замечает: «...любовь не стала «свободной», она стала более равной». Что такое равная любовь? Когда можно на ночь снять мальчика?

Мы уже и так объелись «равенством», наши женские равные права ничего нам, кроме потери женщины в женщине, не принесли. И зачем все это затеяли наши предшественницы — непонятно. А равная любовь — это два прямоугольных плеча, одинаково бесполых по своему характеру. И мысли не придет к такому плечу прислониться и согреться.

А еще... Вы знаете, любовь действительно стала другой. Ей, как и всему живому, по Дарвину присущи наследственность и изменчивость. Но вот больше ее стало или меньше? Наверное, сколько возможно (увы, не столько, сколько нужно)...»

Пожалуй, в почте, по крайней мере среди женских писем, такая точка зрения наиболее распространена.

Вчера вечером у меня была встреча с читательницами в маленьком женском клубе. Мы сидели в красивом подвальчике за длинным столом, пили чай с пирожными и разговаривали. Ответив на вопросы собеседниц (их было около пятнадцати), я задал им свой: что они думают об эмансипации? Представляешь — не было ни одного одобрительного ответа, только негативные!

А ведь все эти женщины (им от тридцати до сорока) имеют высшее образо-

вание, все работают, все получают равную с коллегами-мужчинами плату за равный труд. В чем же причина их недовольства?

Разумеется, они не против высшего образования, не против права на работу, не против справедливой оплаты — это азбука эмансипации, ее смешно обсуждать. Их угнетало, что мало сил и времени остается на детей, на любимого человека, что отношения с близкими стали схематичней и бедней. Более того, дома то и дело возникают конфликты, причины которых они не всегда могут понять.

Короче, прав хватает, любви — нет.

Очевидно, благородная борьба за политическое и экономическое равенство дает нежелательный побочный эффект, осложняя личную жизнь женщины, делая ее конфликтней и в конечном счете несчастливей.

Думаю, наше с тобой дело — если не разобраться в этой сложнейшей проблеме, то хотя бы поставить вопросы для более сведущих людей. Рискуя прослыть консерватором, все же изложу свои сомнения.

Прежде всего, я не уверен, что равенство в семье себя оправдало. Не потому, что мужчина лучше и умней — очень часто бывает наоборот,— а потому, что, когда за руль автомобиля держатся двое, авария почти неизбежна. Случайно ли, отправляя в небо космический корабль с двумя космонавтами, одного из них назначают командиром? Уж кажется, чего проще — дать обоим равные права. Увы, в таком экипаже демократизма будет хоть отбавляй — но дотянет ли он до Земли?

Когда-то церковный брак однозначно декларировал власть мужчины. Был ли это предрассудок? Или опыт проб и ошибок подсказал нашим предкам, что даже плохое руководство в семье лучше гражданской войны?

На мой взгляд, не имеет решающего значения, кто будет назначен обществом главой семьи — муж или жена. Важно только, чтобы это главенство было признано всеми и уважалось хотя бы формально, как колокольчик председателя на шумном собрании. Я сомневаюсь в успехах оркестра, каждая репетиция которого начинается с драки за дирижерскую палочку.

Я читал, что прежде в Швеции было левостороннее уличное движение. Теперь — правостороннее. Я не знаю, как лучше — можно ездить и так, и так. Но представь, что начнется, если оба правила будут действовать одновременно!

Похоже, что в современной семье происходит именно так...

Тебя беспокоит, что любящие люди так быстро начинают бороться за власть. И меня это тревожит. Да, в Москве — борются. И в Гётеборге, видимо, борются. А вот в Баку или Тбилиси — нет. Ибо там существует традиционное разделение «сфер влияния». И жена не посягает на право распоряжаться финансами семьи. А для мужа считается неприличным вмешиваться в хозяйственные дела. В таких семьях супруги не конкуренты, а соратники.

Конечно, у подобной семьи много недостатков. Но достоинств, вероятно, больше, потому что в республиках Закавказья мало разводов — очевидно, и мужчину и женщину здесь устраивают их роли в семейном театре.

Кстати, о ролях. Опять-таки я думаю, что они сложились не случайно. Чтобы в электрической сети возник ток, нужна разница потенциалов: на одном конце минус, на другом плюс. Когда в семье полное равенство, все прекрасно, но лампочки не горят.

Веришь ли ты, что в старой, до эмансипации, семье все мужья командовали, а жены подчинялись? Да никогда этого не было — иначе разве стал бы Шекспир писать «Укрощение строптивой»? Но любящие люди играли в традиционную любовную игру: Ему приписывали силу, Ей — слабость, Ему — ум, Ей — наивность, Ему — суровость, Ей — покорность. Зачем? Да чтобы лампочки сияли!

Впрочем, и сегодня самые влиятельные на планете женщины охотно декларируют свою слабость и подчиненность в семье: даже леди — премьер великой державы — уверяет человечество, что встает пораньше, чтобы приготовить мужу завтрак. Не исключаю, что действительно готовит: любовь важнее власти. Опять-таки женственность в руках государственного деятеля — оружие страшной силы: где мужчине нужен танк, женщине хватает улыбки.

Практика эмансипации ставит перед обществом целый ряд неожиданных проблем. Как видно из твоего письма, некоторые из них приходится решать и современной Швеции.

Ты, конечно, прав — в литературе следует поощрять талант, а не половую, религиозную или политическую принадлежность. Но почему же только в литературе? Когда больной ложится на операционный стол, неужели его волнует, за какую партию голосует хирург? Мне все равно, мужчина или женщина ведет такси, лишь бы не влететь в аварию.

Я плохо знаю шведскую реальность и потому не совсем понимаю, зачем нужен омбудсман. Разве работодатель сам не заинтересован в том, чтобы нанять лучшего работника? Есть целый ряд специальностей, где женщины трудятся успешней мужчин — скажем, сборка часов и компьютеров, делопроизводство, сервис. Отдавая предпочтение в этих отраслях мужчинам, предприниматель будет действовать себе в убыток. Во имя чего? Я не представляю себе, чтобы талантливого математика, журналиста или экономиста не взяли на работу только потому, что речь идет о женщине,— ведь от такой дискриминации выиграет лишь конкурент.

Не кажется ли тебе, что хорошие специалистки будут устраиваться на работу сами, а вот плохие прибегнут к помощи государственного чиновника? Словом, будь готов к тому, что и в литературе появится свой омбудсман...

Астрид Линдгрен читают миллионы детей во всем мире — не потому, что она женщина, а потому, что она замечательный писатель. Маргарет Тэтчер много лет определяет политику Англии не потому, что избиратели решили сделать галантный жест в сторону прекрасного пола, а потому, что с этой работой она справляется лучше других. Майя Чибурданидзе и Пиа Крамлинг успешно играют в мужских шахматных турнирах не потому, что пользовались особыми «женскими» льготами, а потому, что не имели их.

Некоторые ваши государственные мероприятия мне не совсем понятны. Почему, например, нельзя указывать в объявлениях, кого приглашают на работу? А если эта работа трудна и опасна — скажем, лесоруб или водолаз? Или если в театре вакантна роль Джульетты — кому нужно, чтобы в конкурсе участвовали мужчины? Что это — реальная забота о женщинах или бюрократическая игра?

Еще непонятно, почему ваш омбудсман непременно женщина. У нас пока еще женщины в трудную минуту чаще обращаются к мужчинам, ведь наша традиционная обязанность — защищать их. Если женщины начнут надеяться только на женщин, боюсь, придется плохо и им и нам: мы разойдемся в стороны, как католики и гугеноты, а кончится это Варфоломеевской ночью.

Я человек лояльный и законы уважаю. Но когда речь идет об отношениях мужчин и женщин, я все-таки больше надеюсь не на параграфы кодекса, а на любовь.

Эмансипация, и в этом ее великое значение, гарантирует женщине образование, работу, независимость. Любви, к сожалению, не гарантирует.

...Дорогой друг, я вдруг подумал, что в моей логике есть по крайней мере одно слабое звено. Мы живем в странах с разным уровнем жизни. Нашим женщинам приходится постоянно думать о деньгах, терять время в очередях, сталкиваться с крайней неразвитостью сервиса. Мужья, если они есть, им помогают, но все же основная часть домашних хлопот достается женщине. Практически она отрабатывает дома второй рабочий день. Возможно, именно это обстоятельство мешает нашим подругам по достоинству оценить всю прелесть эмансипации...

Ты предлагаешь отдать всю власть женщинам. Я не против. Но меня смущает одно. Я боюсь, что наши женщины, получив власть, тут же откажутся от всех своих прав и потребуют, чтобы муж, тиран и деспот, в одиночку кормил семью и при этом еще одевал, развлекал и горячо любил свою бедную бесправную жену. Справимся ли мы с этой задачей? Пусть уж лучше остаются эмансипированными...

А теперь я хотел бы расстаться с этой рискованной темой и задать тебе вопрос из другого ряда: как широко распространился в Швеции СПИД и повлиял ли он на человеческие отношения?

Ларс Хесслинд

Друг мой, позволь мне сначала суммировать то, что пишут в нашей стране об этой болезни.

В Швеции, население которой составляет 8 миллионов, в апреле 1988 года число лиц, зараженных вирусом СПИДа, составляло 1785, из них мужчин — 1530, женщин — 255.
Распределяется это следующим образом:

Гомосексуалисты и бисексуалисты	928
Наркоманы, использующие наркотики внутривенно,	446
Жертвы переливаний крови и других продуктов крови	182
Зараженные половым путем	211
Дети, рожденные от больной матери,	5
Другие случаи, где причина заражения не выяснена,	13
Заболело СПИДом	165
Умерло от СПИДа	72

Приведенные цифры говорят лишь о замеченных случаях. Но так как анализ на СПИД является добровольным, невозможно определить истинное число зараженных. Как обстоит дело в действительности, можно узнать, лишь введя обязательное взятие анализа на СПИД. Никаких планов на этот счет у нас в стране нет.

И все же можно считать, что распространение этой заразы достигло своей кульминации. Сейчас в среднем за месяц замечают 20 случаев заражения вирусом. Эта низкая цифра радует.

Вначале полагали, что самым эффективным средством защиты от страшного вируса является презерватив. Но сейчас известно еще более эффективное средство, а именно — информация.

В процессе широко проводимых кампаний, на которые государство тратит много миллионов крон, шведскую общественность повсеместно информируют о болезни и о способах заражения. Эта работа очень полезна. Каждый швед знает, как следует предохраняться при половых контактах и как распространяется эта инфекция.

Борьба со СПИДом — серьезная проблема для людей всего мира. Подобно скальпелю, она врезается в социальную и экономическую структуру всех стран. Проблему СПИДа нельзя замести под ковер или решить ее, задернув гардины.

Чрезвычайно серьезны и психологические аспекты этой проблемы.

Как раньше относились к проказе, так и сейчас непросвещенная общественность относится к несчастным, зараженным СПИДом. Толпа и те, кто принимают решения, могут ставить вопрос об интернировании, о пансионатах, где больные живут в изоляции от общества. Тут не так уж далеко и до фашизма. Параллель усмотреть совсем нетрудно. У Гитлера были подобные идеи, когда он хотел защитить чистоту арийской расы от евреев и славян.

Давай, дорогой друг, бороться с таким недостойным и бесчеловечным отношением к тем, кто болен.

Как изменились человеческие отношения и любовь после того, как знания о СПИДе распространились по всему миру? Без сомнения, открытая дискуссия и хорошо поставленная информация о СПИДе привели к тому, что шведы стали более осторожными в половых контактах. Прочные связи стали более прочными, более популярным стал брак; кажется, даже уменьшилось число разводов. Выбор партнера стал более тщательным. Большинство проявляет осторожность при случайных связях.

Но при этом одно странное, труднообъяснимое явление наблюдается как в США, так и в Швеции!

У проституток, где выше всего риск заразиться, а инфекция, по-видимому, распространяется быстрее всего, число клиентов вовсе не упало. Столько же мужчин, как и раньше, направляется в квартал проституток. Торговля телом не сократилась.

Несмотря на то, что, как известно, многие проститутки — наркоманки, зараженные вирусом СПИДа через шприцы больных, до сих пор вокруг ночных бабочек кружатся клиенты. Можно подумать, что риск заразиться означает дополнительный захватывающий момент, который делает контакт с проститутками еще более запретным, возбуждающим и интересным для мужчин. Похоже, игра со смертью увеличивает сексуальное возбуждение. Это действительно страшное и труднообъяснимое явление в нашем мире, который мне кажется все более безумным.

Как человек, живущий на Западе, я понял, что вы в Советском Союзе не говорите открыто о половой жизни и половых отношениях. Но как тогда с такой философией вам удается информировать население о СПИДе? Можешь ли ты рассказать мне, как обстоят дела в Советском Союзе с проблемой СПИДа? Как вы информируете общественность, когда у вас около ста языков в стране? Повлиял ли СПИД на любовь и отношения между мужчинами и женщинами в вашей большой стране? Знают ли одинаково много о болезни в Москве, Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Грузии и Сибири?

И еще один вопрос, возможно несколько неожиданный. Не только я заметил, что русские (как, впрочем, и поляки, и японцы), приехав в Швецию, стремятся обязательно посмотреть порнофильмы. Не мог бы ты объяснить, чем вызван этот интерес?

Леонид Жуховицкий

Дорогой Ларс!

Отвечу по очереди на оба твои вопроса.

Сперва — о СПИДе. Поскольку вирус не признает ни государственных границ, ни социальных систем, положение со СПИДом в нашей стране, вероятно, такое же, как и в Швеции. Возможно, число инфицированных и больных пока значительно меньше, так как вирус проник к нам позднее и количество контактов с иностранцами (а СПИД и у вас и у нас — болезнь импортная) относительно невелико. К сожалению, я не располагаю такой статистикой, как ты: у нас печатаются лишь общие данные о заболевших, но и те нельзя считать даже приблизительно точными, ибо проверку прошла незначительная часть населения. У нас анализ на СПИД тоже добровольный, более или менее методично обследуются лишь так называемые «группы риска»: проститутки, гомосексуалисты и наркоманы. Но и эта методичность очень условна, ибо люди, относящиеся к названным категориям, свою принадлежность к ним, как правило, не афишируют, да и для принудительного анализа нужна санкция прокурора, а ее дают лишь в особой ситуации. Есть проект — возможно, он будет принят — требовать проверку на вирус у иностранцев, приезжающих в страну более чем на три месяца, — мера тоже крайне ненадежная, так как для передачи инфекции вполне хватит и одной ночи.

Самое страшное, на мой взгляд, заключается в том, что смерть передается предельно приятным способом, тем самым, которым зарождается жизнь, и я не думаю, что в ближайшее время мои соотечественники захотят себя в этой деятельности серьезно ограничить.

Есть у нас и другие проблемы — скажем, крайний дефицит шприцев одноразового пользования, недостаточное производство презервативов и т. д.

Ты совершенно прав — именно информация наиболее эффективна в борьбе со СПИДом, по крайней мере из тех средств, которыми человечество сегодня располагает. Но ты напрасно думаешь, что открыто говорить о половой жизни нам запрещает философия или еще какая-то область идеологии. Тут скорее традиция, в которой, на мой взгляд, много разумного; вряд ли театр двух актеров нуждается в большом количестве зрителей. Чем больше рассуждают о половых отношениях, тем меньше удовольствия они доставляют — ведь и в хорошей прозе подтекст волнует нас порой больше, чем текст.

Угроза страшной эпидемии заставила нашу печать назвать своими именами все, что необходимо. Подробные и точные статьи о СПИДе публикуются регулярно. Центральное телевидение, ведущее передачи на всю страну, пропагандирует презерватив, хотя делает это не столь наглядно, как, например, датский телеэкран, где мужчина и женщина демонстрируют этот полезный инструмент в действии. Словом, информация о СПИДе ни для кого не является тайной.

Вместе с тем я, к сожалению, не заметил, чтобы она оказывала серьезное влияние на нашу жизнь.

Есть такая русская пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Для огромного большинства моих соотечественников гром еще не грянул: для них СПИД — это то, о чем пишут в газетах, от чего умирают в далекой Америке, что, возможно, и станет реальной

опасностью, но очень нескоро. Печать сообщает, что выявлено около ста заболевших и инфицированных, из них подавляющее большинство иностранцы — эта цифра кажется крохотной в стране с населением почти в триста миллионов человек. Словом, жизнь идет, как и шла.

Ты предполагаешь, что клиентов проституток возбуждает игра со смертью. Может быть, тут есть и иная психологическая причина — желание максимально использовать свободу случайной любви прежде, чем размах эпидемии наглухо забьет эту дверь?

Видимо, у легкомыслия имеется еще один мотив: почти религиозная вера в могущество современной науки. Слова медиков об их бессилии воспринимаются как своеобразное кокетство — мол, покривляются, попугают, но наверняка что-то придумают.

Короче, при всем уважении к информации и презервативам, я не испытываю особого оптимизма. И не могу исключить, что человечество медленно втягивается в период, который, возможно, когда-нибудь назовут эпохой СПИДа.

Мне кажется, задачу писателя в этой ситуации ты определил очень точно: нам надо защищать больных людей, и без того страдающих от ущемления их человеческих прав. Надо объяснить, что СПИД не кара за грехи, а слепая змея, готовая ужалить каждого. Надо вызвать сочувствие и к взрослому, которому предстоит жизнью заплатить за любовь, и к ребенку, виновному лишь в том, что пять лет назад его мать делала маникюр в парикмахерской, где плохо дезинфицировали инструменты.

А главное, наверное, вот что. Жестокость сама подобна СПИДу и так же распространяется, как эпидемия, с той разницей, что подавляет в человеке не иммунитет, а совесть — тоже могучий защитный механизм. Жестокость, направленная против больных, потом неминуемо обернется против здоровых. Массовые убийства Гитлером евреев и славян вполне закономерно привели к истреблению девяти миллионов немцев. Вряд ли будет ошибкой утверждать, что человечество выжило только потому, что в решающие моменты чувство сострадания оказывалось сильнее чувства самосохранения. Надеюсь, мы выдержим и проверку СПИДом...

А теперь перейду к твоему второму вопросу.

Итак, почему советские туристы, попав в Швецию, спешат на порнофильмы? Видимо, по той же причине, по которой шведские туристы в Венеции стремятся прокатиться в гондоле, а в Грузии посмотреть национальные танцы. Каждого нормального человека в гостях интересует то, чего дома нет. У нас порнофильмы не крутят, порножурналы не издают — вот мои сограждане и хотят посмотреть, что это такое.

Вероятно, у поляков причины те же самые.

Что касается японцев, мне ответить сложнее — в Японии я не бывал. Но если мои заочные представления об этой своеобразной стране верны, трудолюбивые японцы пытливо следят за всеми достижениями Европы и Америки, дабы сразу перенять все прогрессивное и в электронике, и в строительстве, и в прочих областях. Видимо, они идут на порнофильмы с целью выяснить, нет ли каких-нибудь технологических новшеств и в этой сфере индустрии, чтобы в случае чего первыми приобрести лицензию. Боюсь, их ждет разочарование: здесь, как и в географии, Колумбу места не осталось — все великие открытия уже позади...

Официальное отношение к порнографии в нашей стране плохое — она запрещена. Общественное мнение совпадает с законом: голосов в защиту порнографии я не слышал, даже в неофициальной обстановке. Те же люди, которые с любопытством смотрят порнофильм в кинотеатре в центре Стокгольма, будут протестовать против его демонстрации в центре Москвы, опасаясь, что молодежь узнает сразу слишком много нового и юный мозг не выдержит такого количества агрессивной информации.

Как отношусь к этому я?

Я писатель и, уже в силу профессии, радоваться запретам в искусстве не могу, кроме нескольких неизбежных: проповедь насилия, войны, ненависть к другим народам, на мой взгляд, столь же преступны, как убийство или воровство. Вероятно, порнография к этим крайностям не относится и в законодательном запрете не нуждается.

Тем не менее к этому роду деятельности я отношусь негативно по причинам вполне практическим.

Я против порнографии потому, что она, как мне кажется, убивает любовь. Эротика прекрасна и в литературе, и в кино, и в живописи. А порно больше походит на инструкцию по эксплуатации мотоцикла: вот так двигаются рычаги, вот так поршень входит в предназначенное ему гнездо. Должен ли человек всю эту механику знать? Конечно, должен. Но ведь даже по технике любовь отличается от ремесленного секса — у актера, играющего по вдохновению, иные способы воздействия на зрителя.

Может ли половой акт быть предметом искусства? Конечно, может, и становился не раз. Но то, что прекрасно в эротическом фильме, вызывает только брезгливость в порнографическом.

Впрочем, тут я не специалист: вряд ли я видел больше десятка порнофильмов. И ни один из них я не стал бы смотреть вторично. Может, мне просто не попадались талантливые. Может, детальное изображение производственного процесса вообще противопоказано искусству, даже если это процесс производства детей.

У меня создалось впечатление, что в странах, где порнография разрешена, она не пользуется большой популярностью. Помню парижский кинотеатр с маленьким и почти пустым порнозалом, а рядом — очередь на новый детектив с Бельмондо.

Я прекрасно понимаю, что для компетентных суждений о порнографии у меня

оснований нет. Поэтому я просил бы тебя, наверняка более информированного, поделиться своими взглядами на проблему.

Ларс Хесслинд

Мой дорогой Леонид, порнография, как ты знаешь, в нашей стране не преследуется законом и порнографические открытки продаются свободно.

Прежде чем я попытаюсь познакомить тебя с моими взглядами на порнографию и любовь, позволь мне рассказать тебе кое-что — это может быть тебе интересно, поскольку ты живешь в стране, где, само собой разумеется, порнография запрещена законом.

В середине семидесятых годов Союз писателей Швеции решил поддержать законопроект, запрещающий использовать малолетних детей для позирования при производстве порнографических фильмов и открыток. Дело в том, что Союз писателей — одна из инстанций, где обсуждаются законопроекты по вопросам печати и средств массовой информации.

Писательницы-женщины возглавили ту группу, которая была за принятие данного закона. На последнем голосовании эта группа победила — большинством в несколько голосов. Таким образом, решение было принято вовсе не единодушно.

Законопроект был потом внесен как поправка к постановлению о свободе печати. Это не просто постановление, тут надо иметь в виду, что это одна из опор, на которых держится наше исконно демократическое общество. Поэтому оживленную дискуссию в Союзе писателей вызвало совсем не отсутствие единодушия по вопросу о «детской порнографии». Противники законопроекта, к которым принадлежал и я, видели большую опасность во внесении изменений в основной закон о свободе печати. Этот закон дает нам право свободно и без всякой цензуры публиковать то, что нам хочется.

Мы считали, что закон, запрещающий печатать порнографические открытки с изображением маленьких детей, будет ограничением свободы печати вообще. Если проект будет одобрен, это создаст прецедент.

Власть имущие могут найти еще что-нибудь «одиозное», заявить, что это не годится для печати, и настоять на еще одном ограничении.

Мы были обеспокоены тем, что одобрение вышеупомянутого законопроекта Союзом писателей послужит началом последовательного наступления на самые важные постулаты нашей демократии.

Причина для такого беспокойства у нас в стране существует.

Бюрократы должны заполнять свои дни какой-то видимой работой. И вот они сидят и выдумывают все новые и новые законопроекты. Нередко они пытаются посягать и на постановление о свободе печати.

Шведа вообще все больше и больше огораживают законами.

Считается, что каждый только что введенный закон важнее уже действующего. У нас есть — подумать только! — закон, который запрещает делать вино из одуванчиков, зато разрешается настаивать вино на тюльпанах (впрочем, может, и наоборот!).

Сейчас бюрократы собираются издать закон, запрещающий людям, работающим на частном или государственном предприятии, передавать прессе и другим средствам массовой информации какие-либо сведения о том, что происходит на предприятии. А это просто грубый удар по основам закона о свободе печати. Удар, который поразит прямо в сердце самое свободу. Куда же движется общество, которое ограждает себя законами, запрещающими прессе разоблачать всякого рода уловки и вранье? Временами кажется, что воздух становится душным и с этой стороны Балтийского моря.

Но вернемся к вопросу о порнографии.

Помнится, в пятидесятые годы считалось неприличным, если фирма, производящая корсеты, в еженедельных изданиях печатала рекламные фотографии молодых дам в этих корсетах. На безнравственную рекламу обрушивались женские организации. Другой вопрос — можно ли было вообще назвать это рекламой. Нас, молодых людей, фотографии эти интересовали мало. Дабы успокоить блюстителей нравственности, девушки были вынуждены позировать в очках, чтобы все выглядело благопристойнее.

Один мой товарищ так и не смог преодолеть свое восхищение рекламой. Он зациклился на девушках в очках и в конце концов женился на близорукой студентке, которая носила очки в тяжелой роговой оправе. Брак оказался счастливым, они до сих пор живут вместе.

С того времени порнография сильно изменилась. Для печати не существует теперь ничего слишком смелого или слишком порочного.

Все варианты сексуального поведения обнародуются в специальных мужских журналах и порнографических журналах различных направлений в зависимости от вкуса. Можно взять напрокат видеофильмы в которых показано все.

Специальные порнографические журналы предлагаются гомосексуалистам и женщинам

В больших городах существуют клубы со стриптизом, где хорошо натренированные мужчины раздеваются и показывают все, чем обладают, на глазах у восторженной женской публики.

Сексклубы, где мужчин обслуживают женщины, есть во всех больших городах.

Они процветают, несмотря на то что по закону деятельность публичных домов запрещена.

Трудно дать однозначный ответ на вопрос, что означала для нас, шведов, либерализация порнографии.

Порнография подобно ржавчине разъела любовь и лишила ее романтики, сделала ее «шведской», оставила в ней

больше тела, чем души. Поэзия, которой овеяна любовь, исчезла.

Несомненно, главный объект изображения во всех порнографических изделиях — женщина. Она представлена как собственность, которой может воспользоваться мужчина.

Порнография способствует тому, что у многих мужчин вырабатывается чисто фашистский взгляд на женщину.

Это то, чем женщине приходится оплачивать порнографическую индустрию. Высокая цена.

Не забудь, друг мой, что порнография — это печатная продукция, иллюстрированные журналы, видеофильмы и т. п., которые производят для продажи. Порнография — товар, который выходит на рынок и который должен быть в упаковке, наиболее привлекательной для покупателя. На порнографии неплохо наживаются. Не лучше ли в таком случае ее запретить?

Нет.

Умнее было бы обезоружить ее и сделать неинтересной путем распространения знаний о прекрасных возможностях истинной любви и сексуальности, которые ведут к сказочному наслаждению.

Любовь — это великое искусство.

Цветная порнография, продающаяся в киосках,— это имитация, только компрометирующая любовь.

Принес ли свободный показ разнообразной сексуальности что-либо хорошее и плодотворное шведскому народу?

Число преступлений на сексуальной почве у нас не снизилось. Случаев изнасилования и кровосмешения — не меньше прежнего. Судя по полицейским отчетам, женщин насилуют с еще большей жестокостью.

С другой стороны, сегодня мы выказываем больше понимания в вопросе о том, что можно рассматривать как нормальное сексуальное поведение. Свободная дискуссия и полный набор печатных изданий, в разных вариациях отражающих различные сексуальные направления, научили нас тому, что сексуальность многолика. Мы начинаем медленно осознавать, что сексуальные меньшинства[1] тоже имеют право на полноценную жизнь в нашем обществе.

Сексуальное воспитание в нашей стране достаточно откровенно. Шведские школьники рано узнают, как функционирует организм у женщин и мужчин, как на свет появляются дети.

Союз по сексуальному просвещению продолжает распространять информацию о любви и сексуальности уже среди взрослого населения.

Лично я убежден: для того, чтобы снять табу с вопросов секса и раздрамatизировать их, этот Союз сделал больше, чем порнографические, унижающие достоинство женщин издания.

Друг мой, даже если нечто ценное в отношениях между женщиной и мужчиной утеряно, я все равно готов превозносить просвещение и свободную сексуальность как предпосылку истинной любви. Знания всегда дают человеку больше возможностей заметить и пережить красоту в жизни. И в искусстве. Леонид, а как относятся к сексуальным меньшинствам в Советском Союзе?

Леонид Жуховицкий

Дорогой Ларс, я уже писал тебе, что у нас в стране отношение к сексуальным меньшинствам негативное, но не агрессивное. Твой новый вопрос заставил меня глубже вдуматься в проблему, никогда меня особенно не занимавшую.

Видимо обязанность писателя — защищать право любого меньшинства на непохожесть, если эта непохожесть не ущемляет права других. Тем не менее о сексуальных меньшинствах у нас практически не писали — на фоне громадных сложностей политики и экономики эта тема актуальной не казалась. Вероятно, СПИД заставит нас эту точку зрения изменить.

Известно, что роль гомосексуалистов в распространении смертоносного вируса очень велика. Чем хуже к ним отношение, тем глубже в подполье вынуждены они уходить. И тем труднее обществу уберечь от эпидемии их, а значит, и себя. Так что с защитой сексуальных меньшинств, видимо, медлить нельзя. Может быть, наш с тобой диалог положит этому начало — как, надеюсь, вообще будет способствовать тому, чтобы по обе стороны Балтики дышать становилось легче, а не труднее...

Выводы из нашей дискуссии читатели сделают сами, нам же с тобой остается лишь, подобно подсудимым, сказать свое последнее слово. Главное, что я думаю о любви, я бы сформулировал примерно так. Наш век — время великих достижений и великих разочарований. Как выяснилось, человека может предать и идея, и наука, и общество, и государство. Тем тщательней мужчина и женщина должны хранить то, что не предает никогда: даже в самый гибельный час двое любящих помогут друг другу.

◆

[1] Автор подразумевает группы гомосексуалистов, лесбиянок и проч. *(Прим. перев.)*

Критика

Из бесед в редакции

О союзе польских писателей, о свободе выбора, свободе печати и о многом другом рассказывают Войцех Жукровский и Зенон Скуза

«ИЛ»: Всегда заманчиво получить информацию, что называется, «из первых рук», тем более что в Польше сейчас происходит столько событий — и в общественной жизни, и в литературной... Воспользуемся случаем и свой первый вопрос обратим к Войцеху Жукровскому: «В начале 1982 года, как мы знаем, был вновь создан Союз польских писателей. Вы возглавляете его. Как обстоят дела в Союзе, что знаменательного?»

В. Жукровский: Что ж! Пожалуйста. Однако сначала разрешите представить моего коллегу: Зенон Скуза — заместитель главного редактора еженедельника «Аргументы».

Итак, несколько слов о нашем Союзе. Сейчас в нем около девятисот членов. Мы приняли примерно шестьдесят новых писателей. К сожалению, Союз писателей — это в основном союз старых людей. Деятельность нового правления сосредоточена главным образом на защите финансовых интересов писателей. Дело в том, что цены у нас постоянно растут, идет инфляция, которая вроде бы контролируется, даже планируется, но, к сожалению, план тут постоянно перевыполняется. Мы приняли решение, что размер гонорара за авторский лист будет автоматически увеличиваться каждый год. Книги издаются очень медленно: пять лет — это норма. Книгу министра культуры, правда, издают в течение двух лет. Да, наш министр культуры, профессор Александр Кравчук, тоже писатель, автор очень популярных исторических книг.

З. Скуза: А книги председателя?

В. Жукровский: Три года... Важно и то, что мы затеяли ремонт всех зданий, принадлежащих Союзу писателей. Например, Дом творчества в Оборах не знал ремонта с тех пор, как король Ян Собеский построил этот дворец. Всего-то триста лет... Очень важный вопрос, как и у вас,— квартиры для писателей. Мы организовали кооператив, который будет строить дома (кое-что уже построили), деньги на строительство мы заняли в банке. Любой заем в банке сейчас — прибыль для писателя, потому что деньги обесцениваются, когда придет время возвращать долг — это уже будет сущий пустяк... Писатели, которые зарабатывают много, лимитированы в возможности тратить эти деньги: они не могут снять со счета больше половины всей суммы. И еще. С половины мы платим налог, другая половина налогом не облагается — идет как бы на производственные затраты: поездки, пишущие машинки, плата машинистке и многое другое, о чем нередко забывают, а ведь и эта сторона писательского труда стоит денег. Всякий раз, когда я лезу в карман за деньгами, я нахожу там чужую руку — железные пальцы нашего министра финансов.

В год выходит около 2200, 2300 названий, в том числе и переиздания. Хорошие книги необходимы и для того, чтобы иметь возможность содержать дебютантов. Издательству нужны доходы, поэтому оно зарабатывает деньги на живых и мертвых классиках, а часть этих денег идет на дотации молодым поэтам и прозаикам.

З. Скуза: Как вы, очевидно, заметили, Войцех Жукровский — человек скромный и о себе говорить избегает. Вот и сейчас он не упоминает, что на его книгах издатели тоже неплохо зарабатывают и это дает им возможность публиковать произведения других писателей.

Остановлюсь вот на каком событии. Еженедельник «Культура» предложил создать своего рода Почетную Академию польской литературы. И объявил выборы почетных академиков. Обратите внимание: из пятнадцати избранных в результате академиков девять — так называемые «проправительственные писатели». И на первом месте в списке — самый скромный из польских писателей, Войцех Жукровский. Тут ведь не просто самые широко читаемые писатели выбирались. Обратите внимание: первое место — Жукровский, второе — Братны, третье — Ружевич, четвертое — Конвицкий. Все это — действительно крупные имена.

В. Жукровский: И тем не менее в списке академиков не хватает нескольких имен. Например, лучшей нашей поэтессы Вислявы Шимборской. Думаю, дело в том, что некоторые участники плебисцита, даже будучи людьми начитанными, могли и не вспомнить этого имени, потому что поэзия у нас малопопулярна.

З. Скуза: Так много поэтов, что стихи читать некому.

«ИЛ»: Не могли бы вы рассказать о принципах, по которым были организованы выборы в Почетную Академию. Почему участвовали в плебисците именно двести пятьдесят человек, кто они? Как все это делалось?

В. Жукровский: Я не могу ничего сказать по этому поводу, я не выдвигал своей кандидатуры и не подавал за себя голос. Просто каждый из читателей мог вырезать купон, напечатанный в «Культуре», заполнить его — назвать фамилии писателей, пятнадцать имен, указать свою фамилию, возраст, образование. И послать этот купон в редакцию.

З. Скуза: Я попытаюсь охарактеризовать участников плебисцита. Цены на польскую прессу достаточно высоки, и потому еженедельники читает главным образом интеллигенция, причем интеллигенция гуманитарная. Можно предположить, что эта группа — двести пятьдесят участников плебисцита — в известном смысле репрезентативна. Практически не было названо случайных имен. Картина польской литературы представлена почти полностью — названо около ста восьмидесяти писателей. Галина Аудерская, например, получила сорок шесть голосов и не попала в число академиков.

«ИЛ»: А один из наших авторов, Юлиан Кавалец?

З. Скуза: Кажется, пятьдесят два голоса — и тоже не вошел в число академиков. Как и Збигнев Сафьян. Если мне не изменяет память, он получил двадцать с лишним голосов.

В. Жукровский: Мне кажется, что выбор делался не по принципу популярности, «читабельности», тогда на первом месте должен был бы быть, к примеру, Лысяк...

«ИЛ»: А Мрожек есть в списке?

З. Скуза: Есть. Тоже в числе почетных академиков. Есть и Милош. Девятое место.

«ИЛ»: А папа римский?

З. Скуза: Нет, папы римского нет. Он очень хороший папа, но вряд ли такой уж хороший поэт.

«ИЛ»: Если уж речь зашла о папе... Мы знаем, что в юности Войцех Жукровский был близок к этому человеку. Вот писатель — первый католик в католическом мире, папа римский. Вы считаете себя католиком. Грэм Грин — католик. Можно ли говорить о феномене католической литературы в Польше? Воспользуемся этим, быть может, не очень удачным термином. Что можно сказать об этом явлении?

В. Жукровский: Этот вопрос очень серьезный. Я вспоминаю гудящий зал, кто-то встает и говорит: «Назовите нам имена католических писателей, чтобы мы не брали в руки вражеские книги!» Ну, что я могу сказать? Католических писателей всего четверо — это четыре евангелиста. А все остальные — это плохие или хорошие католики, которые пишут романы. Я уверен, что вся католическая литература обязана своим существованием Достоевскому. Без влияния Достоевского не было бы Мориака, не было бы Грэма Грина. Тут все взаимосвязано. А уж место этих писателей в современном мире определяют их выступления в защиту униженных, лишенных свободы, всех тех, кто хочет надеяться на перемены к лучшему.

Так получилось, что Грэм Грин — мой друг, но во Вьетнаме мы находились словно бы по разные стороны линии фронта, он, будучи военным корреспондентом, летал на военных самолетах, с таких самолетов бомбили джунгли, где укрывались партизаны. Я же был среди них. Конечно, не он бросал эти бомбы, но он знал, что бомбы летят на джунгли. Встретились мы уже в Варшаве, куда он приехал, чтобы увидеть свои книги, к которым я писал предисловия. В его «Тихом американце» вьетнамские проблемы показаны так же, как показал их я в своих книгах. Я думаю, что все писатели, которых я ценю и люблю, имеют нечто общее: способность пожертвовать многим, даже жизнью, защищая дело своего народа, защищая идею. Андре Мальро был одним из тех писателей, на книгах которых воспитывалось мое поколение. И в не меньшей степени — Антуан де Сент-Экзюпери.

«ИЛ»: В связи с тем, что вы сказали, две ремарки: во-первых, о Грине. Он скоро приедет в Москву, отмечать свой день рождения. И к его приезду Институт мировой литературы приурочил научную конференцию с такой повесткой дня: «Коммунизм и христианство» [1]. И второе. Это в связи с тем, что вы сказали, что, не будь Достоевского, не было бы ни Мориака, ни Грина. То есть вы считаете, что не имеет значения то обстоятельство, что Достоевский был православным?

В. Жукровский: Я думаю, что важны именно элементы христианские, а также образ человеческой души, где происходит борьба добра со злом. Важно показывать, как немного вроде бы зависит от одного человека, от доброты, что часто воспринимается как слабость, ибо зло действует гораздо эффективнее, и все же, и все же... добро в конце концов побеждает.

Что я могу сказать о состоянии умов наших писателей? Большинство из них связано с социализмом. Во всяком случае, с социализмом, понимаемым так широко, что их творчество помещается в нем. От реализма до фантастики, причем не обязательно научной, фантастики, которую я назвал бы сотворением иррациональных

[1] Материалы конференции будут опубликованы в одном из ближайших номеров «ИЛ» *(прим. ред.)*.

миров. Не вернулись в нашу организацию около ста пятидесяти членов бывшего Союза писателей. Я не собираюсь приклеивать ярлычки с ценой, но среди них по крайней мере писателей тридцать, имена которых известны не только в Польше, но и за рубежом. Они не вошли в Союз писателей не потому, что критически, скептично или враждебно относятся к принципам, объединяющим членов Союза. Полагаю, причины тут прежде всего экономические. Ну, например, пьесы Ружевича идут в театрах всего мира, и, если он вступит в Союз, то сразу же найдутся такие, что скажут: партия ухватила его за шиворот и на коленях притащила в Союз писателей... Это смешно, но это так. Естественно, я за то, чтобы он вступил в Союз писателей, при условии, что это ни в чем не помешает ему, но если из-за этого его пьесы на Западе перестанут печатать и ставить, нет, тогда не надо, пусть не вступает...

«ИЛ»: А разве писатели — члены Союза писателей не печатаются на Западе?

В. Жукровский: Дело в том, что интерес к творчеству, например, того же Ружевича помогает и другим польским писателям, живущим в Польше и состоящим в Союзе писателей, проложить путь к читателям на Западе. Приблизительно такая же история и со Станиславом Лемом, одним из самых популярных польских писателей. Он живет полгода в Вене, полгода в Кракове... Есть у нас писатели, которые уезжали, но с радостью возвращаются в Польшу. Подчеркиваю, это никакие не эмигранты, а тем более их нельзя отнести к политической эмиграции — ни в коем случае! Если хотите, еще один пример... Талантливый писатель, пожалуй, самый талантливый писатель нашей оппозиции... Хм, оппозиция-то считает его своим, только он не всегда с этим соглашается... Тадеуш Конвицкий. Я очень ценю его романы, которые он печатает как в нелегальных наших издательствах, так и в официальных. У него есть свои постоянные читатели, особенно студенты, молодежь, которым очень нравится еще и сама таинственность — книга, изданная нелегально, в подполье, распространяется неофициальными путями... Впрочем, позвольте заметить, что все эти издательства, количество книг и масштабы их распространения контролируются... Обычный тираж такого издания — от нескольких сотен до тысячи экземпляров. Эти книги нельзя купить в книжном магазине, а вот на территории университета, например, купить можно. Наши университеты пользуются правом экстерриториальности, как посольства. Я спрашивал, сколько зарабатывает автор на подобном издании, так вот — больше всего зарабатывает посредник. А если эту книгу посылают за границу, там ее сразу издают — ну как же, нелегальная литература! Тут-то автор действительно получает большие деньги. Если говорить начистоту, книги, что печатаются официально, в последние два года абсолютно удовлетворяют потребность в критике и заполняют «белые пятна». Я не знаю, как у вас, а у нас в последнее время мало кто слушает «Свободную Европу», в наших газетах столько острых статей... а еще острее те, что мы перепечатываем из советской прессы, так что уже нет никакой нужды обращаться к соответственно препарированным фактам, которые предлагает «та сторона».

З. Скуза: Вот, к слову, о том, какова теперь свобода печати в Польше. Во-первых, поляки предпочитают читать речи Горбачева, а не Рейгана. Это правда первая. Вторая правда состоит в том, что присутствующий здесь председатель Союза польских писателей на встрече Михаила Сергеевича Горбачева с деятелями науки и культуры в Польше высказал следующее мнение: надо бороться с теми деятелями культуры, у которых заячьи уши и заячьи сердца.

В. Жукровский: Я еще кое-что добавлю о ситуации в польской литературе. У нас сейчас появляется очень много новых книг, но, как и всегда, шедевры создаются крайне редко. Однако каждый год можно назвать три-четыре книги, которые вызывают огромный интерес и которые наверняка выдержат испытание временем. Среди книг, вызвавших большой читательский интерес в последнее время, я выделил бы роман нашего старого писателя, можно сказать классика, Игоря Неверли. Книга была издана уже после его смерти. «Сон голубого холма». Это рассказ об участнике восстания 1863 года, сосланном в Сибирь. История его жизни представлена не только без всякой антипатии к России, но с потрясающей сердечностью по отношению к людям, которые помогли ему выжить, это рассказ о великой силе природы, которая не только спасает человека, но и учит его доброте, потому что одному человеку не выжить. И вторая книга того же автора — «Осталось от пира богов». Восемнадцатый год. Революция. Мальчик пятнадцати-шестнадцати лет. Он видит огромные возможности, которые несет с собой революция, и это потом остается в его памяти...

«ИЛ»: А почему в свое время книги не были изданы?

В. Жукровский: Ну, видите ли, например, «Осталось от пира богов» — книга, показывающая хорошие и плохие стороны революции. Если ее сравнить с «Разгромом» Фадеева, то «Разгром» — куда острее. Но у нас считалось, что лучше не надо, как бы чего не вышло ..

«ИЛ»: Поскольку Горбачев с Ярузельским говорили вполне откровенно, то и мы можем позволить себе задавать не вполне удобные вопросы, те, которые вчера бы еще не задали. Вы уже говорили о том, что состояние духа польской интеллигенции, и писателей в частности, может быть сведено к тому, что большинство приветствуют идею социализма, хотя и понятую достаточно широко. Хотелось бы задать конкретный вопрос: верит ли польская интеллигенция в то, что политика обновления, политика Ярузельского принесет какие-то реальные результаты?

В. Жукровский: Я бы ответил со всей искренностью: а что еще остается польской интеллигенции? Это попытка возрождения. И прежде всего экономики; а если мы воспринимаем социализм всерьез, то следует помнить, что социализм — это не самоцель, а средство изменения людей, изменения среды их обитания, развития их самих.

«ИЛ»: Да, это еще Маркс говорил, что цель истории — не коммунизм, цель истории — человек.

В. Жукровский: Я смотрю на наших писателей и вижу, что очень они боятся вот чего: обязанности опять объяснять людям, что социализм — это единственно возможный путь. Они не хотят снова стать писателями-афишами, писателями-лозунгами. Писатели и слышать не хотят слова «служба». А я считаю, что пишет ли писатель или молчит,— то и другое в равной степени является политической акцией. В наше время печатное слово формирует то, что мы называем общественным мнением,— при условии, что читатели доверяют писателю. Я пришел к выводу: гораздо сильнее действует на читателя писательское выступление по телевидению. И вовсе не обязательно сыпать комплиментами или гладить народ по головке, чаще надо, что называется, взять за грудки и встряхнуть как следует.

«ИЛ»: И писатели это делают?

В. Жукровский: А как же! Вот пример: Роман Братны, выступая по телевидению, дерзил, говорил вещи очень неприятные. И надо сказать, что интерес к личности автора влечет за собой интерес к его произведениям. Вообще, я заметил, что критика — забавная вещь. Плохо ли, хорошо ли пишут об авторе — неважно, раз пишут, значит, читатель заинтересуется и откроет книгу, чтобы самому выяснить, из-за чего шум и почему это имя вдруг появилось в прессе.

З. Скуза: Так уж всегда было, что читатель любит мятежную душу в писателе. Пушкин не был послушным человеком, и Толстой, и Достоевский... Дудинцев, Трифонов Тендряков — никогда не были послушными душами. Даже признанный, казалось бы, Евтушенко — непокорный! А Жукровский — католик (пишущий католик, а не католический писатель), беспартийный, в течение всех сорока послевоенных лет имел смелость говорить правду, независимо от того, нравилась ли эта правда кому бы то ни было, а особенно властям.

В. Жукровский: Я бы заметил — плохой католик...

«ИЛ»: Грин тоже любит подчеркивать, что он плохой католик.

З. Скуза: Я не папа римский и не могу оценивать католицизм Жукровского... Так вот, правда эта властям чаще всего не нравилась. Доказательством может служить судьба его книги «Скрижали» и тот факт, что она только сейчас переводится в Советском Союзе — через двадцать два года после выхода в свет. Это — книга, предсказавшая определенные процессы в политике и идеологии: события в Польше после восьмидесятого года подтвердили наблюдения, содержащиеся в ней, между тем как в свое время ни один из критиков этих наблюдений и предостережений просто не заметил. Например, что вследствие определенных экономических и политических кризисов, кризисов идеологии может наступить массовая клерикализация общества. И прошу обратить внимание, что предсказание это подтвердилось не только в польском масштабе, но и в других социалистических странах. А как с этим обстоят дела в Советском Союзе, вам известно лучше меня.

«ИЛ»: Насколько мы знаем, в «Скрижалях» речь идет о венгерских событиях 1956 года?

З. Скуза: Да.

«ИЛ»: Значит, если мы правильно поняли, власть сейчас не вмешивается в литературные дела, издаются книги, которые раньше не могли быть изданы. В общем, все идет хорошо. Но если это так, то почему вообще существует нелегальная литература, какой в этом смысл?

З. Скуза: Почему существует явление неофициальной литературы в Польше? Обращение к нелегальному издательству «набивает цену» произведениям, которые сами по себе нередко этой художественной ценности не имеют. Согласно библейскому принципу: запретный плод сладок.

«ИЛ»: То есть любой из этих писателей мог бы сейчас прийти в государственное издательство и напечатать там свою книгу?

З. Скуза: Так. Но ему это невыгодно. По двум причинам: во-первых, он потеряет западного покровителя, который платит валютой (и гонорар этот никаким налогом не облагается). Во-вторых, логика простая: если писатель печатает книги в нелегальных издательствах, значит, это писатель независимый, а кроме того — угнетенный и обиженный, следовательно, его книги будут более популярны на Западе, чем книги так называемого проправительственного писателя.

«ИЛ»: То есть это, с одной стороны, может быть спекуляцией, с другой — иметь экономическую подоплеку.

З. Скуза: Вот именно.

«ИЛ»: Но ведь и крупные писатели издаются в нелегальных издательствах?

З. Скуза: Кто же?

«ИЛ»: Конвицкий, например. Казалось бы, такой выдающийся писатель, как Конвицкий, вроде бы не нуждается в этом.

З. Скуза: Это только часть правды. Поскольку мы никогда не будем в состоянии до конца понять, что творится в душе другого человека, тем более сложно определить, какие именно мотивы толкнули человека на тот или иной поступок.

В. Жукровский: Если речь идет о Конвицком, то следует помнить одну вещь: он утратил страну своего детства. И он постоянно возвращается к этому. В каждой книге его есть зачарованный край: улицы Вильно, Неман, Вилейка... Он говорит, что важна не только колыбель, то есть место, где родятся люди следующего поколения, но помнить надо и о могилах, о корнях рода.

«ИЛ»: Это все правильно и прекрасно, но все-таки трудно понять, почему он не может все эти идеи выразить на страницах книг, выходящих в официальных издательствах? Зачем ему это надо?

З. Скуза: Я думаю, он и сам не мог бы ответить на этот вопрос, если бы решился говорить откровенно...

В. Жукровский: «Пришли ко мне друзья, попросили эту книгу, я не мог им отказать, они взяли и напечатали...»

«ИЛ»: Ну, понятно... А вот еще такой не очень деликатный вопрос к председателю Союза писателей. Вы говорите, что Союз писателей занят в основном материальными делами писателей. Это совершенно естественная, благородная забота. Но давайте представим себе такую идеальную ситуацию, когда все эти проблемы решены: квартиры писателям дали, с гонорарами справились, дома творчества — в Оборах и другие — отремонтировали. Все прекрасно. Нужен тогда будет Союз писателей или нет?

В. Жукровский: Союз писателей нужен всем старым писателям. Может быть, у них нет возможности встречаться с ровесниками... У них есть их прошлое... Их становится все меньше... Они хотят иметь свой клуб... И это — Союз... А во-вторых, кто может защитить социальные интересы? Только организация. отдельного человека бюрократия оттолкнет, собьет с голку... Я уверен — писать можно лишь в своей собственной комнате, одному и самому. Никто за писателя книгу не напишет. Творчество до сих пор является кустарным производством. А паразитирует на творчестве много народу. Телевидение, пресса, радио, кино. Все пользуются. И к слову: странно получается, что из хороших книг делают плохие фильмы. А из плохой книги — с крепким сюжетом, но даже небрежно написанной — получается великолепный телесериал. Побеждает хорошая журналистика, политическая публицистика — это прекрасно идет на телевидении.

Думаю, было бы идеальным положение, при котором министр культуры мог бы заменить меня, тем более что он сам писатель, так что ему пришлось бы защищать и свои интересы. А у меня сейчас действительно почти нет возможности писать, я постоянно занят другими делами...

«ИЛ»: Мало пишете, но все-таки работаете над какой-то заветной книгой, мы слышали. Что-то о папе римском...

В. Жукровский: Нет! Нет, нет, нет. Я не мог бы этого написать. Я не мог бы написать о человеке, который занимает высокое положение и еще жив, потому что писание о нем без возможности закончить наверняка заведет совсем не туда. Нет. Меня как-то прямо спросили, могу ли я написать книгу о Ярузельском. Естественно, я владею ремеслом и могу написать по заказу на любую тему относительно грамотно. Но я считаю, что настоящий писатель либо напишет пасквиль на это высокопоставленное лицо, либо отольет парадный бюстик.

«ИЛ»: Но ни того, ни другого делать не следует?

В. Жукровский: Нет, конечно же. И я этого делать не хочу. Что касается моих книг, то их читают прежде всего женщины. Мне кажется, потому, что я еще пишу о любви. Для многих это проблема исключительно сексуальная. Но у нас, славян — мы сентиментальны, — еще сохранились чувства. Еще бывают современные трагедии, трагедии страстей, кончающиеся даже убийством. Но в основе этих трагедий часто — не любовь, а собственнический инстинкт. Это — мое! И тут уже вступает в права старшая сестра любви — ревность. Действительно, если говорить о женской психологии, то в моих книгах показаны самые разные женщины, и этим я обязан именно им,— ведь сам я этого не придумал бы, если бы они мне не рассказали про себя. У женщин бывают минуты искренности, они говорят правду, потому что видят во мне свое зеркало.

З. Скуза: Позвольте мне и тут кое-что добавить. Войцех Жукровский нашел способ, благодаря которому женщины открывают ему свои самые страшные тайны. И если бы не этот способ, не было бы таких прекрасных любовных сцен в «Скрижалях». Я уверен, если бы Томас Манн не умер раньше и если бы он имел возможность прочитать «Скрижали» Жукровского, ему пришлось бы изменить свое мнение и написать так: «О любви можно писать по-французски... и по-польски!»

В. Жукровский: У нас есть журнал, по тематике родственный вашему, «Литература на свете»: каждый номер этого ежемесячника представляет из себя довольно толстую книжицу — 400 страниц мелким шрифтом — и раскупается мгновенно. Часто покупают журнал из-за одного-двух фрагментов, которые стоит прочитать. Они представляют нам писателей, которые еще никогда не переводились. И я должен сказать, что у главного редактора, Вацлава Садковского, есть нюх! Он умеет выбрать то, что читателя заинтересует. А кроме того, он не боится окружать себя талантливыми людьми. Он, например, говорит человеку: бери отдел иберо-американской литературы, ищи книги, все под твою ответственность. У нас из иберо-американской литературы переведено около семидесяти книг. Это много. Думаю, у них и нет столько настоящих писателей.

«ИЛ»: Нам хотелось бы узнать побольше об «Аргументах». Раз уж представился случай...

В. Жукровский: Это светская газета, которую регулярно читают все священники, чтобы иметь повод для полемики, для дискуссий.

З. Скуза: Членов нашей редакции называют личными врагами господа бога, отсюда можно сделать вывод, что бог и в самом деле существует. Ну, а если серьезно, «Аргументы» — это еженедельник, основная задача которого состоит в том, чтобы воевать за формирование в общественном сознании принципиальной иерархии ценностей, способных выдержать, как говорил Кант, критику чистого разума. Несомненной заслугой нашего еженедельника является то, что благодаря ему польский читатель узнал о новейших направлениях гума-

нитарных наук, особенно философии. Именно мы познакомили своих читателей, например, с сущностью христианского персонализма. Мы стоим на таких принципах: рационализм, культура, светская культура. Мы исходим из того, что культура является тем полем, на котором идет борьба за основные системы ценностей и за личность человека в современном мире. В трудные восьмидесятые мы решили объединить деятелей культуры, которые могли бы служить идее национального согласия. Потому что это стало проблемой номер один в нашей политической жизни.

Я хочу сказать, что мы были, есть и будем служить политике партии, понимаемой, однако, не догматически. Мы просто хотим в известной мере задавать тон, в чем-то даже опережая процесс формирования концепции политической деятельности партии. Нам бывает приятно сознавать, что через некоторое время наша точка зрения принимается теоретическим органом ЦК ПОРП «Коммунист». В этом смысле я могу похвастаться, что мы каким-то образом даже предугадали процессы, которые происходят сейчас у «великого соседа» — в масштабе геополитическом. Говорят, что товарищ Горбачев читает «Аргументы». Очевидно, не случайно, два самых выдающихся политических деятеля нашего времени — из трех — читают «Аргументы» с большим вниманием: папа римский и товарищ Горбачев. Специальные службы нашей редакции не установили, читает ли «Аргументы» третий из выдающихся людей эпохи — Рейган...

«ИЛ»: Может быть, ваши службы плохо работают? Впрочем, Буш или Дукакис наверняка будут читать вашу газету! А зарубежные авторы у вас выступают?

З. Скуза: Конечно. Из Чехословакии, Болгарии, Советского Союза, ГДР... Все секретари СП СССР, например, Чепуров, Гранин, Суровцев, Верченко, а также Георгий Марков были нашими авторами.

«ИЛ»: Мы очень уважаем секретарей Союза писателей, но все-таки советуем вам не ограничиваться этим кругом...

З. Скуза: На ваше замечание, коллега, я отвечу честно: мы не богаты и не можем слишком часто посылать своих корреспондентов за границу, а на месте, в Варшаве, легче всего поймать секретаря Союза...

«ИЛ»: А какое отношение польских писателей к перестройке?

З. Скуза: Начну издалека. Был короткий и малозначительный период в нашей литературе, когда появилась так называемая «производственная литература». Авторы «производственных романов» выдавали свои писания за точное отражение реальности. Это были (и есть) люди, менявшие кожу и мировоззрение, люди, всегда успевавшие стать придворными писателями, люди с лакейскими душами. А в восьмидесятом году появилась возможность замести следы — чем они и занялись с необыкновенной активностью. Они вдруг стали агрессивно-оппозиционны по отношению к власти. Эта агрессивность была песком, который они бросали в глаза читателю. Они действовали старыми, еще сталинскими, методами: Жукровский — консерватор! Да потому, что на фоне Жукровского, которому вовсе не надо было менять своих взглядов, который никогда не поучал других, как они должны писать, который всегда боролся за автономность творчества от политики, они оказались в дурном свете. И для того чтобы обелить себя, они должны были нападать на него. А поскольку Жукровский сейчас этого не слышит, а если бы и слышал, то не имел бы права возразить, я скажу прямо: есть писатели, которые фактически борются за перестройку, и к этой небольшой группе принадлежат Жукровский, Аудерская, Трухановский, Братны и еще с десяток других; люди, которые всегда умели руководствоваться здравым смыслом. Вот так вкратце я мог бы ответить на вопрос и попытаться сформулировать разницу между мнимыми и истинными сторонниками перестройки.

«ИЛ»: Не скроем, у нас имеются собственные аналоги данной ситуации.

З. Скуза: Я ни на что не намекал!..

«ИЛ»: Теперь позвольте спросить о польском ПЕН-клубе. Каково состояние дел на сегодняшний день?

В. Жукровский: Понимаете, в чем дело: наш ПЕН-клуб не был распущен, он был, как это говорится, «усыплен», то есть его деятельность была приостановлена.

«ИЛ»: Вот где кроются побудительные мотивы письма, обращенного к мэру Варшавы и к Генеральному секретарю ЦК ПОРП, с просьбой возобновить деятельность ПЕН-клуба!

В. Жукровский: Я являюсь членом ПЕН-клуба с момента его организации после войны. Был и членом его правления, но из-за постоянных поездок за границу мне пришлось отказаться от этого почетного поста. Но в качестве председателя Союза польских писателей я подписал письмо, о котором вы говорите. Можно сказать, что оно помогло. Письмо подписал и Ян Добрачиньский, известный писатель, а кроме того, председатель Патриотического движения национального возрождения. А третьим, подписавшим письмо, был Юзеф Озга-Михальский, поэт, член правления Объединенной крестьянской партии.

«ИЛ»: А что вы можете сказать о молодых писателях? Есть ли интересные авторы? До нас доходят вести, что польская критика не очень-то жалует их. Если, например, в свое время у Хласко был интерес к острым социальным проблемам, сейчас это как-то приглушено, господствуют какие-то формальные поиски, какая-то маргинальность, «обочина жизни» и тому подобное... Так это или есть все-таки какие-то заметные явления?

В. Жукровский: Это вопрос не ко мне, это к моему коллеге обращайтесь, он литературный критик, его область... Можешь ты назвать пару талантливых молодых писателей?

З. Скуза: Есть несколько... Некоторые критики даже называют их вестниками революции в польской литературе...

Я, правда, не разделяю этой точки зрения, потому что в разных стилистических странностях я не вижу никакой революции, разве что особенности творческой манеры.

Но несомненно к интересным писателям можно причислить Лысяка, Солтысика, Рыльского, Сеяка. Хотя я хотел бы заметить: это вовсе не юноши, им под сорок. Есть еще интересная писательница Нуровская, она уже автор нескольких книг, ее видение мира можно назвать женским... Вот, пожалуй, и все... если я не ошибаюсь.

В. Жукровский: Есть еще группа «стилистов» — Слык, Андерман, Джежджон... Шуберт...

З. Скуза: Был вот такой случай. Самый молодой дебютант в польской литературе Марек Понкчиньский. Он написал фантастическую повесть «Планета насекомых» в возрасте тринадцати с половиной лет, она была напечатана и пользовалась успехом. Сейчас готовятся к печати в издательстве «Чительник» два его романа, современных, не фантастических. Я этих книг еще не читал, но непременно прочитаю.

В. Жукровский: Очень интересной была встреча Горбачева с молодежью в Вавельском замке. Так получилось, что после двух выступлений представителей польской и советской молодежи от вас вышла великолепная оперная певица, а от нас — веселый Росевич! И спел песенку: «Михаил, Михаил, эта песня для тебя...[1]. Мы тогда приехали из Варшавы, чтобы вручить Михаилу Сергеевичу Горбачеву Медаль улыбки, присужденную ему польскими детьми. Медаль номер один. Понимаете, у нас есть Орден улыбки. Этим орденом награждены Агния Барто и Сергей Михалков. Да, и еще Образцов! В Польше — лауреатов немного больше... Не только писатели, но и, например, детский хирург, который возвращает детям радость свободного движения... Так что орден давать было бы не совсем уместно... А медаль — правильно!

З. Скуза: Пан Войцех потому так часто улыбается, что и его дети наградили Орденом улыбки.

«ИЛ»: И в подтверждение всем известной скромности он об этом умолчал...

В. Жукровский: А теперь я хотел бы рассказать о встрече творческой интеллигенции с Горбачевым. Встреча происходила в Королевском замке, восстановленном по воле народа и на деньги, собранные народом. Эта встреча была для всех нас очень важным событием, множество людей хотело попасть на нее, но не всем, конечно, удалось.

З. Скуза: Даже министрам... Каждый хотел, чтобы его считали интеллектуалом...

В. Жукровский: Речи выступавших были совершенно не похожи одна на другую. Это были личные мнения, это были откровенные вопросы; каждый мог рассказать, как он представляет себе будущее. Писателей было немного. Ни один из нас не давал текста своего выступления на чье-то утверждение, некоторые говорили без бумажки, так что никто не мог навязать нам своей воли или заранее написать сценарий встречи. Бывало, что кто-то из писателей просто вставал с места и начинал говорить, возбужденный горячей атмосферой встречи. Так было, например, с Артуром Сандауэром. Интересны были выступления кинорежиссеров, например Кшиштофа Занусси...

З. Скуза: Профессора Рыхлевского...

В. Жукровский: Ну, выступление профессора Рыхлевского ты можешь оценить лучше. Я бы хотел сказать о выступлении своего коллеги Збигнева Сафьяна. Он говорил об изменениях в языке, о том, что сталинская эпоха создала особый церемониальный язык, язык ритуала, язык, который как бы стал конструкцией, заслоняющей факты.

З. Скуза: Да, это был результат внимательного изучения статьи о языкознании...

В. Жукровский: Мы-то помним, что это все значит!.. Я могу со всей искренностью сказать, что Генеральный секретарь реагировал спонтанно, он улыбался, говорил: «Ну, да, но у меня сейчас нет времени ответить каждому, вас здесь так много, мы сделаем книгу об этой встрече, и там я отвечу на все вопросы». Это было самое лучшее предложение!' К Михаилу Сергеевичу тогда подходило множество людей с его книгой в руках — просить автограф. Послушайте, для человека, который знает, что это такое, какая это опасность войти в толпу,— это был поступок! Что-то необыкновенное! Собралась толпа. Было одиннадцать часов ночи, когда машина отъехала от замка, проехала метров десять и остановилась. Ее окружили люди: «Подождите! Не уезжайте!» Тут же появилась милиция, хотела их разогнать, а он говорит: «Не надо!» — и открыл дверцу, и оказался в толпе. А уже ночь, темно! Единственный человек, который его «прикрывал», была Раиса Максимовна, она брала книги, он подписывал, подписывал...

З. Скуза: Должен сказать, что его книгу читают.

В. Жукровский: Да, она очень популярна.

З. Скуза: Это было событие историческое и вот еще почему: встреча показала польской интеллигенции (и не только польской), что можно вести свободный диалог о важнейших проблемах, о будущем с партийным руководителем, который не отмахивается даже от самых резких оценок. Вот что было характерной чертой этой встречи.

Текст беседы подготовили
Н. ПЛИСКО и Т. ЧУГАНОВА

---

[1] Имеется в виду популярная сейчас в Польше песня Анджея Росевича «Веет весной с востока». Первых два куплета исполняются по-русски, а третий — по-польски.

Михаил, Михаил,
эта песня для тебя,
чтобы новые реформы
так довел ты до конца.

Михаил, Михаил,
ты построишь новый мир,
не английский, не французский,
но ты русский богатырь.
Ой, ой, мама, кружится земля,
матушка Россия, родина моя.

Весна идет с востока,
пришла ее пора.
Девчонка синеокая,
весна — моя сестра.
Нам бы тоже, братья-ляхи,
перейти с весной на «ты»!
Может быть, отступят в страхе
стражи лжи и темноты...

(Прим. перев.)

[1] Книга вышла осенью 1988 года в «Издательстве политической литературы». *(Прим. ред.)*

Критика

ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ

ВПЕРЕД — К ТРАДИЦИИ!

Тончо Жечев — балканский мыслитель

Уразумения из дневника

15.7.88.

В болгарской литературе сегодня, на мой взгляд, две самые крупные, мирового уровня, фигуры: писатель-прозаик Йордан Радичков и мыслитель-литературовед, критик и эссеист Тончо Жечев.

В них болгарский Дух озирается: постигнуть и себя и мир. И в этой работе само- и миропознания создаются произведения общеценные и добываются уразумения оригинальные, всех касающиеся — и, в частности, нас: СССР и России, советской и русской культуры.

Недавно в издательстве «Радуга» вышла книга избранных статей Тончо Жечева «Судьба народа — судьба литературы» [1].

Широта и глубина — вот проблема для каждого народа и его художника. Быть «на уровне» и «в курсе» современности землян, мировой цивилизации, ее проблем и языка (широта кругозора и образования) — это нужно не только для горизонта миропонимания и обобщений, но и чтоб восценить свое, домашнее, региональное, избавиться от «комплекса неполноценности» малого и «отсталого» народа перед большими и развитыми, перестать, лихорадочно и задыхаясь, «догонять», а остановиться, успокоиться и вникнуть — в свое местное, почву и корни, поняв, что кустарное изделие местного умельца несравненно ценнее фабрично-конвейерного, а фрукт доморощенный слаще взращенного на химии...

Но это сейчас мы становимся прозревшими такое понимать — экология, Байкал, народные промыслы, отравленная пища и лоно женщин, рождающее дебилов; манкурт как «новый человек» без «родимых пятен» «проклятого прошлого»: домасемьи, частной честной жизни (а в общественном учреждении детдома) вырастающий; ужасы Чернобыля, ГУЛаг как плод единодушия «социалистического» — все это отрезвление от культа широты-всемирности-модерности и «передового» (будь то техника или «единственно правильная идеология») научает нас ныне не просто с запоздалой горечью и с грехом обернуться назад в ностальгии, но и спасительно и самосохранительно возрождать почти намертво скошенную Вертикаль: почву, корни, личный труд на своей земле и достоинство отличного от всех мнения...

Это — итог развития человечества к концу двадцатого века и общего помудрения. Мы уткнуты фактами — «упрямой вещью» — к такому перепониманию ценностей («перестройка»!).

Но каково было тем, кто прозревал это — в разгар самой СТРОЙКИ и в ходе упоения и иллюзий абсолютных «успехов»? А именно такова роль МЫСЛИТЕЛЯ в каждой стране-культуре и его функция-миссия именно НАРОДНАЯ: быть как бы РЕЛЕ — чутким прибором, на корню улавливающим тенденции и вектора и перекосы, и все осмыслять-связывать, привлекая опыт истории своей и других стран и мировой культуры.

Именно такова фигура Тончо Жечева и его труд-подвиг миропонимания вот уже несколько десятилетий в послевоенной Болгарии. Родился в 1929 году. Как и Радичков. Как Айтматов (декабрь 1928). Как и я... Брат он по опытам жизни, фазам истории и проблемам для Духа.

В чем особенность этого поколения? Ее можно словами Гамлета пояснить:

Распалась связь времен:
Зачем же я ее восстановить рожден?

Только если для того, юноши (хотя вообще-то ему тридцать, и он «тучен», но

[1] Тончо Жечев. Судьба народа — судьба литературы. Избранные статьи. Перевод с болгарского. Предисловие Д. Ф Маркова. Составители В. И. Злыднев и Н. Н. Пономарева. М., «Радуга», 1987.

памятуется «юношей бледным со взором горящим...»), мир раскололся единожды, то для нас катастрофальные разломы уклада жизни и системы миропонимания происходили несколько раз,— и все эти пропасти надо было в душе носить-переживать-передумывать — и искать синтеза, и возвышаться к такому обзору, чтобы ум-дух мог все понять-простить мудро (пусть и со страданием острейшим) и сообщить вырабатываемый синтез — urbi et orbi — своему городу-народу и миру-человечеству.

Вот Тончо Жечев. Болгарин корневой, выросший в селе, на земле, слушая мать и бабку, «преданья старины глубокой». И вот он уже — секретарь болгарского комсомола, деятельный и энергичный. Затем — директор Института болгарской литературы. Это сочетание мечтательности-чувствительности и интеллектуального сосредоточения и полета умозрения — да еще с тягой к практической реализации; отвращение от абстрактной онанистической логистики и самоудовлетворенности только в том, что я понимаю, а на ближних мне начхать (как это невольно получилось у меня); горячее сердце, рвущееся к внедрению добытых важных пониманий,— составляет и трогательную и героическую черту в Тончо Жечеве. Потому что он бился, получал удары, падал и снова вставал, как Антей, чуя в своем интеллектуальном поиске правоту не лично эгоистическую, а именно крестьянски-народную.

Что же это за пласты бытия и шкалы ценностей, которые прошли через жизнь-душу Тончо Жечева за 60 вот уже лет и которые ему выпало, многократным Гамлетом, вязать во единство в своей душе, уме и поведении (ибо, человек натуры патриархально-цельной, не может он в расслабленном разрыве и механизме скептицизма существовать: когда человек плюет в безнадежности на Эрос Единого и предается кайфу мелких приятностей и понятий)?

Это — патриархальная, крестьянски-родовая идиллия в детстве. Может, она и не была такою уж идиллией, но из «непрекрасного далека и поздна» последующих жестоких пертурбаций в Социуме она в ореоле золотого утра и полдня солнечного предстает. Это уклад вековечной Болгарии, что даже тысячелетие, можно сказать, один и тот же; и его в себя вобрал в 30-е годы нашего века Тончо Жечев. Потом, в отрочестве — война, вопросы, сомнения: надвинулся из широты чуждый мир и потревожил шар-круг дома-семьи, сей балканский, эллино-болгарский Сфайрос...

Я недаром уж второй раз употребляю эллинские мифы и идеи для характеристики Тончо Жечева. Он — мыслитель балканский и глубинно-интимное сродство ощущает с традицией не только болгарской, но и древнегреческой, себя, и ум свой, и проблемы чуя их продолжением и новой жизнью. Недаром так пластично умеет он выразить проблемы современного человечества и болгарства на языке эллинских моделей. «Миф об Одиссее», «Теории и истории некоего Пигмалиона» — вершинные его произведения последних лет.

В то же время он пропитан и христианской, православно-византийской системой идей, и она послужила матрицей для его монументального труда «Болгарская Пасха, или Страсти болгарские» (Димитровской премии и от социалистического Государства за книгу эту удостоен).

И он — увлеченный социалист-правдолюбец; ведь и социализм в Болгарии совсем не привнесен был советскими воинами в 1944 году, но органически, народно-кооперативно развился еще в 20—30-е годы, и так естественно сросся с болгарским общинным укладом «задруги», и охватывал уже четверть болгарского населения...

1944 год, Девятое сентября, радостное освобождение Болгарии Россией — и восторг и упоение перед всем советским, желание скорее перенести себе то, что выработал передовой в социализме «старший брат», наивное преклонение, заимствование, верование в непререкаемый авторитет и правильность идущего из Советского Союза, и забвение, и недооценка своего, мудрости традиций.

И это упоение целиком внял в себя молодой Тончо Жечев и деятельно вводил в болгарском комсомоле советские модели. Он и учился потом в Москве, в аспирантуре Академии общественных наук... Но здесь новое упоение дано было его чуткой душе и разуму: Россия, великая русская литература, Толстой и Достоевский, Тютчев и Чехов... Пронзительно взошли они в его существо, оросив сердечно-нравственную в нем глубину и напитав... Так что когда он в своем последующем (в книге «Болгарская Пасха...») противопоставлении Цареграда — как центра болгарской культуры эпохи Возрождения, мирно-просветительского,— революционно-кровавым тенденциям, идущим с Севера, которые монопольно превозносились официальной теперь историей,— вроде бы и «играл на понижение» русского влияния, то не внешняя, а полемика в нем самом; во глубине его духа шла, оспаривание дорогого!.. А можно и иначе понять: просто им поднята иная и в русскости традиция — линия гуманно-просветительская, направленная на преображение внутреннего человека (Толстой, Достоевский, Чехов...) в отличие от слишком в то время (в 40—60-е годы XX века) односторонне поднимавшейся у нас и в Болгарии традиции революционного насилия и преобразования внешних условий (Белинский, Чернышевский): изменим внешнее — и автоматически хорошим станет человек, сообразуясь с обстоятельствами... Тут взгляд на человека — как на механизм: без свободы воли и самоопределяемости изнутри. Тончо Жечев же, как и славная плеяда талантливых литераторов, с ним выступивших: Крыстю Куюмджиев, Здравко Петров и другие,— поднимали ценность личности, этического и эстетического начал, ратовали за путь интенсивного развития внутреннего человека — пусть и за счет пригашения ретивости внешних преобразований: экономических, политических, идеологических...

Но тогда упоение государственно-административным насаждением социализма: перегнать даже «старшего брата»! — обрушилось и на идеи и произведения Тончо Жечева и его круга. На них вешались ярлыки идеологической преступности против

марксизма-ленинизма. Сначала вменялись в вину эстетство и элитарность. А потом — национализм и идеализация патриархальности...

Это было нелепо слышать из уст догматических, малообразованных людей, штудирующих последние резолюции; и они-то себя предлагали как интернационалистов и ратоборцев за современнейший социализм — и поучали этих писателей, глубоко и широко образованных и в древней и новой литературе — причем не внешне (как у образованцев), а глубинно-творчески все внявших...

Но продолжу перебор-смотр тех сломов и периодов истории и идей культуры, которые рассекли жизнь и дух Тончо Жечева и нашего поколения. После первых восторгов второго Освобождения Болгарии Россией настал крутой догматизм и «культ личности» (конец 40-х—первая половина 50-х годов), и в Болгарии пошли репрессии, и телесные и идеологические.

Но вот XX съезд у нас — и апрельский пленум 1956 года там. Оздоровление, пробуждение живых творческих сил — и на этой волне и Йордан Радичков, и Тончо Жечев, и так называемое «апрельское поколение» деятелей культуры сформировалось...

Однако «застой» не миновал и Болгарию — и пошло размежевание среди прежних молодых... Поначалу будущие дифференции были скрыты: все возрадовались творческой свободе и развитию. Но очертились скоро и линии.

Одни — за истинный, революционный социализм, с ориентировкой на чистую традицию, до «культа личности»: против репрессий, но за идейную «чистоту» и строгость и аскетизм, почти сектантский.

Другие — с ориентировкой на модерный Запад и модные там течения и сладкую жизнь.

Третьи избрали чиновническо-прагматическое устроение при власти, какая ни есть в данный момент,— то центр «застоя».

Четвертые — за возрождение национальной субстанции в бытии страны и в культуре.

Радичков и Тончо Жечев вняли в себя все: и современное евронейство, и советскость, и русскость — но переработали по-своему.

И потому-то их произведения оказались теми, что и национальную культуру развили-двинули, и новое-оригинальное принесли в мировую культуру, интересны и другим народам.

Особенно сейчас, в эпоху «перестройки» и восценения индивидуального труда и мысли и почвы, органического развития в хозяйстве, политике и культуре,— то, что наработал-надумал Тончо Жечев,— в самую десятку приходится и нам.

И вот - попробую передать некоторые из его идей и как они развиты.

Начну прямо с наших российско-советских проблем: в прострации лежит земля, брошенная, отравленная и невозделываемая. Как возродиться? Нечерноземье поднять? (Но также и Украйну, и Белую Русь, и Сибирь...) Через любовь! — отвечает мыслитель.

Вот цепь любви: мать, семья, дом-двор, место рождения (село-город), родина. Когда еще цела органическая жизнь в стране, ее поэт восклицает: «О мать родная, родина милая!» (Ботев). Так же и Вазов: смотрит на Болгарию, а видит свой Сопот-городишко, двор дома и мать.

Цивилизация через механизм отчуждения, расширения круга жизни (и, в частности, интернационализм пролетариата) рвет эту цепь... «Самое слабое звено в ее цепи — среднее... родное место более всего поддается переменам и подвластно времени... Жизнь становится подвижной. Выравнивающая и стандартизирующая сила способа производства незаметно лишает своеобразия родные места... Развитие средств коммуникации стало создавать еще более широкие связи со все более крупными общностями. Но только человек — продукт стандартных норм...— может считать, что приобретает так много взамен утраты такого малого. Он напоминает мужчину, который считает, что знает любовь только потому, что любит женщин, а не потому, что любил женщину...»

Да, кажется, так это мало. Подумаешь — переселился, изгнан «дух места», не скажешь: «Вот моя деревня, вот мой дом родной...» Но ведь утрачивает то личное чувство, о коем Пушкин: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». А с этим вместе — и диалект, и язык, и сгиб мышления, и образ, и местный колорит...

Но более того — и производство, экономика хиреют! Наемник травит землю химией, идеологический чиновник балаболит на абстрактном языке; а дети распадающейся семьи — в детдомах дебилы. Где ж взяться любви к Родине? И как возродить ее экономику, сельское хозяйство, быт и культуру?

Основное звено — «гений места»: снова сесть-вернуться на землю, завести дом и двор, где бы деторождение обрело надобность (свои работнички), а чрез то и земля — любящих ее оратаев (не ораторов).

Подобно тому как мы рушили все это святое, всю эту естественную цепь любви, исходя из всеобщего: вселенский идеал лучшего будущего для всех, коммунизм, человечество, любовь к дальнему (и вытравляли любовь к ближнему), а строили, исходя из этой идеологии и набора чувств,— так *пере*стройка (как воз-рождение) должна в обратной последовательности вершиться: семья-гнездо, дом-двор-наследство (как память рода и труда семьи, как сыновняя почтительность, не-хамство), своя земля, соседи, страна. Об них нечего заботиться сначала: их благоденствие вырастет из той цепи само собой.

Вот почему не устает Тончо Жечев напоминать о РЕГИОНАЛЬНОМ. В статье «От регионального к национальному и общечеловеческому в развитии литературы» он пишет: «Жизнь человеческого ума всегда более склонна к универсальному, общему, он легче преодолевает, хотя иногда и поверхностно, легкомысленно, региональные и национальные границы — они не являются для него трагическими или драматическими преградами. И наоборот, жизнь человеческих чувств всегда связана с чем-то осязаемым, определенным, она гораздо

более обособлена и регламентирована традициями, семьей и родом, временем, конкретными лицами и событиями, отношением к родному месту и региону». И вот именно эмоциональные корни литературы находятся под угрозой: усиливается «опустошающее воздействие эмоционального суховея».

Но все не просто — тут драма: ведь бежали-то недаром из родного гнезда — в тяге к широкому миру — и Есенин, и Чехов, и Яворов; художнику «становится тесно и душно в маленьком, теплом, интимном мире, и... ему холодно — в большом». «Гений места» мог удушать «мещанством», теремной заскорузлостью... Но важно, чтоб было, куда возвращаться — в покаянии. Иначе — тот безвыходный стон-ностальгия о Матери, что у наших «деревенщиков», кто дали стране опамятование и восценение того, что значит не абстрактная «родина», а «край родной»: вот он поруган и измызган, как та, с глазами — «синими брызгами», у Есенина...

«...Охват всего регионального, а через него и национального, мира в искусстве является одним из самых естественных... и живучих путей к постижению общечеловеческих мотивов, к созданию художественных обобщений масштабного характера... При этом существуют два возможных пути к достижению цели. У таких художников, как Вазов, Шолохов, Фолкнер, региональный мир является непосредственной данностью (то есть жив, цел: художник в нем живет, и влюбленно впивается, и описывает — общечеловечно.— Г. Г.)... Другие, как, например, Иво Андрич, Томас Манн, Пейо Яворов, достигают цели больше в результате своеобразного интеллектуального Магелланова путешествия, которое, если оно большое и настоящее, оканчивается там, откуда началось: параболическая мысль после предельно драматического усилия постичь вновь силу и значение простых, как молитва, человеческих чувств приводит писателя наконец к осознанию того, „что́ Итаки означают"».

ОДИССЕЙ — вот тут модель: отплытие в широкий мир, борения-испытания, расширение кругозора, страдания — и восценение родного очага. И с какой легкостью бездумной человек в истории цивилизации отрывался от гнезда патриархального — с адекватными же пропорционально борениями придется ему преодолевать препятствия на пути возврата домой. Тут и соблазны легкой жизни (сирены, и Калипсо, и Цирцеи), и искусы уму и творчеству (феаки)... Но даже «в такой мучительно экспериментальной прозе, как «Улисс» (Одиссей же! — Г. Г.) Джойса, мрачном интеллектуальном построении, в котором странствия человека предстают в декадентской интерпретации, пульсирует эмоциональный, первичный опыт, идущий от Дублина, от всей специфики ирландской истории».

Одиссей вырастает в символ пути человеческого в ходе всей прошедшей истории — и нам образец. Тончо Жечев пишет вдохновенный «Миф об Одиссее» (как Камю — «Миф о Сизифе»), где развивает главную мысль: «ВПЕРЕД — К ТРАДИЦИИ!» Ибо Итака — родина, после всех искушений, опытов, и изощрений души, и ума, и потрясений, и страданий человека, народа, эпохи (в том числе и нашего, советского, семидесятилетия, и их, болгарского, сорока-пятидесятилетия) — не позади, «разбитое корыто», не к тому же и не теми же возврат, а приход-приблуд в Отчий дом, к Пенелопе.

Но хорошо было Фолкнеру, и Шолохову, и Томасу Манну: было, куда возвращаться, дом сохранен, и Пенелопа ждала. А нам, это все в беспамятстве уничтожившим, теперь предстоит воссоздать Отца, сыну родить Мать и Отца.

Да эта же идея кем-то была уже высказана-напророчена? Ба!" Да это же Николай Федорович Федоров! Его «безумная» историософская идея: «Воскрешение отцов сынами» — есть мифологическое выражение именно этой тенденции и задачи, которая как раз ныне в ПЕРЕСТРОЙКЕ перед нами стоит: возрождение — как воскрешение — плодородия земли, и лон женских, и вкуса труда на себя, и живого вкуса плода — доморощенного, а не того, который «нахимичили» абы как...

Итак, Одиссей, Блудный Сын, Федоров, Покаяние, Перестройка... С разных поприщ заходят к сходному деянию. И вот Региональность: недаром она царска — по корню (rex, regina), не рабска. Напротив, когда стыдятся «провинциализма» своего: «И когда охотно покупаем готовое у других, и когда в панике и ужасе за свою самобытность замыкаемся в скорлупе, мы остаемся рабами, нас душит, лишает лучших сил призрак провинциализма».

А это — грозная и реальная опасность для малых народов и художников, из них выходцев, в нашем веке: сопоставление с более развитыми народами может порождать «ядовитые капли нигилизма, подражательства или, как спасение, эпигонство, свое или иностранное». «...Недоросший «европеец» — это лишь испорченный провинциал».

Но так же и для нас, советских, после столетия почти замкнутости и оторванности от мира — Запада и Востока — открываются клапаны, и привходит наработанная ими цивилизация; и наши хватаются за новейшие и внешние формы, за манеры и жанры и приметы модерности: это легче и дешевше всего. «История убеждает нас, что бай Ганю (тип болгарина-парвеню в повести Алеко Константинова.— Г. Г.) быстро усваивает внешние признаки европейца — одеваться, как другие, купаться, уметь пользоваться вилкой, знать, как есть рыбу и раков. Это не трудная наука. Он быстро заучивает и стереотипные фразы — признак культуры и образованности (не про наших ли «выездных» начальничков и «интеллигентов»-«образованцев»? — Г. Г.). Труднее всего ему научиться понимать себя и знать себе цену. Ему трудно оторваться от того культурного мещанства, которое знает лишь, как правильно держать вилку. Из-за боязни выглядеть европейцами меньше, чем мы есть на самом деле, мы обычно не обладали смелостью быть теми, кем являемся фактически. Стремясь стать интересными для других, мы превращались в неинтересных для самих себя обезьян».

Итак, и ВПЕРЕД В ПРОВИНЦИЮ! «Географическая провинция, которая в настоя-

щее время становится все у́же и неопределеннее... была и не раз оказывалась «духовной столицей». Надо ли напоминать о Веймаре, Ясной Поляне?»

Но это теперь для нас будет означать н о в о е. Неча нам отрекаться от того пути, которым мы шли 70 лет борений и страданий, хотя это он, при перемене курса и направления, теперь оказывается во многом «старицею», боковым путем, даже тупиками... По слову древней формулы: «и будут первые последними и последние станут первыми». Мы были первыми и далее всего прошли по этому вот пути — и теперь, при повороте, находим себя далеко назади, отсталыми, «последними» — и «провинцией», по сравнению с уровнем современной цивилизации. Так что же: опять панически бросать, сниматься с места — хвататься за чужое и его ману́ и майю?

Да ведь как «мои года — мое богатство», так и нашей истории муки-опыты страданий и уразумений — наше богатство и золотое дно для покаяния, размышлений и творчества.

О, я возьму твой черный стыд,
И мне он станет вдохновеньем —

вот слово любви к родине Ивана Вазова; и эта формула откликается в нашем сердце болью и любовью — источником живого творчества и познания.

Взгляд в широту бытия — ведь это ж вариант ЗАВИСТИ: ценится чужое и другое, и ослепляется взор к корневому. Потому вектор выправляющегося взора должен быть вертикален — вглубь: себя (видеть свой грех и бревно в глазу) и почвы. И чем она убоже и беднее стала, «чем хуже почва, на которой растет дерево, тем глубже оно должно укорениться в землю, чтобы дать возможность развиваться пышной кроне». Заглубление любви лишь спасет, возродит.

Сердечность=коренность=личность. Абстрактность (приверженность рассудочным идеям, шибко всеобщим)=поверхностность, плоскость (площадь-публичность), холодность, механичность существования. Так мы и жили... А не надо... Иначе надо...

16.7.88.

В мысли Тончо Жечева постоянный предмет — Россия, а собеседник — русская литература. Тут — любовно-ревнивое отношение. Ведь великий старший брат, первенствующий и числом, и авторитетом духовным, всегда был учителем, перед которым благоговел болгарин. Однако именно этот пиетет и был гигантским препятствием к обретению духовно-творческой самостоятельности, мог и подавлять веру болгарских творцов в себя, в свою способность создать нечто мирово-первоклассное. И потому особенно пристально вглядывается Болгарский Ум мыслию Тончо Жечева в безусловно «святую русскую литературу» и в русского человека и писателя с затаенной проблемой: а нам-то в мировом Духе дело какое остается? Или все разрешила сия литература, и нам, болгарам, лишь ученичествовать?..

В итоге этого вглядывания явились несколько превосходных работ о русских писателях, в частности, о Толстом и Чехове, где развит такой оригинальный взгляд, какого изнутри русского самосознания мы не имеем.

Вообще бытует мнение, что француза лучше всего понимает француз, а русского — русский... Конечно, везде свое своими количественно и детально изучается превосходяще любые чужеземные опыты. Но вот насчет точек зрения тут бывает бедновато и монотонно. Взгляд со стороны вдруг улавливает такие особенности, которые своим-то и невдомек.

Вот почему я даже предложил бы прямо в программы изучения русской истории и литературы включить раздел: «иностранцы о России и ее искусстве», где бы не заниматься нагромождением хвалебных цитат (такого и ныне прехватает!), но поиском странных нас пониманий. Как своего рода «игра в мнения» — только не об личности, а о стране-народе и национальном Духе: как он пахнет на чуткие ноздри? — воспонять. А то как бывает — и в семье-квартире? Сам-то принюхался и в инерции уже не замечаешь. А войдет человек со свежего воздуха или воспитанный на иных ароматах — и его одурманило прелестью или стошнило сразу...

Приходило ли вам в голову задаться таким вопросом насчет Льва Толстого: а можно ли бы с ним сесть поболтать в кафе за чашей вина? — и сразу: «Да что ты? Окстись, кощун!..»

А между тем именно таким вопросом задается болгарин — и, естественно, цепенеет от ответа: «Страшновато с глазу на глаз с таким бесконечно серьезным человеком...» А ведь сразу некое новое и странное уразумение насчет Толстого добыто: в самом деле — ЮМОРА-то Толстой и не знает, и нет его в его произведениях. А это же — кардинальная черта, много объясняющая в складе его ума и миропонимания...

Бесконечный серьез — это ведь и недостаток, и даже глупость в человеке. Больно много на себя берет и себе значения придает таковой — жалкий смертный же и песчинка, меры своей не знающий! Тут — «гибрис» античная, гордыня, что есть вина трагического героя. И Толстой в высшей мере в этом повинен: взвалил на себя заботы и проблемы, что впору понести лишь Богу, Бытию в целом.

«Бесконечность!» — она для нас, во России, понятие-ощущение привычно-домашнее, и мы уж и не задумываемся над ее сверхчеловечностью — и жестокостью. А болгарин из страны маленькой, что по мере и по плечу человека среднего, где по его масштабам все: и количество земли во владении, и дом-семья, и государство, и запросы...— зато и успевает справляться со всем этим, а не, замахиваясь на великий масштаб, коснеет в лени и водке или «лишним человеком», любимцем дев и дам, свой век препровождает. В болгарине Протагоров принцип: «Человек есть мера всех вещей: существующих — что они существуют, несуществующих — что они НЕ существуют»,— вполне выражен и присущ — им, ближним к эллинам на Балканах. И на это обращаю внимание: «несуществующих, что они НЕ существуют». А вот русский дух — как дивится Жечев — склонен к метафизике и усматривать не-

существующее — как реальность и влечься к ней (идеализм, максимализм, увлекаемость к сверхидеям и сверхцелям: Китеж, царствие небесное, коммунизм, мировая революция — и подай сейчас же, а то расстреляю!..— и тебя, и себя!..). И это — в великих святых русского Духа: и в Толстом, и в Достоевском — наедине с бесконечностью, тет-а-тет. То-то и мерзнет простой средний человек, теплокровный болгарин, в его присутствии: где уж нам? Толстый! Да еще — Лев! Большой какой и грозный! Пуще Бога самого. Иль человекобог? Молох?.. Самосотворенный кумир?..

Так фамильярность некоторая, что — как амплуа-маска-роль в болгарине (он чувствует себя средним, на звезды не замахивается но в этих своих пределах — на здравый смысл и резон свой четко опирается и смеет судить) — дает архимедову точку опоры, чтобы переворачивать даже святую русскую литературу и взвидывать в ней ей самой не так видное.

Того же Толстого он не может представить молодым хлыщом, а только старцем— или младенцем, каков он, наивный, и в старости... Вот тоже черта: болгарин же— вечный зрелый, средний возраст в нем с детства и до конца... Тоже мера и здравомыслие — с юмором на себя и некоторым светлым скептицизмом — на мир... Не имеет больших претензий... Также и к любви: видит ее в сродстве с актом рождения, а не в паре со смертью, как это автоматично и в романтизме, и в России, где не Рождество, а Пасха (Смерть-Воскресение) — первопраздник. И это и человеческая, и тоже христианская позиция: сомирение=умение жить в мире с миром и собой.

Русский же, вот Толстой,— в разладе вечном и бесконечном (то тоже — не эманация ли пространства тут, не воля ль Космоса?..)

И потому столь пристальное и сострадательное внимание привлек в болгарине Чехов, в ком родной и симпатичный принцип МЕРЫ, гуманно-человеческий,— на российском беспределье, безудержности и невоспитанности,— взят как принцип и поведения, и мысли, и творчества. Но ведь с каким максимализмом к себе, как кантовский категорический императив, прилагает Чехов этот принцип, доводя свое хилое тело до истощения! Безмерным усилием добывает — Меру! По-русски самопожертвованно, ее ради!..

Этому парадоксу посвящена великолепная статья «А. П. Чехов, или О величии и ничтожестве здравого смысла».

Во-первых, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ! Уж кто в России над ним не потешался? От Пушкина («тьмы низких истин...») до Горького (Уж и Самгин...) ...А между тем это божественная способность, данная гомо сапиенсу для прожития в мире, среди Космоса: человек одет не шерстью, а здравым смыслом и им защищен. Ну это — если жить хочет. А уж если во взыскании к Бесконечному идеалу влеком, в сущности, Смертию, тогда здравый смысл не нужен: ограничивает-огранивает-охраняет живое существо(вание). Выжить — это закон и долг для болгарина (школа ига пятисотлетнего). Для русского же Жизнь — а куда бы ее зашвырнуть поскорее? Под какую цель-идеал-идею?..

Скорее жизнь свою в заботах истощи!
Разлей отравленный напиток!..
(Лермонтов)

И как один умрем
В борьбе за ЭТО!
(Песня гражданской войны)

И вот нашлась такая натура и в России, мальчик из провинции, кто воспонял-восценил и воспел меру — среди и на фоне привычного культа российской широты и безразмерности (и узаконенного и освященного великими авторитетами Духа), что стал уже разрушительным автоматизмом самонастроения (точнее: саморасстройства — и страны расстройства),— взял на себя миссию — да, эту самую, «умеренность и аккуратность» поднять в цене,— и с немецким педантизмом принялся себя выделывать-воспитывать, выдавливая по капле раба (а «раб»-то у нас не простой, а залихватский, «лихой человек», по ледяной-то пустыне что бродит-колобродит...), святыню ДОЛГА зная и исполняя — не великого (там, к Отчизне или Революции), а к беспомощным родственникам своим: их содержать — его трудом...

Но ведь и это дело у него не спокойно-умеренное вышло, а как миссия: и он на ней, как Мессия, распялся в итоге. Как бы принцип болгарства (ну, вообще европейства: цивилизованности-воспитанности) он пытался по-русски атлантово вознести — и надорвался. Почему снова и этот— вроде бы юморист! — а к себе не может с мерой-юмором отнестись, но так же жесток-беспощаден-серьезен, как и Лев Толстой, с кем он по идеям радикально расходился?..

И тут сторонний взгляд зрит — глубинное тожество: в «типиконе» души и установке, в структуре-манере-форме, которая есть содержание первого порядка и первый смысл, по отношению к чему сами высказываемые идеи и позиции — суть смыслы вторые, и поверхностные, и не столь важные.

Тот же Толстой для него одно и то же говорит, когда в 1859 году с Дружининым подписывается под принципом искусства для искусства, а в 80—90-е годы разоблачает искусство и отрекается от художества. И тогда и потом «его суровые приговоры в области морали и культуры выносились с отчаянием террориста». А то, что в одном случае объект его терроризма — эстетика, а в другом — этика, это уж производно и не суть важно. *Содержательность* самой *формы*, структуры — вот что улавливает сторонний взгляд, чего люди свои, там русские или французы, свое осознавая, находясь в самой этой структуре и форме, не могут зреть, а различия усматривают лишь на этаже «идей» и формулированных высказываний-цитат. А те — на уровне цикад: сам стрекот чужого голоса и его тембр — улавливают.

«Тихо и незаметно он (Чехов.— Г. Г.) предпринимает колоссальное усилие, чтобы поднять здравый смысл на такую же высоту, на какую были подняты метафизические проблемы в драме его великих предшественников... Позже он скажет Ски-

тальцу, что мы и природу заразили ленью, и вся наша пресловутая «психология», вся достоевщина от этого, что мы ленимся работать — вот и выдумываем», чтобы руководить! — добавим.

«Чехов... всегда принимает сторону жизни и рода... А что такое жизнь и человеческий род, что такое их интересы, если не нечто среднее, то есть сам здравый смысл во всем его величии, не само благоразумие в его метафизическом значении».

Ставлю пари: невозможно в русском Логосе такое утверждение, не должно быть его в русских текстах,—и Маяковский даже вызывающе похваляется, что никогда его не посетит «позорное благоразумье». А тут — Метафизическое (то есть превыспреннее, божественное) значение Благоразумия!.. А вот эллин и болгарин — могут так сказать, понять-взвидеть...

И конечно, трагедия юмора в России привлекает болгарский Логос поразмыслить. «В эволюции Чехова присутствует один весьма рискованный и чисто русский момент. Я имею в виду превращение Антоши Чехонте в Антона Чехова, судьбу русского писателя-юмориста вообще. «Неужели в русском смехе есть в самом деле что-то роковое?» — этим вопросом завершает Короленко свои короткие и трогательные воспоминания о Чехове. Пушкин прозорливо окрестил Гоголя «веселым меланхоликом», и во всей истории русской литературы нет более потрясающей картины, чем последние годы жизни царя русского смеха». «Черное солнце меланхолии» подстерегло и в нашем веке Зощенко еще... И везде-то «сквозь слезы» и чрез печаль-депрессию: как какой-то гонимый и бесправный пришлец тут — смех-юмор, среди льдяно-серьезности-то.

А между тем это же просто отправление организма — гомо сапиенса — естественно-очистительное, помогающее жить и выжить, лекарство, общинно принимаемое (двумя минимум: нельзя безумно смеяться одному; а вот плакать и мыслить-страдать— можно) и неотъемлемое. Юмор — обязателен как этикет и вежливость во встречах и разговорах болгар. А тут — государственно ответственное дело! И Метафизически опасное... Мировоззренческое!..

Люди с Балкан извека питающи были для России (Григорий Цамблак и Феофан Грек...); несли с собой особый взгляд и склад ума, манеру мыслить и представлять все. Ныне им не надо телом ездить-переселяться, дабы войти в культуру и нашу, но трансмиссия перевода удобно доставляет духовную пищу в наше время и место— без ихнего отрыва от своего. Воспользуемся же теми пониманиями, что для всех добыл за жизнь балканский мыслитель Тончо Жечев.

В качестве Постскриптума — справка об имени. «Тон-чо» — это от «Антон»: звательный падеж и с уменьшительно-ласкательным суффиксом. В такой форме имя в Болгарии считается полным, как и «Милка», «Здравка». «Крыстю»: человека будто окликают фамильярно (семейно). И это тоже о человечески-домашней мере и близкодействии свидетельствует — как о свойствах болгарского Космо-Психо-Логоса.

Новоселки, июль 1988.

◆

К 100-летию со дня рождения АННЫ АХМАТОВОЙ

Е. ЭТКИНД

«...КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА»

Поэзия Анны Ахматовой на Западе. Германия и Франция

«Забудут? — вот чем удивили!..»

Анна Ахматова

1

На долю Анны Ахматовой, достигшей редкой для русского поэта старости, выпали некоторые международные почести: ее избрали доктором honoris causa Оксфордского университета, ей присудили итальянскую премию Этна Таормина... Ничего такого не испытали ее сверстники: ни первый ее муж Николай Гумилев (казненный за 45 лет до ее смерти), ни близкий ее друг Осип Мандельштам (умерший почти на 30 лет раньше ее), ни поклонявшаяся ее таланту Марина Цветаева (умерла раньше на 25 лет), ни Владимир Маяковский (покончивший с собой в 37 лет, почти за четыре десятилетия до смерти Ахматовой), ни даже Борис Пастернак (принужденный на пороге семидесятилетия отвергнуть Нобелевскую премию и доведенный безжалостной травлей до смерти за шесть лет до ахматовской кончины). Из поколения блестящих поэтов Серебряного века она осталась одна. Немало строк она посвятила ушедшим; «Надпись на книге» (1940), адресованную другу юности Михаилу Лозинскому, она начала словами «Почти от залетейской тени...» и кончила пожеланием, чтобы «...над задумчивою Летой/Тростник оживший зазвучал». Так она писала в начале второй мировой войны, а близко к ее концу, в марте 1944-го, создала первое стихотворение цикла «Венок мертвым», призванного стать реквиемом по друзьям:

> De profundis... Мое поколенье
> Мало меду вкусило. И вот
> Только ветер гудит в отдаленье,
> Только память о мертвых поет.

Она их всех пережила и все чаще ощущала свое растущее одиночество:

> Непогребенных всех —
> я хоронила их,
> я всех оплакала,
> а кто меня оплачет?
>
> *(1958?)*

С той прозорливостью, которая свойственна только истинным поэтам, она еще в молодости, едва потеряв Гумилева, произнесла:

> Все души милых на высоких звездах.
> Как хорошо, что некого терять
> И можно плакать...
>
> *(1921)*

Жила долго. Была, казалось бы, увенчана признанием. Однако посмертная ее судьба на Западе — во Франции и Германии — несчастлива и сравнить ее с судьбою оплаканных ею сверстников нельзя. Осип Мандельштам всюду широко известен — прежде всего, благодаря опрокинувшим все стены непонимания и неприятия мемуарным книгам его вдовы; впрочем, признанию Мандельштама способствовали и переводы: на немецкий — одного из лучших поэтов нашего века Пауля Целана, на французский — Филиппа Жакотэ. Число книг о Мандельштаме растет — большинство из них по-английски и по-русски, но и на немецком (Ральф Дутли, 1985) и французском (Никита Струве, 1982) они завоевали много читателей. Написано несметное количество биографий Марины Цветаевой; только за самое последнее время вышли по-немецки книга Марии Разумовской (Вена, 1981; она же появилась два года спустя по-русски), по-французски — Вероники Лосской (1987) и той же Марии Разумовской (1987); появился объемистый и много-

томный сборник докладов Лозаннского симпозиума, состоявшегося в 1983 году (1988), и большая монография Виктории Швейцер (1988). Повезло Марине Цветаевой и с переводами, в особенности французскими: Эв Мальре произвела в казалось бы негибком языке Расина «цветаевскую революцию»; раздробила синтаксис, субстантивировала многие конструкции, отбросив глаголы, насытила текст немыслимыми и в то же время вполне естественными новообразованиями, добилась небывалой смысловой и образной плотности. После ее смерти (Эв Мальре умерла в 1984 году в возрасте 38 лет) вышло две книги: поэмы Цветаевой «Поэма Горы» и «Поэма Конца» (издательство ««L'Age d'Homme», Лозанна, 1984) — параллельные тексты, русский и французский; и «Попытка ревности и другие стихотворения» («La Découverte», Париж, 1985), книга, содержащая также исследования Эв Мальре об эстетике Цветаевой и все французские тексты последней (переводы из Пушкина, Лермонтова, Маяковского).

Ничего столь же значительного для Анны Ахматовой не сделано. Нет во Франции и Германии ни одной солидной монографии, ей посвященной, не нашлось для перевода ее поэзии ни Пауля Целана, ни Эв Мальре (хотя и появились удачные переводы отдельных стихотворений и даже поэм — об этом ниже). Почему?

Первая и главная причина, вероятно, в том, что для Запада сама жизнь Анны Ахматовой недостаточно драматична, чтобы привлечь широкую публику. Она дожила до старости и умерла в больнице — эпизод ждановской травли и последующей гражданской анафемы («За тебя я заплатила чистоганом, / Десять лет я проходила под наганом»,— писала Ахматова в «Поэме без героя», обращаясь к английскому другу) не был достаточно хорошо понят: для иностранца ее трагедия куда менее очевидна, чем самоубийство Есенина, Маяковского, Цветаевой, чем остракизм, лагерная судьба и кошмарная гибель Мандельштама, чем издевательства чиновников и писательской «общественности» над Пастернаком, чем смерть Варлама Шаламова в богадельне. Известное впечатление произвела на французских читателей книга Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» (1980), но внешних драматических эффектов в ней меньше, чем в «Воспоминаниях» Надежды Мандельштам; книга Чуковской отличается мужественной сдержанностью, «скрытой теплотой» трагизма — она не обличает, а показывает и повествует. Немецкий перевод «Записок об Анне Ахматовой» (пока только первой части) вышел совсем недавно, в 1987 году, и то преодолевая равнодушие издателей ФРГ — перевод и издание пришлось *субсидировать*, оно осуществилось благодаря усилиям возглавляемого Львом Копелевым общества «Orient-Occident» (Восток — Запад). Собственно, и французский вариант этой книги (вышедшей в издательстве Albin Michel усилиями Люси Катала в переводе Люсиль Ниваа и Женевьевы Лейбриш) пришлось выпустить с сокращениями: читатели, как полагала (не без основания) редакция, не выдержали бы многочисленных подробностей и советской жизни, и биографии незнакомой им писательницы. Чуковская вышла по-немецки с содержательным и взволнованным предисловием Раисы Орловой-Копелевой; это способствовало распространению «Записок об Анне Ахматовой», но к большому успеху все же не привело.

Итак, одна из причин известного пренебрежения Запада к Ахматовой — непонимание ее биографии, восходящее к глубоко укоренившемуся непониманию советской повседневности. Чтобы как-то повысить интерес к Ахматовой, в ее биографии выискивают пикантно-эротические эпизоды, а то и сочиняют новые. В книжке французской переводчицы и критика Жанны Рюд «Анна Ахматова» имеется «Хронология»; год за годом рассказаны события ахматовской жизни. Под 1946 годом говорится об исключении из Союза писателей («avec blâme» — с осуждением), а под 1964 годом читаем следующее: «Избрание председателем Союза советских писателей» Présidente de l'Union des Ecrivains soviétiques). Что и говорить, такой поворот гораздо увлекательнее: из гонимой, из парии, из чуть ли не нищенки — прямо на писательский престол... Не удивительно ли, что в следующем, недавнем издании — почти 15 лет спустя — это фантастическое утверждение повторено? Так западные обожатели Ахматовой обостряют сюжет, кажущийся им недостаточно напряженным. На обложке одного из немецких сборников читаем о том, что Анне Ахматовой удалось вернуться в литературу в 1940 году благодаря заступничеству таких ее поклонников, как «любимая дочь Сталина Светлана, знаменитая артистка Алиса Коонен, писатели Тынянов и Вишневский» — все это тоже занятно, но неправда. Можно было бы написать особую работу, посвященную западной мифологии вокруг Анны Ахматовой (да и многих ее современников). Реальными фактами люди Запада удовлетворяться не хотят: им скучно. Большинство даже хорошо образованных читателей не способны осознать или даже просто представить себе, что такое «Постановление ЦК» сталинско-ждановской поры, что значили в ту зловещую пору «проработка», исключение из творческого союза, даже лишение продовольственной карточки. Они не вникают и в то, почему Анна Ахматова, прославленный поэт Серебряного века, вдруг замолчала в середине двадцатых годов и воскресла в 1940-м, чтобы написать «Реквием» и скрыть его от всех людей, кроме нескольких близких, которые выучили его наизусть и донесли до наших дней.

«Реквием» Анны Ахматовой, кажется, среди рекордов *не*опубликования: оконченный в предвоенный год, он появился в советской печати почти полстолетия спустя, в 1987 году. Стихи Андре Шенье ждали 25 лет, лермонтовский «Демон» — более двадцати (до 1860 года). На Западе «Реквием» появился давно — и в оригинале (1963), и в различных переводах (например, французских: Мишель Окутюрье — 1964, Андре Пио — 1971), но и эта поэма не вызвала настоящего интереса к творчеству Ахматовой. Сегодня для русских, прочитавших наконец «Реквием», трагизм ахматовской

судьбы представляется не менее черным, нежели ужас, обрушившийся на ее современников. Он может быть и еще страшнее.

Пастернак писал «Лейтенанта Шмидта», а потом переводил Шекспира, Гёте, Шиллера, Петёфи; Цветаева из далекой Франции восхищалась подвигом челюскинцев, не зная, не видя тогда ежовско-бериевского террора; Заболоцкий восторженно писал «Горийскую симфонию» и долго верил во всамделишность «Голубиной книги». У Анны Ахматовой иллюзий не было. Кто из ее сверстников мог сказать о себе:

Забудут? — вот чём удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

21 февраля 1957, Ленинград

2

Это стихотворение ждало своего часа 15 лет и появилось в одном из «Дней поэзии» (1972) через пять лет после смерти Анны Ахматовой. Мне оно представляется гениальным: глубокая поэтическая идея передана менее чем тридцатью словами, организованными так, что последовательно звучат разные, едва ли не противоположные друг другу интонации — от фамильярно-разговорной («...вот чем удивили!») до торжественно-одической, близкой к «глаголу богов» державинской эпохи («В эфире восстать голубом»). Как же вы хотите, чтобы такие восемь строк зазвучали на другом языке? Перевести их, вероятно, можно, но чудеса редки.

Такова другая причина отставания ахматовской славы на Западе: ее непереводимость. Чаще всего поэзия Анны Ахматовой — это самые точные и прямые слова в безошибочно убедительном порядке простых синтаксических построений, образующих узнаваемо-разговорную интонацию, сплетенную с иными интонациями или им противопоставленную. Ну, как быть на любом другом языке с такой миниатюрой 1959 года:

Что нам разлука? — Лихая забава,
Беды скучают без нас.
Спьяну ли ввалится в горницу слава,
Бьет ли тринадцатый час?
Или забыты, забиты, за... кто там
Так научился стучать?
Вот и идти мне обратно к воротам
Новое горе встречать.

Как передать это соединение «идиоматической усмешки» («Беды скучают без нас»), зловещей, но и потешной языковой игры («забыты, забиты, за...»), вульгарности («Спьяну ли ввалится...»), старины («Лихая забава...», «в горницу»), подчеркнуто обыденной, а на самом деле драматической речи («Вот и идти мне...») и рыдания, звучащего во всех восьми строках этого четырех- и трехстопного дактиля, который одновременно и напевен, и разговорен? Как передать мелодическую ассоциацию, восходящую к балладному жанру или к некрасовским стихам вроде:

Вкусны ли, милая, слезы соленые
С кислым кваском пополам?

Я сказал: непереводимость. Это утверждение принципиально неверное, не лучше ли сказать: непереведенность? Случается, что с неба падает изумительный, нежданный и, казалось бы, немыслимый перевод. На немецком языке некоторые из таких чудес созданы старым поэтом Максимилианом Шиком и нашими современниками Рольфом-Дитрихом Кейлем и Лудольфом Мюллером. Пример — стихотворение 1924 года «Муза»:

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Перевод Максимилиана Шика — одно из первых открытий поэзии Анны Ахматовой на немецком языке; он увидел свет в 1960 году, уже после ее неполной, но все же реабилитации:

Erwarte nachts ich sehnend ihr Erscheinen.
Dünkt mir, das Leben hängt an dünnem Band.
Ruhm, Jugend, Freiheit wollen nichtig scheinen
Vorm lieben Gast, der die Schalmei umspannt.
Nun tritt sie ein. Sie läßt den Schleier gleiten
Und richtet prüfend ihren Blick auf mich.
Ich frag': „Warst du es, die der Hölle Seiten
Diktierte Dante"? Sie erwidert: „Ich".

Чуть заметное усиление (амплификация) характеризуют этот хороший (хоть и первый) перевод: у Ахматовой просто «жду ее прихода», у М. Шика — «жду с тоской, с напряжением» (sehnend); у Ахматовой — «с дудочкой в руке», у Шика гостья «крепко сжимает свирель» (umspannt), у Ахматовой Муза «внимательно взглянула» на нее, у Шика — «испытующе направляет взгляд» (это вносит иные, более сложные отношения между Ахматовой-женщиной и Ахматовой-поэтом — оттенок сомнения). Усиления такого рода характерны: они происходят от недоверия к ахматовской сдержанности, к ее намеренному стилистическому целомудрию и от настойчивого желания сказать полнее и отчетливее то самое, что у Ахматовой выражено намеком.

В переводе Рольфа-Дитриха Кейля не хватает, кажется, только «дудочки», которую «милая гостья» держит в руке; эта по-детски трогательная смешная «дудочка», как и эпитет «милая» здесь нужны — они создают неожиданный контраст к дантову аду и к близости гибели, которую поэт предчувствует, ожидая «ночью... ее прихода». Соединение женственной прелести

с грозным трагизмом,— не это ли одна из черт ахматовской поэзии? Однако и «дудочка», и «милая гостья» угадываются в прекрасном тексте Кейля — например, в определении покрывала: «...der sie zierte»:

Wenn ich mich nachts bereite auf ihr Kommen,
Dann hängt mein Leben, scheint's, am seidnen Band.
Was kann mir Ehre, Jugend, Freiheit frommen,
Wenn sie mir naht, die Flöte in der Hand?
Sie kam, warf ab den Schleier, der sie zierte,
Und schaute dann sehr aufmerksam auf mich.
Ich frug: Bist du's, die Dante einst diktierte
Das Buch der Hölle? Sie entgegnet: „Ich".

Здесь удивительна не только безусловная *верность*, то есть стилистическое и предметное соответствие, но даже и внешняя, формальная точность (вспомним вопрос Пастернака — конечно, по другому поводу: «...можно ли быть ближе?»). Точность настолько велика, что кажется, будто оба языка созданы друг для друга:

И вот вошла... — Sie kam
...откинув покрывало... — warf ab den Schleier

(добавленное der sie zierte — украшавшее ее — компенсирует оттенок наивного кокетства, вызванный по-русски прежде всего определением «милая гостья»)

Внимательно взглянула на меня...

— Und schaute dann sehr aufmerksam auf mich

(Внимательно — aufmerksam, взглянула — schaute, на меня — auf mich)

Ей говорю — Ich frug (буквально: я спросил)
Ты Данту диктовала — Bist du's, die Dante einst diktierte

(прибавлю только слово einst: когда-то)
Страницы Ада — Das Buch der Hölle (буквально: книгу Ада)
Отвечает «Я» — Sie entgegnet': Ich.

Это ли не точность?

Близкими свойствами обладает французский перевод, исполненный Жаном Малаплатом:

Quand je l'attends au sein de la nuit noire,
La vie, alors, ne compte plus pour rien;
Qu'importent liberté, jeunesse, gloire,
Lorsque, sa flûte aux doigts, elle survient.
Oui, la voilà, brusquement dévoilée...
Fixé sur moi, son regard m'éblouit,
Et je demande: "Est-ce sous ta dictée
Que Dante fit l'Enfer? Elle dit: "Oui".

Ничего не потеряно, кроме эпитета «милая»; впрочем, и здесь есть известная компенсация: «sa flûte aux doigts» — не «в руке», а «в пальцах» (как бы в пальчиках). Кое-что переводчик добавил, главным образом ради рифмы: «au sein de la nuit noire» — «под сенью темной (черной) ночи» вместо простого «ночью»; «Oui, la voilà...» — «Да, вот она...» вместо «И вот вошла...», «son regard m'éblouit...» — «ее взгляд меня ослепил». *Noire* понадобилось для *gloire*, *éblouit* для заключительного *oui*. Добавления, не разрушающие художественную систему Ахматовой (кроме разве что традиционно красивого романтического штампа *au sein de la nuit* — «под сенью ночи»), но вносящие чуждые нюансы.

Эти переводы не совсем характерны. В отличие от предыдущих, как немецких, так и французских переводов из Анны Ахматовой, они скорее в традиции нашей, российской переводческой школы. Первый из них, перевод Кейля, был исполнен для немецкой антологии «Русская поэзия. Стихотворения за три столетия» (1981); составителем и редактором был автор этих строк. Второй — для французской антологии «Русская поэзия — с XVIII по XX век» (1983), вышедшей под руководством того же составителя. Работая над обеими книгами, я стремился сохранить лучшее, что было создано прежде и, ломая дурные привычки, творить новое. У немцев переводов было больше, но для антологии сохранить мало что удалось. Среди немецких сборников Ахматовой выделяется изданная в ГДР книга «Небывалая осень» (1967), переведенная Зарой и Райнером Кирш; оба они — поэты талантливые, но переводят Ахматову на свой манер, отбрасывая и классическую метрику, и строфическое строение, и рифму. Анна Ахматова изредка, когда ей это было нужно, писала верлибром; безрифменные и безразмерные стихи открывают, например, сборник «Белая стая» (1917):

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем...

Смысл этого верлибра для Ахматовой выясняется только на фоне всех последующих стихотворений, написанных пяти- и четырехстопными ямбами, вполне регулярными дольниками и даже классическим александрийским стихом:

А! Это снова ты.
Не отроком влюбленным,
Но мужем дерзостным, суровым,
непреклонным
Ты в этот дом вошел и на меня
глядишь.
Страшна моей душе
предгрозовая тишь.

По контрасту верлибр приобретает разящую силу. А если верлибром переведено все подряд — в том числе и «А! Это снова ты...»? И даже «Песня о песне»:

Она сначала обожжет,
Как ветерок студеный,
А после в сердце упадет
Одной слезой соленой.

В переводе верлибром исчезают обе песни: и та, о которой идет речь, и та, которая эту речь ведет. Приведу один пример — перевод Райнером Киршем восьмистишия 1957 года, посвященного Осипу Мандельштаму:

О, как пряно дыханье гвоздики,
Мне когда-то приснившейся там —
Там, где кружатся Эвридики,
Бык Европу везет по волнам;
Там, где наши проносятся тени,
Над Невой, над Невой, над Невой;
Там, где плещет Нева о ступени,—
Это пропуск в бессмертие твой.

Этот трехстопный анапест (с одной едва заметной паузой:

Там, где кружатся (пауза) Эвридики)

имеет немалое значение. Уберите его — и вы утратите магическую (и не столь частую у Ахматовой) песенность, а вместе с ней и ритмические ассоциации — ведь это ритм, встречающийся у Мандельштама. Одно из самых первых его стихотворений:

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять...
(1908)

Или, еще ближе по каталектике:

Воздух пасмурный влажен и гулок.
Хорошо и нестрашно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

(1911)

И даже — гораздо более позднее стихотворение:

За гремучую доблесть
грядущих веков,
За высокое племя людей...

(1931)

А в переводе осталась только цепочка смыслов и образов — улетучилась музыка:

O wie gewürzt der Atem der Nelke,
Der mir dort im Traum erschien.
Wo Eurydiken drehn, wo auf Wellen,
Der Stier Europa entführt;
Dort, wo unsere Schatten fliegen,
Überm Fluß überm Fluß, überm Fluß,
Wo die Newa schwappt ans Granitene —
Zur Unsterblichkeit dein Propusk.

Сборник, из которого взято это стихотворение, вышел под редакцией одного из лучших восточнонемецких специалистов по советской поэзии Фрица Мирау. Куда же он смотрел? Почему он пропустил анекдотическое сочетание «dein Propusk»? Чтобы внезапно и вполне эфемерно срифмовать Fluß — Propúsk? Но утрата звучания — всякой мелодии! — еще горестнее, чем эта случайная дурость.

В 1980 году я взялся за немецкий однотомник Анны Ахматовой — он вышел через два года. Как сказано выше, предшествовавшими переводами воспользоваться было трудно. Однако уже существовали работы Лудольфа Мюллера, мастера поэтического перевода. Среди них были шедевры; например, два стихотворения из «Реквиема»: *Распятие* и *Эпилог 1*. Из упомянутого сборника, вышедшего в ГДР (1979), удалось выбрать некоторые хорошие переводы Хайнца Чеховского — например, почти весь цикл «Шиповник цветет» (1946—1962). Чеховский часто опускает рифму, но бережно сохраняет ритм, соотношение стилистических пластов и интонационных изгибов, даже звуковых масс:

Во сне

Черную и прочную разлуку
Я несу с тобою наравне.
Что ж ты плачешь?
Дай мне лучше руку,
Обещай опять прийти во сне.
Мне с тобою, как горе с горою...
Мне с тобой на свете встречи нет.
Только б ты полночною порою
Через звезды мне прислал привет.

15 февраля 1946

Im Traum

Schwarze Trennung, immerwährend, trage
Ich mit dir gemeinsam, Ach, du weinst?
Gib mir lieber deine Hand und sage,
Daß du wieder mir im Traum erscheinst.
Wie die Berge, die nicht zueinander
Kommen, scheint es mir mit dir: Für uns
Gibt's auf dieser Welt kein Miteinander.
Doch ein Stern, mag sein, schickt deinen Gruß.

Только последний стих перевода вносит диссонанс: «Может быть,— пишет Чеховский,— твой привет передаст звезда». Ахматовская формула полна мистической загадочности: женщина ждет единственно возможного привета от любимого — «через звезды»; разве это не величественней и темней, чем в немецком, чуть банальном варианте? И все же перевод Хайнца Чеховского хорош — прежде всего естественностью и трагизмом четырех первых стихов. Что же удивительного, если я включил в однотомник поэзии Анны Ахматовой его перевод цикла «Шиповник цветет»? Привлекало еще одно соображение: хотелось наконец-то хотя бы в малой, мне подведомственной области способствовать разрушению Берлинской стены, отделяющей одну Германию от другой. Переводя стихи Анны Ахматовой, немцы по обе стороны стены делают общее дело. По причинам эстетическим я не мог согласиться с принципами Райнера и Зары Кирш, но многое из того, что в ГДР делают Уве Грюннинг (я включил в свой сборник два его отличных перевода — стихотворений «Не прислал ли лебедя за мною» и «Воронеж») и, в особенности, Хайнц Чеховский, мне близко.

Для переводов других стихотворений и поэм удалось составить творческую группу из западнонемецких поэтов и в то же время славистов, которые, к счастью, непохожи друг на друга. Трое — из Тюбингена; их многому научил старший среди них, Лудольф Мюллер. Мюллер — двойной доктор наук: литературы (русской) и богословия — ему принадлежат книги о древнерусской литературе, о Достоевском и Вл. Соловьеве, кстати, Вл. Соловьева он издал по-немецки в девяти томах, переведя для последнего тома (1977) почти все его поэтическое наследие. Переводы Л. Мюл-

лера превосходны; это прежде всего лирика позднего Пастернака, но и духовные оды Ломоносова («Вечернее размышление о Божием величии») и Державина («Бог», «Христос»), лирика Пушкина («Гимн в честь чумы», «Как с древа сорвался...»), Баратынского («Смерть»), Лермонтова («Есть речи — значенье...», «Родина», «Утес»), Тютчева, Вяч. Иванова, Блока. О переводческом творчестве Лудольфа Мюллера следовало бы написать особо: старый профессор и поэт заслужил высокую благодарность всех, кому дорога русская поэзия. Из Ахматовой для нашего сборника он перевел поэмы «Реквием» и «У самого моря», «Северные элегии», цикл «Cinque».

Двое других тюбингенцев — Ирмгард Вилле, молодая женщина большого лирического дарования, ей принадлежат переводы всех стихотворений из сборника «Четки» (1914) и цикл «В сороковом году» из «Седьмой книги»; Кай Боровский — поэт, прозаик, критик, выпустивший за последние годы несколько переводных томиков (Пушкин, Ходасевич, французские стихи XIX века),— он отличается ярко современным поэтическим мышлением; для ахматовского однотомника он перевел почти все стихи из сборников «Подорожник» (1921) и «Anno Domini» (1921 — 1922). Еще один из наиболее активных участников группы — названный выше Рольф-Дитрих Кейль. Кейль — профессор Боннского университета, исследователь Пушкина и Гоголя; кроме ученых книг и статей его перу принадлежит перевод «Евгения Онегина» — пожалуй, самый удачный из пока существующих на Западе. Кейль оказался отличным читателем и переводчиком ахматовской поэзии: его вклад в наше издание — стихи сборника «Белая стая» (1917). Назову еще одного участника: Ильму Ракуша, автора исследований, посвященных Баратынскому и Цветаевой и специфической теме «Одиночество в русской литературе»; ей принадлежат некоторые переводы трагических стихотворений Ахматовой, в то время только начавших появляться по-русски; среди них: «Я приснюсь тебе черной овцою...», «Зачем вы отравили воду...», «Все ушли, и никто не вернулся...». Чтобы продемонстрировать особый стиль Ильмы Ракуша-переводчицы — четыре строки из последнего стихотворения:

Наградили меня немотою,
На весь мир окаянно кляня,
Обкормили меня клеветою,
Опоили отравой меня.

Man hat mich mit Stummheit belohnt,
Verflucht vor den ganzen Welt,
Verleumdungen waren mein Brot.,
Und Gift mein Alltagsgetränk.

Ахматовские полнозвучные рифмы уступили место ассонансам (belohnt — Brot, Welt — Alltagsgetränk), однако они глубокие и звучные; важно и то, что И. Ракуша, понимая и сопереживая трагизм русского поэта, умеет производить замены, не ослабляющие энергии текста: вместо «Опоили отравой меня» — «Яд стал моим повседневным напитком», а вместо «Обкормили меня клеветою» — «Клевета стала моим хлебом». К числу лучших воссозданий Ильмы Ракуша относится и «Шестая» из «Северных элегий», в переводе которой она успешно соревнуется с Лудольфом Мюллером (в сборнике даны оба перевода — как и в ряде других случаев, например, «Библейские строки»: Кай Боровский и Лудольф Мюллер).

В послесловии к сборнику, озаглавленному «В зазеркалье», приведя ахматовское четверостишие 1962 года (в собственном переводе):

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

Verloscht ist meine stolze Fackel
Doch Gott bewahre mich vorm Los,
Zu sehn des Unglücks goldnen
Makel
Auf juger Stirn, noch faltenlos,

я писал: «От этой злой доли Бог не избавил ее: она умерла, не познав утешения (одним из последних ее переживаний было осуждение ее ученика и молодого друга Иосифа Бродского на пять лет трудовой повинности — по обвинению в тунеядстве. Это четверостишие — о нем) и полагая, что большая часть ее творчества обречена на забвение — до нынешнего дня советской цензурой запрещены «Реквием», часть «Поэмы без героя» и многочисленные стихотворения».

Радостно сознавать, что все, писавшееся тогда, на пороге 1982 года, ушло в прошлое: «Золотое клеймо неудачи» уже не угрожает челу Нобелевского лауреата 1987 года, цензурные препоны устранены — гениальный «Реквием» опубликован в двух советских журналах, публикуются и все прочие, недавно считавшиеся антисоветскими стихи Анны Ахматовой. К столетию («е. б. ж.»!) мы, вероятно, увидим *полное собрание ее сочинений*, опубликованное на сей раз не издательством YMCA-Press (которое своим трехтомником — не лишенным, увы, ошибок, сердивших Ахматову,— заслужило нашу безусловную признательность), но издательством «Художественная литература» в Москве и Ленинграде.

3

Пора сказать еще об одной особенности поэзии Анны Ахматовой, затрудняющей путь к ней западного читателя. Несколько лет назад я писал в статье «Анна Ахматова», вошедшей в немецкий «Критический словарь современных иноязычных литератур», о теме памяти, центральной в идейно-художественном мире Ахматовой; в эстетической области память оказывается *классикой*, в общечеловеческой — *культурой*, в этической — верностью. «Классика — это память об утвердившихся на протяжении столетий поэтических формах; для Ахматовой она всегда оставалась существенной. Среди ее стихотворений — песни, сонеты, элегии, оды; она всегда знает, какая поэтическая традиция стоит за ее спиной, кто ее литературные учите-

ля и предшественники... Защищать классическое начало и придерживаться *старого* в эпоху, когда в моде литературный авангард, когда неистовые футуристы радостно сокрушают все вокруг, когда молодой Маяковский создает новую метрическую систему и новую эстетику,— такой консерватизм требовал особого мужества /.../ Именно в это самое время Анна Ахматова защищала рифмы, строфы, самые различные «арии и розовый куст / И прочие мелехлюндии / Из арсенала искусств» — то самое, что Маяковский с презрением называл *старьем*. И она не уступала соблазнам, она сохранила верность своему классицизму...»

Отважное противостояние авангардной моде позволило Анне Ахматовой выступить прямой наследницей Пушкина, Баратынского, Тютчева — *героическая традиционность* стала фундаментом ее поэтической оригинальности, ее неповторимого своеобразия. Многим людям Запада такая позиция непонятна, или — чаще — неинтересна. Их куда больше увлекают метрико-синтаксическое новаторство Маяковского и Цветаевой, образный авангардизм раннего Пастернака и позднего Мандельштама, абсурдистские эксперименты Хармса и молодого Заболоцкого, нежели сдержанный лаконизм, классическая афористичность и высокий эпиграмматизм Ахматовой. Поэтому поэты-переводчики либо проходили мимо нее, либо всячески ее модернизировали, «авангардировали»; например, посредством разрушения ее стиховых форм верлибром. Так продолжалось долго, несколько десятилетий. В направлении такой «авангардизации» действовали названные выше Зара и Райнер Кирш в сборнике 1967 года. Во Франции похожую роль сыграла Жанна Рюд, которой, впрочем, читатели обязаны. она опубликовала в 1968 году избраннные стихи Ахматовой, несколько позднее — «Поэму без героя» (1970) и еще более чем через десятилетие большой сборник стихотворений и поэм. Поэтическую технику Жанны Рюд можно показать на любом, наудачу взятом примере. Вот, скажем, второе стихотворение «Реквиема» — подражание народной песенке, в которой возникает мучительный разрыв между легкой хореической мелодией, чуть ли не шутливой формой, и горестным смыслом слов:

Тихо льется тихий Дон.
Желтый месяц входит в дом.
Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.
Эта женшина больна,
Эта женшина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне.

Стоит потерять форму песенки, игру ритма, конфликтное соотношение между фольклорной шутливостью и биографическим трагизмом, чтобы от этого стихотворения остался бледный лоскут. У Жанны Рюд стихотворение звучит так:

Le Don paisible coule doucement.
La lune jaune entre dans la maison.

Elle entre, la toque sur l'oreille.
La lune jaune voit une ombre.

Cette femme est malade.
Cette femme est seule.

Son mari dans la tombe et son fils en prison.

Priez pour moi.

Переведем последние два стиха на русский: «Ее муж в могиле и сын ее в тюрьме. Помолитесь за меня». Трогательно, грустно — но где стихотворение Анны Ахматовой? По-французски, однако, сохранить песенку и ее внутреннюю напряженность можно. У Мишеля Окутюрье:

Coule, coule, calme Don.
La lune entre en la maison.

Jaune, bonnet sur l'oreille.
La lune entre — une ombre veille.

Cette femme n'est pas bien.
Cette femme n'a plus rien.

Son fils en prison, son mari en terre...
Souvenez- vouz de moi dans vos prières.

Этот перевод, относящийся к началу шестидесятых годов, не шедевр — ему свойственны некоторые слабости. Он, однако, указывает на вполне возможный (и необходимый) творческий путь. Вообще первым, кто во Франции показал, что средствами современного французского стиха и языка можно передавать классические ритмы и строфы Ахматовой, был Мишель Окутюрье, опубликовавший свой перевод «Реквиема» в 1964 году в журнале «Эспри»; следом за ним пошел Андре Пио — его вариант «Реквиема» вышел в 1971 году. Почти через 20 лет, в 1983 году, перевод Мишеля Окутюрье был почти без изменений переиздан в моей антологии русской поэзии, куда включены исполненные на основании иной школы поэтического перевода многочисленные формально близкие воссоздания ахматовских стихотворений и поэм — это переводы Жана Бессона, Мишеля Кадо, Жана Малаплата, Жана-Люка Моро, Сато Чимишкян.

Постепенно авангардистский верлибр перестает быть модой или, что нисколько не лучше, универсальной заменой всех форм иноязычных поэзий и во французской, и в немецкой литературах. С большим опозданием, а все же начинает практически утверждаться представление о том, что форма поэтического произведения неотрывна от его смыслового содержания, что форма творит содержание в такой же мере, в какой смысл творит форму. И что поэтому перевод сонета или просто регулярного четверостишия астрофическим и аметричным верлибром — это разрушение смыслоформального единства, а значит, и гибель произведения в целом. Анна Ахматова больше других русских поэтов пострадала от «авангардизации» — можно, однако, надеяться, что критическая черта позади и что мы станем свидетелями того чуда, о котором она сама писала — говоря о том, как ее муза

В земле истлевала зерном,
Чтоб снова, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

◆

Писатель и время

МАРИО
РИГОНИ СТЕРН
НИКОЛАЙ
САМВЕЛЯН

ЛЕГЕНДА О КАПЕЛЛАНЕ

Отшельник из Азиаго

Вместо предисловия

Тому, кто впервые встречается с Марио Ригони Стерном, он открывается не сразу, а постепенно, как новые страны — удачливому мореплавателю.

То, что поначалу кажется лишь полоской земли на горизонте, оказывается огромным материком, в чем-то похожим, а в чем-то непохожим на другие, уже известные.

Марио Ригони Стерна в Италии знают все. Он давно стал национальной знаменитостью. Газеты не забывают сообщить, что делал Ригони Стерн на минувшей неделе, куда ездил, с кем разговаривал. Если случается что-то важное, спрашивают: «А что по этому поводу сказал Марио?» По нему сверяют, как по нравственному компасу, свои чувства, свои оценки.

Он мог стать коммерческим писателем, но не стал им — не захотел. Предлагали экранизировать его произведения — отказывался. Не верил, что выйдет путное.

Любит бродить по горам. Не разрешает себе и дня прожить без физической работы. Тревожится: вернутся ли в альпийские леса олени, распуганные людьми?

Недавно получил от него письмо: «Вот и добрался я до своей альпийской тишины. Работаю много. Не сплю ночами, продолжаю беседы с тобой... Знаешь, олени возвращаются. Пришли новые. Может быть, со временем они снова будут жить в наших лесах так же свободно, как раньше?»

Кому-то может показаться, что Марио несколько наивен со своим необычайно открытым, почти что детским взглядом на мир. Но не ошибитесь: это наивность мудреца и лаконизм человека, знающего цену слову.

Из высокогорного Азиаго, где род Ригони обретается уже более тысячи лет, он наблюдает за всем, что происходит в долинах, время от времени делает набеги на Рим и Париж, Лиссабон и Москву, Прагу и Варшаву, чтобы побывать в театрах, побродить в толпе, навестить знакомых и у каждого спросить: «Как поживаешь?» Марио ждет ответа и, если нужно, готов задать вопрос вновь.

Но Ригони Стерн вовсе не классический отшельник. В чем-то он несомненно дитя цивилизации — одет с учетом моды, красив и корректен в поведении, умел в беседах. Даже придававший избыточное значение правилам хорошего тона Редьярд Киплинг, окажись он вдвоем с Марио на приеме, к примеру, у той же английской королевы, думаю, ни в чем не смог бы упрекнуть его. Ригони Стерн из той редкой породы людей, которому к лицу и куртка горца, и фрак, и смокинг, и джинсовый костюм. «Универсальный человек»,— сказали о нем однажды. Но точнее, думается, назвать Марио человеком не столько универсальным, сколько очень естественным, органичным и лишенным даже намека на позу.

Для него Азиаго — большой кабинет в горах, куда он удаляется, чтобы думать и работать.

В Азиаго не пускают иностранцев: там какой-то военный полигон. Эполетные люди предлагали Марио купить его дом, но натолкнулись на жесткий отказ. Ригони жили здесь всегда, будут жить и впредь, а полигон — дело временное. Поэтому все, что я знаю об Азиаго, почерпнуто из прекрасных писем Марио и фотографий. Однако рискну утверждать, что там очень красиво, цветут луга, а на горах большую часть года лежит снег. Но привыкать ли к снегу «сержанту в снегах»?

О Ригони Стерне написано немало статей, исследований, монографий. Его считают одним из столпов литературного направления, получившего название «лирический документ».

Марио не любит говорить о своих книгах. Раз они написаны, пусть их читают. А всяческие литературно-критические разборы ему не по душе. И однажды он сказал: «Я рассказчик реальных историй, не более того, но и не менее... Кто хочет услышать, услышит и запомнит, а эпитеты меня не интересуют».

Как рождался этот «лирический документ»?

Ранней зимой 1943 года Марио, тогда еще «сержант в снегах», в канун Рождества, за день до того, как начался кровавый кошмар под Россошью, читал книгу о летчике, который летал над океанами, над Андами и над пустынями, летал над планетой людей, называемой Земля. Правда, Марио не любит, когда Землю именуют планетой, и просит: «Нельзя ли Землю называть просто Землей? Для чего назойливо уточнять, что она планета? Понятно, что она одна из многих планет, но, если это постоянно повторять, то возникнет ощущение, что одну квартиру можно будет заменить другой, более удобной. Это будет не просто глубинным потребленчеством, но и философией аморализма...»

А тогда «сержант в снегах» Марио, читавший перед своим последним боем книгу Антуана Сент-Экзюпери, долго смотрел на небо, где холодно блистали Кассиопея и звезды Плеяды, и желал счастливого Рождества елям и заснеженным полям, замерзшей реке и русским, окопавшимся за рекой, и начал писать обо всем этом, не зная, вернется ли домой и допишет ли когда-нибудь эти страницы о Земле и небе.

Вот как рождался «Сержант в снегах», прекрасная и чистая книга, помогающая еще раз убедиться в том, что главная ценность мира — Человек. И преступен тот, кто заставляет человека стрелять в другого человека, преступны те, кто побуждают его это делать...

Повесть «Сержант в снегах» вышла в свет еще в 1953 году. Она сразу же сделала Марио Ригони Стерна одним из самых популярных не только в Италии, но и в Европе писателей.

Его другие книги — «Год победы», «Любовь на границе», «История Тенле» — тоже обратили на себя внимание и прочно вошли в литературный контекст.

Если «Сержант в снегах» — юноша, который поначалу жил «не войной, а мечтами и воспоминаниями», а вскоре пришел к убеждению, что лучше погибнуть, но не стрелять в людей, то крестьянин Тенле всегда, с самого детства, знал, что войны — безумие. Единственное, как считал Тенле, чем следует заниматься человеку, так это пасти овец и ухаживать за виноградником, растить урожаи и детей, а в свободные минуты — любить жену, пить вино, петь песни и курить трубку.

Что только не проделывали с бедным Тенле жизнь и люди: сто раз он должен был умереть и сто раз выживал, чтобы вернуться в родную деревню, к отчему дому. И всегда с вечера он набивал свою неизменную трубку, чтобы утром не тратить на это времени. Но однажды он набил трубку, а утром не проснулся. Он сидел под оливковым деревом с трубкой в руках — совсем как живой. И Филиппо Сакки, лицо вполне реальное (как реальным был, впрочем, и Тенле Бинтари), позднее ставший известным писателем, а в ту пору лейтенант итальянской армии, увидев Тенле у дерева, сказал: «Добрый день, дедушка!» И то правда: Тенле не умер. Он ушел в свои горы, как уходит в страду, после захода солнца, усталый крестьянин в свой дом.

И «Сержант в снегах», и «История Тенле» переведены на русский язык и включены в «Избранное» Марио Ригони Стерна, вышедшее в свет в издательстве «Прогресс».

«Сержант Марио», солдат Гвидо Луки и капеллан, имя которого до сих пор не удается установить, во время войны в донецком городке Енакиево помогли спасти меня — израненного мальчишку, сброшенного в подвал.

Позднее мы нашли друг друга, долго переписывались, а затем и встретились, чтобы отныне часто видеться, вместе путешествовать, беседовать и писать. Что писать? Каждый из нас пишет «свое», но пишем вдвоем и «наше» — книгу, в которую войдут повести, рассказы, очерки и зафиксированные на бумаге и на магнитофонной ленте беседы.

«Когда я спасал тебя, думал лишь о том, что надо спасти ребенка, а теперь полагаю, что спас тебя прежде всего для тебя самого, затем для твоих родных и близких, но не в последнюю очередь для себя — мне нужен младший брат, товарищ в работе и друг,— так написал мне однажды Марио.— Каждому человеку нужен младший брат и друг. Вот я его себе и добыл. Звонила одна из дочерей сеньора Гвидо Луки. Он получил твое письмо. А мы с тобой, надеюсь, скоро вновь повидаемся».

— Как поживаешь, Марио? — спрошу я его при встрече.

— Бене. Хорошо. А ты как поживаешь?

Это пароль и эпиграф.

НИКОЛАЙ САМВЕЛЯН

1. Старенький кряхтящий автобус, принадлежащий Гостелерадио, о чем свидетельствовала надпись на лобовом стекле, ранним утром увозил нас из города Енакиево, что неподалеку от Донецка, на север, к Воронежу. За окном проплывали ровные улочки, застроенные аккуратными домами, с обязательной клумбой перед фасадом и заборами, выкрашенными в голубой и белый. Все это представлялось бы идиллическим, курортным, если бы не бесчисленные терриконы на горизонте и дымный плотный воздух, который, казалось, можно было резать, как желе, на куски. Именно об этом воздухе с такою тревогою говорили вчера на литературном вечере в Енакиеве. Сам вечер был неожидан и непредсказуем. Поначалу режиссер итальянской телекомпании «РАИ—ТВ-I» хотел отснять лишь отдельные эпизоды его, а затем махнул рукой: снимайте все подряд, наверное, придется посвятить вечеру специальный фильм.

Сейчас на мониторе, установленном рядом с креслом водителя-дублера, проплывали отснятые кадры. Широкие улицы, оживленные перекрестки, тенты у входов в магазины и летние кафе под зонтиками — тешащие взгляд и душу образы, навевающие грезы и рождающие подозрения, что где-то все же существует земной рай, а если его нет, то есть кинооператоры, способные так отснять реальную жизнь, что она покажется сказочной.

— Ке белла! — воскликнул врач киноэкспедиции, энергичный сицилиец, хороший товарищ и великолепный кулинар, который сейчас, за неимением других занятий, сидел у ящика с провиантом и готовил бутерброды на всех.— Ке белла коза! Как красиво!

А вчера днем доктор на этой же улице, которая казалась теперь такой милой на телеэкране, жаловался на жару и духоту и не мог оторвать подошвы от расплавленного асфальта. Ну, а вечером доктор аплодировал секретарю горкома комсомола, который — сейчас это хорошо видно на экране монитора — говорил спокойно, твердо, загнав далеко вглубь волнение, как подобает трибуну, решившемуся говорить от имени многих. «Мне сейчас все равно,— говорил комсомольский секретарь Виктор Гончаров,— кто из вас итальянский, а кто советский писатель... Не об этом сейчас речь. История, которую вы рассказали здесь, прекрасна... Но нельзя жить только воспоминаниями, пусть даже самыми светлыми и добрыми. Сейчас загазованность в городе из-за химических производств такая — хоть кричи караул! В речках и водоемах уже не водится рыба... Весной, а не осенью осыпаются с деревьев желтые листья. Мы просим, чтобы писатели, имеющие прямое отношение к нашему городу, выступили в защиту его жителей...»

Мы смотрели на экран монитора и учились писать вдвоем. В этом нам помогал сотрудник Гостелерадио СССР Олег Шацков, терпеливо выносивший наши «капризы» — постоянные требования перемотать пленку магнитофона назад и записать все снова.

На нас с философской грустью смотрел продюсер Джанпьеро Симонтакки. Возможно, ему казалось, что мы попусту тратим время: вместо съемок занимаемся какими-то литературными упражнениями. А в наше время кому нужны книги, кроме тех, которые можно экранизировать? Добрый фанатик Джанпьеро искренне верил, что мир был создан лишь для того, чтобы в конце концов оказаться перед кинообъективом.

Вот играет струями веселый и кокетливый, почти что версальский фонтан. Для Джанпьеро Симонтакки этот фонтан — один из полуторa миллионов фонтанов, созданных людьми. А для нас — фонтан будто по волшебству возник на месте дома, хорошо знакомого нам обоим. В этом доме некогда были свои хозяева и свои привидения, свои дети и свои старики, свои улыбки и свои слезы. В этом доме мы познакомились сорок шесть лет назад.

— Минувшая мировая война была, по моему убеждению, нижайшей точкой в развитии цивилизации, эпохой, когда коллективный разум человечества как бы уснул. Многое вело к ней — национальный эгоизм, безумное разъединение отдельных людей и целых народов, идущее по всем статьям и по всем направлениям. Когда-то на меня надели военную форму, пригнали в твою страну «завоевывать». Что «завоевывать?» Зачем «завоевывать»? В азарте оглушенные пропагандой люди над этим не задумывались. «Завоеватели» так ли, иначе ли в конце концов будут уничтожены, диктаторы рано ли, поздно ли сметены. Это очевидно. У нас нет других вариантов прочтения истории... Если бы я был педагогом, то прежде всего учил бы детей умению говорить «нет!». Это самое сложное и самое трудное умение. Сказать «нет!» — проявить мужество то ли в большом, то ли в малом деле, обозначить свою позицию, настоять на ней. Без умения сказать «нет!» не может быть демократии, не может быть свободы, не может быть того покоя и воли, о которых мечтал Пушкин. Можешь вспомнить, когда ты впервые сказал «нет!», оказавшись перед вероятностью быть непонятым?

— Не знаю, Марио. Может быть, совсем в детстве. Через год после того, как наши с тобой пути пересеклись в Енакиеве. Но это совсем не смешная история. Завелся у нас в доме беленький козленок. Я назвал его Мишкой. Он был смешной и бестолковый. Но рос быстро, и скоро мы с ним сравнялись во многих запросах и интересах. Вместе расхаживали по двору, играли и шалили. Как известно, дети и зверье хорошо понимают друг друга! Когда я качался на веревке, привязанной к высокой ветке, Мишка старался бежать рядом. По утрам Мишка поднимался по ступенькам в дом, входил в мою комнату и будил — блеял. Случалось, я забирался на Мишку верхом. Он прогибался, но вез — старался. В общем, дружба была крепкой. Сохранилась фотография: белая голова с черной отметиной на лбу, молодые рожки, вопрошающий взгляд. Не знаю, кто фотографировал козленка, но, значит, он чем-то удивил, раз не пожалели пластинку: фотоматериалов, как и всего остального, в то время было не найти. Как-то раз меня вдруг начали усиленно уводить из дома. В те годы дети росли как умели, сами по себе, не ожидая ни внимания, ни ласки со

стороны уцелевших взрослых. Но в тот день взрослые усиленно улыбались мне и прогулку предлагали, задабривали....

— Понятно... Видно, голод прижал и козлика решили зарезать?

— Когда вернулись с прогулки, я увидел шкуру Мишки, висевшую на веревке. И сказал, ни к кому конкретно не обращаясь: «Эх вы!» Потом отправился в свою комнату, лег на кровать лицом к стене и так пролежал до вечера. Пришла бабушка и положила руку мне на спину. Я спросил: «Это не ты сделала?» Она ответила: «Не я, но все равно виновата».

— Это было первое серьезное «нет!», которое ты сказал?

— Возможно, Марио.

— В те же месяцы «нет!» пришлось сказать и мне. Может быть, самое серьезное «нет!» в моей жизни. Мне приказали расстрелять двух советских военнопленных — капитана-артиллериста и комиссара из 14-й пограндивизии. Оба были легко ранены, но кое-как шли. Отвел их подальше от расположения нашей части и отдал свой индивидуальный пакет. Они догадывались, что их повели на расстрел, но не понимали, зачем перед расстрелом перевязывать раны. Затем я их отпустил, а стрелял в воздух. Потом пришла пора публичных «нет!», за что и попал в нацистские концлагеря. Логическое развитие событий.

Мы сейчас с тобою смотрим киносеанс длиною в целую жизнь. И нам на этом экране понятна каждая деталь — двухэтажное здание бывшей школы, теперь надстроенное. Ведь ты помнишь эту школу такой, какой она была когда-то? И я помню... Для нас эти воспоминания очень личные, живые... Там, где нет эмоций, одни лишь факты, историческая память не существует. Есть сведения, но нет живой памяти... Детей воспитывает не столько нравоучительная риторика, сколько живая историческая память. Иначе человек не научится мыслить самостоятельно. Чтобы стать демократом, надо знать природу всех известных нам в истории диктатур, понять, как они возникают и крепнут, почему среди их сторонников не только сами диктаторы, но многие другие. В иные времена — большая часть общества. Диктатура иной раз становится удобной. Ее даже как бы призывают. Вот чего люди должны опасаться: удобства диктатуры, привычки и желания, чтобы за тебя кто-то думал, решал, чтобы из жизни вообще ушел риск. Уметь рисковать — привилегия сильного и здорового характера. Но это тема другого разговора...

2. В Ворошиловграде предполагали пообедать, чтобы позднее одним броском добраться до Россоши. Киногруппа — это команда. Как экипажи кораблей, она сильна единством цели. Как только выяснилось, что свободных мест в ворошиловградских ресторанах нет, мы объединили темпераменты, энергию, разнообразные индивидуальные способности и в конце концов оказались в ресторанном зале, расположенном в цоколе какого-то блочного дома. В меню было много всяческих пунктов и подпунктов, здесь обещали все, кроме холодной воды и мороженого, хотя жара стояла африканская. Но и мороженое веселый доктор раздобыл где-то на перекрестке соседних улиц. А после обеда мы пошли побродить по улицам, да так и застряли в ближайшем же сквере.

— И здесь — дым, трубы.

— Достоевский еще в прошлом веке протестовал против того, что купцы, после отмены крепостного права, начали хищническую эксплуатацию природы России. Энергично вырубали леса, засоряли водоемы, использовали пашни под строительство фабрик, заводов и складов. В ту пору тревога писателя могла показаться капризом мысли: земли, мол, у России много, а прогресс останавливать нельзя и не нужно. Но вот в чем вопрос: мы до сих пор не можем разобраться в том, что же считать прогрессом?

— Я давно пришел к мысли, что спасительна идея самоограничения. Речь вовсе не о монашеской психологии, не об умерщвлении плоти, хотя некогда и это возникло не случайно. А сейчас нужно без раздражения прислушаться к голосу «зеленых». Себя самого я назвал бы не «зеленым», а сочувствующим «зеленым». Если отбросить наносное, патетику и полемику, то «зеленые» по сути призывают к ответственности Сознания и если не к прямому самоограничению, то к пониманию того, что ты сам — часть Природы, а потому не удастся украсть у нее энергию, не погубив при этом и себя, и своих потомков. Казалось бы, это очевидная истина. Никто не пытается ее оспорить, все с нею соглашаются, но продолжают коллективный разбой и надругательство над Планетой.

— Срабатывает стереотип мышления: мол, придет время — мы поправим дело. Откуда в минувшие времена брались народы-кочевники? А миграция? Искали лучшие пастбища и пашни, когда свои истощались. Ведь с места на место передвигались не только скотоводы, но и земледельцы. Половина обозримой истории нашей цивилизации — это история Древнего Египта. Он существовал очень долго. Мы это не всегда осознаем. Для фараона-реформатора Эхнатона пирамида Джосера была таким же памятником древности, как для нас Колизей. Когда «молодые» дерзкие, полные энергии греки еще только собирались на Троянскую войну, Древний Египет уже был усталым государством, пережившим несколько периодов подъема и упадка. Исторически Египет был относительно миролюбив. Войны вел как бы вяло и нехотя, чтобы заполучить рабов, рудники и лес. Но когда в предзакатную пору централизованный управленческий аппарат и каста жрецов разрослись до неимоверных размеров (а всех их чужно было кормить!), возникла и военная активность, попытки расширить территорию, завоевать соседей и грабить их.

— Ты хочешь сказать, что усталые и уходящие государства всегда агрессивны?

— Зачастую. Но бывают агрессивны и молодые. Если нет самокомпенсации, возникает потребность грабить соседей. Идеи государственного, а позднее национального эгоизма возникали не на ровном месте. От времен Древней Греции идет уже совершенно четкая борьба между демократиями

и деспотиями: кто кого? И компромисса нет. Расцвет личности, а следовательно, и науки, культуры, умелого хозяйствования возможен только в условиях хотя бы ограниченной, но все же демократии. Персидская держава похвастать всем этим не могла, но и терпеть рядом с собой динамичную Грецию боялась. Отсюда и постоянные покушения персидской деспотии на демократическую Грецию: убрать пример для подражания, убрать с глаз своих подданных заразительный пример.

— Со временем идею восточных деспотий стали успешно культивировать и в Европе. В конце концов к диктатуре пришел и Рим, гордившийся своими республиканскими традициями.

— Почему только Рим? А до Рима? Тот же Александр Македонский был великим демократом, что ли?

— Мы, Коля, вторглись во владения историков. Но ничего страшного: пусть потерпят. Мне важна мысль о том, что борьба между тираниями и демократиями была тем, на что человечество оказалось обреченным изначально. У тираний всегда были большие и сильные армии, у демократий — умные находчивые воины, уверенные в том, что рабство страшнее собственной смерти. Находились стоики, готовые перенести любые мучения, только не согласиться с тиранией. Это всегда было как бы их личным завещанием грядущим поколениям.

— Но героически умели умирать и воины из армий деспотов.

— Этим они демонстрировали лишь личную преданность деспотам и собственную ограниченность. Лучше бы они перешли на сторону демократии. В этом случае не надо даже бояться того, что тебя поймают и казнят. Судить-то тебя будут судьи, назначенные деспотом. А разве можно уважать такой суд? Ну, а суд, который ты не уважаешь, и вовсе для тебя не суд, а просто банда убийц. Когда я отказался воевать против русских, внутренне приготовился к тому, что меня расстреляют. Но слез не ронял, и руки не дрожали. Знал, что не оставлю на Земле детей — их у меня тогда еще не могло быть. Знал, что вспомнят обо мне лишь немногие — папа, мама, невеста Анна, может быть кто-то из товарищей... Знал, что не будет ни могилы, ни креста на ней. Исчез бы человек, как будто и не бывало его никогда. Из бесконечности пришел и в ту же бесконечность ушел. Поверь, это было очень трудное решение. Куда легче ходить в атаку, из которой, может быть, и не вернешься, стрелять, бросать гранаты, чем перед лицом многих сказать: «Нет! Эта война преступна и аморальна. Участвовать я в ней не буду!» Вот почему мне не дает покоя судьба расстрелянных немцами во Львове и в Демблине моих соотечественников-итальянцев. Ведь это были очень мужественные люди, которые нашли в себе силы сказать: «Нет!» Их расстреляли. Меня судьба пощадила: были концлагеря, жуткая работа в штольнях австрийских шахт. А много лет спустя мне действительно пришлось умирать: останавливалось сердце. В ход пошли уколы, массажи. Врачи боролись за меня изо всех сил... Сам я ничуть не испугался и чувствовал себя замечательно. Мне виделись сверкающие геометрические фигуры: шары, кубы, треугольники, квадраты, параллелепипеды, цилиндры... Они плавно носились в пространстве, каким-то образом проплывали сквозь друг друга, не сталкиваясь. Было удивительно, что при этом они не меняли формы, не сминались. А где-то звучала музыка. Вернее, ее как бы не было, но в то же время она была. Объяснить точнее это не могу. Мелодию помню. Она была похожа на ту музыку, которая звучала у тебя дома, когда мы пили кофе.

— Это была Четвертая симфония Альфреда Шнитке.

— К сожалению, не знаю его творчества. Ты говорил, что этот композитор твой друг.

— Да, очень близкий мне человек.

— Значит, в те минуты, я, видимо, слышал именно музыку Альфреда Шнитке или похожую на нее. Когда сознание ненадолго возвращалось, я просил: «Оставьте меня в покое. Мне хорошо!» Может быть, в предсмертные минуты — если это смерть не от пули, не от раны, не насильственная, не от какой-нибудь страшной болезни — такая благостность и покой спасают от страха перед уходом из мира. Кто может знать точно? Рассказываю о том, что ощутил сам, за что, как говорят, ручаюсь.

Как человек должен относиться к смерти? Понимать, что она так же естественна, как рождение... Доктор Фауст напрасно искал эликсир вечной молодости. Человек вправе претендовать на бессмертие лишь в связи с тем, что оставляет после себя: детей, учеников, добрые мысли, возделанные поля или же ухоженные сады... Другого бессмертия нет и быть не может. И в те минуты, когда казалось, что жизнь оставляет меня, где-то в подсознании была мысль, хотя это даже не мысль, а скорее какое-то ощущение, что многие свои грехи, если они были, я искупил тем «нет!», которое решился некогда сказать в русских снегах: «Меня вы можете убить, но стрелять в других я не стану! Отныне отвергаю идею насилия как способ решения каких бы то ни было проблем и восстаю против всех видов диктатур!»

Когда-то я написал: «Если бы немецкие генералы хорошенько вчитались в «Евгения Онегина», они никогда не напали бы на Россию». Это выношенная, не случайная мысль. «Лишние люди» русской литературы отличались удивительной самостоятельностью натур. Можно ли себе представить, что Евгений Онегин или Григорий Печорин согласились бы вдруг с иноземным нашествием? Они вообще не боялись смерти, а к опасности относились как к бытовому моменту. Это не фатализм. Это, по моему убеждению, философское отношение к жизни и смерти. Оно отличало и самого Пушкина. Я люблю перечитывать его зимой. Сижу в своем альпийском Азиаго, где холоднее, чем в Москве, да и снега больше. Держу перед глазами итальянский перевод, а рядом — русский текст. Сверяю, вдумываюсь. Это мысли через чувства или чувства через мысли. Только Пушкин так мог... Но мы говорили о «лишних людях». Задумывался ли ты над тем, что Андрей Болконский в чем-то тоже из породы «лишних людей»? Он ведь немного философ. А

философ чужд суете и сиюминутности. Европе и европейцам этого не хватало в тридцатые и в начале сороковых годов. Многие неточно думали, надеялись на чудо. Национальный эгоизм во многих странах стал доминирующей философией. Отсюда и сверхагрессивность в политике, в культуре, нетерпимость друг к другу.

— Это и тогда было ужасно и преступно, а сегодня — самоубийственно.

— Да, сегодня такое грозит гибелью всем, самой идее существования человека. Но как трудно дается нам осознание того, что Человек не хозяин Природы, не владелец ее, а сам — часть Природы, не более того. Здесь нужен прорыв сознания.

— Попробуй-ка объяснить какому-нибудь амбициозному субъекту, что он не финал развития, не пик эволюции, а лишь звено ее, что после нас будут и другие живые существа, а мы — подходы к ним... Так он тебе и поверит!

— Не поверит, значит, погибнет и нас всех погубит. Повторяю: нужен прорыв сознания, переход его на другую качественную ступень. Вот о чем я часто думаю там, у себя в снежных Альпах.

— Знаешь, Марио, в чем-то ты похож на вольтеровского Кандида.

— Его наивность кажущаяся. Не спеши ни его, ни меня записывать в философы-примитивы. Возврат к общечеловеческим ценностям всегда предполагает простоту и ясность мышления, даже какую-то аскетизацию его. Нам ни в коем случае не нужны скука и однообразие, но нельзя ли почаще повторять в уме Заповеди: «Не убий! Не укради! Возлюби ближнего, как себя самого!» Разве они плохи? Разве существуют другие координаты нравственности? Если существуют, то какие? Пусть меня просветят... Давай напишем вместе пьесу о смерти и бессмертии, об этих координатах нравственности, о «нет!», без которого невозможно и убежденное «да!». Мне кажется, что писателям в наше время следует учиться работать вместе. Пришла такая пора. И замечательно, что у нас с тобой это получается в радость друг другу. Кстати, мы создали прецедент: рукопись, как государственный договор, сотворена на двух языках — русском и итальянском. Какой же культуре она формально будет принадлежать? Может быть, единой европейской? Почему бы нет? Пусть пишут вместе, когда испытывают в том потребность, греческие и исландские писатели, чешские и португальские, испанские и норвежские. Должны же возникнуть и новые формы объединения художественного опыта, философских позиций на пути к прорыву сознания, который сейчас для человечества спасителен. Но я говорил о пьесе. Ты о чем задумался?

— Опять о Древнем Египте. Пьеса. Конечно, напишем ее, если сумеем. А думал я вот о чем: нам дороги, полезны и интересны не военные успехи древних египтян, а их знания, их культура. И как близка трагедия Эхнатона, попытавшегося объявить равенство всех людей не перед пантеоном конкретных богов, а перед Богом-символом: Солнцем Атоном. Он обогнал время не только в этом. Разве случайно он поощрял реалистическое искусство, запретил приукрашивать себя самого на фресках, а требовал изображать в естественных позах и с естественными физическими недостатками? Что же касается трех скульптурных портретов Нефертити, то нам достались в наследство и эталон женской красоты, и непревзойденный художественный шедевр. И вот итог: что нам за дело до грозных походов Рамсеса и Тутмоса, что нам до их ушедших величия и силы? Нам нужна Нефертити.

— Решено: будем писать о ней — о Нефертити вчера и о Нефертити сегодня... Ведь она и сегодня ходит по улицам, только носит другое имя...

3. В Россоши, в гостинице, мы попросили принести в номер монитор и продолжили «киносеанс длиною в жизнь». Миланское телевидение уже анонсировало этот телефильм. Он будет выстроен, умело скомпанован, уйдут длинноты, неудачные кадры. Но сейчас нам хотелось вновь пережить тот вечер таким, каким он был — неотрежиссированным, с наивностями, когда все еще шло не по плану и было естественным.

Совет Енакиевской библиотеки учредил диплом «Гвоздика мужества», который раз в пять лет будут вручать писателям, боровшимся «За честь и достоинство Человека».

— Постарайтесь быть достойными «Гвоздики мужества»! — сказала милая женщина — директор библиотеки, вручая нам дипломы.

На экране — донецкий поэт Владимир Калиниченко. Он поддерживает нашу идею — создать ассоциацию писателей «Запад и Восток», которая нисколько не подменяла бы ПЕН-клуб и национальные писательские союзы.

Говорили мы и о том, что пришла пора учредить кодекс писателя. До сих пор существовал единственный международный профессиональный кодекс: это принятая медиками клятва Гиппократа, выдержавшая испытание тысячелетиями.

Как видится кодекс писателя? Конечно же, писатель всей своей жизнью, работой должен защищать естественные права Человека, в том числе свободу совести и убеждений. Долг писателя — всем творчеством воспитывать уважение к национальным культурам, которые и составляют общую культуру человечества — мировую. И конечно, кому как не писателям ратовать за скорейший приход планетарного мышления и нового сознания в целом, понимания себя как части Природы, а не в качестве ее хозяина.

И на вечере мы напомнили вот о чем. Древние греки создали удивительную систему мифов. Один из них просто поразителен. Как-то мать-Земля пожаловалась Зевсу: тяжело мне стало жить, людей теперь слишком много, они вскапывают плугами мое тело, в поисках золота и серебра проникают в мои недра, их корабли бороздят мои моря... «Подожди немного,— мрачно, но сочувственно ответил Зевс.— Скоро ты отдохнешь... Мы заставим людей охладить свой пыл и уважать тебя... Мы создадим два идеала — сверхкрасоту и сверхсилу... Этого будет достаточно, чтобы люди пе-

рессорились между собой, затеяли кровопролитные войны, которые поубавят их прыть...» И вскоре пришли в мир Елена Прекрасная и Ахилл — сверхкрасота и сверхсила. За право обладать сверхкрасотой и началась кровопролитная Троянская война, которую греки выиграли благодаря Ахиллу и Одиссею. Одной абсолютной силы — Ахилл был подобен в те времена ядерной бомбе и нашем понимании — оказалось недостаточно. Понадобился еще и ум, интеллект Одиссея... Греки добились победы. Но какою ценой? Была уничтожена цветущая Троя, опустели и собственно греческие области.

Таким было предупреждение и наказание одновременно за неуважительное отношение к матери-Земле. Боги-олимпийцы в последний момент простили людей и спасли их от полного взаимоистребления.

Что это — грозный наказ потомкам? Скорее всего. Все греческие мифы необычайно педагогичны.

Новые кадры: высокая седая женщина, очень красиво и корректно одетая. На ней — голубой костюм, белая блузка с высокими кружевами. Много орденов. Так люди обычно поступают в минуты высокие и ответственные. Для Татьяны Палладиевны это и была минута ответственная, к которой в мыслях она, может быть, готовилась всю жизнь. Ее муж, офицер, по национальности еврей, погиб в первые дни войны. Сама она, военный врач, была в действующей армии. Двоих старших детей успели эвакуировать, а младший, одиннадцати месяцев от роду, остался в Енакиеве у родной сестры Татьяны Палладиевны. Когда немцы вывесили объявления, что всем евреям надлежит зарегистрироваться, сестра Татьяны Палладиевны уничтожила документы мальчика и побежала в местную церковь, чтобы его крестить и получить церковные документы на другое имя.

— Марио, это была та самая церковь, где моя бабушка Наталья Христофоровна крестила и меня. Возможно, и священник был тот же самый. Я его помню. Ко мне он был очень добр. Приглашал к себе в домик рядом с церковью, беседовал так же, как беседовал капеллан. И учил читать и писать, как учил и капеллан. Священник — русскому языку, капеллан — итальянскому. Но правда есть правда: этот священник не стал крестить еврейского мальчика и отказался его спасать... Не надо думать, что такие поступки характерны для служителей православной церкви. Речь идет об особенностях натуры отдельно взятого человека. Однако поступок этот имел резонанс — многие в городе помнят об этом. Сестра Татьяны Палладиевны в тот день побежала с ребенком в итальянский военный госпиталь. Конечно же, это был огромный риск. Откуда было знать, каких людей ей предстояло там встретить? Ведь могли не только не помочь, но даже и выдать немцам. Дежурный врач внимательно выслушал женщину, позвал капеллана. И решили так: капеллан готов крестить мальчика и выдать удостоверение, что он католик. Но русский вряд ли мог быть католиком. Тогда назвали мальчика Ежи Барковским, объявили его польским ребенком, выдали нужные документы...

— Вернувшись в Италию, я буду искать этих людей. А вдруг они выжили и вернулись домой? Татьяна Палладиевна разыскивала их через Красный Крест. Но как искать людей, не зная их имен? Она отдала мне дорогие ей фотографии с просьбой опубликовать в итальянских газетах в надежде, что кто-то вспомнит капеллана и того маленького мальчика. Мальчик этот выжил и стал крупным инженером-горняком. Еще один штрих к образу «легендарного капеллана»? Как ты думаешь, что с ним могло быть дальше?

Трудно сказать. Не исключено, что, будучи мобилизованным, он уже знал, что идет на гибель. И стремился к единственному — уберечь от гибели хотя бы тех, кого еще мог спасти... Если он попал под Россошь, то мог броситься между сражающимися с требованием прекратить огонь и, вероятно, погибнуть под пулями. Такой эпизод кажется слишком театральным, но из этого вовсе не следует, что он в принципе невозможен.

— На легендарного капеллана могли донести. Тогда его ждал расстрел. Он мог оказаться и среди тех итальянцев, которые погибли от нацистских пуль в 1943 году во Львове. Всякое могло произойти с капелланом... И нам очень трудно будет отыскать его самого, если он жив, или же его могилу, если его уже нет среди нас. Но «легенда о капеллане» возникла и существует. И ей не дадут умереть те, кого он спасал, кому помог, кому улыбнулся в тяжелую минуту.

Проплывали на мониторе кадры — наша жизнь. Мы чуть было не опоздали в ресторан на ужин. Ну, а после ужина была прогулка по ночной Россоши.

Город спал. Дерзко спорили с луной фонари на центральной улице.

Мы шли молча, время от времени прикасаясь друг к другу плечами. Старший по своему святому праву опекал младшего, хотя у младшего уже начали серебриться виски.

— Осторожно, впереди яма.

— Вижу, Марио.

— Смотри, как летит над нами небо. И те же звезды, что были здесь в давние годы. Звезды всегда одинаковы.

— Нет, Марио, звезды не одинаковы. Они тоже живут своей жизнью и меняются, хотя в это очень трудно поверить.

— Бог с ними, со звездами! Зато улыбка Нефертити — вечная. Уж это ты признаешь?

— Каждому из нас Нефертити улыбается по-своему. Мы все не одинаковой видим ее улыбку.

— Вот что я тебе скажу: ты — преступный диалектик. Так хоть что-нибудь вечным ты признаешь?

— Вечна Природа. И по-своему вечен каждый миг: эта ночь, эта дорога и наши сегодняшние беседы. Где-то, в какой-то книге Истории Природы, все записывается.

— Заглянуть бы в эту книгу.

— Да мы и так в нее глядим каждую секунду от момента рождения.

Резонанс

На анкету «ИЛ» отвечают писатели русского зарубежья

Иные из этих писателей были когда-то известны и даже знамениты у себя дома. Потом исчезли на долгие годы из нашей культуры, оставшись разве героями разносных фельетонов. Других словно и вовсе не было: Запад их знал, мы, соотечественники, не знали.

Они сделались изгоями.

Но мысль не может быть изгоем.

Сегодня мы ощущаем это с особенной остротой. Еще недавно мы пребывали в крепости идейного абсолютизма. Нам катастрофически не хватало внутренней свободы, которая признает разнообразие талантов и позиций, а ведь культура—это прежде всего разнообразие. Нам недоставало политической и духовной зрелости, наша мысль была слишком дисциплинирована и робка, она боялась испытать себя другой мыслью. Это имело трагические последствия. Писатели, со многими из которых я знаком лично, были изгнаны из страны.

Сейчас, в весеннюю пору возрождения, обновления духа, мы отвоевываем право думать независимо, сомневаться, надеяться. Об этом свидетельствует и предпринимаемая журналом публикация. Факт, может, и не великий, но говорит о многом.

Не обязательно соглашаться, но чести не делает, если инакомыслие становится поводом для гонения. С болью думаю, что не впервые выпадает такая доля русским писателям; прежняя наша, дореволюционная, история напоминает об этом. И движение, к несчастью, шло в одном направлении — с Востока на Запад. Полагаю, эта горькая реальность поучительна: надо не спеша, не горячась, не навешивая обидных ярлыков, задуматься, разобраться, отчего такое становится возможным.

А для начала следует твердо отдать себе отчет: человек, думающий иначе, чем ты,— не враг. Если по-прежнему мы будем цепляться за обветшавшую максиму: «кто не с нами, тот против нас»,— не будет счастья на земле, а будет взаимоистребление, дай бог если только моральное.

Надо учиться и научиться терпимости, надо уметь не только говорить, но и слушать. А уж выслушав — обсуждать и, если нужно, спорить. Фанатизм веры чреват губительными последствиями, веротерпимость благотворна — прошлое напоминает и об этом.

Едва ли не впервые в истории нашей гуманитарной культуры мы стремимся завязать подлинный, равноправный диалог, отказываясь от монополии на истину.

Только в совокупности, в полноте своей дух человеческий плодотворен.

Вот о чем я думаю, читая отклики писателей на анкету, разосланную журналом.

В полученных ответах нет ненависти к своему Отечеству, и я радуюсь этому.

Есть боль, есть непонимание. Но разве может быть иначе?

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

Вопросы

1. Как Вы оцениваете феномен «литературы зарубежья»: замкнутая ли это система, часть ли советской литературы или она принадлежит культуре страны, в которой живет писатель?

2. Что из написанного Вами — в Советском Союзе или в эмиграции — наиболее Вам дорого?

3. Что, на Ваш взгляд, было самым ярким событием в мировой литературе последних лет?

4. Следите ли Вы за литературной жизнью в СССР? Какие из недавних публикаций привлекли Ваше внимание?

АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ

О себе.

Синявский Андрей Донатович. Родился в 1925 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского университета. Работал в Институте мировой литературы. В качестве критика сотрудничал в «Новом мире» А. Твардовского. С 1956 года начал пересылать рукописи за границу и печататься под псевдонимом Абрам Терц. В 1965 году за свои сочинения был арестован и осужден как особо опасный государственный преступник. Виновным себя не признал. В лагере работал грузчиком. В 1971 году был освобожден и в 1973 году уехал с семьей во Францию. С того времени и по сию пору — профессор Сорбонны. Связан с журналом «Синтаксис» который издает в Париже М. Розанова. Основные книги на русском языке: «Суд идет», Париж, 1959; «Что такое социалистический реализм», Париж, 1959; совместно с И. Голомштоком «Пикассо». М., 1960; «Фантастические повести», Париж, 1961; «Любимов». Париж, 1963; в соавторстве с А. Меньшутиным «Поэзия первых лет революции». М., 1964; «Фантастический мир Абрама Терца». Нью-Йорк, 1967; «Голос из хора». Лондон, 1973; «Прогулки с Пушкиным». Лондон, 1975; «В тени Гоголя». Лондон, 1975; «Крошка Цорес». Париж, 1980; «Опавшие Листья» В. В. Розанова». Париж, 1982; «Спокойной ночи». Париж, 1984.*

1. Всякая национальная литература в своей основе едина, несмотря на различия писательских судеб, позиций и взглядов. Невзирая на местожительство. В конце концов, что связывало Достоевского с Чернышевским Писарева с Пушкиным. Радищева с Державиным, Добролюбова с Брюсовым (риторический вопрос)?! А между тем все они принадлежат к «великой русской словесности».

Отсюда же неизбежные сдвиги и перемещения эмигрантской литературы в метрополию и обратно. Долгое время «Доктор Живаго» Пастернака, «Мы» Замятина, «Реквием» Ахматовой, написанные в России, были как бы принадлежностью эфемерного эмигрантского бытия. Разумеется, это иллюзия. Посидев в эмиграции, они вернулись на родину и вошли в состав советской литературы.

С другой стороны, при всем желании, никак не назовешь советскими писателями Бунина, Набокова, Ходасевича. Но разве, уехав за границу, они перестали быть и никогда уже не будут участниками литературного процесса в России?

Как, спрашивается, поступить с А. Солженицыным? До отъезда, получается, он советский писатель, после отъезда — совсем другой, эмигрантский? Куда причислить прекрасную повесть Г. Владимова «Верный Руслан», написанную в Советском Союзе, на самом актуальном советском материале, и напечатанную на Западе, еще до отъезда автора?

А Марина Цветаева? В свой эмигрантский период она поэтически была ближе Пастернаку, Хлебникову и Маяковскому, чем эмиграции. Но та же Цветаева говорила, что «каждый поэт — эмигрант». И что же, только на том основании, что она приехала в Россию и, ничего не написав, там повесилась, считать ее советским писателем? Может быть, для нее и для русской литературы было бы лучше не приезжать...

Очевидно, деление единой словесности по географическому и политическому признаку — это не самое главное, хотя и вносит порой свою специфику в существование и в произведения автора. Но что не вносит? Лагерь, случается, тоже вносит. Не так уж важно, где находится в данный момент тело писателя, если духом и языком он связан с родной словесностью.

Мне близка позиция Алексея Ремизова, изложенная в «Кукхе» (Берлин, 1923 г.):

«Дом — Россия.

Эта несчастная политика все перекрутила и перепутала. И ведь было такое время — теперь оно, кажется, проходит! — когда здешние про нас, оставшихся в стране — в России, говорили: «Продались большевикам!» — и это я читал собственными глазами, а у нас, бывало, чуть что, и «продался международному капиталу!».

Какое надо иметь злое воображение и какие пустяки хранить в душе».

С другого конца, из России, тоже делались попытки преодолеть границу. Вспомним восторженные отклики Пастернака на поэзию М. Цветаевой. По его словам (в стихотворении, посвященном Цветаевой), истинный поэт шире и мощнее отведенного ему историей жизненного пространства:

Клубясь во много рукавов,
Он двинется подобно дыму
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф,
Горит такого-то эпоха.

В 1922 году Мих. Кузмин просит очередного «странника» посетить одну русскую семью за границей и рассказать, как жили все это трудное время ее друзья, писатели, оставшиеся в России.

Расскажите ей, что мы живы, здоровы,
часто ее вспоминаем,
не умерли, а даже закалились,
скоро совсем попадем в святые,
что не пили не ели не обувались,
духовными словами питались...
Устало ли наше сердце,
ослабели ли наши руки.
пусть судят по новым книгам,
которые когда-нибудь выйдут...

В этом лирическом послании, отправленном на Запад, сквозит обычная для Кузми-

* Биографические справки составлены самими участниками анкеты в том виде и объеме, в каком каждый из них счел это уместным.

на — легкая и грустная — ирония. Но преобладает надежда, что руки и сердце писателя не устали и это будет когда-нибудь доказано появлением новых книг. К числу таких книг, которые говорили о непрекращающейся жизни искусства, принадлежала и последняя книга Кузмина «Форель разбивает лед» (1929). На темных улицах, где погибают артисты, он продолжал петь, как веселый и добрый шарманщик, на мотив заунывной «Разлуки»:

Есть у меня вещица —
Подарок от друзей,
Кому она приснится,
Тот не сойдет с ума...

Таинственная «вещица» (сплав любви и искусства) немедленно восстанавливает связь со всеми друзьями, пускай навсегда утраченными. Если воспользоваться известной формулой Пастернака, подсказанной ему, вероятно, тем же Кузминым, здесь устанавливаются «воздушные пути» через время и пространство. Среди многочисленных друзей, живых и мертвых, Кузмин поминает и тех, кто уехал:

Пускай они в Париже,
Берлине или где,—
Любимее и ближе
Быть на земле нельзя.

Мы размышляем о контактах и взаимообогащении разных национальных культур. Не пора ли, однако, включить в этот процесс и узнавание себя, неделимой русской культуры? Миграции культуры приносят много вреда, страданий, неоправданных жертв. И они же — спасают, помогают культуре выжить. А встречаясь (через много лет), разъединенные ветви культуры способны сообщить новый толчок ее развитию и влить свежую кровь в остывающие традиции.

2. Мне особенно дороги написанные в разное время под именем Абрама Терца — рассказ «Пхенц» (1956), повести «Гололедица» (1961) и «Любимов» (1963), книга «Прогулки с Пушкиным» (1968), статья «Отечество. Блатная песня...» (1979) и роман «Спокойной ночи» (1983).

Эти вещи располагаются по трем отрезкам или по трем периодам моего пути. Имею в виду не столько жизненный, сколько внутренний путь или «идею пути», если воспользоваться известным определением Александра Блока. У каждого писателя, полагал Блок, присутствует «идея пути», без которой любая книга — лишь более или менее случайная удача. Свою литературную биографию (откуда и берутся приведенные выше названия) я делю, во-первых, на период, условно говоря, «запретный» (1955—1965), когда я начал писать и печататься за границей; во-вторых, лагерный (1965—1971), сопряженный с твердым намерением остаться Абрамом Терцем на почве так называемого «фантастического литературоведения»; и, в-третьих, эмигрантский (1973—1988), когда я попытался и продолжаю пытаться взять барьер в освоении прозы как художественного пространства.

Необходимо пояснить: почему в свое время я предпочел печататься на Западе, а не в Советском Союзе? Как достаточно профессиональному критику мне было очевидно в 1955 году (начало моей писательской работы), что мой стиль (именно — стиль) неуместен в советской печати того времени, что он просто выпадает из сложившихся в стране традиций и обстоятельств. Ведь даже Зощенко тогда еще не был реабилитирован, а впереди нас поджидали надругательства над Пастернаком и другие беды и погромы в искусстве, которое я любил. Пересылая рукописи на Запад, я больше всего хотел — путем публикации — уберечь их до лучших времен, которые неизвестно когда настанут, да и настанут ли вообще — вопрос. Об этом сказано в моей повести «Любимов», где старичок писатель обращается к соавтору на тот свет: «Я сижу и трясусь, что обыщут и обнаружат под половицей эту рукопись, и тогда уж по ней нас всех до одного выловят. Слушай, профессор: ты же мой соавтор. Припрячь временно где-нибудь там у себя нашу повестушку. Пускай полежит пока в каком-нибудь твоем недоступном сейфе... Есть же у тебя укромное место. Тайничок какой-нибудь. Приюти до срока. Разве это не твое добро?»

Признаться, я вообще не очень-то верю в воспитательные (агитационные) возможности художественной литературы. Влияние литературы громадно, но мы, слава Богу, не в состоянии его регулировать. Мне как-то старый уголовник поведал, что вором и бандитом он сделался, прочитав однажды, в семнадцать лет, превосходный рассказ Максима Горького «Челкаш». Мы знаем, что из-за «Вертера» Гёте некоторые молодые люди даже стрелялись. А других молодых людей тот же «Вертер» спасал от самоубийства. Допустимо представить, что, читая лермонтовского «Демона», можно прийти к мистицизму. А можно — стать атеистом. Мой отец в юности, начитавшись Достоевского, из консервативной дворянской семьи ушел в революционеры. Мне же Достоевский помог пойти в другом направлении.

Иными словами, искусство располагает великой, но весьма обратимой энергией. Поэтому я не признал себя виновным по статье 70-й в «антисоветской агитации и пропаганде». Вообще мне кажется, искусство не должно привлекаться по политическим и уголовным статьям. На эту тему мне в тюрьме довелось много спорить с моим следователем по особо важным делам В. А. Пахомовым. Человек с двумя дипломами, он как-то посетовал, что третий раз перечитывает мою криминальную повесть «Любимов» и ничего в ней не может понять. Я обрадовался: «Вот видите, Виктор Александрович, если даже Вы, образованный человек, ничего не понимаете, то какая же это «политическая агитация и пропаганда», всегда рассчитанные на ясную и определенную цель?» Потом я спросил, можно ли «Мертвые души» Гоголя рассматривать как политическую антикрепостническую агитацию и пропаганду. Ответ: «Вы — не Гоголь!» Я, конечно, не Гоголь, но меня занимала теоретическая постановка вопроса насчет агитации и пропаганды. Тем более что свергать Советскую власть в своих произведениях я не собирался. Прошу прощения, но у меня были другие, чисто художественные задачи. Вот это следователям, бывает, трудно понять. В итоге каждый из нас остался при своих убеждениях.

3. Меня занимают главным образом проблемы русской словесности. Поэтому самыми яркими литературными событиями последнего времени были для меня присуждение Нобелевской премии Иосифу Бродскому и возвращение на родину «Доктора Живаго» Пастернака, романа «Мы» Замятина, повести «Собачье сердце» Булгакова, «Реквиема» Ахматовой, песен Александра Галича.

4. Внимательно слежу за советской литературой последних лет. Меня особенно радуют публикации романа Михаила Кураева «Капитан Дикштейн», рассказов Татьяны Толстой, намерение напечатать повесть «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. Чем определяется этот выбор? Конечно, было немало и других хороших публикаций. Но меня привлекают вещи новых авторов, притом связанные с расширением стилистических возможностей прозы, построенные на сочетании фантастики, лирики, иронии и гротеска, заведомо адогматические по своим идеям и стилю, с повышенным ощущением художественной формы.

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ

О себе.

Владимов Георгий Николаевич. Родился в 1931 году. Выступает в печати с 1954 года. Литературно-критические статьи и рецензии публиковались в журналах «Театр», «Новый мир», в «Литературной газете». В 1961 году в «Новом мире» появилась повесть «Большая руда», там же в 1969-м — роман «Три минуты молчания». Печатались также рассказы в журнале «Смена» и в «Неделе», по двум сценариям поставлены фильмы. Другие произведения Владимова — повести «Верный Руслан», «Не обращайте вниманья, маэстро», пьеса «Шестой солдат» — опубликованы на Западе. В 1977 году Владимов вышел из Союза писателей СССР в знак протеста против исключения его коллег (В. Войновича, Л. Копелева, В. Корнилова, Л. Чуковской) и против молчаливого отказа тогдашнего руководства Московской писательской организации устроить ему поездку на Франкфуртскую книжную ярмарку по приглашению норвежского издательства «Гюльдендаль». В течение шести лет был председателем Московской группы «Международной амнистии». В мае 1983 года выехал в ФРГ сроком на год по приглашению Института славистики Кёльнского университета прочесть цикл лекций о русской советской прозе. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1983 года о лишении Г. Н. Владимова советского гражданства закрыл ему возвращение на родину. В последние годы в СССР и затем в эмиграции работал над романом «Генерал и его армия», из истории Великой Отечественной войны (Киевская операция 1943 года). Отдельные главы романа печатались в русских эмигрантских журналах и передавались западным радио.

1. Термин «советская литература» я всегда понимал лишь как знак принадлежности к литературам народов, населяющих СССР. Идеологического содержания, как ни пытался, я в этот термин не мог вложить, то есть не понимал, чем принципиально отличалась бы такая литература — в лучших своих образцах — от русского наследия XIX века или от западной классики. Впрочем, спор на эту тему увлек бы нас чересчур далеко. Если же говорить о русской литературе, она, конечно же, принадлежит и культуре той страны, где волею судеб оказался писатель, поскольку она входит в состав мировой литературы и поскольку издатели отбирают для перевода те или иные произведения, сообразуясь с интересами и вкусами своего читателя. Не знаю, правомерно ли говорить о «замкнутой системе» применительно к литературе русского зарубежья, если она, физически отъединенная от родного ствола, продолжает плодоносить, питаясь накопленными соками. Так отрубленная ветвь тополя или ивы цветет побегами — и, бывает, весьма буйными,— не укоренясь и даже не соприкасаясь с землею. Разумеется, это цветение не беспредельно, и оно зависит от возраста и размеров обрубка. Я прожил в России 52 года, и, надеюсь, какое-то время мне будет о чем сказать. Предметом же интереса и темой писания остается жизнь в России, какой я ее знал и представляю себе сейчас. Сидя за письменным столом в германском Нидернхаузене (крохотный городишко близ Висбадена, ведущий, однако, свою историю чуть не с XII века), я вижу перед собою своего, российского читателя и адресуюсь к нему, хотя, признаться, материально завишу от западного.

Одним из главнейших богатств переселенца — и одновременно сильнейшим препятствием к его переселению в иноплеменную культуру — является язык, оказывающийся чем-то гораздо большим, нежели просто средством выражения мысли. Оставим в покое музыку, красоту языка — этого предостаточно и у других народов. Но при чтении словарей нельзя не заметить, как, в сущности, мало слов имеют полный и точный эквивалент в чужом языке, не говоря уже об идиомах или устойчивых сочетаниях («взять поезд», «ответить письмо» и т. п.), а иные так и вовсе не имеют эквивалента. Протасов в «Живом трупе» у Толстого говорит: «Это больше, чем свобода, это — воля!» — но как растолковать англичанину, чем одна «freedom» (или пусть «liberty») больше другой «freedom»? С другой стороны, чарующие зеленые глаза героини

мало впечатлят жителя Борнео, у которого в лексиконе 37 определений зеленого цвета. Язык оказывается самим существом мышления писателя, стержнем его индивидуальности, то есть наиболее ценного в искусстве, наконец — твердью под ногами. Вот почему проигрывает в переводе любая русская книга — и тем больше проигрывает, чем лучше она, чем гуще в ней атмосфера, воздух жизни,— и почему так редки и безнадежны попытки влиться в «туземную» литературу. Примеры такого рода (Иосиф Бродский, пишущий некоторые свои стихи и статьи по-английски) единичны и составляют скорее исключение.

Типично же «эмигрантская литература» пока, на мой взгляд, не имеет примеров, достойных рассмотрения в качестве феномена. Даже у авторов, состоявшихся только в эмиграции (Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов, Юрий Милославский, Дмитрий Савицкий, Саша Соколов) и частенько пересыпающих свои тексты англицизмами и галлицизмами, преобладают все-таки российские мотивы. При этом я не исключаю прекрасный роман из жизни эмиграции, но его автором мог бы быть и писатель, имеющий прописку в Москве и билет ССП в кармане,— может быть, он даже имел бы преимущество свежего взгляда со стороны.

Таким образом, я не нахожу принципиальной разницы между произведениями, создаваемыми в метрополии и за пределами ее. Разнятся лишь прижизненные судьбы авторов и судьбы их книг. Но подозреваю, школьнику XXI века будет трудно усвоить это различие и вспомнить о нем, отвечая на экзамене.

2. Всякому автору дороже последнее его произведение, но, поскольку роман «Генерал и его армия» еще не закончен, скажу о другом романе — «Три минуты молчания». Он дорог мне, как родителю — изболевшееся, настрадавшееся дитя. Я выстрадал этот роман сначала боками и всей шкурой, плавая матросом рыболовного траулера по трем морям Атлантики — Баренцеву, Норвежскому, Северному, затем — когда всю меру правды, какую там постиг, пытался втиснуть в романную форму. Наконец, это был последний роман, напечатанный в «Новом мире» Александром Твардовским,— я храню страницы с его пометками и запись его выступления на редколлегии, и мне дорого, что он нашел мой роман «вещью достойной», которую нельзя не напечатать, хоть и предвидел все последствия этого шага для журнала. Последствия не замедлили — от Москвы до самых до окраин раскатывались залпы критических батарей, ведших огонь на уничтожение, и вот как ложились снаряды: «В кривом зеркале», «Ложным курсом», «Сквозь темные очки», «Мели и рифы мысли», «Разве они такие, мурманские рыбаки?», «Такая книга не нужна!», «Кого спасаете, Владимов?» Ни одного сколько-нибудь дельного замечания я не нашел, чтобы использовать при подготовке книжного издания, зато увидел стремление вытолкнуть автора из советской литературы — и даже теперь, спустя 20 лет, не забывается это. Между тем в 1969 году «застой» уже наблюдался визуально и подступала проблема эмиграции, но ни из одной статьи не извлек я ответа на свой прозрачно поставленный вопрос: так что же делать нам — спасаться ли каждому, кто может, на своем плотике или всем оставаться на палубе, спасать все судно — и только так сохранить себя? Впрочем, возможно, и сама постановка этого вопроса вызывала накал страстей. Так или иначе, но «Три минуты молчания»— в сущности, героико-романтическая вещь о «трудовых буднях» советских моряков, об их мужестве и благородстве в часы смертельной опасности — не издавались книгой семь лет. Но существовал потрепанный «новомирский» комплект, и библиотекари обращали мое внимание на обрез журнала, где пролегала интенсивно темная полоса — мои страницы, захватанные пальцами многотысячного читателя. Вот и такая, «дактилоскопическая», оценка дорога мне, и я горжусь ею как премией.

3. Коль скоро спрашивается об одном событии, я, поколебавшись насчет «Реквиема» Анны Ахматовой, все же — как прозаик — предпочту назвать публикацию в Советском Союзе романа Василя Гроссмана «Жизнь и судьба». Жизнь этого романа сложилась мучительно, даже трагически, а судьба оказалась завидной и окрыляющей. Уничтоженный не то что до последней копии, но до последней копирки, он восстал из пепла — чем так наглядно подтвердилась красивая, но небесспорная гипотеза Михаила Булгакова о неподверженности горению бумаг, достойных называться «рукопись». Еще интереснее другое: по прикидке начальства такой роман мог быть напечатанным в России лет через 200—250 — ан, вышло на порядок ниже, в 10 раз скорее. И не то отрадно, что и начальству свойственно ошибаться, но что история наша пошла энергичнее, что восстанавливается прерванная связь времен, вправляются вывихнутые суставы века. В самом деле, напечатай мы «Жизнь и судьбу» в 1960—1961 годах, уже б не такой сенсацией выглядел «Один день Ивана Денисовича»— я говорю о сенсации политической, в литературном отношении «Иван Денисович» все равно остался бы явлением замечательным. Наконец, еще один урок нам: произведения литературы не сотрясают землю и не обрушивают небо — что, между прочим, и утверждалось всеми здравомыслящими и «инакомыслящими»,— но проделывают другую работу, гораздо более ценную и в которой мы сейчас так нуждаемся: пробуждение мысли, раскаяния, а отсюда и возрождение, возврат к утерянным ценностям. При всех моих претензиях к роману Гроссмана, он такую работу проделывает с большей мощностью, нежели тысячи вышедших за это время книг — с благополучной жизнью и никчемной судьбой.

4. За литературной жизнью в СССР слежу внимательно, насколько это посильно живущему вдали от т. н. «культурных центров» эмиграции — Парижа, Лондона, Мюнхена; выписываю «Новый мир», «Знамя» и «Литгазету»— хотя сия последняя меня дважды хорошо огрела (статьями неизвестного мне Б. Иванова). Впрочем, второму огреву я даже обрадовался, поскольку при первом назван был «битой картой», к которой естественно было бы уже не возвращаться. Помогает следить эмигрантский телефон — при

удручающей дороговизне международной связи мы переговариваемся из страны в страну, с континента на континент чаще и дольше, чем переговаривались в Москве, к тому же еще перебрасываемся бандеролями. так что ни одна сколько-нибудь заметная новинка не бывает упущена. По ним судим мы если не о глубине объявленной перестройки, то о широте наступающей гласности

«Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Пушкинский дом» Андрея Битова, «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского — для нас, ясное дело, не новинки, я их читал, еще живя в Москве, но «Зубр» Даниила Гранина — это новое и смелое слово, особенно дорогое сердцу изгнанника. Крутая судьба Н. В. Тимофеева-Ресовского доказывает, что родина — понятие не только территориальное, родина и там, где человек работает ради ее будущего, как бы к этому ни относились не в меру ретивые, сверхпринципиальные соотечественники.

Я рад успеху моего сверстника Анатолия Приставкина, который своей повестью «Ночевала тучка золотая» разом перешагнул, можно сказать, в другую весовую категорию, рад и за моего старшего друга Владимира Дудинцева, своими «Белыми одеждами», после долгого молчания, повторившего на новой ступени свой же нравственный подвиг предыдущей «оттепели». Все это вещи, написанные энергично и ярко, отмеченные гражданским темпераментом и новизною мышления. Думаю, тех же достоинств и повести Бориса Васильева «Жила-была Клавочка» и Анатолия Генатулина «Непогодь». К сожалению, критика в СССР прошла рассеянно и мимо «Клавочки», и «Непогоди», тогда как они заслуживают внимательнейшего рассмотрения как замечательные трагедийные воплощения темы «застоя».

«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, может быть, и сенсация для советского читателя, но не для эмигранта, располагающего куда более обширной информацией. Вообще, на мой взгляд, писатель тогда может сильнее себя выявить, когда пишет о вещах, всем известных,— именно поэтому так трудно высказать нечто новое о том, скажем по Чехову, «как Иван Иванович полюбил Марью Ивановну». Роман Рыбакова — наводящий на грустные размышления пример того, что книга в СССР может быть обязана своей популярностью лишь затрудненному доступу ко всем арсеналам мировой культуры.

Не пройти мимо «Смиренного кладбища» Сергея Каледина, которое, как мне кажется, вызвало даже некий шок и в России, и в зарубежье. Спокойно относясь к некоторым излишествам натуралистического свойства, я, однако ж, не могу не сказать, что вещь эта — и хорошо написанная, и поднимающая неизведанный пласт жизни — все же слишком расходится с духом и традицией русской литературы, всегда предоставлявшей герою выбор. Без нравственного выбора нет героя. Нет их и в повести Каледина, есть персонажи «физиологического очерка», низринутые в обстоятельства кромешного «дна» и бессильные хоть чуть над ним приподняться, заслуживающие, разумеется, нашего глубокого сожаления, но от которых нам нечего взять в свое сердце и разум.

Повести Валентина Распутина «Пожар», Виктора Астафьева «Печальный детектив», роман Василия Белова «Все впереди» мне представляются несколько ниже предыдущих книг этих же авторов, но не хочу злоупотребить приглашением высказать оценки, выскажу главное свое беспокойство и тревогу — об отсутствии нового значительного имени, большого оригинального прозаика, начинающего не старше тридцати, как начинало мое «четвертое поколение», ныне рассеянное по всему свету. Может быть, все та же прерванная связь времен не дает поднять головы следующим за нами, а ведь писатели не являются в одиночку, они приходят целыми генерациями и перенимают эстафету, а уже затем выдвигают своих лидеров. Все же я верю, надеюсь, что вот-вот он явится, наш новый Толстой, и скорее всего — из солдат, отведавших Афганистана.

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

О себе

Войнович Владимир Николаевич. Родился 26 сентября 1932 года в Душанбе, в семье журналиста. Отец в 1936 году был арестован и осужден на пять лет за выраженное в частном разговоре сомнение, что социализм можно построить в одной отдельно взятой стране. В мае 1941 года, после возвращения отца из лагеря, семья переехала в Запорожье. Войну провел в эвакуации: Ставропольский край, Куйбышевская и Вологодская области. Одиннадцати лет начал работать в колхозе. После войны вернулся в Запорожье, окончил ремесленное училище, работал столяром, учился в вечерней школе и аэроклубе (летал на планере и прыгал с парашютом).

В 1951—1955 годах служил в армии. Звание — рядовой, должность — авиамеханик.

После демобилизации жил недолго в Крыму, работал, закончил среднюю школу, писал стихи. В 1956 году переехал в Москву. Не попав в Литературный институт, работал на железной дороге, на стройке, редактором в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио. Учился (1957—1959) в Московском областном пединституте им. Крупской. В 1960—1961, работая на радио, написал в содружестве с разными композиторами (но в основном с О. Фельцманом) десятка четыре песен. Некоторые («14 минут до старта», «Футбольный мяч», «Рулатэ» и т. д.)

стали широко известны. Тогда же написал первую повесть «Мы здесь живем» (опубликована в «Новом мире» № 1, 1961). Затем в «Новом мире» были опубликованы повести и рассказы «Хочу быть честным» и «Расстояние в полкилометра» (№ 2, 1963), «В купе» (№ 2, 1965), «Два товарища» (№ 1, 1967), повесть «Владычица» в журнале «Наука и религия» (1969). Отдельные книги: «Мы здесь живем» и «Повести» («Советский писатель», 1963, 1972) и повесть о Вере Фигнер «Степень доверия» (Госполитиздат, 1972). В Союз писателей принят в сентябре 1962 года, исключен в феврале 1974-го. О точной дате и причине исключения могу лишь догадываться, потому что ни то, ни другое мне никогда сообщено не было. Причиной, конечно, были мои книги («гулявшие» в самиздате и попавшие за рубеж) и мое отношение к политическим процессам того времени. До и после исключения из СП подвергался различным преследованиям (запрещение книг, лишение источников существования, отключение телефона, обвинения в тунеядстве и прочее). В декабре 1980 года по приглашению Баварской академии изящных искусств выехал в Мюнхен. В июне 1981 года Указом Президиума Верховного Совета СССР (подписан Л. Брежневым) лишен советского гражданства. Следя внимательно за перестройкой, думаю: интересно, будет когда-нибудь отменен этот указ или я хочу слишком многого?

За пределами СССР издал роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (книги первая и вторая, 1975-й и 1979-й, Париж), сборник повестей и рассказов «Путем взаимной переписки» (1979, Париж), пьеса «Трибунал» (1985, Лондон), сборник «Антисоветский Советский Союз» (1986, США), роман «Москва 2042» (1987, США), повесть «Шапка» (1988, Лондон). Все эти книги переведены на много иностранных языков.

1. Я с удовольствием ответил бы на этот вопрос, если бы знал, какую именно литературу составители анкеты считают советской. Понятия «советский», «несоветский» и «антисоветский» слишком расплывчаты, часто сливались друг с другом и даже менялись местами. За примерами мне далеко ходить не надо. Я начинал свою карьеру как советский писатель, затем был произведен в антисоветские, а теперь я какой? Впрочем, если предположить, что вопрос анкеты сформулирован как-то иначе, то я бы на него ответил так. Есть единая русская литература. Принадлежит она русской культуре, а в некоторых случаях и мировой. Разделить эту литературу можно условно на три части:

Первая — пишется и печатается в Советском Союзе;

Вторая — пишется в Советском Союзе, но печатается за границей или нигде;

Третья — пишется и печатается за рубежом.

Это разделение произвольно, противоестественно. Сейчас происходит попытка (данная анкета тому свидетельство) с этим разделением покончить. Но попытка слишком растянулась во времени. Перестройке вот уже скоро будет четыре года. За это время советскому читателю стали наконец доступны прежде запрещенные книги давно умерших Булгакова, Замятина, Платонова, Пастернака, Гроссмана, Набокова. Очень много, но недостаточно. Имена выкинутых из литературы современников (недавно умерших или еще живых) только-только начинают в нашем Отечестве входить в литературный обиход. Но даже сторонники этого процесса сопровождают его какими-то недомолвками, оговорками и передержками. Приведу хотя бы один пример. О недавно скончавшемся в эмиграции Викторе Некрасове сейчас в советской печати сказано немало доброго. Но в каждый бочонок меду неизменно добавляется черпак дегтя. То прямо, то криво говорится, что Некрасов когда-то был хороший, воевал, написал «В окопах Сталинграда», а потом стал поступать очень нехорошо, уехал, нищенствовал, продавался за кусок хлеба и, несмотря на это, не нашлось ему во всей Франции другого места, как в чужой могиле. Должен признаться, такая форма реабилитации писателя меня лично никак не радует. Я не понимаю, почему в период развития гласности (а я к этому процессу отношусь в высшей степени одобрительно) правду, как и прежде, нужно обязательно мешать с неправдой, изменив лишь пропорции. А правда состоит в том, что Виктор Платонович Некрасов во все периоды своей жизни был честным, отважным, принципиальным человеком и писателем. Именно поэтому в годы застоя его фактически выгнали из страны. За границей миллионов он не нажил, но и не бедствовал. Всегда говорил то, что думал, честью и совестью не торговал. А что касается места, то не во всей Франции его не нашлось, а на конкретном русском кладбище Сент-Женевьев, не меньше забитом, чем Новодевичье. Если уж ужасаться, так тому, что не в чужой Франции, а в родной земле герою войны и народному писателю для последнего приюта не нашлось клочка хотя бы размером со сталинградский окоп. Сравнительно недавно, в конце «эпохи застоя» один из недоброжелателей Некрасова злорадно писал в советском журнале, что Некрасов пропил все на свете, лишен работы и пенсии, живет под мостом и питается отбросами с «шикарных парижских помоек». Теперь доброжелатели Некрасова, друзья-воспоминатели (много их вдруг объявилось) готовят покойному иные блюда, но и в них ингредиенты с тех же помоек все же присутствуют. Неужели нельзя обойтись без этого? Заканчивая свой затянувшийся ответ на первый вопрос, скажу, что «литературы зарубежья» или «эмигрантской литературы» вообще быть не должно, независимо от того, где какой писатель живет. Из тысячи возможных примеров нормального состояния литературы приведу один. Хемингуэй жил во Франции, сражался в Испании, умер на Кубе [1], но при этом был не французским, не испанским, не кубинским, не эмигрантским и не антиамериканским (по аналогии с антисоветским), а американским писателем. Так и только так должно быть и у нас.

2. Из написанного в Советском Союзе мне наиболее дорог роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», из написанного за границей — роман «Москва 2042».

3. Наиболее яркое мировое событие — это публикация в СССР ранее запрещенных шедевров русской литературы.

4. Слежу. Если не считать упомянутых выше шедевров, наибольшее внимание при-

[1] Хемингуэй умер в США. *(Прим. ред.)*

влекли публицистика и критика — статьи Ю. Карякина, Ю. Афанасьева, Ю. Буртина, А. Нуйкина, Н. Шмелева, В. Селюнина, Б. Сарнова и многих (даже очень многих!) других. Из прозы: «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина, рассказы Татьяны Толстой и В. Пьецуха. Из стихов, которые попались на глаза, отмечу стихи Семена Липкина, Инны Лиснянской, Беллы Ахмадулиной, Юнны Мориц, Татьяны Бек.

НАУМ КОРЖАВИН

О себе.

Мандель (Коржавин) Наум Моисеевич. Родился 14 октября 1925 года в Киеве. Писать начал лет в тринадцать. В Москву приехал из эвакуации, в апреле 1944 года. В сентябре 1945 года стал студентом Литературного института им. А. М. Горького. 20 декабря 1947 года был арестован тогдашним МГБ и сослан в Новосибирскую область на три года. После ссылки жил в Караганде, где окончил горный техникум. В Москву вернулся в конце 1954 года. Постепенно стал публиковаться. В 1959 году кончил институт. Печатал стихи и статьи в сборнике «Тарусские страницы», в московских журналах, в 1963 году вышел в «Советском писателе» сборник стихов «Годы», в 1967 году Театром им. Станиславского была поставлена пьеса «Однажды в двадцатом». За границей — с октября 1973 года. Написал и опубликовал в здешней русской периодике несколько десятков стихотворений, три поэмы, множество статей на разные темы. Выпустил в изд-ве «Посев» два поэтических сборника: «Времена» и «Сплетения», куда наряду с новыми вошли стихи, которые в московских журналах можно опубликовать только теперь.

1. Действительно, на Западе устраивались «научные» дискуссии на эту тему — существует одна русская литература или их две (так как есть еще отдельная эмигрантская). В вопросе редакции появляется еще одно предположение: не является ли эмигрантская литература частью литературы той страны, где живет писатель. Что касается этого предположения — то оно противоречит смыслу понятия. Эмигрант — в русском, а не, допустим, итальянском смысле этого слова — потому и эмигрант, что он оторванная или оторвавшаяся частица своей страны и культуры. Ассимилированный потомок эмигрантов — уже не эмигрант. Человек, стремящийся ощутить своей другую страну и другую культуру, если ему это удается,— тоже не эмигрант, а переселенец. Переселенцы иногда создавали новую страну, где формировалась новая, хоть и близкая материнской, культура на том же языке. Так появились страны и культуры английского языка. Но это вообще не наша проблема, ибо на свете, кроме России, стран русского языка больше нет. Русскоязычные люди во всех частях нашей страны и за ее пределами так или иначе тяготеют к русской культуре. Правда, теперь кем-то пущен термин «русскоязычная литература». Понимать его надо так — нерусская литература на русском языке. Но это нонсенс. Русскоязычным может быть журнал «Америка»— иностранный журнал для русского читателя или «Наша страна»— израильская газета для людей, пока еще не читающих на иврите, но не художественная литература. Полноценный роман может быть переводным, но иноязычным быть не может. Ибо слово связано с культурой органично и достаточно тесно. И художник вскрывает, заставляет работать все, с чем оно связано в данной культуре, все богатство смысловых, исторических, бытовых и даже звуковых оттенков и ассоциаций, а не только его семантику или непосредственную музыкальность... Иноязычное — по отношению к данной культуре — произведение осуждено на то, чтобы быть бедней. Конечно, есть еще бывшие колониальные страны, где пишут только на европейских языках, но это или относится к европейским же культурам (Найпол), либо представляет собой временное явление. Когда-то образованные люди России иногда больше говорили и писали по-французски, чем по-русски, но культуры на французском языке все же не создали.

Правда, я встречал русских, претендовавших на то, что они русскоязычные представители американской культуры, но это их дело. Американская культура этого не заметила — она как была, так и осталась англоязычной.

Многих смущает пример Набокова. Но при всей причудливости его образа и поведения в лучших произведениях, написанных даже по-английски («Пнин»), он все равно русский писатель. Они все равно выглядят как перевод с русского. Представить себе настоящего американца, написавшего такой роман, я не в состоянии. Как и русского, написавшего фолкнеровскую трилогию. Но это к слову — вопроса о русских, пишущих по-английски, Вы не задавали. Русские же произведения Набокова явно ни к какой местной литературе не относятся.

Проблема же отдельной эмигрантской литературы «открыта», как я думаю, только в семидесятые годы. Стремление отделиться от русской литературы мне вообще кажется странным. Писателям послереволюционной эмиграции такое и в голову не приходило. Они могли порой считать, что только они и есть русская литература (конечно, далеко не все — некоторые следили и знали, что пишется в СССР), но никак не объявлять себя какой-то другой литературой. А в

семидесятые нашлись — объявили! На мой взгляд, эта ошибка — а у меня нет сомнения, что это именно ошибка,— вызвана упрощенным представлением о том, что такое «личность». И поэтому — преувеличенным представлением о ценности самовыражения — особенно если оно обеспечено (или кажется обеспеченным) соответствующим владением техникой [1] (или тем, что за это условно принималось). Забывали, что «личность» не просто биологическое существо, а существо, ощутившее себя в мире, по отношению к миру, а поэтому и мир как цельный и живой образ. Что абсолютно невозможно, если не чувствовать страны, с которой ты связан корнями. Речь не о выборе тем, а о том, что стоит за любой темой, о внутреннем богатстве. Это забвение связано не только с эмиграцией, в эмиграцию оно в значительной степени было только вывезено (а круги, откуда это было вывезено, в основном остались дома). Впрочем, и дома это подражание, причем подражание болезни... Такое представление — одна из распространеннейших болезней современной культуры. Карел Чапек называл «чистое» самовыражение **умножением материи.** Но как раз такая система «ценностей» допускает разговоры об отдельной эмигрантской литературе, ибо собственная удивительность имманентна, никакой связи ни с чем не требует и ее можно таскать с собой повсюду совершенно безболезненно. А при случае это может оказаться удобным — прежде всего психологически, легче обеспечивает равновесие и иллюзию ясного смысла деятельности в тяжелых, а порой и мутных перипетиях века...

Я вовсе не думаю, что эмиграция никак не сказывалась на творчестве писателя. Жили в двадцатые — тридцатые годы, преимущественно в Париже, молодые поэты, которые полагали, что все, что с ними происходит, частность, историческая случайность и что поэтому обобщать — значит абстрагироваться от этих частностей: есть просто любовь, тоска, холод, голод, безнадежность, просто надежда, просто трагичность бытия, а эмиграции вроде и нет... Однако большим русским поэтом стал не кто-то из них (хоть были и способные), а Георгий Иванов, который приходил к поэзии, к вечным ценностям через свою конкретную, эмигрантскую судьбу, а не абстрагируясь от нее. Безусловно, задача художественного творчества не сводится к фиксации опыта, но игнорировать ее нельзя. Опыт может выражаться по-разному, может по-разному преображаться, но без его фиксации все душевные и духовные достижения—недостоверны. Судьба не фетиш, в судьбе можно и задохнуться. Надо уметь ее преодолевать, то есть видеть свет в ней и сквозь нее. Как сказано выше, дело не в теме. Например, круг тем в творчестве недавно умершего очень хорошего прозаика Леонида Ржевского (пока, к сожалению, мало известного советскому читателю, хотя потенциально интересного ему даже тематически) весьма широк. Конечно, солидное место занимает в нем эмигрантская тема. Но немало внимания он уделял и московской жизни тридцатых годов. В частности, ей посвящены повести, вошедшие в последний прижизненный его сборник «Звездопад» (изд-во «Эрмитаж», США, 1984). Так вот — эта жизнь передана им с такой остротой и отчетливостью подробностей и деталей, которые наверняка выветрились из памяти любого, у кого на глазах эта жизнь, как это свойственно жизни, постепенно менялась и кто сам менялся вместе с ней. Такой автор воссоздал бы ее, может быть, не менее интересно, но все же иначе. Надо ли специально уточнять, что мысль о «двух литературах» не только не принималась Ржевским, а буквально его оскорбляла. Примерно так же относились и относятся к этому мои теперь уже старые друзья, талантливые поэты Иван Елагин, тоже, к сожалению, уже покойный, и ныне здравствующий Игорь Чиннов. Для тех же, у кого, как у меня, значительная часть жизни и творчества протекла в России, вопрос, как мне кажется, вообще так стоять не может.

Мое мнение таково: эмигрантская литература — это (в наиболее тяжелом случае) особая ветвь единого древа русской литературы. Каждое ее произведение, безусловно, относится к русской литературе — конечно, в той степени, в какой оно вообще относится к литературе. Но тут уже нет никакой специфики.

Впрочем, мне, как уже сказано, вообще непонятны литераторы, пишущие по-русски, но отделяющие себя от русской литературы. Сегодня это значит отказываться не только от долга (кто его не чувствует, у того и проблемы этой нет), но и от богатства, обошедшегося очень дорого. Думаю, что для того, кто на самом деле писатель и вообще личность, это невозможно. Тем более, что судьба России в современном мире отнюдь не периферийна и от нее все равно не отвернешься. А в принципе — проблемы нет. Все мы знаем, что такое русская литература. От чести принадлежать к ней не отказываются — важно, чтоб она сама в этом не отказала. О чем же тут рассуждать?

2. На этот вопрос ответить трудно. Временами мне более близки одни стихи или поэмы, временами — другие, независимо от того, где они написаны или опубликованы. Из литературно-критических статей самые дорогие для меня: «В защиту банальных истин» (о поэтической форме) («Новый мир», 1962): «Пока была любовь...» (О фильме Антониони «Затмение», «Искусство кино», 1967), «Судьба Ярослава Смелякова» («Грани» № 91), «Игра с дьяволом» («Грани» № 95), «Опыт поэтической биографии («Континент» № 2), «Добро не может быть старо ..» (Об Олеге Чухонцеве, «Континент» № 17), «Сквозь соблазны безвременья» («Континент» № 42), «Гармония и утопия» («Континент» № 16), «Анна Ахматова и «Серебряный век» («Грани» № 144), «Поэзия Булата Окуджавы», послесловие к сборнику Булата Окуджавы «Поэзия и проза» («Посев», 1984). К этому могу еще добавить пьесу «Однажды в двадцатом», поставленную в 1967 году Московским драматическим театром им. Станиславского.

[1] Иногда вместо этого говорят: «владеет формой», но владеть формой невозможно. В форме автору открывается «содержание», которое вне формы — это такое содержание — и не существует. Формой не владеют, не постигают, ею «овладевают» каждый раз заново. В том и состоит процесс творчества.

3. Пишется много хорошего. Но, как мне кажется, ничего равного по полноте и глубине фолкнеровской трилогии на Западе создано не было. Но возможно, это и не так. К сожалению, квалифицированного ответа на этот вопрос дать не могу из-за недостаточного знакомства с предметом: мой английский слишком слаб для этого.

4. Что касается произведших на меня впечатление публикаций в советской печати последних лет, то, если говорить о поэзии, я был рад увидеть опубликованными давно знакомые мне стихи Смелякова, Галича, и не только знакомые Слуцкого, а также неожиданное для меня стихотворение «обериута» Введенского и т. п. Очень хороша подборка Николая Тряпкина в «Новом мире» (может быть, есть и другие, но я читал только эту). Я давно знал, что Тряпкин талантливый поэт, но здесь он впервые открылся в полную силу — одинаково в тематически острых и неострых своих стихах. Рад, что вышла пластинка с песнями Вероники Долиной, у которой и раньше находил много ценного. Из новых имен заинтересовали меня стихи С. Гандлевского. Хотел бы увидеть опубликованными стихи А. Сопровского, о котором я писал.

Что же касается других жанров, то «гвоздем сезона» сегодня является несомненно публицистика — Карякин, Нуйкин, Сарнов, Селюнин, Стреляный, Шмелев, Черниченко и др., но о ней особый разговор. Впрочем, и проза (даже если не говорить о таких авторах, как А. Платонов, М. Булгаков, В. Гроссман, некоторые произведения которых только теперь наконец возвращены читателю) заявляет о себе достаточно громко. Очень значительны, на мой взгляд, «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина, «Смиренное кладбище» Сергея Каледина, «Васька» Сергея Антонова, рассказы Татьяны Толстой и пьесы Людмилы Петрушевской. К сожалению, я еще не читал рассказы и повести Н. Шмелева, В. Маканина и роман «Мужики и бабы» Б. Можаева, о которых слышал много хорошего. Возможно, я что-то пропустил, а чего-то и не прочел: я живу далеко от Москвы, и к тому же меня сильно лимитирует зрение. Надеюсь после операции наверстать упущенное. Уверен, что есть что наверстывать.

Хотелось бы только отметить, что за общим оживлением, вызванным наступлением гласности, несправедливо забывали о том, чем была (и остается) и что сделала так называемая «деревенская проза», хоть ее расцвет совпал с тем, что теперь справедливо называется «застойным периодом». Какие бы факторы ни позволили ей тогда состояться, какие бы странные высказывания ни допускали сегодня некоторые ее представители, какие бы неудачи ни постигали некоторых из них, это не застойная, а настоящая литература — к тому же много сделавшая в то трудное время и делающая сейчас для восстановления исторической правды и развития общественного самосознания...

АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ

О себе.

Зиновьев Александр Александрович. Родился 29.10.1922 в глухой русской деревушке. Мать — крестьянка. Отец — рабочий, маляр. В 1939 году окончил среднюю школу, поступил на философский факультет МИФЛИ. За выступление против культа Сталина был исключен из комсомола и из института. Обследовался в психиатрической больнице, был арестован, бежал, скрывался. В 1940 году скрылся от преследования в армию. Во время Отечественной войны был танкистом, затем — летчиком. Участвовал в боях, имел награды. В 1946 году демобилизовался из армии, учился на философском факультете МГУ, затем — в аспирантуре. Защитил диссертацию о «Капитале» К. Маркса, которая была запрещена для чтения без особого разрешения. Диссертация распространялась в машинописных копиях — предшественник «самиздата» 70-х годов. С 1955-го работал в Институте философии АН СССР и в различных высших учебных заведениях, включая МГУ. Опубликовал много книг по логике и методологии науки и более сотни статей. Многие книги и статьи издавались на западных языках. Защитил докторскую диссертацию, стал профессором. Одно время заведовал кафедрой логики в МГУ и был членом редколлегии журнала «Вопросы философии». Многократно лично приглашался на международные конгрессы, но никогда не выпускался. Выдвигался в члены-корреспонденты АН СССР и на Государственную премию, но отклонялся ненаучными органами власти. В знак протеста против холуйства редколлегии журнала «Вопросы философии» перед Брежневым вышел из редколлегии. За логические исследования был избран в Академию наук Финляндии. За отказ уволить с кафедры двух преподавателей, занятых диссидентской деятельностью, был освобожден от заведования кафедрой. Лишился покровительства высшего начальства и был отдан на съедение коллегам, которые разгромили логическую группу и оценили его исследования как не имеющие никакой ценности и вычеркнули имя из русской науки. Запретили печатать логические работы. Оказавшись в изоляции, в 1974 году написал роман «Зияющие высоты», который был издан на Западе в 1976 году, переведен сразу на многие языки и имел беспрецедентный успех. За это был уволен с работы, лишен степеней званий и даже правительственных наград. В 1978 году опубликовал на Западе роман «Светлое будущее», в котором прямой критике подвергался Брежнев. Это и послужило поводом для высылки из страны и лишения гражданства. С 1978 года живет с женой Ольгой и дочерью Полиной в ФРГ, в Мюнхене. Читал лекции в университетах Европы, Америки и Латинской Америки. Опубликовал более 20 книг. Регулярно публиковался в различных газетах и журналах. Награждался многочисленными литературными пре-

миями, а также премиями за социологические исследования (Премия Алексиса Токвиля). Избран в Баварскую академию искусств и Академию наук Италии. Почетный гражданин Равенны, Авиньона и Оранжа. Принимал участие в бесчисленных международных встречах, регулярно выступал с публичными лекциями по радио и телевидению. В 1986 году во Франции имел место литературный фестиваль, посвященный творчеству писателя. В последиие годы опубликовал множество статей и книгу с анализом и критикой «перестройки», которая служит ему как социологу объектом анализа, а как писателю — объектом сатиры.

Основные литературные произведения: «Зияющие высоты» (1976), «Светлое будущее» (1978), «Записки ночного сторожа» (1979), «В преддверии рая» (1979), «Желтый дом» (1980), «Гомо советикус» (1982), «Мой дом — моя чужбина» (1982), «Нашей юности полет» (1983), «Евангелие для Ивана» (1984), «Иди иа Голгофу» (1985), «Пара беллум» (1986).

1. Русскоязычная литература на Западе не есть нечто однородное и единое. Не берусь ее классифицировать и судить о других писателях. Скажу лишь о себе. Мои книги сразу печатаются на западных языках и рецензируются в западной прессе. Потому многие мои читатели и критики воспринимают меня как явление в западной литературе. Вместе с тем по тематике, личной судьбе, менталитету и языку меня относят к русской литературе, иногда выделяя литературу эмигрантскую как особое явление, иногда говоря о русской литературе вообще. По-русски мои книги печатаются сравнительно небольшими тиражами и далеко не все. В Россию попадает ничтожно малое число экземпляров. Сам я считаю себя национально русским писателем. Пишу, имея в виду в качестве основного ценителя качеств литературного произведения советских читателей. Думаю, что если бы в России напечатали мои книги, я в течение кратчайшего срока был бы принят как русский писатель в самом глубоком смысле слова. Но быть мне в русской литературе или нет, это зависит не от меня, а от возможности советских людей свободно читать мои книги. Так что вопрос о том, к какой культуре отнести русского писателя в эмиграции, надо задавать органам власти советского общества, а не писателю. Но я не теряю надежды на то, что русский народ в конце концов опомнится и начнет защищать своих верных сынов не только после их смерти, но и при жизни.

2. Из моих литературных произведений мне особенно дороги книги «Зияющие высоты», «Желтый дом» и «Иди на Голгофу» (включая в нее «Евангелие для Ивана»).

3. Самым ярким явлением в мировой литературе в последние десятилетия я считаю литературный взрыв в России в шестидесятые и семидесятые годы. Я считаю беспрецедентной в истории литературы ту расправу, которую учинили над ведущими представителями этого литературного ренессанса. Россия имела неповторимую возможность вновь стать ведущей литературной державой мира. И эту возможность преступным образом упустили.

4. Я слежу за литературной жизнью в СССР, но не на уровне литературной критики. Я считаю, что современная русская литература нисколько не уступает западной по эстетическому и идейному уровню. Но и Западу в наше время нечем особенно хвастаться. Та литература, которая могла бы вызывать мое восхищение, приходит в упадок. Я не могу назвать ни одну советскую книгу последних лет, которая произвела бы на меня сильное впечатление.

(Окончание анкеты — в следующем номере)

Великобритания

«БАГРОВАЯ ПРОЗА» ЛОУРЕНСА НА ЭКРАНЕ

Режиссер Стюарт Бёрдж закончил съемки трехсерийного фильма «Радуга» по одноименному роману Д. Г. Лоуренса. Как отмечает рецензент журнала «Лиснер» Джон Дагдейл, это не первая встреча режиссера с произведением мастера английской прозы: в 1981 году по британскому телевидению демонстрировался семисерийный фильм Бёрджа «Сыновья и любовники».

«Мы не стремились сделать традиционный телесериал, в котором актеры и актрисы, внешне похожие на героев романа, предстают и молодыми и состарившимися, — говорит постановщик. — В основном это рассказ о молодой женщине Урсуле, начинающийся где-то с середины книги, а жизнь первых двух поколений семьи Брентгуэнов показана через обратные кадры снов и воспоминаний».

Главная героиня фильма рвет стягивающие ее семейные и религиозные путы, чтобы познать свободу профессиональной и личной жизни. Многоплановый роман становится на экране непрерывным видением одного персонажа, поэтому Имоджен Стаббз, снявшаяся в роли Урсулы, присутствует буквально в каждом кадре. Автор сценария Энн Девлин признается, что «восхищена языческой позицией Д. Г. Лоуренса, убежденного в существовании древних, дохристианских сил, в извечном и неразделимом единстве тела и души».

Любопытная деталь: поначалу Энн Девлин отказалась от предложения работать над «Радугой», считая, что раз она драматург, то ее опыт здесь «не подходит», она «не справится»... Но создателям фильма требовался именно «неопытный сценарист», и она в конце концов согласилась, вспомнив, как семнадцати лет впервые прочла роман: «Мне казалось, Урсула — это я и Лоуренс — это я». По словам Энн Девлин, она «предпочитает доверять своим собственным ощущениям». Продюсер фильма Чарльз Парр говорит, что «Энн, женщина-драматург, весьма своеобразно интерпретирует Лоуренса» Тем не менее, по свидетельству рецензента Дж. Дагдейла, «ее сценарий не назовешь феминистским вариантом «Радуги».

Кадр из фильма С. Бёрджа.
(Журнал «Лиснер»)

«Фильм по-своему верен оригиналу,— пишет журнал,— однако поклонники творчества Лоуренса, возможно, будут недовольны слишком большим объемом «оставшегося за кадром» материала, включая сюда и историю семьи Брентгуэнов, и ведущий повествование голос самого автора, его комментарии и четырехстраничные описания поцелуя — по выражению С. Бёрджа, образцы «багровой прозы» Лоуренса».

Венгрия

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГЛАСНОСТИ

В венгерском издательстве «Сабад тер» увидел свет сборник «Дальше... Дальше... Дальше!» (составители Имре Пожгаи, Габор Секей, общая редакция Акоша Силади). В него вошли фрагменты статей, литературных произведений публикаций в советской, венгерской и западной печати документов, отражающих период советской истории с 1953 по 1988 год. Подзаголовок книги — «Гласность II», ведь это уже второй сборник серии (первый называется «Бесконечная революция» и включает материалы, охватывающие период времени с образования Советского государства до смерти Сталина). Составители назвали две эти книги «исторической хрестоматией».

Материалы сборника «Дальше... Дальше... Дальше!» объединены в пяти разделах: «Дело правды торжествует», «Провалившаяся реформа», «Плюс Леонид Ильич», «Теневой мир», «Какая перестройка нам нужна». Венгерский читатель получил возможность познакомиться со статьями, письмами, интервью, воспоминаниями Р. Медведева, Ф. Бурлацкого, Е. Яковлева, Г. Попова, Н. Шмелева, Ю. Карякина, Л. Колодного, Л. Чуковской, А. Сахарова, К. Икрамова, А. Ваксберга, М. Влади, прочитать отрывки из пьесы М. Шатрова «Дальше... Дальше... Дальше!» давшей название сборнику, отрывок из романа В. Ямпольского «Московская улица». В книге есть и отзывы советских читателей на роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», фрагменты статей В. Лакшина и Д. Лукача о творчестве А. Солженицына. Сборник знакомит с современной литературно-журнальной полемикой в СССР и дает представление о так называемом «самиздате». Приведены здесь и некоторые исторические документы — например, отрывки из выступлений Н. С. Хрущева на XX и XXII съездах КПСС.

Составители сборника убеждены в том, что «белые пятна» истории «нужно искать не в самой истории, а на «страницах» исторического сознания, ибо «зияющие пустоты», «черные дыры» и «белые пятна», искусственно вызванные «искажения исторической памяти» — это «сознательно спланированные и тщательно осуществленные вычеркивания, подтирки и переписки». С их помощью некоторые деятели пытались лишить людей памяти, что, к счастью, им не удалось.

В издательской аннотации редактор сборника Акош Силади пишет: «Когда перестройка называется революцией, это не только потому, что для изменения жесткой сталинской структуры (то есть для ее разрушения и для постройки другой структуры) действительно нужна революция, но еще и потому, что перестройка есть продолжение Октября 1917 года, она возвращает людей к первоначальной программе социалистической революции».

«ЗА МНОЙ, ЧИТАТЕЛЬ!»

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» выдержал в Венгрии семь изданий, одно из них — в серии «Шедевры мировой литературы» (общий тираж — 315 тысяч экземпляров). Таким большим тиражом, отмечают критики, в Венгрии не выходили даже книги, успех которых поддержи-

вался телевизионными передачами — экранизацией всемирно известных романов «Корни», «Мост через реку Квай» и других. Роман Булгакова в стране прочли более полумиллиона читателей. В чем причина столь необыкновенного успеха, кто и как прочел знаменитую книгу Булгакова — этим вопросам посвящено литературно-социологическое исследование Иштвана Камараша «За мной, читатель! (Восприятие, литература и воздействие романа «Мастер и Маргарита» в Венгрии)», вышедшее недавно в будапештском издательстве «Мужак» («Музы»).

«Мастер и Маргарита» — один из самых сложных и загадочных романов в мировой литературе, в его четырех концентрических кругах скрыт какой-то загадочный механизм». Приводя это высказывание югославского литератора М. Йовановича, И. Камараш пишет, что сам он главный смысл романа видит в сопряжении, взаимодействии различных его пластов.

Критик Шандор Хорпачи, откликнувшийся на выход исследования рецензией в журнале «Уй форраш», называет автора «Мастера и Маргариты» «великим магом, который раздвинул границы наших представлений о романе и отверг слепой, лишенный фантазии детерминизм, отверг наше восприятие реализма как «материализма, свободного от диалектики».

И. Камараш анализирует причины успеха романа в Венгрии, рассказывает об истории его издания в Советском Союзе и за рубежом, приводит любопытные факты: первое книжное издание «Мастера и Маргариты» на русском языке вышло в ФРГ; первые переводные издания — английское, итальянское, норвежское; в Югославии книга вышла на сербском, хорватском, македонском языках.

В Венгрии роман был опубликован в 1969 году, первоначальный тираж — 5600 экземпляров. Явно заниженный тираж Камараш объясняет «осторожной политикой просвещения», проводившейся в те годы. Ею же, очевидно, объясняется и то обстоятельство, что радиоспектакль, созданный по роману в 1972 году, в котором приняли участие лучшие актеры: Иван Дарваш (Мастер), Ева Руткаи (Маргарита), Золтан Латинович (Пилат), прозвучал в эфире только в 1976 году.

В своем исследовании И. Камараш попытался определить, как воспринимают и как трактуют роман венгерские читатели в зависимости от возраста, образования, склонности к гуманитарным или техническим наукам, попытался понять, кто из читателей читает «Мастера и Маргариту» как любовный роман, а кто — как исторический, кто из них увидел в этой книге изобличительную сатиру, а кто — нравственную притчу, как приняли роман поклонники Джойса и Кафки, а как — любители легкого чтения. В основу исследования легли опросы читателей, проведенные в массовых библиотеках, ответы на анкеты, распространенные среди рабочих, студентов, технической и гуманитарной интеллигенции, среди верующих и атеистов. И. Камараш попытался также определить, меняется ли миропонимание читателя в процессе знакомства с романом, легко ли освобождается он от привычных стереотипов восприятия художественного произведения.

«Литература о творчестве Булгакова обширна,— пишет на страницах газеты «Напьяинк» критик Чаба Хайду,— но все же под таким углом зрения — восприятие книги читателем — знаменитый роман никто еще не изучал».

«Данное исследование прочтут с пользой для себя не только специалисты — преподаватели словесности, библиотекари, критики, но и все, кто интересуется литературой и искусством»,— считает обозреватель журнала «Уй-кёньвек».

Индия

СОКРОВИЩНИЦА ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ

Широкий отклик прессы вызвали недавние публикации в русских переводах произведений писателей и поэтов Индии. «Бомбей самачар», крупнейшая бомбейская газета на языке гуджарати, а также влиятельные англоязычные газеты «Миддей» и «Томантак таймс» поместили на своих страницах статью «Индия в журнале «Иностранная литература». Ее автор, известный публицист, литературный и театральный критик Ладжпат Рай, анализирует диапазон и значение этих публикаций в рамках Фестиваля Индии в СССР. Л. Рай отмечает их разнообразие: это переводы рассказов Кеки Н. Даруваллы, романа «Король Яяти» В. С. Кхандекара, стихов современных поэтов, а также обстоятельное интервью, в котором Ашок Ваджпейи поделился размышлениями о «новой волне» в поэзии Индии, о роли литературы у себя на родине.

На страницах еженедельника «Локпрабха», издающегося на языке маратхи, в статье «Яяти» Кхандекара опубликован на русском» критик М. Мокаши подчеркивает, что «появление этого романа в столь авторитетном журнале свидетельствует о признании высокого уровня литературы маратхи и внимательном ее изучении». «Поистине она одна из самых ярких в букете литератур Индии»,— полагает рецензент.

Известный публицист Джатин Кархадкар пишет в газете «Фри пресс джорнэл» о проблемах, стоящих сегодня перед национальными литературами в Индии. Разумеется, критик приветствует появление шедевра В. С. Кхандекара «Король Яяти» на русском, английском и ряде индийских языков, однако его тревожит малочисленность тиражей этого «классического романа» на родном языке. В связи с этим Дж. Кархадкар вспоминает о судьбе произведений Рабиндраната Тагора, публикации переводов которых на различные языки оставили далеко позади издания на бенгальском — языке оригинала. «Увы, нет пророка в своем отечестве»,— сетует критик, а также задает вопрос в котором наряду с иронией слышится и определенная обеспокоенность: «Не превратятся ли переводы на иностранные языки (и русский в том числе) в своего рода «сокровищницу» произведений индийской национальной культуры — ведь именно так и арабы сохранили благодаря переводам научное и культурное достояние пришедших в упадок древнегреческой и древнеиндийской цивилизаций?» И хотя, по словам Дж. Кархадкара, «дело ознакомления советских читателей с лучшими произведениями индийской литературы в надежных руках», он все же надеется, что «русским не потребуется сыграть роль арабов в сохранении достояний индийской культуры и литературы».

США

НЕ ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ

«Этот фильм не претендует на толкование Евангелия. В его основу положено художественное произведение — роман греческого писателя Никоса Казандзакиса». С такого титра начинается новая кинолента «Последнее искушение Христа», которую снял американский режиссер Мартин Скорсезе. Однако несмотря на сделанную оговорку, автор стал объектом суровой критики и нападок со стороны клерикалов и верующих, а фильм приобрел репутацию «скандального». Под давлением различных религиозных организаций он был снят с проката во многих кинотеатрах в США, а позднее и с широкого показа на фестивале в Венеции. О причинах инцидента рассказывает на страницах французского журнала «Нувель обсерватёр» кинокритик Филипп Ромон.

«Измена привычным взглядам», в которой сначала обвиняли Никоса Казандзакиса (после публикации книги в Швеции в 1952 году), а теперь обвиняют Мартина Скорсезе, заключается в том, что представленный ими Христос «слишком похож на человека». Так,

Уильям Дефо в роли Христа.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

перед распятием он желает для себя обычной земной жизни с радостями и страстями, возникающими в его воображении, уточняет критик.

«Однако не следует забывать, что это лишь мимолетное желание, а конечный выбор Христа — предначертанная ему миссия», — цитирует Ф. Ромон высказывание одного из немногих служителей культа, поддерживавших право режиссера на творческое переосмысление событий. «В моем фильме нет никакого посягательства на христианское учение. Я просто хотел показать внутреннюю борьбу человека, стоящего перед выбором. Иисус же в моем понимании — именно человек», — объясняет свой замысел режиссер.

Темы внутренней борьбы, искупления вины присутствуют во всех работах Мартина Скорсезе, добавляет Ф. Ромон. Интерес режиссера к библейским сюжетам не случаен: Скорсезе, по его собственному признанию, «обитал и в той и в другой среде — кинематографа и религии», даже готовился стать священнослужителем. В детстве он часто болел, и отец, чтобы развлечь мальчика, почти каждый день водил его в кино. Так маленький Мартин полюбил кинематограф и впоследствии выбрал «первую среду», сохранив почтительное отношение ко второй. Тем не менее этот довод не убеждает оппонентов Скорсезе, обвиняющих его в «святотатстве».

К сожалению, примирения «враждующих лагерей» так и не произошло, пишет в заключение «Нувель обсерватёр». И пока противники фильма по-прежнему утверждают, что «он — уже сам по себе искушение, которое необходимо уничтожить», кинематографисты в лице другого режиссера — Пауля Ферховена — собираются создать новое «искушение» под названием «Христос — человек».

Франция

РАЗГАДАНА ЛИ ЗАГАДКА?

Недавно в Париже вышел в свет во французском переводе (и почти одновременно он был переиздан по-русски) «Роман с кокаином» М. Агеева, прочно забытое произведение русской эмигрантской литературы 20-х годов. Действие его охватывает период первой мировой войны, революции и гражданской войны в России. Книга, написанная рукою мастера, повествует о раздвоенности натуры молодого героя — Вадима Масленникова, его развращенности, несчастливой любви, болезни, поиске спасения в наркотиках и наконец — гибели.

«Роман с кокаином» загадочен прежде всего потому, что настоящее имя его автора неизвестно. В 30-е годы ходили невнятные и непроверенные слухи, будто М. Агеев живет в Константинополе и, возможно, это Марко Леви. В том же 1934 году Агеев напечатал одну новеллу, и больше о нем никто ничего не слыхал. И вот теперь, после двуязычного триумфа его в парижских издательствах и периодике, в русскоязычном журнале «Вестник РСХД» появилась дерзкая, но солидно обоснованная гипотеза знатока русской литературы профессора Никиты Струве: автором «Романа с кокаином» является... Владимир Набоков. Публикация романа под никому не известным псевдонимом явилась, по мысли Н. Струве, литературной мистификацией, до которых Набоков был большим охотником. Н. Струве подробнейшим образом анализирует агеевский и набоковские тексты, выявляя поразительные совпадения в хронологии событий, реалиях, темах: тут и неутоленное любовное чувство, и Гоголь, и очищающий «дебош», и та же раздвоенность личности, и спорт, и порицание пошлости, антисемитизма, и насмешки над бестолковостью критиков (здесь исследователь усматривает намек на будущую судьбу загадочного романа: те, по Набокову, раздают восторженные отзывы... зарекомендованным писателям... за слабые вещи», хотя «безымянные» могли бы за них же рассчитывать только на тройку). Никита Струве отмечает «впечатляющее совпадение структурных приемов и многоплановости мышления» у М. Агеева и В. Сирина (тогдашний псевдоним Набокова), с особой пристальностью выявляет в «Романе с кокаином» присущие Набокову особенности языка, чисто набоковские метафоры, излюбленные словечки.

«Можно предположить,— заключает свое сообщение Н. Струве,— что игры ради Набоков хотел оставить после себя роман без имени, как бросают на авось бутылку в море. Если так, то он оказался прав. Из безымянных или малоизвестных произведений эмигрантской литературы «Роман с кокаином» полвека спустя после написания выплыл наконец на берег известности. А завтра, смеем надеяться, он станет девятым по счету русским романом одного из самых виртуозных, но и жутких писателей XX века».

Столь ошеломляющая гипотеза не могла остаться без ответа. Первой на нее откликнулась Зинаида Шаховская, автор единственной книги воспоминаний о Набокове на русском языке, выразив свое удивление и, пожалуй, растерянность, но не дав никаких весомых аргументов против. Затем было опубликовано письмо вдовы писателя В. Набоковой, просившей обнародовать «категорическое утверждение» — ее муж никогда не выступал под псевдонимом М. Агеев. Намеренно не входя в рассмотрение аргументов Н. Струве о стилистическом сходстве романов знаменитого писателя с произведением «далеко не бездарного господина Агеева», она упрекнула сорбоннского профессора: как можно «спутать вульгарный и часто неправильный слог Агеева со слогом тончайшего стилиста В. Набокова»? На это обвинение Н. Струве ответил обширной статьей, где снова привел «внушительный список ономастических, семантических и стилистических совпадений между псевдо-Агеевым и Набоковым», а также внушительный список «общих тем и ключевых слов».

Разгадана ли загадка «Романа с кокаином»?

«ДЕ ГОЛЛЬ, ИЛИ ВЫЗОВ ВСЕВЫШНЕМУ»

Так называется новый шестисерийный телевизионный фильм, снятый по одноименной документальной книге Жана Лакутюра, Жана Лабиба и Ролана Меля, сообщает журнал «Нувель обсерватёр».

«Да, еще один фильм. И еще одна книга. Ибо кто же решится утверждать, что все самое важное об этой «личности безмерной глубины» уже сказано и написано?» — объясняет на страницах журнала свой выбор темы Ж. Лакутюр. «Шарль де Голль — величественная гора, всякое восхождение на нее начинается с подножия многочисленных фактов и документальных данных. Немалая их часть по разным причинам все еще неизвестна широкой публике, хотя споры о «голлизме без де Голля» не утихают и по сей день,— развивает свою мысль Ж. Лакутюр.— И мы задались целью восполнить эти пробелы».

Кадр из фильма «Де Голль, или Вызов Всевышнему»
(Журнал «Нувель обсерватёр»)

В сериал включены воспоминания крупных государственных деятелей, людей, близко знавших де Голля (среди них — Эдвард Спиэрс, Жоффруа де Курсель, Андре Мальро), их оценки критических и поворотных моментов его политической карьеры. Это прежде всего события 1940 года, когда главой правительства стал Ф. Петен и генералу де Голлю пришлось уехать в Лондон, это отношения между де Голлем и демократическими силами страны в кризисных ситуациях 1942, 1958 и 1968 годов, а также его проекты конца 50-х годов о решении «алжирского вопроса».

К выходу фильма на телеэкраны журнал «Нувель обсерватёр» подготовил публикацию из семи статей под общим названием «Семь загадок генерала». В них составитель подборки Клод Вей и бывшие члены кабинета де Голля дополняют «телеэкранные исследования» новыми фактами из истории политической борьбы лидера французского освободительного движения, борьбы, в которой он познал и победы и поражения. «Но в конце концов История всегда отдает должное тем, кто не сдается»,— замечает, например, Пьер Лефран.

Совокупный труд кинематографистов и журналистов, бесспорно, обогатил, но не исчерпал тему. «Окончательные ответы на основные вопросы пока не найдены. Шарль де Голль по-прежнему остается загадкой,— считает Жан Лакутюр.— Так кто же устоит перед соблазном и не попытается ее разгадать?!»

Чехословакия

ПРОГУЛКА ПО ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРАГЕ

Серия номеров французского журнала «Магазин литтерер» была посвящена своеобразным путешествиям по литературным столицам Европы — Берлину, Вене, Венеции и Лондону. И вот теперь читателям предлагается посетить Прагу — «город, где так хорошо хотя бы мысленно прогуляться весной», как пишет в редакционном предисловии составитель выпуска Л. Ришар.

Одна из статей знакомит нас с историей, культурой и архитектурой «золотого города». За ней следует отрывок из книги «Волшебная Прага» — фундаментального литературоведческого труда известного итальянского слависта А. М. Рипеллино. Здесь же опубликованы статьи критика Ж.-М. Пальме «Столица антинацистской эмиграции», писателя Э. Вайса «Прага, 1933 год», специалиста по чешскому сюрреализму П. Краля «Город и его поэты». Особое внимание привлекают материалы о немецкоязычных писателях-пражанах и эссе «Пражский роман» (1913) одного из них, Эгона Эрвина Киша. Их удачно дополняют статьи филолога А. Мешонника о пражском лингвистическом кружке, Ф. де Товарницки — о чешском философе Яне Патоке, очерк М. Кадьё о творчестве композитора Л. Яначека. Создается как бы летопись культурной жизни города, на улицах которого происходят фантастические встречи с Моцартом и Кафкой, Гоголем и Гофманом...

В особый раздел собраны материалы о крупнейших современных литераторах Чехословакии. Здесь помещены два обстоятельных эссе об известном во всем мире чешском писателе — Богумиле Грабале, «авторе многих изданных и еще не изданных книг, пользующемся единодушным признанием читателей». В номере также рассказывается о непростой судьбе Милана Кундеры, который, несмотря на вынужденную эмиграцию и забвение у себя на родине, остается «видным писателем, посвятившим Праге многие страницы своих произведений». Любопытную публикацию о создателе бессмертного «Бравого солдата Швейка», «бродяге, анархисте и журналисте» Ярославе Гашеке предложила французская переводчица и критик Э. Абрамс.

Л. Ришар подготовил также «Словарик 24 пражских романистов». Этот материал объединил краткие сведения о литераторах, в основном — чешских, писавших в своих книгах о Праге и ее жителях. В нем приводятся краткие биографии К. Чапека и М. Брода, Я. Гашека и Ф. Кафки, Э. Э. Киша и М. Кундеры, Г. Мейринка и Б. Грабала, Р. М. Рильке и Я. Неруды, Э. Вайса и В. Незвала, а также литературоведческие и библиографические данные.

Публикации этого выпуска «Магазин литтерер», осветившего литературную жизнь Праги — «города, где каждый камень хранит воспоминания», — сопровождаются интересными иллюстрациями и редкими фотографиями.

Иллюстрация Йозефа Лады к роману Я. Гашека «Приключения в Красной Армии».
(«Журнал «Магазин литтерер»)

◆

Авторы этого номера

НАБОКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (псевд.— Сирин; 1899—1977) — русско-американский писатель; родился в Петербурге. С 1919 года в эмиграции: жил в Англии, Германии, Франции, с 1940 года — в США, в шестидесятые годы поселился в Швейцарии, где скончался. На русском языке написаны романы «Машенька» (1926), «Камера обскура» (1932—1933), «Отчаяние» (1934), «Дар» (1937), лирические новеллы «Возвращение Чорба» (1930), повести «Защита Лужина» (1929—1930), «Приглашение на казнь» (1935—1936). С 1940 г. начал писать на английском языке и в последующие годы вышли книга мемуаров «Память, говори» (в русском переводе «Другие берега», 1954), романы «Лолита» (1955), «Пнин» (1957), «Ада» (1969), «Посмотри на арлекинов!» (1974). Перевел на английский язык «Слово о полку Игореве», «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. В 80-е годы многие его произведения публиковались в советской периодике, в «Иностранной литературе» напечатаны переводы В. Набокова из Мюссе и Рембо (1987, № 5).
Наша публикация романа «Пнин» воспроизводит перевод, выпущенный в 1983 году американским издательством «Ардис» (Ann Arbor, Ardis, 1983).

ГЕОРГ ГЕЙМ (GEORG HEYM; 1887—1912)— немецкий поэт. Его перу принадлежат сборники стихов «Вечный день» («Der ewige Tag», 1911), «Umbra vitae» (1912), «Трагедия небес» («Der Himmel Trauerspiel», 1922; посмертно). Г. Гейм писал также трагедии— «Аталанта» («Atalanta», 1911) и прозу—сборник новелл «Вор» («Der Dieb», 1913).
Публикуемая подборка включает стихи из сборников «Вечный день» и «Umbra vitae».

ГАСПАРОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ (род. в 1935 г.) — доктор филологических наук, переводчик. Автор нескольких книг и многих статей по античной литературе, стихосложению и поэтике. Переводил Пиндара, Овидия, Горация, Светония, басни Эзопа, поэзию вагантов и др.

ЖУХОВИЦКИЙ ЛЕОНИД АРОНОВИЧ (род. в 1932 г.) — советский прозаик, драматург, публицист. Автор многих книг, в том числе повестей «Остановиться, оглянуться» (1969), «Легенда о Ричарде Тишкове» (1971), сборника повестей и рассказов «Только две недели» (1982), публицистической книги «Счастливыми не рождаются», нескольких пьес, а также многих очерков и статей, публиковавшихся в периодической печати.

ЛАРС ХЕССЛИНД (LARS HESSLIND; род. в 1935 г.) — шведский писатель. Автор романов «Воздушный шарик в вышине» («Ballong i topp», 1973), «Встречный удар» («Kontringen», 1979), «Освободитель» («Befriaren», 1984) и др., книг для детей и юношества, радио- и телепьес.

ВОЙЦЕХ ЖУКРОВСКИЙ (WOJCIECH ŻUKROWSKI; род. в 1916 г.) — польский писатель, публицист, общественный деятель, председатель Правления Союза польских писателей. Лауреат нескольких литературных премий. Депутат сейма ПНР.
Начал печататься в 1934 г. Автор романов, сборников рассказов и очерков. Советским читателям известен по изданным в нашей стране произведениям: «Похищение в Тютюрлистане», «Дни поражения», «Дом без стен», «Путешествие с моим гуру», «Крещение огнем», «Направление — Берлин» и др.

ЗЕНОН СКУЗА (ZENON SKUZA; род. в 1939 г.) — польский публицист, литературный критик. Работал в издательстве «Чительник», в газете «Трибуна люду». Заместитель главного редактора еженедельника «Аргументы».

ЭТКИНД ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. в 1918 г.) — литературовед, доктор филологических наук, профессор Сорбонны. С 1974 г. живет во Франции. Автор книг «Поэзия и перевод» (1963), «Об искусстве быть читателем» (1964), «Разговор о стихах» (1970), «Бертольт Брехт» (1971), «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина» (1973), «Форма как содержание. Избранные статьи» (Вюрцбург, 1977), «Мистерия стиха» (Париж, 1978), «Очерки истории советской поэзии. 1917—1984» (по-немецки), «Иосиф Бродский: суд над поэтом» (1988), «Симметрические композиции Пушкина» (1988) и многих статей по истории и теории литературы — зарубежной и русской.

ГАЧЕВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ (род. в 1929 г.) — советский литературовед, культуролог, доктор филологических наук, лауреат премии Паисия Филендарского (Болгарская АН). Автор книг «Ускоренное развитие литературы» (М., 1964), «Содержательность художественных форм. Эпос. лирика драма» (М., 1968), «Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа», ч. I (М., 1972), «Образ в русской художественной культуре», ч. 2 (М., 1981), «Творчество жизнь, искусство» (М., 1980), «Чингиз Айтматов и мировая литература» (Фрунзе 1982), «Национальные образы мира» (М., 1988).

САМВЕЛЯН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. в 1936 г.) — советский писатель. Автор романов и повестей: «Московии таинственный посол» (1976), «Казачий разъезд» (1978), «Серебряное горло» (1980), «Крымская повесть» (1981), «Альпийский эдельвейс» (1983), «Семь ошибок, включая ошибку автора» (1985), «Век наивности» (1986), «Улыбка Суллы» (1987), книг «Пока сердца для чести живы» (1986), посвященной традиционным связям русской и польской культур и «Диалоги о дне вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем» (с Д. С. Лихачевым 1988), один из разделов диалога — «Возвращение к Человеку» напечатан в «Иностранной литературе» (1988, № 1).

◆

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА «И стал тот камень Христом» — последний роман известного венесуэльского писателя, в котором автор, используя библейский сюжет, поднимает общечеловеческие нравственные проблемы, выступает в защиту высших идеалов гуманизма и социальной справедливости.

СТИХИ ТАДЕУША РУЖЕВИЧА 1956—1968 годов, в которых поэт осмысливает феномен культа личности диктатора XX века, и пьеса «Западня», главным героем которой является Франц Кафка,— по-новому представляют советскому читателю выдающегося польского поэта и драматурга.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ч. Т. АЙТМАТОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ, Н. А. АНАСТАСЬЕВ (первый зам. главного редактора), **О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017 Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, тел. 233-51-47.

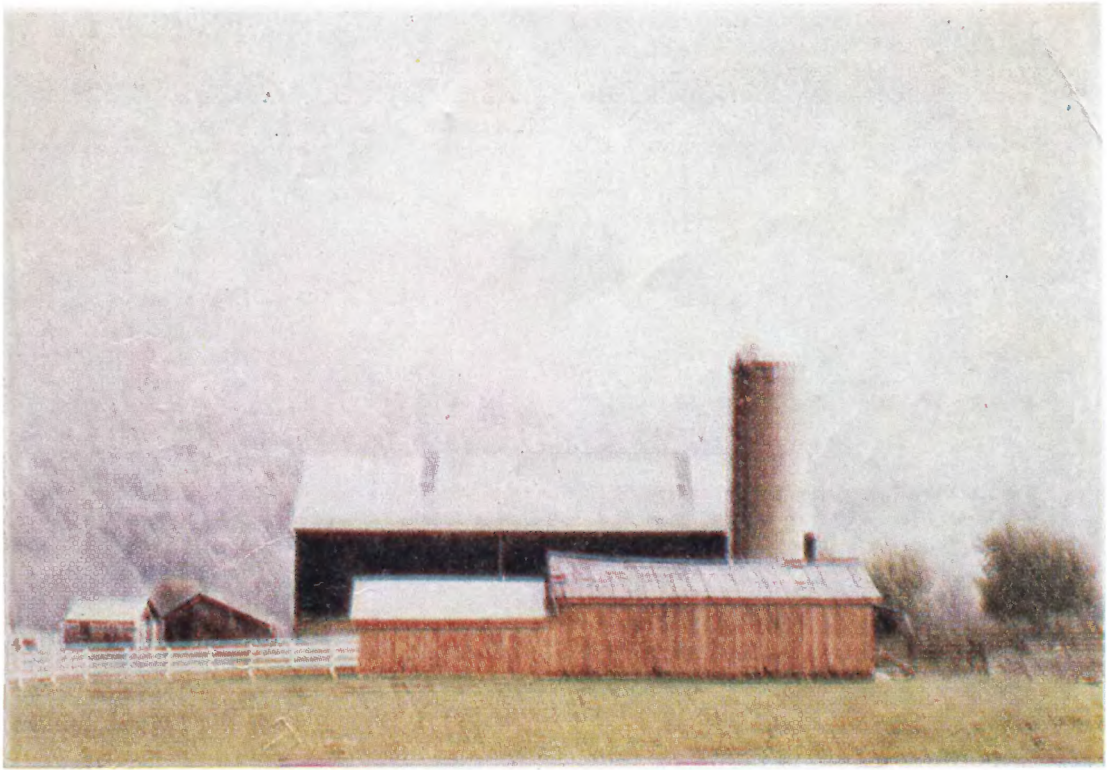
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

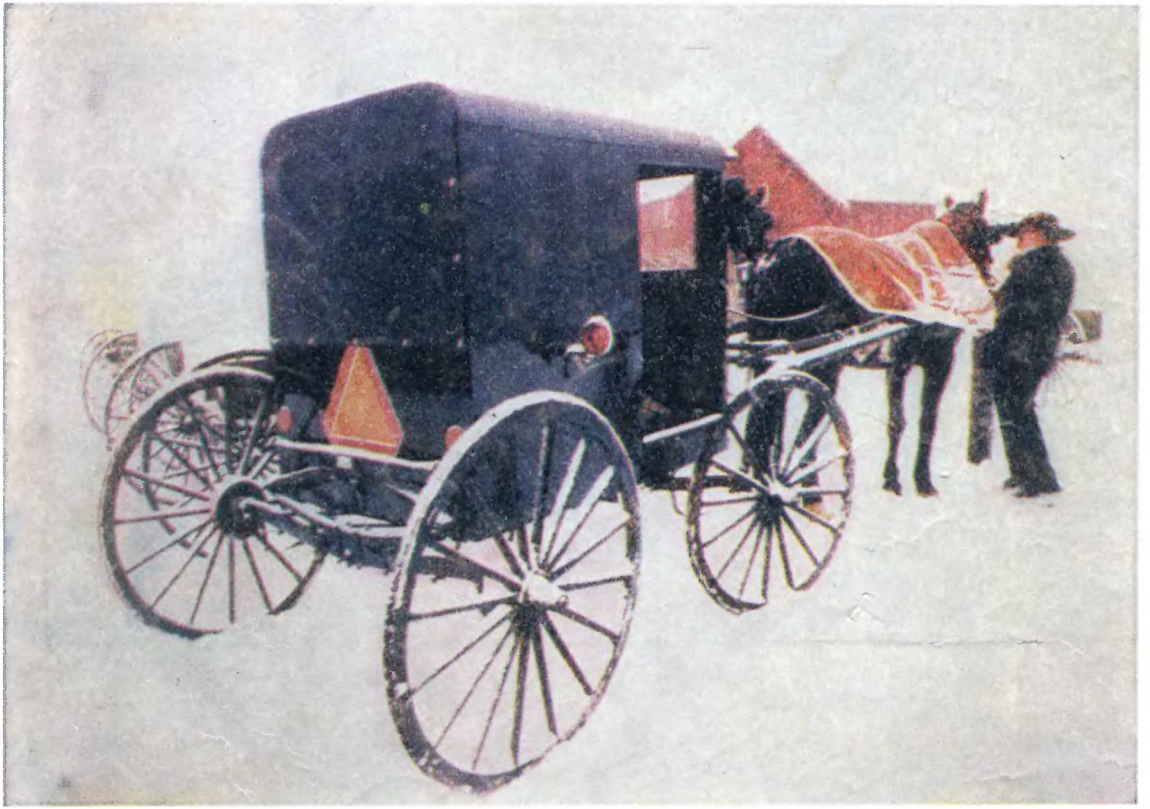
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5.11.88. Подписано в печать 12.01.89. Формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,25.

Тираж 420 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.) Зак. 3722.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394